ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3
1957

МАРИЯ МАЙЕРОВА

Рис. К. Теодоровича

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

С. МАРШАК — Новые переводы. Из Джо Уоллеса. (Стихи) 3

ПЕТРУ ДУМИТРИУ — Буревестник. (Роман. Продолжение) 9

Песни Ирландского сопротивления 56

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР — Братья Лаутензак. (Роман. Окончание) 61

ИЗ НОВЫХ КНИГ

БРАНКО ЧОПИЧ — Случаи из жизни Николетины Бурсача 133

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ — Параболы и эпиграммы 175

ШАРЛЬ БОДЛЕР — Из «Цветов зла» . . . 177

В. И. ЛЕНИН И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Ленин и Гете 188

КРИТИКА

АРАГОН — О советской литературе 199

Л. АНДРЕЕВ — Музей обожествленного искусства 216

С. МАРШАК — Искусство поэтического портрета 224

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

МИХУ ДРАГОМИР — Некоторые проблемы современной румынской литературы . . 227

Н. СТАЛЬСКИЙ — Об ответственности писателя и ясности мировоззрения 230

В. СЫТИН — На втором съезде писателей новой Кореи 234

Т. ТРИФОНОВА — Время борьбы не миновало 236

3

1957

МАРТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ЖАН ФРЕВИЛЬ — Некоторые проблемы французской литературы 241

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

КЭНДЗО НАКАДЗИМА — Японо-советские отношения на новом этапе 247

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Литературные журналы в 1957 году . . . 251

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

А. СИДОРОВ — Графика Тадеуша Кулисевича 258

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 268

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 288

На обложке рисунок польского художника Тадеуша Кулисевича «Китайский партизан».

С. Маршак

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Из Джо Уоллеса

КАК ВЕЛИКО НЕБО?

Размер тюремного окна:
Пять дюймов с чем-то — вышина,
Шесть с чем-то дюймов — ширина
Примерно.

Но сквозь железный переплет
Я вижу звездный небосвод
Безмерный.

А небо — судя по окну —
Шесть с чем-то дюймов в ширину,
Пять дюймов с чем-то в вышину
Примерно.

В ТЮРЬМЕ

Вдоль — восемь футов, поперек — четыре...
По клетке я брожу, не зная сна.
Пусть меньше места в гробовой квартире,
Но хоть цветами убрана она!

МАТЬ ГЕРОЕВ

— Что плачешь ты,
Мать героев,
Не знавших,
Что значит страх?

— Душа моя славит
Героев,
А плачет
О сыновьях.

О МАЛЕНЬКОЙ ДОРИС

Она не знает, что мертва.
Не нужно слез печали.
Так редко неба синева
Сияла ей в подвале.

Для девочки, что прожила
Семь лет в трущобе тесной,
Могила на краю села
Тиха, как рай небесный.

* * *

Мальчишкой только я и знал, что бегать да расти,
Ловить плотиц, тревожить птиц и яблони трясти.
Веснушчатую девочку, чьи губы роз красней,
Гулять свистком я вызывал, и Май являлся с ней.

Я вырос гордым пареньком с толковой головой,
Но заработал я трудом лишь саван гробовой.
Я долго девушку искал, с которой был знаком,
Но злой туман из-за реки позвал ее свистком.

Печально шел за годом год, и старость подошла.
Не видно рыб, не слышно птиц, и яблоня гола.
О том, что тленно все вокруг, бормочет мне река...
Но за рекой моя любовь — я жду ее свистка.

ЗАПОЛНЕННАЯ АНКЕТА

Давай заполним этот лист,
солдата хороня.
Как звали. Номер. Где рожден.
Ближайшая родня.
Религия и раса. Чин.
Кто был отец, кто мать.
Ведь надо знать, где надлежит
покойнику лежать.

БЛИЖАЙШАЯ РОДНЯ

Среди полей чужой земли
Нашел я мертвеца,
И одуванчики цвели
Вокруг его лица.
Как нимб горели золотой,
Как свечи в изголовье,
Зажженные за упокой
В траве, залитой кровью.

Я слышал тихие слова
В изрытом этом поле.
Прошелестела их трава,
Пропел их ветер, что ли?
Иль птица, жаба и пчела,
Любая тварь, что здесь жила,
На языке своем звала
Того, кто был солдатом,
Звала тихонько братом...

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

Не все ли вам равно, где воздух в этом мире
Впервые он ловил, разинув рот пошире?

Запомните поля чужого края,
Где воздух жадным ртом ловил он, умирая.

РАСА

Все как есть черны мы были
В мертвый час полночной мглы,
И у всех в сырой могиле
Кости голые белы.

РЕЛИГИЯ

Безбожники, евреи, христиане,
Кто различал вас в боевом тумане?
Один пред смертью был у вас завет:
Живые, сделайте светлее этот свет!

МЕТЛА

Если б каждая метла
У себя углы мела,
Не было бы в вышине
Паутины на луне.

ДОБРЫЙ СОВЕТ

В споры, в дрязги погруженный,
Будешь век вести войну,
Если взять решишься в жены
Женщину, а не жену!

Несколько слов о себе

Я родился в 1890 году в канадском городе Торонто, в семье выходца из Ирландии. Отец мой был убежденным противником Британской империи, мать придерживалась демократических взглядов. Она скончалась, когда мне было семь лет. Мачеха сознательно изводила меня своей жестокостью. Ради моего спасения меня поместили в исправительный дом, где я хорошо узнал мальчиков из трущоб.

Некоторое время я учился в колледже, а затем начал писать для своей собственной процветающей рекламной фирмы.

Я сам тоже преуспевал в рядах либеральной партии: мои левые выступления привлекли внимание социалистов. Когда после моих речей они задавали мне каверзные вопросы, я чаще всего соглашался с их точкой зрения. В результате социалисты стали бывать у меня, приносили мне книги, и в 1919 году я вышел из либеральной партии. Тогда же я выступил в качестве одного из основателей независимой лейбористской партии провинции Новая Шотландия и стал ее секретарем. Когда в 1921 г. мы узнали о создании коммунистической партии, наше местное отделение независимой лейбористской партии перешло в ее ряды. В 1922 г. я был делегатом второго съезда компартии и вскоре начал сотрудничать в газете «Уоркер». (Начиная с 1914 года, я писал для одного из профсоюзных журналов.)

В 1933 году монополии, которые давали моей фирме заказы на рекламу, предъявили мне ультиматум: никаких речей и выступлений в печати, иначе — никаких заказов.

Я стал безработным. В 1933 году как делегат от Галифакса я участвовал в конференции безработных в Оттаве, куда добирался на попутных машинах, «голосуя» на обочинах шоссе. Оттуда меня направили в Монреаль, где я работал в качестве активиста организации, выполнявшей в Канаде функции МОПР.

В 1936 году я стал штатным сотрудником редакции партийной газеты в Торонто, где работал до 1939 года.

В 1941 году, после двух лет журналистской деятельности в различных лейбористских изданиях в качестве обозревателя и комментатора, я был арестован и заключен в концентрационный лагерь.

Выйдя из лагеря в 1943 году, я прошел ускоренный курс обучения в техническом колледже и стал работать на заводе токарем на револьверном станке. Здесь я оставался до конца войны. Я выступил организатором (точнее, принял участие в организации) профсоюза на нашем заводе и стал его председателем.

К концу войны я снова оказался безработным и только в 1946 году сумел устроиться уборщиком в больницу, где и работал почти до последнего времени. В 1954 году я получил приглашение посетить Румынию, Польшу и Венгрию, а в 1956 году — Советский Союз.

В 1943 году вышла первая книга моих стихов, в 1953 году — вторая и в прошлом году — третья.

В те годы, когда я был связан с буржуазным миром, мне делали со всех сторон самые «заманчивые» предложения финансового и политического свойства. Но я всегда обращал свои взоры туда, где, как я знал, находился народ, и наконец с помощью Маркса и Ленина, я обрел свое единение с народом. Оно принесло мне более глубокие мысли и чувства и научило лучше писать. Отвергнув «заманчивые предложения», я совершил нечто вроде самоубийства, но зато предо мною открылся путь к более полной, более счастливой жизни.

Такой и была моя жизнь, потому что радостная вера в будущее наполняла ее даже в те дни, когда я мог видеть это будущее лишь сквозь тюремную решетку.

Москва, декабрь 1956 г. *Джо Уоллес*

«БУРЕВЕСТНИК» *Рис. Николае Попеску (Румыния)*

Петру Думитриу

Буревестник

РОМАН

Перевод с румынского М. Олсуфьева

XXXVI

В последние дни рейса на борту «Октябрьской звезды» произошло несколько мелких событий, имевших значение лишь для тех, кого они непосредственно касались.

Однажды после обеда Емельян Романов, взвесив улов и отметив его в записной книжке, поджидал Ермолая, чтобы посмотреть, кто больше выловил. Над палубой поднялась тяжелая, полная до краев сетка, вслед за нею появился и сам Ермолай, неуклюже, по-медвежьи, перемахнув через планшир.

— Эй, Ермолай! — окликнул его Емельян.— Торопись, пока весь товар у буфетчика не вышел.

— Идем! — охотно откликнулся Ермолай.

Сопровождаемые Космой, они двинулись к буфету, но в эту минуту из-за планшира показалась светловолосая голова Андрея, отчаянного сквернослова и самого молодого рыбака из бригады Ермолая.

Угадав, куда они направляются, паренек крикнул им вдогонку:

— Опять, дядя Ермолай, к водке подбираешься?

Он добавил для веса похабное ругательство, но Ермолай уже исчез в тени пролета, который вел на корму. Андрей перепрыгнул через планшир и кинулся его догонять. По штормтрапу карабкались остальные, и вскоре шумная ватага рыбаков уже валила в буфет за старшинами.

— Кто это здесь лодки оставил? — доносились снизу возмущенные крики. — Отвяжите их, что ли, а то с рыбой пристать некуда! Эй, даниловские! Отвязывай лодки, дьяволы!

Но у даниловских на корме была целая сходка. Ермолай то и дело поглядывал на запертую дверь буфета, вздыхал и нетерпеливо крутил пальцами.

— Думаешь, откроют? — с усмешкой спросил Емельян.

— Отчего не открыть? Может, и откроют, — пробормотал Ермолай, заметив невдалеке буфетчика и делая ему выразительные знаки.

Буфетчик, засунув руки в карманы, не спеша подошел к рыбакам.

— Чего ты, брат, буфета не открываешь? Товар у тебя кончился, что ли?

— Товар есть, — посмеиваясь ответил буфетчик.

Веселое настроение угрюмого и унылого обычно буфетчика почему-то вывело Ермолая из себя:

— Чему радуешься?

Продолжение. Начало см. в №№ 1 и 2 за 1957 год.

— Чему мне радоваться? Мое дело маленькое. Велено продавать спиртные напитки — продаю. Велено не продавать — не продаю. Чего пристал?

Из трюма по трапу поднялся Андрей. Оглянувшись, он подошел к своему бригадиру.

— Слушай, дядя Ермолай,— заговорил он жалобным голосом.— Что нам тут делать? Выпивки все равно нет... Айда опять в море!..

— Не желаю! — мрачно объявил Ермолай. — Отвяжись, у меня и так голова болит...

— Черт с ней, с головой, дядя Ермолай! Давай еще раз снасть закинем...

— Заткни хайло! — обрушился на него старшина. — Вот скупердяй, черт бы его драл!

— Кто скупердяй? — удивился Емельян.

— Да Жора этот ваш. Будто у него другой заботы нет, лишь бы нас без выпивки томить. Душа пересохла...

— Пусть она у тебя малость подсохнет, — сказал Емельян, — больно уж ты ее за последнее время поливал...

Ермолай негодующе пожал плечами. Емельян почесал седую голову, сдвинул картуз на затылок и отошел в сторону, туда, где механик со шрамом резал разложенное на палубе листовое железо. Емельян уселся на кнехт и долго смотрел, как он работает. Наконец ему стало скучно. Не зная, чем заняться, он нетерпеливо подвигал пальцами босых ног — резиновые сапоги остались в лодке — и встал. Дверь буфета попрежнему оставалась закрытой. Потянувшись так, что хрустнули все суставы, Емельян угостил Ермолая кулаком в спину.

— Идем, что ли? — Ермолай даже не шелохнулся, словно ударили не его, а стену.

— Ну!

— Куда? — мрачно проговорил Ермолай.

— Работать, тоска одолела.

— Что работать-то?

— Как что? Кроме как рыбу ловить, ты что еще умеешь делать?

— Пить, — с досадой вставил Андрей.

Старшина замахнулся на него, но паренек увернулся.

— Что ж, — сказал Ермолай, неожиданно смягчившись, — если все равно кабак закрыли...

Буфетчик, куривший на пустом ящике, счел нужным вмешаться:

— Я, товарищи, здесь ни при чем... И товарищ Данилов говорил, чтобы буфет все время торговал. Но товарищ Жора велел, чтобы только в обед открывать. Он и отвечает. А товарищ Данилов все время старался, чтобы, как прежде, торговали... Товарищ-то Данилов сговорчивей был, он все ваши обстоятельства знает — не со вчерашнего дня на судне...

Ермолай и еще несколько человек, стоявших поблизости, с интересом слушали. Емельян презрительно усмехнулся:

— Хорош сговорчивый!.. Батька его такой же сговорчивый был, когда трактир в Даниловке держал...

Рыбаки захохотали. Один из Мангалии спросил, правда ли это, даниловские охотно подтвердили. Емельян не отставал от Ермолая:

— Идем, говорю, не для того мы с тобой на свет родились, чтобы сложа руки сидеть... Айда, ребята! А то руки у нас, небось, как у барышень, нежные станут — забудут, когда бабайки держали... Куда Косма пропал?

— Он на баке, — поспешно ответил Андрей.

Все, во главе с Емельяном, отправились на бак. У самого планширя качалась мачта куттера; подъемная стрела тащила сетку, до краев нагру-

женную только что доставленной камбалой. Из сетки разлетались брызги соленой воды. Едва она опустилась на палубу, парень в окровавленном прорезиненном фартуке бросился ее развязывать. Косма спокойно и молчаливо ему помогал. Стоя на первых ступеньках трапа, ведшего в трюм, на них смотрела Маргарита, пытаясь поймать взгляд Космы. Но тот, казалось, был всецело поглощен делом. Девушка смотрела на его спокойную, высокую фигуру, на его красивую голову — и ею овладевало какое-то тревожное недовольство собой. К весам подошел Емельян, за ним толстый, красный Ермолай и другие. Андрей тоже принялся помогать взвешивать рыбу.

— Дядя Емельян! — крикнул Косма. — Бригада Луки Георге нас побила! Проигрываем соревнование!

— Так вам и надо. А мы с дядей Ермолаем выиграем это самое соревнование! — крикнул Андрей и добавил длинное ругательство, без всякого усилия поднимая корзину с камбалой, весившую, вероятно, больше мешка с цементом.

Маргарита окинула его быстрым взглядом: лицо у этого светловолосого паренька чистое и нежное, как у девушки, но, боже ты мой, как он ругается! «Сразу видно, простой рыбак, необразованный, — думала Маргарита. — Да и Косма не лучше — о шикарной жизни в Констанце они, ясно, никакого понятия не имеют. Никогда, конечно, не бывали в ресторане «Морские чары» и не танцевали под музыку...» Она повернулась и отправилась на завод, но безотчетное недовольство так и осталось в душе у девушки. Чего ей не хватало? К чему она стремилась? Чего хотела? Она и сама этого не знала... «Ничего, пройдет», — решила Маргарита, принимаясь за работу.

Наверху, на палубе, появился Лае в тельняшке, тщательно причесанный и сильно пахнущий вежеталем. Засунув руки в карманы, он самодовольно оглядывался по сторонам. До вахты оставалось свободное время. От нечего делать он решил зайти на завод. Девушки возились около огромных оцинкованных чанов, в которых охлаждались тысячи кусков жареной камбалы.

На длинных столах под светом ярких электрических ламп поблескивали бесконечные ряды наполненных, но еще открытых коробок. Приготовленный для осетрины острый томатный соус стекал со столов то в одну, то в другую сторону при каждом наклоне раскачиваемого зыбью судна. На потолке так же мерно качались лампочки; оглушительно шумела машина, закрывавшая коробки; работницы целыми корзинами опрокидывали нарезанный лук в чаны с соусом. Девушки, носившие эти корзины, громко — чтобы перекричать машину — перекликались между собой; другие, работавшие у столов, хором пели рыбацкую песню.

Лае осмотрелся и увидел Маргариту, наблюдавшую за чаном, в котором кипел томатный соус. Он подкрался к ней сзади и ущипнул. Девушка испуганно вздрогнула, чуть было не закатила ему пощечины, но вовремя узнала его и удержалась.

— Чего лезешь! — сердито крикнула она. — Не видишь, что занята?

— Я могу и уйти, — обиженно проворчал Лае,— ишь, недотрога!

— А ты другой раз на работе не приставай!

— Ну, будет задаваться, — примирительно сказал Лае и бережно, чтобы не растрепать, коснулся своих тщательно уложенных волос. — Подумаешь — работа! Скажи лучше, за какую работу тебе премию дали?

Девушка побагровела и повернулась спиной к обидчику. Лае, сам испугавшись того, что сказал, хотел ее обнять:

— Я, может быть, не так сказал, ты не обижайся, — проговорил он смущенно.

Но Маргарита оттолкнула его с такой силой, что он потерял равновесие и беспомощно взмахнул руками в поисках опоры. Пароход в эту минуту сильно качнуло, и Лае, чтобы не упасть, ухватился за ручку котла, от чего котел с кипящим соусом, медленно накренившись, опрокинулся.

Рыбаки на палубе услышали отчаянный женский крик и чье-то яростное ругательство, потом целый хор голосов. Прибежав посмотреть, что случилось, они увидели, как несколько работниц под руки ведут Маргариту по трапу. Девушка, плача от боли, прикладывала грязный платок к ошпаренной ноге. За ними ковылял Лае, потный, со спутанными волосами, с перекосившимся лицом, сопровождаемый остальными работницами и самой заведующей, которая громко его ругала.

— Меня тоже ошпарило! — оправдывался матрос.

— Ты лучше скажи, что ты делал на заводе? — кричала Митя. — К девчатам приставал?

— Так его, тетя Митя! — поддакивал Емельян, научившийся называть ее «тетей Митей» от заводских девушек. — Как следует его, чтобы другой раз знал!

Косма, занятый взвешиванием большой белуги, посмотрел через плечо на Маргариту, которую вели наверх к фельдшерице на перевязку. Она была вся красная от слез, но Косма равнодушно отвернулся.

— Эй, вы там! Кончили? — нетерпеливо крикнул Емельян, занося ногу через планшир.

За ним последовал Ермолай. С верхней палубы сбежал по трапу Адам Жора.

— На промысел? — участливо поинтересовался инструктор.

Сидя верхом на планшире, рыбаки смущенно переглянулись, потом, все сразу сделав одно и то же движение, перекинули ноги и исчезли за бортом. Но Адам перегнулся через планшир и крикнул им вдогонку:

— В буфет наведывайтесь, не забывайте!

Висевшие на штормтрапе и готовые спрыгнуть на куттер Емельян с Ермолаем подняли угрюмые лица.

— Ладно... Скупердяй! — первым откликнулся Ермолай, который ни на кого не мог долго сердиться.

Уже на куттере, ударив себя кулаком в богатырскую грудь, он признался Емельяну:

— Вот он где у меня!.. В самом сердце!

— Неужто и он? С каких же это пор?

— С тех пор, как за лодками ходили. Это, брат, рыбак!

Немного погодя, он задумчиво прибавил:

— Не знаю только, за что он на водку ополчился...

* * *

Мертвая зыбь то мягко поднимала, то снова опускала лодки, стоявшие поодаль от куттера. Усталые рыбаки отдыхали после целого дня гребли по неспокойному морю. С запада дул прохладный ветер. Там над потемневшим морем садилось солнце.

Косма с Емельяном были одни в лодке. Емельян точил нож; Косма сидел на дне, упершись спиной в шпангоуты, и, закинув голову, смотрел на необыкновенно ясное вечернее небо. Закатные лучи освещали его загорелое, небритое лицо. Лицо Емельяна было в тени. Вокруг них с жалобным писком носились чайки. В волнах появилась и тотчас исчезла черная, блестящая спина дельфина.

Кончив точить нож, Емельян сунул его за голенище.

— Давай я тебе тоже наточу, — предложил он Косме.

Ему пришлось дважды повторить свои слова, прежде чем парень его услышал.

— Нож? Зачем?

— Дай я его тебе наточу.

Косма подал нож.

— Да это не твой! — удивился Емельян. — Что ты со своим сделал?

— Потерял...

— Как потерял? — машинально спросил Емельян, оттачивая нож.

— Потерял, и кончено,— сердито ответил парень, пожимая плечами. — Чего пристал?

— Да я так спросил. Что с тобой?

Косма не отвечал. Наступило молчание. Емельян не обратил особого внимания на грубость своего помощника, привыкнув видеть его хмурым.

Парень действительно изменился. От прежнего безмятежного спокойствия не оставалось и следа. Даже на догоравший в бледном небе закат он смотрел почти с ненавистью.

— Дядя Емельян... — неожиданно произнес Косма после долгого молчания.

— Чего тебе?

— Тяжко мне...

Емельян поднял голову:

— Что так?

Косма опять помолчал, вздохнул.

— Полюбилась мне одна, — нехотя сказал он.

Емельян терпеливо ожидал продолжения.

— Полюбилась она мне, а на меня и смотреть не желает... Да хоть бы и смотрела, теперь мне она словно и не нужна...

— Как же это? — не понял Емельян.

— Сам не знаю... Словно она мне больше и не нравится... Приди она ко мне, я бы ее, конечно, принял, а потом сказал бы: ступай на все четыре стороны!

Помолчав, он продолжал:

— Так бы ей и сказал: не нуждаюсь, мол, в тебе, видеть тебя тошно!

Емельян долго думал, потом сказал:

— Это, братец, любовь. Откуда девка-то? С парохода? Как звать?

— А тебе зачем? Не все ли равно?

— Стой, дурень, — спокойно произнес Емельян, вовсе не обидевшись, — ты мне все толком объясни, чтоб я понял.

— Да я сам ничего не понимаю! — воскликнул Косма. — Когда я один, или когда вы, случится, спите, я все о ней думаю... Какой она раньше была, не теперь. И такая мне приходит охота что-нибудь изорвать, истоптать, изломать... Не могу! — прибавил он, немного погодя. — Ничего не могу!

Косма смолк. Емельян продолжал точить нож. Немного погодя, парень заговорил снова:

— Научи меня, что делать. Ты человек старый, опытный — как мне быть?

Емельян не отвечал.

— Если бы, скажем, я ее полюбовника убил... Так и то мне, думается, покоя бы не было. Может, еще хуже бы стало...

Емельян отложил в сторону нож:

— Как так, человека убить? С ума ты сошел, что ли?

Косма молчал.

— За то, значит, что ты девке не полюбился, человека зарезать. Да что она, твоя, что ли?

Косма мрачно молчал. Емельяну стало его жалко.

— Ничего не поделаешь, — сказал он, подумав. — Терпеть надо. Пройдет.

— Не пройдет, — уверенно пробормотал Косма. — Знаю, что не пройдет.

Емельян с сомнением посмотрел на своего помощника:

— Ты терпи. Потом увидим. Я думаю, пройдет...

Косма только вздохнул. Оба сидели, прислонившись к шпангоутам, лицом к закату. Их ласково качала зыбь, хлюпая у просмоленных бортов лодки. Небо было ярко-синим. Лишь у самого горизонта, над тем местом, где зашло солнце, оно было выкрашено в ласковые оранжевые тона. Три гигантских красновато-желтых луча, пересекая весь небосвод, круто поднимались вверх. Они казались проложенными по небу дорогами из не греющего пламени.

Косма поднял руку. В этом фантастическом освещении она казалась выкованной из чистого золота. Не опуская руки, Косма удивленно сказал Емельяну:

— Солнце!

Емельян не ответил. Косма взглянул еще раз на свою руку и опустил ее. Потом подумал и встал. Емельян последовал его примеру. Оба, стоя лицом к западу, долго смотрели на волшебную панораму заката.

Было уже совсем поздно, когда Косма вздохнул и улыбнулся.

— Прошло, — пробормотал он, все еще глядя на запад.

— Я тебе говорил, что пройдет, — сказал Емельян.

* * *

Позднее старший механик «Октябрьской звезды» поднялся из машинного отделения подышать свежим воздухом. На палубе, у правого борта, где из-за ветра никого не было, он остановился, выпятив живот и заложив руки за спину, и стал смотреть, как восходят, поднимаясь из моря, звезды.

Из-за угла надстройки появилась какая-то тень и, как подобает хорошей тени, беззвучно уселась на люк. Старик, недовольный тем, что нарушено его одиночество, зашагал по палубе.

Бесшумно ступая на своих резиновых подошвах, он дошел до люка, на котором смутно вырисовывалась маленькая фигурка девушки в спецовке с засученными рукавами и подвернутыми штанами. Девушка сидела, уперев локти в колени, и, спрятав в ладонях голову, горько плакала Старший механик тихо опустился на люк возле нее.

— Что с тобой? — спросил он.

Девушка вздрогнула и испуганно вскинула голову, но, узнав Стягу, принялась, вздыхая и всхлипывая, утирать себе нос.

— Что с тобой? — повторил старик. — Что случилось?

— Так... Ничего...

— Чего же ты ревешь?

— Не знаю...

— Вот глупая! — он обнял ее за плечи. — Говори, чего плачешь?

— Не знаю... тошно мне... горько...

— Чего так? — участливо спросил старик. — Поссорилась с Лае?

— Нет, не поссорилась, — вздохнула Маргарита. — Видеть я его больше не могу...

— Чем же он тебя обидел?

— Ничем...

— Что у вас с ним было?

— Ни с кем у меня ничего не было... Не нравится он мне больше, и все. Он глупый, дядя Стяга, а сам задается.

— Кого же ты ждешь? Ивана-царевича?

— Не Ивана-царевича, а такого, чтоб меня по-настоящему любил...

Не докончив, она снова заплакала. Старший механик не то вздохнул, не то присвистнул свое любимое «фиу-фиу-фи».

— Трудновато такого отыскать, чтоб и любил по-настоящему и сам был человек настоящий.

Маргарита заплакала сильнее.

— Ну, что ты? Что?

— Да ведь был, был такой парень, а я сама его, дура, отвадила! — рыдая, выговорила наконец девушка.

Стяга неожиданно рассердился.

— Вот оно что! Ну, раз сама отвадила, теперь терпи. Так тебе, дурехе, и надо. И нечего нюни разводить!

Он повернулся и ушел, а Маргарита так и осталась на люке, вздыхая и раскачивая, сама не зная зачем, забинтованную ногу.

XXXVII

Все эти дни Адам проводил с рыбаками. Нужно было научить людей работать организованно, расчетливо, добиваясь максимальных уловов. Часто можно было видеть, как он сидит на носу куттера, босой, в одних парусиновых штанах, и то объясняет что-нибудь рыбакам, то весело шутит с ними. Лодки, как утята за уткой, идут за куттером; когда куттер взлетает на гребень, лодки с рыбаками проваливаются в пропасть.

— Так, так, Адам! — хохочет Емельян Романов, глядя снизу вверх на инструктора.— Проповедуй, как поп с амвона!

Но тут лодку круто выносит волной, и рыбаков обдают брызги.

— Полегче с кропилом, батя! Святой водицы не хватит! — балагурит Емельян.

— Смейся, смейся,— однажды ответил Адам,— а посмотрю я на тебя, как ты будешь догонять бригады Луки Георге и Вангели!

— Завтра вечером и догоню, и перегоню! Увидишь! — уверенно крикнул Емельян, подмигивая своим подручным.

Адаму это показалось подозрительным — было непонятно, что задумал Романов.

— Емельян,— сказал он,— не останавливайтесь на тридцати саженях. Передовые бригады рыбачат на глубинах в тридцать две и тридцать четыре сажени. Там есть впадина, где собирается красная рыба. Почему ты никогда не смотришь на карту, как делают Лука и другие?

Емельян новшеств не любил:

— У меня на рыбу нюх есть, мне никакой карты не нужно!

Адам покачал головой:

— Ошибаешься. Через неделю посмотрим, кто прав: ты или карта института рыбоводства.

Емельян выругался, другие громко засмеялись. Адам по-прежнему спокойно сказал:

— Передовому рыбаку не пристало смеяться над наукой.

— Какая там наука, Адам! У меня практики больше, чем у всего твоего института.

Рыбаки в лодке снова засмеялись.

— Вы думаете, он меня убедил? — весело спросил Адам. — Ладно, пусть будет по-вашему. Через неделю поговорим. Если и тогда не поймете, что я прав, поговорим еще раз. Все равно я от вас не отстану.

Рыбаки приумолкли.

— Ваша практика без науки бычка тухлого не стоит,— насмешливо продолжал Жора,— поживете без нее, пока не надоест, а за картой на пароход все равно придете... Желаю удачи!

Он помахал рукой; лодки начали разворачиваться. Рыбаки задумчиво смотрели вслед шумно и весело подпрыгивавшему на волнах куттеру, на носу которого все сидел, поглядывая на них через плечо, босой человек в парусиновых штанах.

— Упрямый, черт! — сказал Афанасие, молодой парень из лодки Романова.

Емельян, больше для того, чтобы поддержать свой авторитет, ругнул Адама:

— Нечего вам ему в рот смотреть. Его в партии научили, он и говорит. А здесь я распоряжаюсь: как сказал, так и делайте.

— Не очень-то ладно получается,— пробормотал кто-то из молодых.

Емельян угрожающе взглянул на рыбака:

— Ты, видно, больше моего знаешь?!

— Не то, дядя Емельян, а все будто...

— Не знаешь и молчи! Я сам себе голова! Садись-ка, ребята, на бабайки, довольно нас этот Жора своими разговорами держал. Им, коммунистам-то, лишь бы проповедовать...

Ночью, при свете полной луны, еще не успевшей как следует подняться из моря, бригада Емельяна «проверила» снасти двух соседних бригад, нагрузила рыбой лодки, а снасть поставила обратно в море. На носу «Октябрьской звезды» висела доска, на которой отмечались результаты улова. На следующее утро бригада Емельяна Романова значилась на ней первой, а две соседние с ней по месту лова бригады вовсе не были указаны.

Емельян продвинулся на несколько миль далее и на следующий день снова оказался первым, впереди Луки Георге и Вангели, а соседей его опять в списке не было.

Наступил третий день. На куттере Луки, который, выгрузив рыбу, возвращался к своей бригаде, Адам беседовал со старшиной Павеликой, смуглым моряком с черными, сильно тронутыми сединой волосами. Оба сидели в застекленной рубке; Павелика медленно вращал штурвал, не отрывая глаз от компаса. Адам курил папиросу.

— Тяжело! — жаловался старшина.— Каждый месяц мы двадцать пять дней в море. Так по жене соскучишься, что спать не можешь. А тут еще жарища...

Павелика жаловался как будто совершенно серьезно, но в уголках его глаз притаился смешок. Адам ответил ему в тон:

— Что и говорить, скучная служба...

— Домой возвращаешься, думаешь: «Ну, теперь держись, жена!» Вернулся, а пыл, оказывается, прошел. И в мыслях того нету. Пока тебя разберет, опять в море пора!

Павелика с чувством вздохнул, следя за парой дельфинов, игравших впереди куттера. Они круто поворачивали, мелькая то справа, то слева, их длинные черные туловища с желтым брюхом молнией сверкали в воде.

— Видите? — спросил Павелика.

Он был по-прежнему серьезен, смеясь одними глазами.

Адам громко расхохотался, Павелика посмотрел на него искоса, и смешок в его глазах погас.

— Известно ли вам, — сказал он, — что мы получаем только по шестьсот лей в месяц, а рыбаки зарабатывают до двух тысяч? Считается, что у нас восьмичасовой рабочий день. А когда мой бородач Лука круглые сутки ловит рыбу, я что, сплю? А когда приходится в море чинить мотор и хороводиться все ночи напролет с вашими рыбаками, которые умеют спать только у себя в Даниловке, это как считается?

— Кажется, вы уже поднимали этот вопрос на производственном совещании? — спросил Адам.

— Поднимали, да что толку?

— Вот тут-то вы, дорогой Павелика, и ошибаетесь. С первого числа будущего месяца будете получать столько же, сколько рыбаки.

Павелика повернулся и посмотрел на Адама:

— Это вы устроили?

— Нет. Областной комитет партии обратился в министерство, и министерство приняло такое решение.

Павелика задумался.

— Неплохо это. Совсем неплохо! — сказал он, немного погодя.

— Справедливо,— заметил Адам.

— Что говорить, при хорошем заработке и работа спорится.

— Жене не забудь сказать,— продолжал Адам, не глядя на Павелику,— когда вернешься с моря, конечно...

Павелика расхохотался.

Через час на горизонте показались скучившиеся лодки.

— Что там у них? — удивился Павелика.

Адам, не отвечая, напряженно вглядывался вдаль. Лодок было много, рядом с ними покачивались два куттера. Рыбаки, стоя в лодках, возбужденно размахивали руками. Адам вышел, держась за мачту, на палубу. Теперь явственно слышалась брань, ожесточенные крики. Адам разглядел Емельяна с его бригадой. Рыбаки двух других бригад, отчаянно ругаясь и потрясая кулаками, наседали на Романова. Один, бывший ближе всех, нагнулся и, схватив весло, замахнулся на Емельяна, кто-то вовремя его удержал. Павелика наконец подогнал куттер почти вплотную, и Адаму удалось гаркнуть так, что его услышали. Обернувшись, рыбаки снова подняли страшный крик, наперебой объясняя, в чем дело. Оказалось, они застали Емельяна за «проверкой» чужих снастей и решили его утопить. Емельян и рыбаки его бригады стояли в своих лодках пристыженные и сердитые.

— Говори, следует ему бабайкой по голове съездить или не следует? Говори! — вопил, обращаясь к Адаму, рыбак, схвативший весло, и тотчас, поворачиваясь к Емельяну: — Мы на тебя работать не согласны, разбойник ты этакий! Контрабандист проклятый!

— К черту! — кричали другие.— К черту!

Кое-кто лез вперед, намереваясь столкнуть Емельяна с лодки, но в эту минуту раздался голос Адама:

— Стойте, рыбаки! Погодите!

Он был выше большинства из них, и потому все увидели, как он поднял руку.

— Стойте! Поговорим! Как было дело? Как вы его застали? Неужто правда, что он ваш улов забрал?

В глазах Емельяна блеснула надежда: Адам защитит! Но Адам, не обращая на него никакого внимания, терпеливо слушал обиженных рыбаков. Сомнений быть не могло: Емельян украл рыбу.

— Сам посуди,— снова загалдели они,— следует его за это утопить или нет?

— Как так утопить? — сказал Адам.— Где это видано? Отберите у него рыбу и поделите между вашими двумя бригадами.

— Там и нашей немало! — запротестовали рыбаки из бригады Емельяна.

Адам рассмеялся:

— Теперь не докажешь! Сами виноваты...

Пока рыбаки перегружали рыбу из одних лодок в другие, он перебрался к Емельяну и уселся против него на банку. Романов молча курил цигарку. Он был мрачен. Покончив с рыбой, рыбаки со своими лодками окружили их.

— Ну, брат, вот тебе и практика,— сказал Адам.

— Убирайся ты к черту,— проворчал Емельян.— Я в свое время с тобой иначе обошелся. Забыл, значит?

— Ты меня защищал, правда. Но ведь я-то был не виноват,— ответил Адам. — Защищая меня, ты поступал справедливо. А теперь, если я за тебя вступлюсь... на что это будет похоже?

Емельян молчал.

— Как быть, Емельян?

Молчание.

— Чего ты молчишь? — настаивал Адам.— Боишься?

— Нет,— буркнул Емельян.

— Совесть мучит,— насмешливо сказал Афанасие, бывший в одной лодке с Романовым.

Емельяна действительно что-то мучило. Наконец, он объявил:

— Это вы виноваты!

— Кто мы? — спросил Адам.

— Вы, коммунисты!

— Как это получается? — рассмеялся Адам.

Рыбаки подгребли ближе. Всем было интересно послушать, что скажет Емельян, славившийся тем, что умел всякий разговор повернуть в свою пользу.

— Очень просто,— развязно сказал он: — Механизируйте рыболовство, и никто красть не станет! Когда работаешь на машине, на механических тралах, небось, не украдешь! Пока этого не добьемся, все равно будут красть!

Рыбаки переглядывались: «Пройдоха этот Емельян!»

— Вы что же,— поддразнивая, обратился Адам к рыбакам,— согласны, что он вас в воры записал? А тебе, Емельян, сегодня все равно быть битым. По-твоему выходит, что все рыбаки прирожденные воры и никак не могут не красть. Услышит тебя кто-нибудь честный и побьет.

— Мы что ж, выходит, не честные? — обиделись рыбаки из бригады Романова.

— Как не честные? Честные! — смеялся Адам.— К соседу руку запустить, конечно, случалось... а впрочем, конечно, честные.

Их тоже разбирал смех: вот так Жора!

— Слушай, Емельян,— сказал Адам,— по-моему, дожидаться механизации и только потом становиться честным — не дело. Мы умнее. Вор всегда глуп. Возьми в пример себя. Как ты трудился, когда брал рыбу с чужих снастей, а что из этого вышло? Один срам. Так всегда с воровством: возни много, а в результате, глядишь, убыток. Если бы ты, скажем, свою снасть вдвое или втрое удлинил — и рыбы вдвое или втрое больше выловил, и считалась бы она твоей, и все бы тебя хвалили: «Ну и молодец этот Емельян! — говорили бы люди.— Прямо рыбацкий атаман!» А смотри, что вышло?

— А если я снасть удлиню да попаду на такое место, где одна мелюзга, и той мало, тогда что?

— А если, например, сосед попал на плохое место и ты его снасть зря проверишь — понапрасну, значит, будешь трудиться — тогда что? По-моему, удлинил бы ты снасть да ставил бы ее туда, куда прошлогодняя и позапрошлогодняя карты показывают. На этих картах все обозначено: сколько, где и какой рыбы наловлено. Ты, например, не знаешь, где у белуги собрания бывают, а карта знает.

— Точно,— сказал один из рыбаков,— у белуги есть свои любимые места — она, словно в церковь по воскресеньям, туда собирается.

— Нет,— с серьезным видом поправил Адам.— По-моему, так: соберется она на свое белужье собрание, одна рыбина и скажет: «Давайте, гражданки, здесь побудем, ракушек здесь много, рыбешек мелких тоже, наш главный враг Емельян Романов далеко — чужие снасти проверяет!»

* * *

Утром Ермолай, в одной лодке с которым были Симион Данилов и еще один рыбак, сказал, обращаясь к последнему:

— А ну-ка, Тихон, посмотри, есть еще что-нибудь в той чушке?

Чушкой называлась пузатая бутылка с цуйкой. Она оказалась пустой.

— Ничего нет, Ермолай, когда ты успел все вылакать?

— Я? Да я капли в рот невесть с каких пор не брал!

— Ты ее ночью, пока мы спали, всю выхлестал,— мрачно заявил Симион.— А меня как раз такая жажда разбирает, что мочи нет...

— Выпей воды,— посоветовал Тихон.

— Слышишь, что он говорит?

— Его преподобие, брат Тихон, хороший человек,— сказал Ермолай.— Только цуйки боится. Не знаю, как у него получается...

— Вовсе я ее не боюсь,— возразил Тихон,— а по этакой жарище работать выпивши, по-моему, даже и нездорово...

— Очень здорово! — заревел Ермолай, ударяя себя в грудь, которая отозвалась, как хорошо натянутый барабан.— Спирт, брат Тихон, питье самое здоровое! Он чистый и крепкий; от него, брат Тихон, у человека силы прибавляется. По этой причине те, которые, как ваше преподобие, предпочитают воду, слабосильны бывают...

Тихон обиженно пожал плечами. Все трое принялись за работу. Немного погодя, Ермолай опять нарушил молчание:

— Симион,— сказал он, обращаясь к Данилову,— приметил рыбаков из Констанцы?

— Приметил: вот они, на двух лодках.

— А как ты думаешь, им наживы не нужно?

Симион с любопытством посмотрел на Ермолая.

— Наверно, надо...— пробурчал он.— Лишь бы нашлась добрая душа, которая бы им эту наживу продала...

— С ума вы сошли, что ли! — вмешался Тихон.— Торговать наживой для крючковой снасти!

— А что, она твоя разве? — спросил Симион.

Ермолай смущенно молчал.

— Нет, не моя,— ответил Тихон,— но государство дает нам бесплатную наживу вовсе не за тем, чтобы мы ею торговали...

Данилов грубо обругал товарища и взглянул на Ермолая, ожидая, что он скажет. Но Ермолай, не поднимая головы, смотрел себе под ноги, словно там находилось что-то, поглощавшее все его внимание. Однако на дне лодки ничего, кроме сухой, серебристой чешуи, облепившей просмоленную обшивку, не было. Симион умолк. Прошло с полчаса.

— Хорошо бы теперь глотнуть цуйки,— со вздохом сказал Ермолай.

— Кто ж виноват, что ты глуп! — проворчал Симион.

— Опять начинаете? — сказал Тихон.

Он надеялся, что Ермолай уже отказался от своей скверной затеи.

— Что ж? Продадим половину скумбрии, другой наживим наши крючки — и готово.

— Ермолай!

— Молчи, а то по роже съезжу,— пригрозил Симион Тихону.

...Лодка, никем не управляемая, качалась на ленивой волне. Ермолай, мурлыкая песенку, блаженно глядел в небо. Симион сосредоточенно, напряженно думал о том, что дни и ночи занимало его мысли; Тихон, слабый на вино, был не менее пьян, чем остальные. Они продали целую корзину мелкой скумбрии — все, что у них было, — и выпили три бутылки цуйки: Ермолай полторы, Симион одну, Тихон — полбутылки. Ермолай, как всегда в подобном состоянии, чувствовал безмерную любовь ко всему человечеству. Оглядев мутными глазами Симиона и заметив его мрачное настроение, он проникся к нему жалостью и принялся утешать:

— Брось, Симион! Все равно ничего не выйдет. Ты что хотел? Силой ее удержать? Нельзя! Ты, Симион, собака, и взял ее обманом, поэтому, по-настоящему, она за тобой оставаться не обязана. А он человек хороший, отчаянный, но хороший, и имеет полное право ее у тебя забрать. Хоть и сволочь ты, Симион, а я тебя все-таки люблю, здесь ты у меня, в самом сердце...

Он ударил себя кулаком в грудь и полез целоваться. Симион вздрогнул, побледнел и с такой силой ударил Ермолая в лицо, что тот грохнулся навзничь на дно лодки.

— Убью! — взревел Симион, глядя на Ермолая ошалелыми глазами, и полез за ножом.

Ермолай поднялся и, схватив его одной рукой за горло, другой с размаха ударил в ухо. Тихон бросился их разнимать. Ермолай одним движением руки выкинул «его преподобие» за борт. Симион, оправившись, опять схватился за нож. Ермолай снова ударил его. Симион вцепился ему в горло и принялся душить. Несмотря на свою бычью шею, старшина уже посинел и выпучил глаза, но в конце концов извернулся и больно ударил противника ногой в живот. Симион полетел в воду. Ермолай остался в лодке и торжествующе захохотал. При виде двух своих врагов, тщетно пытавшихся попасть обратно в лодку и беспомощно барахтавшихся в воде, им овладела безудержная веселость. Схватив весло, он стал баловаться, норовя стукнуть их по темени или удержать под водой. Попытки Симиона и Тихона уберечься от ударов только увеличивали восторг пьяного Ермолая; особенно веселили его их старания ухватить весло руками. Победитель ловко маневрировал этим веслом, то отводя его ровно настолько, чтобы они не могли дотянуться, то легонько хлопая их лопастью. Тихон, отрезвевший быстрее Симиона, понял, что эта игра может продолжаться долго, и стал звать на помощь.

Обе лодки бригады Луки Георге неслись полным ходом к месту происшествия. Одной из них управлял сам Лука, другой — Адам Жора. Весла скрипели, вспенивая воду. Первым подоспел Лука и с такой силой врезался в лодку Ермолая, что тот повалился было на банку. Вскочив, он тут же завертел веслом в воздухе, угрожая размозжить голову каждому, кто посмеет приблизиться. Вытаскивая из воды Тихона и Симиона. Адам бешено крикнул Ермолаю: «Перестать!» Но Лука уже прыгнул в лодку и, огрев Ермолая по затылку, вырвал у него весло.

— Ты что? — обиделся Ермолай.— Чего дерешься, а? Какой ты после этого коммунист, ежели рукам волю даешь?

Он готов был заплакать от обиды и негодования.

— По-твоему, если я коммунист, так должен смотреть, как ты будешь убивать своих товарищей? — возмутился Лука.— Из-за чего вы поссорились?

Ермолай так и не смог вспомнить, с чего у них началось. Это испугало его: как бы и впрямь не спиться?

— Я виноват! — кричал он в припадке раскаяния.— Простите меня, братцы! Давайте мириться!

Он обнял избитых, мокрых, обалдевших от драки и продолжительного купания Симиона и Тихона и принялся их целовать, несмотря на отчаянную ругань обоих. Это было так смешно, что спасители не выдержали и расхохотались.

Через час Ермолай, Симион и Тихон снова работали, наживляя крючки одолженной у Луки Георге скумбрией. Ермолай был грустен; Симион, избегавший смотреть в глаза Адаму, держался с напускным спокойствием; Тихона одолевал сон.

Несколько дней спустя на пароходе состоялось общее собрание рыбаков, кончившееся большим позором для Емельяна и Ермолая. Многие предлагали отобрать у Романова бригаду, а Ермолая вообще не пускать на промысел, но оба слезно просили их простить. В самом деле, напуганный Ермолай как отрезал: на промысле глотка в рот не брал! Бригада Емельяна увеличила свои снасти на тысячу крючков и быстро вышла на первые места в соревновании, догнав бригады Луки Георге, Вангели и новую, молодежную, старшиной которой стал Косма. Адам проводил дни и ночи в море. Встречаясь с Емельяном и Ермолаем, он обращался с ними, как раньше, ничем не напоминая о случившемся. «Это только начало,— думал он.— Работы впереди много».

Вскоре «Октябрьская звезда» и рыболовная флотилия снова вернулись в Констанцу.

XXXVIII

Второй секретарь областного комитета партии принял Адама, пришедшего доложить о результатах своей работы. Секретарь не ждал особых разоблачений, хотя понимал, что политическая работа на «Октябрьской звезде» хромает. Обычно в таких случаях несколько энергичных мероприятий быстро меняли положение.

Теперь, однако, у секретаря не получалось ясной картины. Жора сидел перед ним на стуле, прямой как палка, сдвинув колени и опустив руки. Из глубоких глазниц его прямо глядели усталые серые глаза. Секретарю очень хотелось прочесть на этом строгом лице, что именно думал Адам о положении на «Октябрьской звезде», но прочесть ничего не удавалось.

— Хорошо,— перебил секретарь Жору,— вы говорите, что сейчас вам трудно дать исчерпывающую оценку тамошним партийным работникам и вообще положению на судне. В таком случае, зачем вы ко мне пришли? Просто так, повидаться? — прибавил секретарь с иронической улыбкой и вопросительно посмотрел на собеседника.

Адам не шевельнулся. Наступала решительная минута. Днями и ночами думал он, что скажет в обкоме. Сколько было мучительных сомнений, сколько напряженных и тщетных поисков решения. Как он обрадовался, когда вдруг пришло просветление, когда он понял, что именно нужно предлагать! Это не только раздавит, уничтожит их шайку, это само по себе необходимо и справедливо. Да, то, что произойдет, будет истинным торжеством справедливости!

Дни и ночи он думал, как он это предложит, волновался, что его не поймут или скажут: «Хорошо, но позднее». Опасность отсрочки существовала. А если решение отложат хотя бы на один рейс, «те» — Адам всегда в мыслях называл так Прециосу и Прикопа — найдут способ удалить его с парохода, оклеветать других и отвлечь внимание от себя. Значит, все зависит от того, как и что он скажет сейчас...

Он откашлялся и начал:

— У меня, товарищ секретарь, есть одно предложение...

Секретарь все время испытующе глядел на него. Содержание второго письма Прециосу и Прикопа было ему известно: он прочел его членам бюро, и они решили сообща, что инструктора Адама Жору отзывать не следует, что там, может быть, просто боятся критики и потому ни один инструктор не нравится тамошним работникам. Пусть Жора остается пока на месте, а по возвращении напишет доклад. Теперь Жора вернулся, но ведет себя как-то странно. Чего он не договаривает?

Адам вдруг ясно представил себе всех, кто вдали от дома, в вечной опасности трудится на море: Емельяна Романова, Косму, Луку Георге, Ермолая и даже паренька Андрея, который ругался и сквернословил точно так же, как в его возрасте ругался и сквернословил Адам, думая, что выглядит от этого взрослее. Адам думал об их душевном мире, иногда простом и ясном, иногда сложном и смятенном; о жизненной дороге этих тружеников и их детей; о моряках «Октябрьской звезды»; о том, что многие из них десятки лет работали на море за скромную матросскую зарплату, от которой никто еще не разбогател. Думал Адам и о самом себе — о своей загубленной в тюрьме молодости, о потерянной Ульяне.

— У меня, товарищ секретарь, есть одно предложение,— повторил он. — Политическая работа на «Октябрьской звезде» сильно хромает. Есть там и работники, о которых, возможно, понадобится дополнительное партийное расследование...

В ящике письменного стола у секретаря лежало второе и последнее письмо Прикопа Данилова — то, в котором он доносил о «враждебных, антипартийных настроениях товарищей Продана, Николау и Митя» и упоминал о «мерах, которые будут против них приняты». Было странно, что Адам до сих пор ни единым словом не обмолвился об этих настроениях. «Конечно,— думал секретарь,— он человек серьезный и раньше, чем высказаться, хочет быть вполне уверенным, а потом сам потребует расследования. Совершенно правильно».

— Какие работники? — спросил он.

Адам посмотрел в упор.

— По правде говоря,— произнес он,— я предпочел бы, чтобы вы узнали о них не от меня.

— От кого же, в таком случае? — удивился секретарь.

— От коммунистов рыболовной флотилии,— не задумываясь, ответил Адам.

Емельян Романов, который обедал сейчас у себя дома, рассказывая детям всякие небылицы, пока жена весело разливала суп, и не подозревал, что в эту минуту решается его участь. Не подозревали этого ни Косма, ни Ермолай, ни Николау, ни боцман Мариника, ни капитан Хараламб.

Не подозревали этого и Прикоп с Прециосу, находившиеся в эту минуту в бюро пропусков и требовавшие свидания с тем самым секретарем, с которым разговаривал Адам. Не подозревали этого ни Спиру Василиу, который, сидя за своим служебным письменным столом, рассеянно глядел в окно на мачты стоявших в порту судов, ни господин Зарифу, который, подсчитывая столбец цифр у себя на службе, вместо итога поставил стоимость фрахта на зерно в 1938 году да еще в фунтах стерлингов. Никто из них не подозревал, что в эту минуту решается их участь.

— Это связано с моим предложением, товарищ секретарь, — неторопливо сказал Адам.— Уровень добычи рыболовной флотилии гораздо ниже, чем мог бы быть, потому что там плохо налажена и политическая, и профсоюзная работа.

— Почему? — спросил секретарь, радуясь, что он слышит наконец что-то вполне ясное и конкретное.

— В первую очередь потому, что рыбаки не организованы ни по партийной, ни по профсоюзной линии,— с готовностью ответил Адам.— Рыбаки ловят рыбу, а завод делает из нее консервы. Сколько они выловят, столько он продукции и выпустит. Но на заводе, вернее, на пароходе, есть парторганизация, а у рыбаков нет.

— Как так? — спросил секретарь.

— Очень просто: они числятся в своих сельских парторганизациях,— ответил Адам,— получается, что мы считаем их трудящимися крестьянами, а не рабочими промышленного предприятия. Так и по профсоюзной линии. Удивительно ли, что при этих условиях рыбная продукция падает?..

Секретарь задумался и долго, не сводя глаз, смотрел на Адама. Тот, уже не дожидаясь, пока его спросят, продолжал:

— Я предлагаю расширить судовую парторганизацию, чтобы она охватила всех коммунистов рыболовной флотилии. Если окажется, что их слишком много, можно организовать партком. Сделать это нужно как можно скорее, не теряя времени.

Наступило молчание. «У-уу!» — протяжно заревела в порту сирена, вызывавшая лоцмана и буксир. «У-уу!» — было слышно, как где-то прошел поезд. Внизу, на улице, под пыльной зеленью деревьев, что-то кричали.

— Они, естественно, считают себя тем, чем их считаем мы: крестьянами, полупролетариями,— продолжал Адам, видя, что секретарь серьезно задумался. — Мы сами виноваты в их отсталости. Той же отсталостью объясняется и недисциплинированность, и текучесть рабочей силы в рыболовной флотилии.

— Стойте! — перебил его секретарь.— Текучесть рабочей силы! Как вы намерены с ней бороться? От всей вашей парторганизации через год никого не останется. Ни одного! На место прежних прибудут другие!

— Не думаю! — уверенно возразил Адам, стараясь казаться как можно спокойнее, хотя ему было жарко; он чувствовал, что битва почти выиграна.— Не думаю! — повторил он.— В рыболовной флотилии существует ядро из очень хороших людей, считающих себя рабочими, а не крестьянами, не рыбаками в прежнем смысле. Уже сейчас, именно благодаря этим людям, текучесть рабочей силы в рыболовной флотилии снизилась против прошлого года. В будущем она еще сократится, особенно если будет кому вести среди рыбаков политическую работу... Сельские первичные организации не могут этого делать: они не знают проблем рыболовной флотилии и не интересуются ими.

Секретарь снова пристально посмотрел на Адама.

— Ваше предложение мне кажется правильным,— сказал он.

Адаму стоило больших усилий не рассмеяться от радости. Он пришел в такой восторг, что ему захотелось пуститься в неистовый пляс, прыгать, топать, гикать — словно наконец исполнилось то, о чем он, даже не признаваясь самому себе, мечтал всю жизнь, словно ненавистный дом Евтея Данилова со всем, что в нем было, исчез без следа и двор его превратился в поле, в выгон, в пустопорожнее место...

Спускаясь, Адам встретил на лестнице Прикопа и Прециосу, которые с ним раскланялись самым приветливым образом, как со старым другом.

— Когда к нам? — спросили они его с таким видом, который ясно означал: «Мы сейчас идем, чтобы замолвить о тебе словечко в обкоме, да такое, что тебя десять лет никуда на море не пошлют!»

— Не знаю... — ответил Адам. — Пожалуй, теперь в этом нет надобности...

Слова эти, сказанные самым спокойным, любезным и даже веселым тоном, могли означать: «Мне надоело с вами бороться, мне на все наплевать, делайте, что хотите, а я умываю руки». Или: «Я вырыл вам яму, и теперь мне решительно все равно, кто вас в нее столкнет — я или кто-нибудь другой!» Прикоп с Прециосу засмеялись, будто Адам отпустил шутку, хотя их смех прозвучал несколько неуверенно. Они действительно не знали, радоваться или тревожиться. Адам так и расстался с ними, не объяснив загадки, а они пошли наверх, однако медленнее, чем раньше.

* * *

Вечером того же дня группа бородатых рыбаков и кое-кто из молодых — все здоровенные, широкоплечие, обветренные, загорелые, в выцветшей от морской воды одежде — явились на прием к первому секретарю областного комитета партии. Это были коммунисты из рыболовной флотилии, которые пришли требовать единой парторганизации для всей флотилии. От имени всех говорил Лука Георге. Первый секретарь пригласил к себе членов бюро, случайно оказавшихся в сборе, и беседа с рыбаками затянулась далеко за полночь.

За два дня до очередного выхода рыболовной флотилии Прециосу, Прикоп и Продан были вызваны в бюро областного комитета партии, и первый секретарь сообщил, что бюро решило создать единую парторганизацию, которая охватит всех рабочих и служащих рыболовной флотилии. Присутствовавший при этом Адам Жора сидел молча, опустив, по своему обыкновению, руки. Прикоп метнул на него быстрый, как молния, взгляд, но лица его разглядеть не мог — Адам сидел спиной к свету. Ему показалось, однако, что Адам тоже на него смотрит, и взгляды их скрестились.

Прециосу, которому предложили высказаться первым, раньше чем начать, вопросительно посмотрел на Прикопа. Тот незаметно покачал головой.

— Мне кажется, что такая мера нежелательна,— сказал Прециосу.

— Почему? — спросил первый секретарь.

Прециосу принялся пространно и довольно бессвязно излагать свои соображения. Прикоп, потный от волнения, пытался уловить на лицах членов бюро впечатление, которое производят эти доводы. Однако ему удалось лишь подметить, что они никого не заинтересовали и во всяком случае никого не убедили.

Продан попросил слова и сказал, что полностью одобряет предложенные меры и что объединение рыбаков в одну общую для всей флотилии партийную организацию будет иметь самые благоприятные последствия. Говорил он горячо, с убеждением, и трое членов бюро одобрительно кивали головами при каждом новом аргументе.

Чувствуя, что приближается его очередь, Прикоп напряженно думал, что бы еще можно было выдвинуть против предложенного объединения, но так ничего и не придумал, кроме того, что, по его мнению, «предложение следует основательно изучить, обсудить, проанализировать» и так далее.

— А производство будет стоять? — спросил второй секретарь, который накануне горячо защищал это предложение на заседании бюро, доказывая все его выгоды для рыбной промышленности.

— Мы можем развернуть партийную работу среди рыбаков, — сказал Прикоп.

— Как же так? Ведь вы — судовая организация, — совершенно серьезно заметил второй секретарь.

Прикоп понял намек, но прикинулся дурачком.

— Что ж, придется взять на себя и это задание... — сказал он с видом человека, покорившегося судьбе.

— Кто вам мешал сделать это до сих пор? — со смехом возразил второй секретарь. — Бросьте, товарищ Данилов! Если в прошлом малые уловы можно было оправдывать плохой организацией партийной работы среди рыбаков, в дальнейшем такого оправдания не будет. Вам предстоит отвечать перед партией не только за судно, но и за продукцию и за всю рыболовную флотилию!

В другом месте Прикоп не преминул бы с самой невинной улыбкой заметить, что, мол, конечно, «если с нашим мнением не считаются, то мы лучше помолчим», но здесь у него не хватило смелости: в обкоме на такие фокусы рассчитывать не приходилось. Он смолчал.

Было принято решение созвать общее собрание судовой парторганизации в ее нынешнем составе, пригласив на него рыбаков-коммунистов. На этом собрании будут обсуждены отчет прежнего бюро и предложение о расширении первичной организации. Затем состоятся выборы нового бюро.

Прикоп почувствовал, что его песенка спета. Посмотрев на Адама, он снова встретился с ним глазами и ужаснулся. Он вспомнил последний разговор в обкоме и с отчаянием догадался, что неверно понял секретаря. Значит, партийное расследование, предложенное Адамом, касается вовсе не «антипартийных элементов» на судне? Значит, оно относится к нему и Прециосу! Как жил Прециосу раньше, он не знал, зато его собственное прошлое...

Прикоп оглянулся на Прециосу. Тот слушал с глупым видом, совершенно не отдавая себе отчета в том, что неминуемо последует. «Придется с ним серьезно поговорить. Мы еще можем выскочить из этой истории,— подумал Прикоп с новым приливом энергии. — Еще есть люди, на которых можно положиться: Лае, буфетчик, двое-трое из команды. Рыбаков можно будет привлечь на нашу сторону другими средствами — водкой, например. Настроить Симиона, чтобы он с ними поговорил, чтобы старался, соблюдая всяческую осторожность, расположить их в нашу пользу. У нас еще есть шансы...» Если все обойдется благополучно, у Прикопа останется одно единственное желание: как-нибудь подсидеть Адама, заполучить его в свои лапы и свернуть ему наконец шею.

На следующий день Прикоп, впервые за многие годы забыв о конспирации, уехал в Даниловку. Под вечер братья собрались на совет в саду, на лавочке под орехом. Крепко и пряно пахла нагретая за день ореховая листва. Земля была усеяна падавшими с дерева спелыми орехами.

— Я что-то неспокоен, Симион, — сказал Прикоп. — Может выйти крупная неприятность. У меня, конечно, есть свои люди, и на общем собрании дело надо обернуть в нашу пользу. Если это не удастся, то нам не сдобровать.

— Что он может тебе сделать? — мрачно спросил Симион.

Прикоп молчал, задумчиво глядя на темно-синее, как всегда в конце лета, море.

— Как бы там ни было, — проворчал Симион, — а погибнет он от моей руки. Слышишь, Прикоп? И в скором времени — я долго ждать не стану...

Симион говорил шепотом. Было тихо, тепло; заходившее солнце окрасило море в желто-зеленые, потом лимонные тона. Воздух был насыщен запахом ореховой листвы. С дерева упал еще один спелый орех.

— В скором времени, — повторил Симион. — Лишь бы представился удобный случай.

XXXIX

С тех пор Прикоп жил в постоянной тревоге, в постоянном волнении, но, хорошо умея это скрывать, стал даже как-то проще, любезнее с людьми, приветливее, разговорчивее. Именно в те минуты, когда он напряженнее всего думал о приближающемся общем собрании парторганизации и его возможных последствиях, бывал он особенно оживлен и даже, чего с ним раньше не случалось, шутил. Особенно внимательно Прикоп следил за Лае, за буфетчиком и другими своими приспешниками, когда они, отведя в сторону кого-нибудь из матросов или работниц завода, негромко переговаривались. Если поблизости показывались Николау, боцман или Продан, они смолкали или начинали говорить о другом. Все это, не отрываясь от своей работы, украдкой наблюдал Прикоп. Он точно знал, что говорил в таких случаях наученный им Лае: «Смотри, брат, не оплошай, партия доверяет Прециосу и Прикопу. Работники они опытные, испытанные, проверенные на партийной работе. Инструктор их отчего-то не взлюбил, хочет под них подкопаться, а партия — за них. Тому, кто все это подстроил, обязательно нагорит — вот увидите...»

Симион всякий раз, когда возвращался с уловом, нарочно прогуливался по палубе, поджидая брата. Тот, как бы случайно, выходил навстречу.

— Я с ними говорил,— доносил брату Симион, — толковал, что ты — парень дельный, живой, и опять же свой природный рыбак, даниловский...

— Это ты нашим, даниловским, дурак, говорил? — сквозь зубы спрашивал Прикоп.

— Ясно, я дурак — тебя одного маменька умником родила! Да с даниловскими об этом и вовсе разговаривать не стоит. Эти голодранцы нас не очень долюбливают... Я больше сулинских обрабатывал — они с нашими не ладят...

Прикоп, который всячески избегал, чтобы его видели с братом, молча удалялся. Большинство рыбаков-коммунистов были как раз даниловские — те, на которых Симион не мог иметь никакого влияния... «Всем мил не будешь, — старался себя успокоить Прикоп. — На то и борьба, чтобы было два лагеря». По вечерам они сходились с Прециосу, советовались, призывали Лае.

— Ты, брат, не беспокойся,— говорил лебедчик,— мы им покажем... Скажи лучше, кого в бюро вместо Продана выбирать? А?

Из Констанцы пришел давно ожидаемый сейнер с материалами для консервного завода. Их доставил Спиру Василиу — исхудалый, осунувшийся, с глубоко запавшими глазами. Говорил он с какой-то напряженной, нервной, болезненной веселостью. На том же сейнере прибыл Адам Жора с командировкой от областного комитета партии. Он тотчас же заперся с Прециосу и проговорил целых два часа, очевидно, о подготовке общего собрания. Прикоп в ожидании, что его тоже позовут, прогуливался по только что надраенной, еще мокрой палубе и сгорал от волнения и нетерпения. С кормы доносились оглушительные взрывы хохота: рыбаки из пришедших с уловом бригад обступили Емельяна Романова. Прикоп, с деланной улыбкой, подошел к их кружку. Емельян по обыкновению подтрунивал над Ермолаем. Он только что закончил какую-то веселую побасенку о похождениях Ермолая в родной Даниловке и, захохотав первый, ждал всеобщего одобрения. К его удивлению, некоторые обиделись:

— Словно сам ты не наш, даниловский, ишь что про нашего брата рассказываешь!.. Будто у нас на селе одни дураки живут.

Емельян быстро нашелся:

— Разве я говорил, что наши даниловские — дураки? Избави бог! Народ в Даниловке очень даже дошлый. Взять хотя бы товарища председателя, который как раз тут с нами стоит и нашим шуткам смеется. Скажи по

правде, Ермолай, думал ты когда-нибудь, что наш Прикоп большим человеком станет и в партии, и в профсоюзе? Мы все его батьку, Евтея Данилова, знаем и никак этого не ожидали... Умница, значит, оттого в большие люди и вышел...

Прикоп повернулся к Емельяну и добродушно улыбнулся:

— Ну и шутник ты, Емельян... Умеешь, однако, и поддеть... Зато сердце у него, товарищи, золотое, рыбака такого второго не сыщешь!

Емельян сдержанно усмехнулся. Неожиданная похвала испортила ему веселое настроение. С одной стороны, было приятно, что его похвалили, с другой — как будто и неприятно. Он смутился, не зная, что ответить.

— Да, да, товарищи, — тем же добреньким голосом продолжал Прикоп.— Я людей знаю, каждого человека понимаю... Что поделаешь!.. Такая у меня привычка...

Рыбаки натянуто улыбнулись — как шутке, которой улыбаются из вежливости. Прикоп еще постоял с ними, но все молчали.

XL

Адам сделал то, что делают мелиораторы, очищая болото: вырыл канаву, и чистая, быстрая речная вода промыла гнилую, застоявшуюся топь. Земля вокруг снова стала здоровой и плодородной. Но прежде чем найти выход, он много перестрадал и передумал. Он прошел через ненависть, возмущался несправедливостью, страшился возможной неудачи. Чтобы оздоровить судовую партийную организацию, нужны были свежие силы, не тронутые гнилью, не уставшие от напрасной борьбы. Такой свежей силой были рыбаки, и когда Адам понял это, он понял, что нашел единственно правильный путь.

Решительный час настал. В кают-компании «Октябрьской звезды» вперемежку с рулевыми, механиками, кочегарами, масленщиками, работницами консервного завода на расставленных рядами скамейках сидели в своих повидавших виды спецовках лохматые, русобородые, широкоплечие рыбаки. Лица их были жестки от морского ветра, виски около глаз иссечены мелкими морщинами, потому что они постоянно щурились, всматриваясь вдаль, руки огрубели от весел и рыболовной снасти. Адам, сидя за столом, обтянутым красным полотнищем, смотрел и ждал, когда они заговорят.

Прециосу прочел доклад, в котором было много общих слов и несколько раз повторялось, что «первичная организация не уделяла достаточного внимания мобилизации рыбаков». Из доклада получалось, что во всех грехах повинна именно организация — Прикоп и сам Прециосу оставались в стороне. Имена их даже не были названы. Затем шел перечень «достижений»: «велась борьба против командирских замашек некоторых товарищей, в частности старшего помощника капитана Николау и боцмана», «были разоблачены антипартийные настроения товарищей Продана и Митя»...

Представитель областного комитета, присланный специально на это собрание, что-то записывал; Адам ждал, остро чувствуя рядом с собой присутствие Прециосу и Прикопа. Ему не нужно было их видеть — он касался их локтями. Адаму хотелось куда-нибудь убрать локти или отодвинуть стул. Но нужно было молчать и ничем не выдавать себя. И он молча ждал.

Несколько человек подняли руки и попросили слова. Первой поднялась, поправляя косынку на голове, товарищ Митя.

— Кого хочет одурачить Прециосу? — спросила она. — Всем известно, что за упущения в работе парторганизации отвечает бюро. Разве рядовые члены партии мешали ему работать? Докладчик, наверное, думает обмануть товарищей с берега. Разве все коммунисты судна не знают, как

было дело, когда я сказала, что «партия» и «профсоюз» мешают нам работать? Прециосу прикинулся, будто не понимает, что я говорю о нем с Даниловым, выдумал какие-то антипартийные настроения. Но я все расскажу — пусть товарищи из Констанцы знают!

После нее выступил Николау, потом Продан, говоривший страстно, безжалостно, как много перестрадавший и долго молчавший человек. Кроме его голоса, слышно было только жужжание вентиляторов. Люди слушали, затаив дыхание. Все взгляды были устремлены на Прециосу и Прикопа. Но Прециосу с Прикопом глядели в пустоту. Когда Продан кончил, Прикоп бросил быстрый взгляд на Лае. Тот потребовал слова и сразу принялся кричать:

— Товарищи, это не дело! Тут некоторые нападают на товарищей Прециосу и Данилова по той причине, что те их критиковали. Пусть лучше товарищ Продан расскажет, как он подготавливал партийное собрание, когда красил левый борт. Пусть расскажет!

Все повернулись к Продану, который от этого намека, как и на предыдущем собрании, густо покраснел.

— Я могу повторить слово в слово все, что я тогда говорил, — решительно ответил он.

— Мы и так знаем! — пробормотал кто-то в рядах. По голосу люди узнали буфетчика; пользуясь своим малым ростом, он прятался за чужими спинами.

— Не нравится мне все это, — шепнул Адаму на ухо представитель обкома. — Здесь что-то неладно.

Адам утвердительно кивнул, но ничего не сказал.

Наконец, слово попросил Лука Георге. Русый, остриженный бобриком Лука, с носом, обожженным солнцем, поднялся с места, держа в руках картуз.

— Вот что, товарищи, — начал он. — То, что я здесь слышу, мне не нравится. Выходит так, что эти товарищи хотели здесь властвовать, вроде как белуга в море, когда ей попадается косяк скумбрии и она их сразу по три штуки глотает. Коммунисты наши тоже, конечно, виноваты: почему молчали, а когда говорили — не договаривали? — он нахмурился и, немного подумав, продолжал: — Я скажу, как думаю, прямо. Профсоюз знал, что у Емельяна Романова не хватает в лодке человека, но не вмешался. Из-за этого у Романова снижался улов. Профсоюз знал, что у нас нет штормовых фонарей и ночью люди из-за этого могут погибнуть. Но не вмешался, хотя из-за этого потонул Матвей Кирсанов со своей бригадой. Люди потонули! Беда-то какая! Но разве Прециосу с Прикопом проймешь? И завтра, может, еще кто-нибудь потонет. Слышишь, Прециосу? Ты виновен в смерти Матвея Кирсанова! Ты со своим Прикопом! Вы их утопили и других утопите, если мы не вмешаемся!

Он говорил, не торопясь, отчеканивая каждое слово, и когда кончил, нервное напряжение в кают-компании словно разрядилось. Исчезли неуверенность, сомнения, тяжелое, невысказанное раздражение. Теперь многие просили слова и выступали легко, свободно.

Маленький, седой боцман Мариника впервые заговорил во весь голос.

— То, что делают сейчас Прециосу и Данилов, — сказал он, — критиковать воспрещается. Если кто-нибудь осмелится, на другой день в обед его накормят последним или Прикоп вызовет в профсоюз и обвинит в командирских замашках.

— Или в упущениях по работе, — раздался голос из задних рядов.

— А сегодня, — продолжал Мариника,— Лае с буфетчиком обходили корабль и уговаривали всех молчать на собрании...

— Я? Когда это? — завопил Лае.— Вы все свидетели! Ничего я такого не говорил!

— Не говорил, а уговаривал, — послышалось из глубины кают-компании.

Боцман повернулся к Лае:

— Прямо, конечно, не говорил, а намеки твои все поняли! Ты думаешь, что другие глупее тебя, а люди вовсе не такие дураки...

Потемневший, позеленевший от злости Прециосу не выдержал.

— Хорошего не помните! — крикнул он. — Когда товарищ Николау орет на матросов, кто за них заступается? Я! Об этом почему-то никто не говорит! Почему никто не расскажет про капитана, что он не сумел мобилизовать рыбаков, когда они перепились и испачкали всю палубу, как свиньи? Это, по-вашему, правильно?

Обиженные рыбаки сердито заворчали. Николау, бледный, взволнованный, хотел что-то сказать, но его опередил Продан:

— Тут обвиняют товарища Николау за его несдержанный язык — простите, что я так попросту выражаюсь, — но ведь не это тормозит производство! Что касается пьянства... Ведь Прикоп требовал, чтоб буфет был постоянно открыт! Это у него называется профсоюзной работой. А рыбаков за пьянку, конечно, никто не похвалит...

— Зато можно похвалить их за устойчивость в хмелю, — раздался голос из задних рядов

Механик с глубоким шрамом на виске повернулся вполоборота:

— Ты бы уж лучше помолчал, дядя Стелиан!

Продан, заметно волнуясь, продолжал:

— Теперь о капитане. Он всячески старался уговорить рыбаков выйти на промысел. Я сам свидетель. Но, спрашивается, что в этом отношении сделали мы, коммунисты? Что сделал профсоюз? Пальцем не шевельнули! То-то и оно!

Продан, не привыкший произносить длинных речей, сел и вытер пот тыльной стороной руки. Сидевший впереди пожилой рыбак тяжело поднялся с места:

— У меня будет один вопрос: кто в свое время предложил выбрать Прикопа Данилова председателем профсоюза?

Прикоп пристально, как завороженный, глядел на бородача.

— Мы сами, бюро парторганизации, — бросил Продан.

По голосу чувствовалось, что ему неприятно признаваться в этом.

— Та-ак! А кто предложил выбрать его в партбюро организации?

— Прециосу, — сказал механик со шрамом на виске. — Я хорошо помню. Предлагал Прециосу.

— Да и председателем профсоюза он же его выдвигал, — прибавил Продан.

— А Прикоп повсюду проталкивал Прециосу... — с места крикнул боцман.

— Как так «проталкивал»? — воскликнул Прециосу, дрожа от негодования.

Нужно было, спасая себя, попытаться спасти Прикопа.

— Пускай объяснит сам товарищ Прикоп,— сказал кто-то.

Это звучало явной насмешкой.

— Какой там еще «товарищ Прикоп»! — грубо крикнул механик со шрамом. — Пускай объяснит Прикоп! Зови его прямо Прикопом!

— Я что-то не помню, — пробормотал Прикоп. — То есть... я вообще не понимаю...

Прециосу повернулся и, взглянув на товарища, только теперь понял, что Прикоп еще тяжелее, чем он, переживает происходящее. Землистое лицо Прикопа покрылось обильной испариной. Рядом с ним, склонившись над столом, писал что-то представитель обкома. С другой стороны, налево от Прециосу, с невозмутимым видом сидел Адам Жора.

Страх, овладевший Прикопом, вдруг передался Прециосу; воровато и испуганно он снова взглянул на приятеля.

— Опять что-нибудь замышляете? — спросил насмешливый голос из глубины кают-компании.

Прециосу торопливо отвернулся. Положение становилось опасным. Нужно было испробовать самоуничижение. «Кажется, совсем влипли — беда!» — подумал Прециосу и хриплым голосом спросил:

— Кто еще просит слова?

Желающих не было. Выступили почти все присутствующие.

— Может быть, вы хотите что-нибудь сказать? — холодно обратился к Прециосу представитель обкома, отрываясь от бумаги.

Прециосу машинально встал, не зная, что говорить. На языке почему-то вертелись слова о борьбе рабочего класса, хотелось напомнить о своем прошлом. Но ведь люди ждут разговора о недавнем времени, о том, что происходит сегодня.

— ...Я ошибался, товарищи... я ошибался... Меня толкали... — с трудом выговорил он, обливаясь потом.

— Кто вас толкал? — резко спросил Адам.

Прециосу еще более побледнел и как-то неловко оглянулся на Прикопа. Встретив его мертвый, безразличный, ничего не говорящий взгляд, он отвернулся.

— Кто вас толкал? — повторил резкий голос.

Прециосу нерешительно показал в сторону Прикопа:

— Он...

— Кто? Прикоп Данилов?

— Да... — вздохнул Прециосу и сел.

— Вы больше ничего не имеете сказать? — спросил представитель обкома.

Прециосу пожал плечами.

— А вы? — поворачиваясь к Прикопу, сказал представитель областного комитета.

— Я, товарищи, — сказал Прикоп, вставая, — я, товарищи, служил народу... — и он слегка ударил себя в грудь. — Если кто имеет что-нибудь против меня, пусть откровенно выскажется, пусть скажет, товарищи, как я относился к партийной работе! Искренне говорю вам, пусть подумают товарищи, которые меня критикуют, не ошибаются ли они сами, не обвиняют ли ни в чем не повинного человека?..

Слова, произнесенные с дрожью в голосе, казались взволнованными.

Кухарка растрогалась.

— Не думаю, чтобы он был плохой человек...— шепнула она боцману.

— Не думаешь? Наверно, смекалка заржавела, — проворчал Мариника.

— Моя вина заключается только в том, — продолжал Прикоп, — что я не указывал Прециосу на его ошибки... В этом я виноват, и за это вы вправе обвинять меня...

Было странно видеть, что он чувствовал облегчение от своей исповеди, радовался возможности признать свои ошибки. От его привычных, убаюкивающих слов кают-компания словно успокаивалась. Прециосу утирал вспотевшее лицо. А Прикоп все говорил и говорил, бичуя себя и как бы любуясь не то своими ошибками, не то своим раскаянием.

Собрание терпеливо слушало; Адам, закусив губу, некоторое время напряженно думал, а потом вдруг рассмеялся своим прежним, озорным, дразнящим смехом, каким смеялся когда-то, когда был упрямым, своенравным, драчливым мальчишкой.

— Вы кончили? — громко спросил он.

— Не совсем... — пробормотал Прикоп.

— Можете сообщить что-нибудь новое? Что-нибудь конкретное?

Прикоп заколебался. Адам обратился к собранию:

— Товарищи, вы удовлетворены такой самокритикой?

В первый момент никто не отозвался. Всех утомила, почти укачала бессодержательная болтовня Прикопа. Только боцман Мариника проговорил недоуменно:

— Ведь он по существу ничего не сказал!..

Адам, внимательно следивший за всем происходящим, теперь весь подтянулся. Приближалось решительное столкновение, нужно было вскрыть гнойник до конца.

— Послушайте, товарищи, — сказал Адам. — Подумал ли кто-нибудь из вас о том, в чем заключалась роль Прикопа Данилова на этом судне? Все его разговоры — чистейшая демагогия. А по существу он сознательно спаивал рыбаков, поощрял разгильдяйство и анархию. Верно?

Люди переглянулись — верно!

— Его прямым долгом была организация социалистического соревнования, а он его проваливал. По его милости рыбаки целыми днями и даже неделями сидели на базе — значит, производство он тоже тормозил. Ту частицу государственного плана, которая приходилась на его долю, он всячески срывал!

Собрание оживилось. Простые и ясные слова Адама слушали с напряженным вниманием. Прикоп изменился в лице:

— Товарищи... — снова заговорил он, — я сам не знал, что делаю... Я не хотел...

Адам встал и ударил кулаком по столу:

— Всякий может сказать: «Я не хотел!» Поняли вы теперь, что такое Прикоп Данилов? Дело нешуточное! Вы думали, он просто обленился и подлаживался к людям? Нет, не только это! Тут пахнет другим, поняли?

Страстность его тона подхлестнула собравшихся.

Прикоп в ужасе отпрянул назад.

— Товарищи! — завопил он. — У меня этого и в мыслях не было! Я простой матрос, товарищи, всю жизнь был простым матросом!

Страшный испуг перешел у него в крайнее возбуждение. Рванув на себе рубаху, словно собираясь разорвать ее на груди, Прикоп бессвязно повторял:

— Товарищи! Верьте мне... от чистого сердца, товарищи...

— Конкретнее! — холодно остановил его представитель обкома. — Говорите конкретнее.

Тяжело дышавший Адам закрыл лицо ладонями и облокотился на стол. Ему вспомнилась тюрьма, удушливая вонь камеры, потом пыльная улица Даниловки и полуразрушенная хата под ветлами. «Бабушка Аксинья? Она померла...» — ответил ему тогда один из игравших на пыльной улице мальчиков. А Ульяна? Как она говорила: «Я не могу больше, Адам... не могу...»

Когда, пересилив себя, Адам немного успокоился и отнял руки от глаз, в кают-компании начали называть кандидатов в новое партбюро. Назвали Луку Георге. Никто не возражал. Потом Продана. Встали один рыбак и один механик — почему Продан молчал, не доводил всего, что знал, до сведения обкома. Предложили боцмана Маринику. Лае — нахальный и ничем, по глупости, не смущавшийся — высказался против. Предложение поставили на голосование, и Маринику выбрали. Кроме него, выбрали заведующую консервным заводом, старшего помощника Николау и одного рыбака из бригады Романова.

Представитель областного комитета партии передал Адаму записку: «Партийное расследование о Данилове и Прециосу. Согласны?»

— Я давно полагал, что без этого не обойтись... — шепотом ответил Адам.

Он откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул.

XLI

Когда Прикоп выходил из кают-компании, его трясло, как в лихорадке. Даже походка у него отяжелела, словно с тех пор, как началось собрание, он постарел на десять лет. Медленно переставляя ноги со ступеньки на ступеньку, он поднялся по трапу на палубу. Тяжело дыша, за ним по пятам шел Прециосу. Пройдя мимо разговаривавших в темноте рыбаков, они очутились на палубе, где никого не было. Прикоп чувствовал страшную усталость. Он знал, что не заснет, знал, что продумает всю ночь об угрожающих ему опасностях, о полном неизвестности будущем, о возможностях защиты. Но все напрасно. Он ничего не придумает, не найдет никакого выхода, его уставшая после собрания голова плохо работает. И все-таки он будет думать и мучиться всю ночь. Прикоп остро почувствовал свое одиночество. Раньше у него бывали приятели. Но вот уже много лет, как никого не осталось. Он обманул на своем веку слишком много людей и сам слишком часто бывал обманут, чтобы верить кому-нибудь. Теперь он готов был расстаться и с Прециосу, единственным человеком, с которым его еще связывали общие интересы и планы, с единственным человеком, с которым он часто и подолгу беседовал, которого он сбивал с толку своей болтовней, своими мыслями, подчас слишком смелыми для Прециосу. Теперь этот Прециосу оказался тряпкой... Трусом и тряпкой.

Посмотрев вслед Прикопу, Прециосу хотел догнать его, но раздумал — это было опасно. Он прошел в свою каюту и заперся с твердым намерением напиться.

Все были уверены, что Прикопу и Прециосу не миновать партийного расследования. Об этом не говорили, но каждый чувствовал, что так должно быть.

Однажды на палубе, у правого борта с подветренной стороны, старший механик что-то рассказывал, окруженный матросами и рыбаками. Снизу, из люка машинного отделения, где работали, обливаясь потом, голые по пояс механики, поднимался горячий воздух, насыщенный запахом отработанного машинного масла. Подошел Прикоп и встал тут же, прислонившись к переборке. Люди посторонились, избегая его. Он понял это, но не шевельнулся, прислушиваясь к разговору с натянутой, наглой улыбкой.

Старший механик не обратил на него никакого внимания. Он вглядывался в морскую даль, туда, где под фиолетовой дымкой двигались и струились зеркально-серебряные полосы, уходившие к сверкающей границе горизонта.

— Мне тогда надоело быть честным, — рассказывал Стяга, со своей грустновато-насмешливой улыбкой. — Я не торопился и хорошенько все обдумал. Что, вы думаете, я решил? Стать пиратом! Так и решил: «Ты, брат, станешь пиратом. Довольно быть порядочным человеком. Посмотрим, повезет ли тебе на новом поприще». Сказано — сделано. Что вы смеетесь? Вы думаете, что-нибудь изменилось в моей наружности? Нисколько. Честные люди не замечали во мне никакой перемены. Только негодяй комиссионер, работавший для пароходного общества «Сокони», пронюхал, что я переменился. Как он узнал, до сих пор не понимаю. Ведь я ничего еще не сделал, мне только осточертело полунищенское существование. И вот этот самый комиссионер разгадал мои намерения. Мы тогда

стояли в Стамбуле и разгружали нефть, привезенную из Констанцы. Комиссионер встретил меня — будто случайно — в кабачке, отвел в сторону и без особых предисловий предложил отправить к чертям на дно «Арабелу Робертсон». Хотя я был готов на всякие злодеяния, однако, услышав это предложение, остолбенел. Комиссионер прищурился и прошипел мне в ухо: «Тысяча долларов!»

Но мне все-таки было ее жаль. Пожалуйста, не воображайте, что это был парусник, белый, стройный с высокими мачтами, который, слегка накренившись, легко скользил по волнам, подгоняемый ветром, как сказочный корабль, как восемнадцатилетняя красавица... Нет, это был старый, уродливый, черный, облезший танкер, с уставшей машиной, с ослабевшими клепками... В кубрике, где помещался экипаж, на стенке висела аптечка. По облатке на каждого. Яд. Цианистый калий. На случай пожара — чтобы не сгореть живьем. Ведь когда горит нефтеналивное судно, даже вода не спасает: растекшиеся по ней нефть или бензин сразу воспламеняются... Чего молчите? Так полагалось. Такое «лекарство» имелось на всех танкерах... Но мне все-таки было жалко топить «Арабелу Робертсон». Я проплавал на ней столько лет! Столько славных ребят рисковало на ней жизнью из-за куска хлеба... «Господин Папазоглу, ответил я комиссионеру, мне совесть не позволяет». — «К чертовой матери! — сказал он. — Причем тут совесть? Полторы тысячи долларов!» — «Господин Папазоглу, мне страшно жалко „Арабелу Робертсон"...» — «И мне тоже,— заверил комиссионер. — Но она застрахована на очень крупную сумму, во много раз превосходящую ее реальную стоимость. Если вам удастся ее потопить, но так, чтобы ничего нельзя было доказать, вы получите две тысячи долларов. Золотом!»

Что было делать? Купил я у одного пьяницы капитана три заряда динамита. «Арабела» шла порожняком за жидким топливом в Констанцу. Дело было зимой.

Во время моей вахты в машинном отделении — я был тогда третьим механиком — я протянул электрические провода и заложил куда следует динамит. Никто ничего не знал, кроме меня да одного бандита масленщика, вашего даниловского или журиловского липована*. Не спрашивайте, как его звали, я забыл.

Все было готово, но я все еще никак не мог решиться. Да и боялся, конечно, что мы все взлетим на воздух. Общество и Папазоглу о нас не пожалели бы. Пожалуй, наоборот. Страховые деньги они все равно получили бы, а от хлопот, опроса свидетелей и прочего избавились бы.

Мы приближались к Констанце. Нужно было решиться. Барометр падал, но ждать я больше не мог; если исполнить задуманное на обратном пути — с грузом, мы все сгорим живьем.

И как-то ночью, когда «Арабела Робертсон» скрипела по всем швам, раскачиваясь на волнах, и в машинном отделении не было никого, кроме меня да этого мерзавца масленщика, я взялся за детонатор — бах! Судно тряхнуло и сразу раздался второй взрыв: бах! Я застопорил машину, так как от сотрясения у нас испортился винт, и бросился будить команду: «Вставай, ребята, спускай шлюпки — тонем!» Капитан у нас был англичанин, пьян в стельку, старший помощник — Спиру Василиу, тот самый, наш, трестовский; другие офицеры — из Голландии, команда — всех национальностей. Кое-как загнал я их в шлюпки, которые прыгали на волнах, ежеминутно рискуя разбиться о корму и погубить весь экипаж.

Обождав минуту, я снова побежал вниз и еще раз дернул за рубильник... Бах! — взорвался третий заряд динамита. Бедная «Арабела» только этого и ждала. Дрогнув в последний раз, она стала быстро крениться. Я выскочил на мокрую палубу: идти по ней было так же трудно, как по

* Липоване — русские старообрядцы, живущие в устье Дуная.

крутой крыше. В полной тьме я поднялся на левый борт и увидел удалявшиеся шлюпки: одна была в ста саженях от судна, вторая еще дальше. И на каждой из них думали, что я в другой шлюпке.

«Арабела Робертсон» дрожала у меня под ногами. Вода наполняла ее с бешеной скоростью. Я охрип от крика... Не знаю даже, вылетал ли под конец из моей груди хоть какой-нибудь звук. К тому же я совершенно закоченел — было страшно холодно. Я стоял и трясся от холода, ожидая минуты, когда «Арабела», пойдя ко дну, образует страшный водоворот, из которого мне не выбраться.

И тут я увидел третью шлюпку. Обогнув танкер, она прошла под кормой и оказалась у левого борта — с наветренной стороны. Я прыгнул в воду — это было в декабре — и поплыл с такой быстротой, что наверно выиграл бы мировой чемпионат по плаванию. Они взяли меня в шлюпку... Двое суток нас носило по морю и наконец выкинуло на песчаную отмель в Турции. Мы чуть не потонули на глубине полутора метров из-за прибоя...

Дальше — дознание в Стамбуле, прокурор, агенты страхового общества, опрос свидетелей. Я заболел воспалением легких. Наконец все кончилось. Все получили наградные от «Сокони», поскольку страховое общество уплатило полностью. Я, еле волоча ноги после болезни, отправился к Папазоглу. Он куда-то спешил.— «Ага! — говорит,— как поживаете, молодой человек? Приходите завтра». — «Как так завтра? — возмутился я.— Дайте мне мои две тысячи долларов золотом. За то, что мне пришлось испытать, мало двух миллионов, не то что двух тысяч!» — «Слушайте, молодой человек, — сказал господин Папазоглу, — «Арабела Робертсон» потонула из-за своего преклонного возраста и общей изношенности. Это явствует из дознания. К тому же вы сами это заявили». И пригрозил мне полицией.

Я вышел из себя и взял его за горло: «Господин Папазоглу, говорю, вы мне заплатите, потому что я поступился совестью и рисковал жизнью из-за ваших грязных делишек. Моя душа в эту минуту — отхожее место. Поэтому, если вы со мной не рассчитаетесь, я убью вас на месте, а там будь что будет. Выкладывайте деньги!»

Папазоглу обомлел. «Стойте, дружок, говорит, раз вы говорите, что подвергали себя опасности... я, так и быть, уделю вам что-нибудь из своих личных средств... клянусь здоровьем детей — я только что собирался купить бедняжкам обновки, — у меня больше нет, примите от чистого сердца...»

Он сунул мне двести долларов. С горя я пропил их до последнего цента и в ту же ночь стал искать другой службы... Но самое забавное — это масленщик. Он явился ко мне на следующее утро и потребовал денег: «Дайте мне тысячу долларов!» — «Как так? — говорю. — Я обещал сотню». — «Не все ли равно. Давайте тысячу, а то я выдам вас кому следует».

Мы вместе пошли к Папазоглу, и тот отделался еще пятьюдесятью долларами. Не стану рассказывать, что он напел моему масленщику, как заговорил ему зубы. С похмелья у меня трещала голова. Я стоял, слушал, смеялся и стонал. От смеха у меня трясся мозг и головная боль становилась невыносимой...

Старик снова улыбнулся своей грустновато-насмешливой улыбкой.

— После этого, дядя Стяга, вы больше не пробовали разбойничать?— спросил Константин.

— Нет, голубчик, не пробовал. Неподходящее это для меня дело. Тут нужны особые способности. А я уж лучше, как был, так и буду — по своей части... Видишь, какое богатство скопил: пару рваных брюк. Фиу-фиу-фи!

На море спустились сумерки. Лиловая дымка на горизонте стала пепельно-серой, ее пересекли длинные пурпуровые полосы. Вода, в которой они отражались, сверкала пурпуровым зеркалом. Воздух был тих, ласков, неподвижен. Обогнув с кормы «Октябрьскую звезду», к ней подошло, скользя вдоль ее левого борта, красивое, стройное судно.

— А вот и «Филимон Сырбу» с коробками! — крикнул Николау с командного мостика. Все бросились к борту — смотреть, как сейнер медленно приближается к пароходу, как его команда бросает грушу, как он швартуется к «Октябрьской звезде».

Вскоре на баке загремели лебедки, команда сейнера разгружала ящики с пустыми блестящими банками для консервов. Константин включил прожектор на левом борту, и стало слышно, как он распоряжается приемкой груза.

Старший механик все еще сидел на люке и глядел вдаль. Из всех его слушателей остался один Прикоп, по-прежнему стоявший поблизости, прислонившись к переборке. Старик был погружен в глубокое раздумье и, казалось, вовсе не замечал Данилова. Но вдруг повернулся и, рассмеявшись, спросил:

— А ты, верно, боялся, что я возьму да и скажу, кто был этот самый масленщик?

Прикоп достал из кармана платок, вытер им лицо и пожал плечами:

— Чего мне бояться? — сказал он, со страшным напряжением выговаривая слова.

— Врешь... боялся...

Прикоп быстро оглянулся и шагнул к старшему механику. Тот ухватился за поручни трапа, ведущего в машинное отделение.

— Смотри, не пытайся перекинуть меня за борт, иначе тебе не сдобровать, — предупредил старик. — Слушай, Прикоп, я дам тебе хороший совет: убирайся отсюда подобру-поздорову. Спишись на берег. Мне не хотелось бы трогать человека, который был со мной на «Арабеле». Но я хорошо помню, как в Гамбурге, когда пырнули ножом Мареша и он приполз к тебе чуть живой, ты его к себе не пустил. С тобой была девка, и ты не пожелал беспокоиться. А помнишь, как ты зарезал датчанина на Мальте? Ты сволочь, Прикоп! — сказал он, не повышая голоса и словно сообщая ему что-то по секрету. — Ты отъявленная сволочь. Убирайся отсюда ко всем чертям. Даю тебе месяц, чтобы устроиться на другую службу. Если не послушаешься, я расскажу про тебя твоим коммунистам, и ни один черт тебе не поможет!

Прикоп молчал, судорожно сжимая зубы.

— Понял? А теперь ступай к чертовой матери! — без всякой злобы докончил старик.

Прикоп яростно выругался и пошел прочь. В голосе его звучали бешенство и отчаяние.

* * *

Одним из первых последствий партийного собрания оказались перевыборы председателя судового профсоюзного комитета. Этого потребовал и прибывший из Констанцы инструктор профсоюза. Созвали профсоюзное собрание, на котором Маргарита Киву пожаловалась, что к ней приставал Прециосу, и кинула в физиономию Прикопу полученную по его настоянию премию.

— Знаю я, зачем ты мне ее дал! — кричала она. — За своего дружка Прециосу хлопотал? Я хуже других работала...

Она заплакала, и Прикопу не оставалось ничего иного, как подобрать брошенные деньги.

Рыбаки горько жаловались на тот отдел треста, где хозяйничал Спиру Василиу: бригады, в которых недоставало людей, месяцами не пополнялись; месяцами флотилия не получала нужных материалов. Снова вспомнили гибель Матвея Кирсанова. Фонарей по-прежнему не было. Инструктор профсоюза все это записал и послал радиограмму в трест. Начальник рыболовной флотилии вызвал к себе Спиру Василиу.

— Такие служащие, как вы, нам не нужны, — закончил он короткое объяснение. — С завтрашнего дня можете не являться на службу.

— Как прикажете, — покорно проговорил Спиру.

— Вы свободны.

— Честь имею кланяться, — пробормотал Спиру Василиу и, на цыпочках выбравшись из кабинета, тихонько прикрыл за собой дверь.

Когда-то он был старшим помощником капитана на «Арабеле Робертсон», когда-то у него было много денег, когда-то он был красавцем и молодцом и самоуверенно покрикивал на барменов, матросов, комиссионеров, проституток. Но тот Спиру Василиу умер. Его больше не существовало.

XLII

За последнее время Спиру Василиу похудел и осунулся. Глаза его из-за бессонных ночей горели странным, болезненным блеском, сердце сжималось от беспокойства, не оставлявшего его ни на минуту. До сих пор Василиу не знал, выйдет ли за него Анджелика, любит ли она его. Счастье казалось ему близким, когда Анджелика бывала к нему ласкова, хотя сдержанность и некоторая таинственность никогда ее не покидали. Но на следующий день все менялось: девушка держалась как чужая и бывала с ним холодна, насмешлива и даже враждебна.

Она целыми вечерами не выходила к нему, ссылаясь на плохое самочувствие или головную боль. В такие вечера он поневоле довольствовался обществом господина Зарифу, который теперь тоже иногда обращался с ним холодно, чуть ли не презрительно.

— Анджелика, — говорил он, — не может больше ждать. Около нее увиваются разные шалопаи — правда, из теперешних,— прибавлял господин Зарифу.

Одержимый навязчивой идеей, он говорил это нарочно, чтобы произвести впечатление на Спиру, и вполне преуспевал в этом.

— Я ее, конечно, берегу, даю ей хорошие советы, — продолжал Зарифу в припадке откровенности. — Я-то знаю, какая была бы у нее жизнь, будь я богат, знаю, зачем ей нужно себя беречь, но она еще так молода, Спиру, так неопытна! Все, что я говорю, кажется ей сказкой, мечтой. Ведь она не знала той жизни — обильной, богатой, элегантной, какую знали мы с тобой. Понимаешь? И я боюсь, как бы в один прекрасный день она не наделала глупостей...

— Что мне делать? Как быть? — с отчаянием восклицал Спиру Василиу. — Не могу же я превратиться в пароход! Украсть пароход? Но как? Как?

Выйдя на лестницу, Спиру Василиу хватался за голову. Потом бесцельно бродил по улицам Констанцы, забирался в кабачок к Панайтаки и просиживал там целыми часами перед четвертью литра цуйки, пока хозяин его не выгонял. Тогда он шел к себе на квартиру и ложился, но заснуть не мог и долго ворочался с боку на бок. Проходило два-три дня, Анджелика меняла гнев на милость, и Спиру снова парил в небесах. Впрочем, гораздо чаще Анджелика бывала в дурном настроении, и тогда Спиру казалось, что больше он не может терпеть эти капризы. Иногда ему даже приходила в голову мысль покончить с собой, но одна улыбка, один

взгляд черных, глубоких глаз Анджелики переполняли его восторженной и рабской радостью.

В один из таких счастливых дней он купил билеты в цирк и пригласил Анджелику, которая по этому случаю нарядилась в узкое розовое шелковое платье с короткими пышными рукавами. Розовый цвет шел к ее черным волосам, но само по себе платье было безвкусно, и Спиру Василиу не мог удержаться от гримасы. Он на своем веку видел немало хорошо одетых женщин и в прежнее время ни за что не решился бы появиться в общественном месте с дамой в таком наряде. Он старался не глядеть по сторонам, но не мог не чувствовать на себе любопытных, а иногда и насмешливых взглядов окружающих.

После цирка они отправились есть мороженое в ресторан «Морские чары».

— У нас будет много денег — у твоего папы и у меня, — говорил он, усаживаясь за столик. — Мы будем одевать тебя у лучших парижских портных.

— Все это сказки! — улыбалась Анджелика. — Какие деньги?

— Увидишь, — твердил Спиру. — Деньги у меня были и будут, так же как и у твоего отца. Ты будешь одеваться у лучших портных, дорогая, будешь ездить на примерку в их роскошные салоны, где нога утопает в толстых, пушистых коврах. Откуда-то струится мягкий свет, воздух насыщен ароматом тонких духов. Закрой глаза и представь себе все это... Примерка кончена, ты спускаешься на улицу, где тебя ждет сверкающая, роскошная машина. Веду ее я. Мы катим по бульварам к Елисейским полям... Ах, Анджелика, если бы ты знала, что такое Париж!.. Париж — это божий рай для человека с деньгами... В молодости я был глупцом. Меня не интересовали деньги... Но теперь для тебя я скоплю горы золота, и ты будешь у меня так же богата и элегантна, как любая из женщин, которых можно встретить в больших международных отелях. Ты сможешь вести шикарную жизнь в одной из таких гостиниц, где нам будут отведены целые аппартаменты; мы познакомимся с мировыми богачами, нас будут приглашать на приемы, где ты встретишь знаменитых киноартистов, модных художников и нашумевших в Париже писателей. Все будут любоваться твоей красотой... твоими нарядами... потому что ты действительно будешь хорошо одета, — закончил он с улыбкой, боясь рассердить свою капризную спутницу.

Анджелика медленно ела мороженое, погрузившись в свои мысли.

За «Морскими чарами» начинался порт. Отсюда виднелось здание Морского вокзала, за ним мачты, столбами поднимавшийся в небо дым и высокая, как дом, корма грузового парохода, стоявшего у пристани против Морского вокзала. Спиру без умолку болтал, упиваясь собственным красноречием, воскрешавшим его воспоминания о том блестящем мире, который теперь, когда он о нем рассказывал, представлялся ему выдуманным, ирреальным, обманчивым, как ежеминутно готовый исчезнуть мираж. Настоящий, реальный мир был здесь, вокруг него: бетонная пристань; сердитое море, безжалостно колотившее волнорез; дымившие в порту грузовые пароходы; горластые юноши с засученными рукавами, пившие пиво за соседними столиками...

То, о чем он рассказывал Анджелике, было так далеко... Да и существует ли еще все это на самом деле? Держится ли еще на своих непрочных ходулях весь этот призрачный мир роскоши и наслаждений? Одного толчка, одного порыва ветра достаточно, чтобы он рухнул, рассыпался на мелкие обломки. «Сколько еще времени это может продлиться? — с тревогой спрашивал себя Спиру Василиу.— Хоть бы хватило на мой век!..»

Он положил свою руку на руку Анджелики.

— Ты любишь меня? — прошептал он, наклоняясь к девушке.

Она выдернула руку и, не отвечая, продолжала есть мороженое. Спиру, перегнувшись через столик, почти вплотную приблизил свои губы к ее губам.

— Знаешь что? Давай поженимся. Чего еще ждать? Нет никакого смысла откладывать... Я с завтрашнего дня займусь подготовкой бумаг. Хочешь?

Анджелика стала вдруг очень серьезной и даже положила свою ложечку на стол.

— Ты мне позволишь завтра же начать формальности? — повторил Спиру, блаженно улыбаясь.

— Ни в коем случае! — сказала Анджелика так резко, что сама, спохватившись, заставила себя прибавить: — Подождем еще немного... может быть, дня через два, через три...

Спиру позеленел. Две девицы, сидевшие несколько поодаль от них с воспитанниками морской офицерской школы, шепнули что-то своим кавалерам. Те оглянулись и засмеялись, потом начали оживленно о чем-то разговаривать, то и дело поглядывая на Спиру с Анджеликой и покатываясь со смеху. Спиру был так расстроен, что ничего не замечал, но Анджелика побледнела и даже изменилась в лице.

— Плати и пойдем, — проговорила она чуть слышно, — скорее!

В ее глазах стояли слезы. Не дожидаясь, пока он расплатится, она встала и пошла между столиками к выходу, сопровождаемая восхищенными взглядами моряков, пивших пиво. Спиру пришлось долго ждать официанта. Наконец, расплатившись, он бросился бегом за Анджеликой и едва догнал ее под соснами, уже над казино. Она, очевидно, торопилась домой. Он взял ее под руку и почувствовал упругость молодого тела и нежную, прохладную кожу.

— Что случилось, Анджелика? — спросил он, запыхавшись, потому что ему пришлось бегом подниматься по лестнице, а годы были уже не те. — Что с тобой, дорогая?

— Ах, оставь меня в покое! — крикнула Анджелика, вырываясь. — Пусти, наконец!

Она повернулась к нему спиной и быстро зашагала дальше. Спиру бежал за ней, бормоча что-то испуганным, умоляющим голосом. Прохожие оглядывались на них. Анджелика упрямо шла вперед, покусывая губы, и задержалась лишь на мгновение у своего подъезда.

— Оставь меня в покое, слышишь! Мне наскучили твои сказки! — решительно объявила она и убежала наверх.

Было слышно, как хлопнула дверь и в замке щелкнул ключ. Спиру уходил в величайшем смятенье. «Что мне теперь делать? — твердил он вполголоса. — Боже мой, боже мой, что мне делать?»

Он остановился, озираясь по сторонам. Куда идти? Домой? Но он чувствовал, что сейчас в четырех стенах немудрено сойти с ума или покончить с собой. «Что говорила Анджелика? — вспоминал он.— „Может быть, дня через два, через три...", но разве так говорят влюбленные девушки?» Когда-то, давным-давно, когда Спиру был маленьким и ему случалось заболеть, мать заставляла его глотать горькую микстуру. «Подожди немножко, мама, упрашивал он, я приму, только не сейчас, пожалуйста, не сейчас...» Сомнений быть не могло: Анджелика его не любит, иначе она бы так не говорила. «Может быть, тут другое? — мелькнуло у него в голове, и сразу, несмотря ни на что, снова появилась надежда — безумная, проклятая, упрямая надежда: — Может быть, ей просто надоело жить в мечте? Ведь она так и сказала: „Мне наскучили твои сказки!" Это могло означать, что она думает о деньгах, о замужестве с богатым человеком...» Он, Спиру Василиу, еще может разбогатеть, лишь бы осу-

ществились планы, которыми он прельщает Зарифу. Будь он при деньгах, при больших деньгах, Анджелика вышла бы за него, не задумываясь. По расчету, без любви, но вышла бы. Спиру был готов на все, лишь бы овладеть Анджеликой: от мысли, что Анджелика может достаться другому, у Спиру сжимались кулаки. Красный, с вздувшимися на висках венами вошел он к Панайтаки, решив напиться, чтобы забыть свое горе.

Ни на кого не глядя и ничего не видя, он уселся за столик, облокотился, сжав голову ладонями, уставился сумасшедшими глазами в грязную скатерть.

Хозяин принес четверть литра цуйки, и Спиру проглотил ее одним духом, но, ничего не почувствовав, понял, что в этот вечер не удастся напиться. Он был слишком возбужден, слишком близок к чему-то, чего сам еще не сознавал. Алкоголь в этом состоянии мог только прояснить его мысли, открыть ему глаза на окружающее. Первым, кого он увидел, подняв голову, был Прикоп Данилов. Их разделял незанятый столик. Прикоп сидел в глубоком раздумье, хмурый, с неподвижным, словно окаменевшим лицом. Перед ним, немного сбоку, стояла бутылка с зеленоватой жидкостью. Взгляды их встретились, но Прикоп не отвернулся: Данилов в эту минуту не особенно дорожил одиночеством.

— Что с тобой? — хрипло спросил Спиру.

— Да вот пью, так же как и вы. Воспользовался сейнером и съехал на берег, а к вечеру должен быть обратно на пароходе.

— Один?

— Один.

— Бери бутылку и пересаживайся сюда, — коротко приказал Спиру. — Как твои дела?

Прикоп пожал плечами:

— Плохо.

— Выгнали из партии?

Прикоп, не отвечая, играл подобранным на столе огрызком хлеба, пока не размял его пальцами.

— Мерзавцы, негодяи! — прошипел он сквозь стиснутые зубы. — Сукины дети, так их...

Он длинно и отвратительно выругался.

— Я перед вами не таюсь, — с коротким смешком вновь заговорил Прикоп, — потому что вам на своей службе тоже не усидеть да и знакомы мы... давненько!

— С «Арабелы».

— Да, с «Арабелы».

— А неплохо было на «Арабеле», — сказал Спиру со злобной усмешкой, похожей на волчий оскал. — Совсем неплохо!

Прикоп вздохнул.

— Слушай, Прикоп, — неожиданно страстно заговорил Спиру. — Мы с тобой были дураки, форменные дураки. В рожу нам за это нужно плюнуть, и того мало! Жили со дня на день, от одного барыша до другого. Когда деньги кончались, опять что-нибудь выдумывали и опять сидели и пьянствовали до следующего случая... Идиоты! Я, брат, знаю рулевых, как ты, у которых теперь собственные дома, имущество, капитал...

— Где? — спросил Прикоп.

— Черт их знает... в Барселоне.

— Эти возили женщин... торговали живым товаром, — спокойно подтвердил Прикоп.

— Неважно, чем они занимались. Важно то, что они скопили себе капитал и теперь живут припеваючи. Если бы представилась возможность, ты разве погнушался бы?..

Прикоп пожал плечами:

— Ничем бы я не погнушался. За деньги? Что угодно, и еще немножко! Готов хоть...

Он не договорил, на что именно готов.

— Ты знаешь, — продолжал Спиру, — до «Арабелы» я служил на турецком судне, тоже старшим помощником. Первое время я все удивлялся, почему капитан сам наблюдает за погрузкой? Потом, уже присмотревшись ко мне, он объяснил: мы, оказывается, возили гашиш. Весь остальной груз был для отвода глаз. Я, по глупости и молодости, довольствовался подачками в несколько десятков фунтов стерлингов за каждый рейс, а капитан умер миллионером. Сколько раз, если подумать, мне представлялись интереснейшие возможности, а я, как слепой, проходил мимо! — проговорил он сквозь зубы с сосредоточенной злобой. — Потерянные годы! Вот теперь и сижу на мели. Можешь полюбоваться!

— Вам нельзя жаловаться, — сказал Прикоп. — Хоть голодно, но спокойно. Побыли бы вы в моей шкуре! И, главное, я работал с ними честно, могу сказать — честно служил партии. Да, да, не смейтесь! А они накинулись на меня, как бешеные псы. Особенно этот Жора. Как проказа! Вот уже десять лет, как он ждет не дождется случая меня потопить. Теперь я попался ему в лапы и он, конечно, не постеснялся. Ну и наиздевались же они надо мной, и натешились! Словно я не человек, а последняя собака, которую пинком выкидывают за дверь... Но ничего!.. Будет и на моей улице праздник, рассчитаюсь я с ними. Уж не помилую, без крови не обойдется!

Они говорили вполголоса, вплотную придвинувшись друг к другу.

— Э, брось! — махнул рукой Спиру. — Кому ты теперь нужен? Ни тем, ни этим. Песенка спета.

— Сам знаю. Но неужто не найдется лазейки? Я через любую пролезу. Я живучий, так просто не околею, — в голосе Прикопа звучали бешенство и безрассудная, безумная самоуверенность: — Так просто не околею!..

Каждый думал и говорил о своем.

— Мы здесь как на привязи — не можем уехать... Уедем, Прикоп, уедем отсюда! — вдруг умоляюще зашептал Спиру.— Займемся контрабандой, чем угодно, лишь бы загребать деньги, побольше денег! Дай мне пароход — и я богач, сам себе владыка! Что хочу, то и делаю, куда хочу, туда и плыву, чем хочу, тем и гружу... Пароход, брат, пароход!..

Он посмотрел на своего собеседника такими глазами, что Прикоп, несмотря на крепкие нервы, испугался. Спиру, казалось, был не в своем уме или ему померещилось что-то очень страшное.

— Давай удерем отсюда на «Октябрьской звезде!» — шепнул он, нагнувшись к самому уху Прикопа.

— На «Октябрьской звезде»? — удивился Прикоп.

— Что же такого? Бывало. Наши сейчас в ссоре с турками. Нас не выдадут. Скажем, что мы политические эмигранты! Воспользуемся правом убежища! Наши скажут, что мы воры — угнали пароход, государственную собственность, а мы будем стоять на своем: бежали, мол, из-за политических убеждений. Будет шум, переписка министров, а мы, тем временем, выберемся из турецких вод, и тогда нам сам черт не брат! Станем плавать под панамским флагом, займемся крупными делами. Кредит достать легко, у нас есть связи — то есть у меня есть связи — в каждом большом порту. За один год заработаем столько, сколько стоит целый пароход. За два года — два парохода, за три — три. Через два-три года у тебя будет собственный пароход, ты всему хозяин, никакого капитана не слушаешься, а сам ему приказываешь. Лишь бы удалось, лишь бы удалось!

Его воображение, победившее когда-то Зарифу, умноженное теперь на энергию отчаяния, не могло не подействовать на Прикопа. Тот слушал с интересом.

— Как ты до сих пор не удрал? — задумчиво спросил Спиру.

— Об «Октябрьской звезде» не подумал, — тихо ответил Прикоп. — Рассчитывал смыться на куттере, но это не так легко. Никто не хочет уходить.

— Рыбаки?

— Ни рыбаки, ни куттерные старшины. И зачем им уходить? Здесь у них дом, жены, дети, служба, а там что? Я и не пробовал говорить. Опасно, можно нарваться. Пароход угнать — другое дело!.. Это легче... гораздо легче!..

— Перевести машинный телеграф на «полный ход вперед», ночью, конечно, когда все спят,— сказал Спиру.— Проснутся — будет поздно!

Он нервно засмеялся.

— А радист? — спросил Прикоп.

— Свяжем, а нет, так...

— Нужно достать револьвер... — пробормотал Прикоп. — Я достану.

— Правильно. В Констанцу можно будет послать радиограмму об успешном лове, — сказал Спиру. — В случае, если на пароходе кто-нибудь двинется...

— Жора, — чуть слышно проговорил Прикоп и опустил глаза. — Ничего, пускай...

Спиру побледнел. Его мутило при мысли о крови.

— Из команды найдется человека два, на которых можно положиться, — продолжал Прикоп. — Им мы выдадим по револьверу. Двоих-троих достаточно, чтобы держать в повиновении остальных шестьдесят. Пикнуть не посмеют. Один должен находиться при машине...

Прикоп говорил подробно, уточняя каждую мелочь. Но подробности не очень интересовали Спиру, для которого главным было то, что наконец нашлось решение, нашелся выход из невыносимо мучительного положения. Он знал, конечно, что его нервам готовится новое испытание: сначала томительное ожидание, потом приготовления, потом решительная опасная минута. Но он знал также, что после этого он получит Анджелику, что измучившая его страсть будет удовлетворена в первую же ночь, в ту ночь, когда решится их судьба.

— Я возьму с собой жену, — произнес он равнодушным тоном.

Прикоп поднял и снова опустил глаза:

— Я не знал, что вы женаты.

— Я женился совсем недавно, — сказал Спиру тем же безразличным голосом. — Ты понимаешь, мне вовсе не улыбается бросить жену на произвол судьбы... Тестя тоже придется захватить...

Он не мог не подумать о Зарифу: связи были у Зарифу, не у него. Старика нужно обязательно взять с собой.

— С ними будет труднее, — пробормотал Прикоп, не поднимая головы.

— Это моя забота. Давай, брат, выпьем за твое здоровье. Будь здоров, Прикоп! Удачи и счастья! Через год мы будем богатыми. Как знать, может, к тому времени у тебя уже будет собственный пароход?!

Все это говорилось шепотом, хотя у Панайтаки было в этот час пусто и их столик стоял одинаково далеко и от кассы и от двери в кухню. Чокнувшись и осушив стопки, Спиру с Прикопом принялись обсуждать и с увлечением разрабатывать подробности плана.

Ушли они поздно, когда Панайтаки закрывал свое заведение. Разговор вполголоса продолжался и на улице, прерываясь всякий раз, когда вдали показывался прохожий.

Спиру побаивался Прикопа, считая его способным на всякую подлость. «Как бы он не проговорился...» — мелькнуло у него в голове:

— Слушай, Прикоп...

— Чего изволите?

— Смотри, брат, не разболтай...

— Что вы! Кто сам в петлю полезет? Вы как бы супруге не признались...

— Я ей ничего не скажу, пока она не будет на пароходе. Даю тебе честное слово, — торжественно обещал Спиру.

Они расстались, сговорившись о месте и времени будущей встречи. Спиру пошел прямо к Зарифу. Улица спала. Стук в дверь поднял собак, которые залились отчаянным лаем. Потревоженные соседи высовывались в окна, спрашивая, кто и зачем стучит. У Спиру выступил на лбу холодный пот. Наконец Зарифу проснулся и испуганно выглянул в приоткрытую дверь:

— Что такое? Кто там?

— Я, дядя Тасули, я — Спиру! Откройте!

Господин Зарифу пропустил его вперед и пошел вслед, шлепая ночными туфлями. Он был в пижаме.

— Вы не забыли запереть? — спросил Спиру, нагибаясь к его уху.

— Что? — не понял Зарифу, удивляясь происшедшей в Спиру перемене: его неестественно блестевшим глазам, всему его преобразившемуся от радостного возбуждения облику.

— Дверь! Дверь, конечно! Вы ее заперли?

Не дожидаясь ответа, Спиру вернулся и попробовал дверь. Она оказалась запертой. Он отдернул шторку и посмотрел на улицу. Там никого не было. Спиру повернулся к Зарифу и схватил его за тощие плечи:

— Есть пароход! Уходим!

Старик опять не понял и что-то промычал, а Спиру, задыхаясь от волнения, нервно смеясь и тыкая его пальцем под ребра, принялся шепотом рассказывать новости.

— Вы понимаете, что это значит? Понимаете?

Сморщенное личико господина Зарифу вдруг озарилось счастливой улыбкой; Спиру еще раз ткнул его пальцем под ребра; Зарифу стало щекотно, он слабо захихикал, схватил Спиру за руки и пустился с ним в какой-то смешной, несуразный пляс.

— Уезжаем, уезжаем, — повторяли оба, заливаясь смехом.

Наконец старик увлек гостя в комнату Анджелики. Смешанный запах дешевых духов и молодого тела опьяняюще подействовал на Спиру. Теперь только почувствовав усталость от всего пережитого за этот вечер, он прислонился к дверному косяку и стоял в полузабытьи, не слыша ни того, что Зафиру объяснял девушке, ни ее ответов. Он очнулся лишь тогда, когда старик, хрипло хихикая, взял его за рукав и вытолкнул за дверь:

— Ступай, ступай... кавалерам не место в девичьей спальне, да еще среди ночи...

Пожелав покойной ночи Анджелике и наказав молчать: «Смотри, чтобы никто ничего не узнал, папа ведь знает, что его дочка умеет держать язычок за зубами...» — Зарифу прикрыл за собой дверь и на радостях обнял Спиру:

— Ты мне все равно что сын родной, — бормотал он надтреснутым от волнения голосом, целуя его в обе щеки. — У меня не было детей, кроме Анджелики. Теперь у меня вас двое.

Между тем, Прикоп стоял у причалов и дожидался куттера, который должен был доставить его на «Октябрьскую звезду». «Умница этот Василиу! — думал он. — Видно, голова у буржуев все-таки лучше нашего работает... Надо будет повторить все, что он говорил, Прециосу. Он и Лае

вполне подходят... Остается найти еще одного. Четверо вооруженных и решительных людей без труда завладеют судном...»

Затем он подумал о том, как расправится с Адамом. Мысль об этом доставила ему острое наслаждение — такое, какого он давно не испытывал. Стремясь продлить это наслаждение, он принялся неторопливо, со смаком продумывать план долгожданной мести.

XLIII

Адам Жора закончил все дела за полтора дня до очередного выхода в море. Уже к обеду у него все было приведено в порядок, и оказалось, что еще можно успеть на автобус, ходивший между городом и Даниловкой. Машина, безжалостно встряхивая потных пассажиров, быстро неслась по белому, словно усыпанному толченым мелом шоссе. Справа тянулись выгоревшие суглинистые поля, слева — желтый пляж, за которым начиналось синее, сверкающее море. Спутниками Адама были крестьяне в соломенных шляпах, женщины в платках, татарка в лиловых шароварах, лохматые трактористы в промасленных спецовках. У одного была пастушья дудка, на которой он до самого Алибунара наигрывал дойны добруджских чабанов. В Алибунаре, на краю шоссе, стояли три серых от пыли трактора. Пятеро парней поджидали тракториста с дудкой.

После Алибунара шоссе отдалилось от моря и пошло по степи, среди курганов. На макушке одного из них сидел ястреб. Крестьяне, высунувшись из окна автобуса, принялись дружно кричать, чтобы спугнуть его, и хищник, редко взмахивая крыльями, лениво полетел прочь.

Дорога снова приблизилась к морю, и снова почувствовался крепкий запах гниющей морской травы, которая коричневой грядой тянулась вдоль пляжа.

Адам не замечал ничего. Заглядывая через плечо шофера на пыльную ленту дороги, он с нетерпением ждал, когда между белой землей и голубым небом появятся купола даниловских церквей.

Наконец купола появились, и Адаму показалось, что они стали меньше, чем раньше. Автобус остановился. Адам сошел последним. Слегка кружилась голова от какого-то непонятного и неизвестного ему прежде ощущения. Он глянул вокруг — каждая хата была знакома. Словно во сне, Адам направился по одной из улиц. Увидев игравших в пыли ребятишек, он остановился. Все было, как когда-то давно. Пересилив себя, он спросил, знают ли они Ульяну... и прибавил «Данилову», с трудом выговаривая ненавистное слово. Ребята ответили, что знают: «Та самая, которую прогнал Симион Данилов?»

— Да, она самая, — сказал Адам. — Та, которую прогнал Симион Данилов. Ты тут самый большой, — обратился он к старшему мальчику, — сбегай и скажи ей — только, чтобы никто не слышал — что приехал один человек из Констанцы и ждет ее в овраге под ветлами.

Заставив мальчика повторить поручение, он легонько толкнул его в затылок: «Айда!» — а сам пошел в лощинку, где лет десять-пятнадцать назад они встречались с Ульяной.

Ветел не было. Их срубили, по-видимому, совсем недавно. Поваленные стволы еще лежали тут же; один был обчищен, на других сохранились ветки. На земле виднелись следы гусеничного трактора и колес с железными ободьями. На краю вырубленной рощи, где уцелели три дерева, слышались удары топора. По развороченному гусеничным трактором и телегами проселку проходили люди. Одни равнодушно поглядывали на Адама, другие не обращали на него внимания. Четко вырисовываясь на фоне бледного неба, он неподвижно стоял среди поваленных деревьев.

Ульяна шла быстро, почти бежала. На ней было голубое выцветшее платье, голова повязана голубой косынкой, туфли обуты на босу ногу.

Запыхавшись, она переходила на быстрый шаг, потом снова пускалась бежать. Увидев Адама, она остановилась как вкопанная. Адам шагнул ей навстречу.

— Я приехал за тобой, — тихо сказал он.

Их взгляды встретились. Туго повязанная под подбородком косынка делала лицо ее по-девичьи узким, увеличивая сходство с прежней Ульяной. Она долго смотрела на него своими большими, ясными глазами, и переполнявшие их слезы медленно стекали по щекам к подбородку. Новое, мягкое, ласковое выражение появилось на ее лице.

— Я приехал за тобой, — повторил Адам.

— Как ты узнал?

— От Емельяна. Идем.

Он взял ее за руку, потом вдруг остановился и, повернувшись к ней, спросил:

— Детей у тебя нет?

Слезы Ульяны сразу высохли. Она отрицательно покачала головой:

— Нет... Да, кажется, и не могу я рожать...

— Ну, идем, — ласково сказал Адам.

Но Ульяна настояла на том, чтобы зайти проститься к жене Емельяна, которая приютила ее. Низко поклонившись, она поцеловала подругу, поблагодарила за хлеб-соль и объявила, что бросает Симиона и выходит за Адама. Попрощавшись с хозяйкой, они пошли.

Крестьяне на телегах, шоферы на грузовиках, турки на своих ослика́х, проезжавшие в тот день по шоссе, которое ведет из Даниловки в Констанцу, могли видеть двух путников, ни на кого не обращавших внимания и имевших такой вид, будто на свете никого, кроме них, не существует. Это были высокий, плечистый мужчина со строгим лицом и стройная женщина с удивительно ясными и чистыми глазами. Они были чем-то похожи друг на друга, так что их легко можно было принять за брата и сестру. Но их об этом никто не спрашивал: телеги, стуча, проходили дальше; гудя и поднимая облака пыли, проносились и быстро исчезали за горизонтом грузовики; турки, не поворачивая голов, проезжали мимо.

А Адам с Ульяной все шли и шли, крепко держась за руки. Справа от них было море, слева — желтые, как мех степного суслика, пологие холмы. Ветер крутил дорожную пыль, море торжественно гудело, солнце грело и ласкало их золотыми лучами заката. А они все шли. Настал тихий вечер, на степь опустился лиловый сумрак, море оделось во все оттенки пурпура, в небе долго, неподвижным пламенем, догорало заходящее солнце. Стемнело, а они все еще шагали по мягкой пыли шоссе. Над ними, в ночном небе, огромными бриллиантовыми диадемами горели созвездия. Ночь выдалась светлая и теплая, мягкий морской воздух был напоен дикими ароматами полыни, мяты, пахнущей лимоном мелиссы *.

Адам решил не прикасаться к Ульяне, пока они не станут мужем и женой. Но он переоценил свои силы и теперь сам не знал, что будет делать в следующую минуту. Не выпуская руки Ульяны, он медленно свернул с дороги в степь. Сухие травы под их ногами запахли сильней. Они подошли к подножию большого кургана. Что-то испуганно зашелестело при их приближении. Адам осторожно усадил Ульяну на еще теплую после дневного зноя землю, лег рядом и обнял ее.

Кругом на все лады стрекотали сотни тысяч кузнечиков, и казалось, это пела сама нагретая солнцем земля. Песня то нарастала, то затихала, как дыхание волшебной ночи. Показавшись из-за кургана, взошла луна, желтая, как сотовый мед. В залитой ее светом степи стало видно каждую былинку. Темно было лишь по ту сторону кургана, где, лежа в густой

* Мелисса — лимонная мята, многолетнее травянистое растение.

тени на теплой, пахнущей полынью земле, вздыхала и плакала от счастья Ульяна.

Было совсем поздно, когда Адам осторожно и нежно погладил лицо Ульяны. Но его все еще томила странная неудовлетворенность. Резко откинув ей голову, он снова больно, чуть не до крови, впился в ее губы и, задыхаясь, прошептал недоуменно:

— Что мне с тобой делать?

Ульяна вскрикнула — с такой силой Адам прижимал ее к себе. Но ему и этого было мало: он не знал еще, что даже самое острое наслаждение неспособно утолить его горькой жажды.

XLIV

Две ночи Спиру Василиу не смыкал глаз. Заснуть не было никакой возможности. Стоило ему лечь, как что-то сейчас же заставляло его вскакивать.

С улицы — Спиру жил по соседству с портом — доносился не прекращавшийся грохот лебедок и лязг металла. Время от времени требовательно ревела сирена. Скоро, скоро он услышит эти звуки в другом, заграничном, далеком отсюда порту! Вначале, конечно, придется довольствоваться скромной комнатой. Но это уже будет новая жизнь, которая утолит его жажду богатства и удовольствий. В будущем он, разумеется, не ограничится Анджеликой. Но на первых порах, в Стамбуле или Измире, неплохо иметь и Анджелику. В их комнате будет пахнуть так же, как теперь в ее спальне.

Спиру сидел, уставившись на некрашеный пол, волнуясь и сгорая от нетерпения в ожидании близкого счастья. Солнце нарисовало на этом полу яркий прямоугольник. День клонился к вечеру, и прямоугольник перемещался все дальше влево, удлинялся и становился оранжевым. Вся комната озарялась багровым заревом заката, и наконец медленно и густо темнело.

Наступила третья ночь ожидания. Спиру несколько раз зажигал спички и смотрел на будильник. Ему казалось, что стрелки не двигаются. Он судорожно подносил будильник к уху и с облегчением убеждался, что часы тикают. Но все-таки он снова старательно заводил будильник до отказа, боясь, что механизм вдруг остановится. Не дай бог опоздать! Не дай бог!

Идти заранее было нельзя — это могло привлечь внимание. Малейшая неосторожность может погубить все. Нет! Он будет в назначенном месте ровно в одиннадцать. Свет включать не следует, чтобы кто-нибудь из знакомых не зашел «на огонек»... В темноте мерно и редко тикал будильник.

Чтобы как-нибудь не задержаться, Спиру заранее оделся и обулся и стал ждать условленного часа, ощущая внутри холодную пустоту.

Он долго сидел в полном оцепенении, потеряв счет времени, потом вздохнул, охваченный ужасом, — неужели опоздал? — и с отчаянно бьющимся сердцем чиркнул спичкой. Спичка сломалась в дрожащих пальцах и упала на пол. Спиру потушил ее ногой и зажег другую, но и эта сломалась. При свете третьей спички он наконец увидал циферблат: часы показывали без десяти одиннадцать. Спиру как сумасшедший бросился на улицу, захлопнув за собой дверь, и не заметил от волнения, что она осталась незапертой. Опустив голову, засунув руки в карманы и тяжело дыша, словно ему не хватало воздуха, Спиру почти бежал по улице, в конце которой виднелось блестевшее в лунном свете море. Улица была безлюдной. Он быстро спустился в порт. Пропуск у него был, и его пропустили без вопросов. Но ему самому захотелось спросить милиционера, проходили ли здесь Зарифу с Анджеликой; он едва удержался от этой нелепости, от этой безумной неосторожности. Спиру быстро пошел вперед,

мимо вереницы тягачей, тащивших платформы с грузом. В ослепительном свете прожекторов два парохода — советский и шведский — разгружались и одновременно грузились. Видно было, как матросы, куря и облокотившись на планшир верхней палубы, смотрели вниз, на причал, где с ружьями на плече расхаживали часовые-пограничники. Никто не обращал внимания на пробиравшегося между грузчиками и портовыми рабочими Василиу. «Скоро, скоро, — думал Спиру, — я буду далеко в море, а завтра вечером, в это время, пожалуй, и в Турции...»

Было условлено, что Прикоп, уже припрятавший кое-какое оружие на пароходе, будет ждать Спиру на куттере с двумя пистолетами, привязанными к голеням под широкими матросскими брюками. «Анджелика и Зарифу, может быть, уже на «Октябрьской звезде»,— мелькнуло в голове у Спиру. Для них Прикоп раздобыл фальшивые документы на имя оставшихся на берегу механика и работницы консервного завода.

Спиру ускорил шаг, едва удерживаясь, чтобы не бежать. Обогнув здание, в котором помещались конторы какого-то управления, Спиру оказался на пристани рыболовной флотилии. Налево, у стенки, стояли спасательные шлюпки и предназначенные на слом моторные лодки. Дальше виднелся высокий корпус строившегося грузового парохода. «Вот бы мне такое судно», — завистливо думал Спиру, сравнивая строящегося великана с ветхой, мелкого тоннажа «Октябрьской звездой», бывшей «Теодорой», бывшей «Пунта Дельгада», бывшей «Стёртебекер», спущенной с одной из верфей Балтийского побережья в 1902 году. Да и скорость у нее была чуть не вдвое меньше. «Впрочем, не беда. Главное, она будет моей, в моем полном распоряжении», — утешал себя Спиру, торопливо шагая по пристани.

На пристани пахло рыбой, смолой, дизельным топливом. У сложенных в штабели грузов несколько рабочих сидело на ступеньках, куря и негромко разговаривая. Одиноко расхаживал взад и вперед пограничник с ружьем на плече. Лениво плескалась густая от грязи вода, в которой плавали бумажки, головы камбалы, обрезки досок. Ни куттера, ни Прикопа, ни Анджелики, ни Зарифу не было. Спиру остановился, не зная, что делать, не веря своим глазам. Его сердце замерло, потом отчаянно забилось. Задыхаясь, он схватился за грудь и глубоко, с мучительным усилием, вздохнул, потом еще раз и еще. Времени, однако, терять было нельзя: час побега настал. Через несколько минут нужно было выходить в море. Спиру, чувствуя противную дрожь в коленях и еле преодолевая дурноту, приблизился к людям, сидевшим на ступеньках.

— Добрый вечер,—произнес он робким, неуверенным, чужим голосом.

— Здравствуйте, — ответили, поворачиваясь и разглядывая его, рабочие.

— Скажите, братцы, не было здесь куттера, который должен идти к рыболовной флотилии? Что с ним? Может, он еще не прибыл?

— Был тут один куттер, да уж час, как ушел, — совершенно равнодушно ответил кто-то.

— Нет, я о том, который должен идти к флотилии! — волнуясь, пояснил Спиру. — Я о том говорю. Он, видно, еще не пришел?..

Рабочие посмотрели на него с удивлением.

— Так это, стало быть, он и был, — сказал тот, кто первым ответил Спиру. — Был и ушел. Рулевой еще тут околачивался, с «Октябрьской звезды», Прикопом звать. Говорил, что вы должны были прийти, но, видно, не придете, так он, значит, один на куттере и отправился...

— Ага! — глухо откликнулся Спиру и неуверенно пошел прочь, боясь упасть в обморок тут же, перед всеми. Поравнявшись со зданием, где были конторы управления, он зашел за него, прислонился к стене и прижался виском к холодной, шершавой штукатурке.

Ничего не понимая и ни о чем не думая, Спиру стоял у стены, лишь изредка и машинально выглядывая из-за угла, чтобы посмотреть, не пришел ли все-таки куттер. Наконец, истина осенила Спиру: не следовало доверяться Прикопу — преступнику, злодею, убийце Прикопу! Он поднял искаженное отчаянием лицо, поглядел в сверкающее крупными, неподвижными созвездиями ночное небо и медленно пошел прочь.

Путь его из порта лежал прямо к Зарифу. «Да, — размышлял он,— то, что произошло, было неизбежно...» Задуманный побег не мог состояться. Он, Спиру, был обманут мечтой, несбыточной надеждой, собственным красноречием. Где-то в глубине сознания ощущение обреченности, готовящейся неудачи не покидало его ни на минуту. Все шло плохо с самого начала...

Думать дальше не было сил. Остановив прохожего, он спросил, который теперь час. Оказалось, уже за полночь. Спиру заторопился. Прохожий с недоумением посмотрел ему вслед, удивленный и видом, и голосом незнакомца, — Спиру действительно казался ненормальным.

В окне у Зарифу горел свет. Спиру бегом поднялся по лестнице и, не стучась, взялся за дверную ручку. Его движения напоминали движения лунатика. Дверь, тоже как во сне, сама собой приоткрылась, и он вошел.

Зарифу стоял на коленях перед дочерью и, плача, обнимал ее ноги. Когда Спиру вошел, они одновременно оглянулись. Старик был неузнаваем. Анджелика, которая до этой секунды находилась в полной апатии, терпеливо ожидая конца надоевшей ей сцены, беззвучно ахнула, и лицо ее стало ужасающе белым. Зарифу с трудом поднялся. Горбясь более обыкновенного, он подошел к Спиру.

— Ты... поговори с ней сам... Скажи ей! Убеди ее! Она нас погубит! Не желает ехать! Спиру! Сын мой! Говори же, говори! — повторял он, рыдая.

Анджелика справилась с охватившим ее волнением.

— Можете не утруждать себя пустой болтовней,— сказала она язвительно и повернулась к отцу: — Ехать я не хочу и никуда с ним не поеду! Я его не люблю! Мне на него наплевать. Хватит с меня! Довольно! Надоело! Оставьте меня в покое!

Она вдруг расплакалась и, как капризный ребенок, спряталась за печку.

— Оставьте меня! Перестаньте меня мучить!.. Ради бога, перестаньте меня мучить! — выкрикивала она сквозь слезы, уткнувшись в угол между стеной и печью.

Зарифу был совершенно уничтожен. Спиру, наоборот, почувствовал прилив негодования. Желтый, с лихорадочно блестевшими глазами, он был вне себя.

— Тебе надоело? С тебя хватит? Я тебя мучаю? — кричал он, подступая к печке. — И это после того, как я все терпел, все сносил: твои причуды, твои капризы, твое дурацкое упрямство?! Я обдумывал каждое слово, чтобы как-нибудь тебя не рассердить; исполнял твои малейшие желания; стал тряпкой, лишь бы ни в чем тебе не перечить! Я сознательно полез в петлю, чтобы сделать тебя богатой и счастливой! И все это ради глупой девчонки, на которую прежде я даже не взглянул бы! Таких, как ты, я мог иметь сотнями, но они меня не интересовали. Нужно было дойти до преддверия старости, устать, как я устал, обеднеть, истрепаться, чтобы стать рабом какой-то сопливой дуры... А ведь я тебя любил, любил так, как никогда еще не любил женщину, и знал, что люблю в последний раз, что это мой последний взлет... Ты для меня была будущим. Теперь у меня нет больше будущего! Ничего больше нет! Вот что ты наделала! Полюбуйся! Единственное, чего я теперь хочу, чтобы и ты когда-нибудь помучилась, как мучился я! Чтобы ты нашла себе какого-нибудь идиота, для

которого ты будешь игрушкой, которому будет наплевать на твои чувства! Впрочем, чувств у тебя нет никаких. Ты на них неспособна. Все, что ты можешь, — это выйти замуж, народить детей и выходить с детской колясочкой по воскресеньям на мол в розовом платьице с пышными рукавчиками... Да мне совершенно безразлично, что с тобой будет! Мне все безразлично, я человек конченый...

Спиру под конец своего яростного монолога выдохся. Он устало махнул рукой, умолк, постоял несколько минут, словно собирал мысли, и, не добавив больше ни слова, вышел, забыв закрыть дверь.

Зарифу бросился за ним, задыхаясь и взывая надтреснутым голоском:

— Спиру, Спиру! Не уезжай без меня! Не покидай нас!

Но Спиру нигде не было. Зарифу вернулся в величайшем смятении. Анджелика давно перестала плакать. Пока Спиру говорил, она вышла из-за печки и стояла посреди комнаты, дрожа от возмущения. Зарифу схватил ее за руку и потащил к двери.

— Беги за ним! Останови его! — вопил старик. — Он уедет без нас! Анджелика! Дитя мое! Доченька моя! Не губи отца! Останови его! Вели ему вернуться!

— Не хочу! — кричала Анджелика, вырываясь. — Он мне противен! Он лысый!

— Что ж такого, что лысый? Зато он будет богат! Ты сможешь завести себе хоть двадцать любовников — молодых, красивых, с роскошными шевелюрами! Он будет богачом! В другой раз такой случай не повторится! Подумай, что ты теряешь!

Анджелика затопала ногами:

— Не хочу! Не хочу! Мне противно! Все мои подруги по гимназии смеются, когда встречают меня с ним на улице! Они разгуливают с молодыми людьми, а я — со стариком!

— Не все ли тебе равно? Старайся их не замечать! — крикнул Зарифу, доведенный до отчаяния.

Вконец растерявшись, он снова упал на колени и, обливаясь слезами, принялся умолять Анджелику:

— Дитя мое, пожалей своего папу, который любит тебя больше всего на свете! Сделай это для меня, для своего папочки! Умоляю тебя, одумайся!

— Женись на нем сам, если тебе нравится!

Зарифу схватился за голову и, стоя на коленях посреди комнаты, принялся раскачиваться, как полоумный.

— Где мой пароход! Где моя фирма! — причитал он. — Мое состояние! Мое будущее!.. Все пропало!.. Все пошло прахом!.. Ничего не осталось!.. Ничего!

Вдруг, словно подталкиваемый невидимой пружиной, он снова бросился к дочери и изо всех сил дернул ее за руку.

— Ты немедленно побежишь за ним и приведешь его обратно. Иначе я тебя задушу своими руками! — прохрипел он, дико вращая глазами.— Если ты сама не понимаешь своего счастья, то я буду думать за тебя! Марш!

Но Анджелика окончательно вышла из повиновения.

— Ну, так знай, что он никуда не уедет! — крикнула она. — Я сама была у пограничников и сказала, что он задумал бежать вместе с каким-то Прикопом на пароходе и хочет увезти меня с собой, а я ни за что не хочу! Я была уверена, что они давно в море и потому испугалась, когда он вошел. Не бойся, папа, нам ничего за это не будет.

Анджелика говорила быстро, скороговоркой, нервно перебирая паль-

цами. Было видно, что она не лжет. Зарифу глядел на нее остановившимися глазами.

— Что ты сказала? Как? Что? — бормотал он, не веря своим ушам.

Запинаясь, напуганная тем, что она сделала, Анджелика подробно рассказала ему все. Господин Зарифу, выслушав, как-то сразу затих, только лицо его еще больше посерело, а сам он весь сморщился, как мяч, из которого выпустили воздух. Улегшись на диван и повернувшись лицом к стенке, господин Зарифу быстро заснул тревожным сном, то и дело охая и ворочаясь с боку на бок. Анджелика подождала час, два, потом подкралась на цыпочках к табуретке, которая стояла рядом с диваном и на которую господин Зарифу клал на ночь свои старые золотые часы, взяла их и тихонько вышла в переднюю, потом на лестницу, где стены были расписаны странными узорами. Опрометью спустившись по ступенькам, она хлопнула дверью, выскочила на улицу и тотчас как бы растворилась в темноте...

Зарифу сквозь сон слышал какой-то шум на лестнице, и ему представилось, что это рокот машин «Анджелики» — самого большого из грузовых пароходов общества «Зарифу и К°». Господин Зарифу проснулся от прилива родительской нежности.

— Анджелика! — позвал он ослабевшим голосом, приподнимаясь на диване, с неистово бьющимся сердцем. — Анджелика!

Никто ему не ответил. Дверь в комнату Анджелики была открыта. Зарифу с трудом встал и пошел будить Анджелику — ее комната была пуста. Царивший повсюду беспорядок страшно перепугал старика.

— Анджелика! — завопил он, дрожа всем телом, и бросился в свою комнату, но дочери нигде не было.

Заподозрив неладное, он с удивительной для своего возраста легкостью выбежал на улицу. Дверь в парадном оказалась открытой. Повизгивая, как побитая собачонка, господин Зарифу бегом поднялся по лестнице обратно и тут только заметил отсутствие часов, которые он всегда, ложась спать, клал на стоявшую рядом с его диваном табуретку.

— Анджелика... дитя мое... доченька моя... — жалобно застонал он и, еле передвигая трясущиеся ноги, опять спустился по лестнице.

Постояв на улице и убедившись, что Анджелики нигде поблизости нет, он вернулся к себе. Сильное головокружение, мучившее его, перешло в дурноту. Все в эту минуту сосредоточилось в одном отвратительном чувстве физической тошноты, разбитости и бессилия. Он упал на ковер...

На третий день сослуживцы, придя на квартиру посмотреть, что с ним и почему он не является на службу, нашли двери открытыми. Маленький, тщедушный господин Зарифу лежал на протертом ковре, распространяя сладковатый запах начавшего разлагаться трупа.

Анджелика в ту ночь, когда умер Зарифу, зашла за своим юнцом, мечтавшем о грузовике, и оба исчезли из Констанцы.

* * *

В то время как Анджелика бежала по безлюдным ночным улицам, а катер пограничной стражи рыскал по морю в поисках «Октябрьской звезды», Спиру Василиу сидел в вагоне третьего класса поезда, мчавшего его в Бухарест. Оттуда он намеревался ехать дальше и затеряться в каком-нибудь забытом, глухом городишке. С тех пор никто его больше не видел.

XLV

Несмотря на всю свою хитрость, Прикоп был, по существу, очень несложной натурой. Когда он служил на «Арабеле Робертсон», пьянство и посещение публичных домов были его единственными развлечениями. Позднее он остепенился и отказался даже от этого, а со временем вообще

потерял способность радоваться чему бы то ни было. Все на свете заменяло ему мрачное удовлетворение от сознания, что он — полновластный хозяин «Октябрьской звезды». Когда его самовластие рухнуло, он остро пережил свое падение. Унижение привело его в состояние бессильной ярости, слепого бешенства. План побега, предложенный Спиру, открыл Прикопу неожиданные перспективы, внушил новые мысли. Решение обойтись без Спиру возникло у него с самого начала. Корабль должен стать безраздельной собственностью Прикопа Данилова. У его отца, Евтея, была корчма и рыбацкие лодки, а у него, Прикопа, будет пароход. Капитан, весь командный состав, экипаж — все будут в его власти. У него будут деньги на дорогие удовольствия, которые существуют только для богатых.

До сих пор все как будто шло по плану. В этот поздний час «Октябрьская звезда» спала, медленно относимая течением. Прециосу в своей каюте, Лае и буфетчик в кубрике ждали условного сигнала. Оружие было спрятано в каютах у Прециосу и Прикопа, в сундучках у Лае и буфетчика. Самое позднее через час Прикоп должен был выйти из своей каюты и подняться вместе с Прециосу на командный мостик. Котлы оставались под парами. Предстояло только перевести рычаг машинного телеграфа на «полный ход вперед» да связать рулевого и вахтенного офицера. После этого Прециосу встанет за штурвал, а сам Прикоп отправится в рубку радиста и выведет из строя установку. Потом...

Потом настанет утро. На палубу выйдет Адам Жора. Его нужно будет пристрелить немедленно.

Прикоп сидел на койке, потирая потные руки. Его лихорадило, мозг работал с преувеличенной четкостью. Нужно было еще немного обождать.

Воображением Прикоп не обладал и потому не мог себе представить, как все пойдет дальше. Он знал только одно: при первом же появлении Адама Жоры он прицелится ему в грудь и выстрелит раз, еще раз и еще раз, пока тот не свалится на палубу. Больше стрелять он не будет: увидит, что тот упал, и перестанет. Главное — увидеть, как по палубе потечет его кровь, а потом топтать его мертвое тело ногами, пихнуть в лицо сапогом...

Ждать дальше не стоило. Ночь коротка, нужно воспользоваться теми часами, когда на берегу тоже спят. Липкими, потными руками Прикоп открыл сундучок, достал револьвер, показавшийся ему чрезмерно тяжелым, и сунул в карман. «Что еще? Ага, патроны...»

Патроны были уложены в коробки немногим больше спичечных, но гораздо более тяжелые. Прикоп сунул в карман две такие коробки, вышел и запер за собой дверь, предварительно удостоверившись, что все спокойно. Теперь нужно зайти за Прециосу и начинать.

На палубе было ветрено. В небе горели и отражались в море крупные, яркие звезды. Кругом по горизонту мерцали огни куттеров. Пароход пройдет между ними, взяв курс на юго-запад. Пока там спохватятся и доберутся со своими слабосильными моторами до берега, будет поздно.

Кто-то спускался по трапу из рубки радиста. Прикоп шагнул в темный угол. Человек, не заметив его, прошел к капитану. «Радиограмма среди ночи?» — удивился Прикоп и почувствовал, как проступает холодный пот. «Ничего, мы опередим капитана», — решил он и поспешил к Прециосу.

В эту минуту до его слуха донесся шум мотора небольшого судна, подходившего к пароходу. Судно шло с запада, со стороны берега, ветер дул восточный — с моря, поэтому Прикоп не услышал мотора раньше. «Вероятно, куттер с уловом, — подумал он. — Кто-нибудь из оголтелых передовиков: Емельян Романов, или Лука Георге, или молодежная бригада...» Прикоп заколебался, не зная как быть. «Они, наверно, захотят разгружать рыбу... Пугать их не годится... Нехорошо, если в первую же ми-

нуту узнают, что... Пожалуй, лучше потерять немного времени, но выждать, чтобы они снова ушли на промысел. Разгрузка вряд ли займет больше часа...» Наверху, на командном мостике, кто-то направлял прожектор правого борта, чтобы рыбакам было видно, куда подать конец. Входя к себе в каюту, Прикоп услышал снизу, с моря, чей-то резкий, повелительный голос:

— Эй ты, там! Выключи прожектор!

Но Прикоп был настолько поглощен тревожной мыслью о радиограмме, которая могла означать провал задуманного предприятия, что не обратил внимания на этот окрик и растянулся на койке, решив все-таки ждать. Немного погодя, однако, до него со всех сторон стали доноситься необычные звуки: голоса, топот подкованных каблуков вместо мягкого шлепанья босых ног или резиновых рыбацких сапог. Первой мыслью было выйти и посмотреть, что происходит, но он заставил себя остаться на месте. Каюта вдруг показалась невыносимо душной... В ней не было иллюминатора, а лишь вырезанное в двери окошко. Прикопу стоило большого труда не открыть двери. Он решил сосчитать до тысячи, прежде чем открыть, но передумал и стал считать до ста. Однако, досчитав до тридцати, он не выдержал и вышел. Кто-то, ни слова не говоря, ослепил его сильным электрическим фонариком.

— Кто там? Что такое? — спросил Прикоп сдавленным голосом.

— Зайди в каюту, товарищ, — раздался из темноты не допускавший возражения голос.

Прикоп повиновался, закрыв за собой дверь. Он ни о чем в эту минуту не думал. Крупные капли пота побежали по щекам, по лбу, по спине.

Звонкий топот подкованных каблуков приблизился. Дверь распахнулась, знакомый фонарик снова ослепил Прикопа. Вошли офицер пограничных войск и за ним двое солдат, которые едва уместились в тесной каюте. Они быстро ощупали Прикопа и отобрали револьвер с патронами.

— Выведите его, — приказал офицер.

Солдаты вывели Прикопа на палубу. Их здесь было много, и все вооружены. Прожектор выключили. Прикоп заметил окруженную пограничниками долговязую фигуру Прециосу. Тот стоял молча, в темноте. Немного погодя их свели на катер по большому трапу, который обычно спускался только в порту. Неизвестно, почему их не спустили по штормтрапу. Может быть, из опасения, как бы они не бросились вниз и не разбились о палубу катера или не потонули, угодив между катером и бортом «Октябрьской звезды»? По трапу они спускались медленно, ступенька за ступенькой, между двумя пограничниками. Прикоп вдруг охнул и попытался кинуться через поручни в море, но пограничники вовремя схватили его за руки:

— Стой, братец... Поберегись... Держись покрепче.

Прикопа бросило в дрожь. Застучали зубы. Он успокоился немного только тогда, когда катер отошел и начал быстро удаляться от большого, темного парохода. Прикоп сидел на корточках между пограничниками, рядом, съежившись, сидел Прециосу. Лае и буфетчика держали отдельно, в трюме.

Прикоп сидел и смотрел, как пароход становится все меньше и меньше, словно тая в синей дымке летней ночи, пока остались видны только огни на его невидимых мачтах, как созвездие в ночном небе. Вода за кормой бурлила, мотор глухо рокотал, пограничники изредка зевали и покашливали.

— Что ты со мной сделал! — неожиданно заговорил Прециосу. — Что ты со мной сделал!

— Прекратить разговоры! — гаркнул пограничник. — Арестованным говорить между собой запрещается!

Прециосу смолк и уставился на Прикопа лихорадочно блестевшими в темноте глазами. Потом вдруг плюнул ему в лицо. Пограничники оттащили его в сторону.

— Ишь, черт, какой забияка! — удивленно пробормотал один из них. — Смотри, ребята, как бы не подрались... Эй, вы! Сидите смирно!

Но Прециосу и так не собирался двигаться. Он сидел съежившись, тяжело дыша. Прикоп ограничился тем, что утер рукой плевок, но утер плохо и долго еще чувствовал на этом месте холодок от дувшего с моря ветра. «Все равно его теперь Симион убьет, — думал он. — Не уйдешь, Адам Жора! Прикончит тебя Симион...»

XLVI

В полумраке зеленоватых глубин, на усеянных ракушками рыбьих пастбищах, в горькой от соли воде белуга, как всегда, охотилась за мелкой серебристой скумбрией, за плоской колючей камбалой, проглатывая добычу одним молниеносным движением пасти; осетры гонялись за скумбрией постарше, акулы пожирали все, что им попадалось из рыбьей мелюзги; камбала, волнообразно изгибая плоское туловище, медленно ползла по илистому дну в поисках добычи. В пресноводных дунайских озерах и теплой, пригретой солнцем мелкой воде прибрежной полосы зрели мириады икринок, из которых скоро должны были появиться на свет новые поколения осетров, скумбрии и камбалы. Всем им суждено было вырасти и всю жизнь охотиться в полумраке глубин на мелкую рыбешку или стремглав бросаться врассыпную, когда из зеленой пучины вдруг появлялось белобрюхое чудовище с хищно раскрытой пастью и круглыми, неподвижными глазами.

Вечно голодная рыба бродила по подводным долинам, выслеживая и проглатывая добычу, среди песков и скалистых ущелий, где холодно и темно и тяжело давит сверху вода. Иногда — за последнее время все чаще и чаще — прожорливым хищникам попадались серебряные кусочки мелкой скумбрии. Одно движение хвоста и мощных плавников — и хищник с ходу заглатывал приманку, а с нею вместе и стальной крючок, который вонзался ему в пасть. Рыбина начинала отчаянно биться, но в конце концов замирала неподвижно, дожидаясь своей участи.

Потом Емельян Романов, Лука Георге, Ермолай или кто другой из рыбаков, вышедших на промысел, проверяли крючковую снасть на протяжении нескольких километров, по десять-пятнадцать тысяч раз в день повторяя одно и то же трудное, утомительное движение и останавливаясь лишь затем, чтобы вступить в поединок с крупными хищниками подводного царства. Оглушив их ударами молотка, они доставляли улов на базу.

Лебедки «Октябрьской звезды» поднимали сетку, до краев наполненную продолговатыми, сизыми, пепельно-серыми, коричневыми туловищами. Тут были и морские коты с колючей головой; и белуга, размером больше человека; и плоская камбала, прожившая десятки лет на одном — белом — боку и засыпавшая теперь на другом — коричневом; и акулы с туго набитыми кишками и острыми шипами по всей спине. Кто-нибудь дергал за веревку, дно сетки открывалось, и целый поток скользких, холодных тел, шумно шлепаясь, вываливался на палубу.

Рыбу разделывали, полоскали под шлангом и резали на куски, потом солили, или замораживали в холодильниках, или жарили и варили в автоклавах. Вокруг парохода плавали в воде розовые, пурпуровые, красные рыбьи потроха. Чайки набрасывались на них с пронзительным криком, дрались, пуская в ход крылья и сильные, острые клювы. «Октябрьскую звезду» вечно окутывал густой запах жареной рыбы и горячего рыбьего жира. Сейнеры бесконечной чередой доставляли на берег ящики с консервами и возвращались с запасом пустых коробок и банок. Рабо-

тали круглые сутки: если днем выбирать снасть было жарко, ее выбирали ночью, а днем отвозили рыбу на пароход. На баке красовалась доска, на которой записывали результаты соревнования. Впереди всех шла бригада Космы. Судовой комитет профсоюза всячески заботился, чтобы соревнование распространялось на всю рыболовную флотилию. Работа партийной организации улучшилась; Адам почти не покидал корабля.

На суше он все свое свободное время отдавал Ульяне. Он мог часами молчать с нею, даже не видя ее, не слыша, только зная, что она тут. Ночами он ласкал и целовал ее то нежно, то с безудержной страстью, то с жалостью, то со злобой — и все-таки не утолял своих желаний. Ульяна была счастлива, а ему все время чего-то не хватало. Флотилия выходила в море, и Адаму сразу становилось ясно, что не хватает ему все той же Ульяны. Он возвращался, нетерпеливо и жадно стремясь к ней, до боли сжимал ее в объятиях, но опять счастье начинало казаться неполным, горьким, как полынь, и опять он мучился вопросом, почему это так.

Каждый раз по окончании очередного рейса у него оказывалось много работы в обкоме: подготовка отчетов, заседания, наспех прослушанные лекции, совещания, на которых он обязан был присутствовать. Домой он попадал поздно, иногда среди ночи. Теперь у него была своя комната, обставленная, как монашеская келья: железная кровать, книжная полка, шкаф, стол, пара стульев. На одной из стен висел портрет Ленина, на другой — коврик, из тех, что ткут женщины в Даниловке. Адам всегда отличался полным равнодушием к одежде, к красивым вещам, к еде. Да и где было ему ко всему этому привыкнуть? Дома, при их бедности? На каторге? В порту среди грузчиков? Его радости были другого порядка — не материального. Их источником были в большинстве случаев люди, с которыми ему приходилось встречаться.

Не радовал его только самый близкий человек — Ульяна. Он обнимал ее так крепко, что хрустели кости, целовал и миловал все ночи напролет до изнеможения, но почти никогда с ней не разговаривал. Бывало и так: глянет на нее сбоку, опустит глаза в землю и улыбнется натянутой улыбкой.

Однажды в воскресенье, после обеда, они решили пойти в театр. До спектакля еще оставалось время. Сидя на краю кровати, Ульяна заплетала тяжелые рыжие косы, достававшие ей до пояса. Адам оделся и стоял перед ней, заложив руки за спину. Костюм сидел на нем неловко, словно был сделан из картона, и Адам, очевидно, чувствовал себя в нем неважно — то ли дело в лодке, босиком, в распахнутой на груди рубахе... Он стоял и ждал.

— Что мне делать? — спросила Ульяна.

— Как это — что делать?

— Когда тебя нет, я сижу и жду. У рыбачек работа: по дому, в поле, в огороде, на винограднике. А мне день-деньской делать нечего. Сижу и жду. А когда ты дома, мы с тобой даже не разговариваем.

Адам смущенно посмотрел в окно, выходившее на пустой двор. Акации на улице были покрыты слоем пыли, день был жаркий.

— Чем бы ты хотела заняться? — спросил он.

Ульяна продолжала заплетать косы. Волосы у нее были блестящие, как каштан, если его потереть ладонью, рыжие, с золотистым отливом. Она сосредоточенно о чем-то думала, опустив веки.

— Я бы хотела быть учительницей — заниматься с детьми. Своих, ведь, у нас нет, — сказала она деланно равнодушным голосом, словно иметь детей вовсе не было ее страстным желанием, словно невозможность стать матерью не мучила ее постоянно.

Адам утвердительно кивнул головой:

— Хорошо. Записывайся осенью в среднюю школу.

Последовало продолжительное молчание. Ульяна встала против него, скрестив руки на груди. Ее ясные, прозрачные глаза с золотыми точечками в зрачках смотрели внимательно и зорко. Адам замер на месте. Он попятился бы, но сзади была стена.

— Что тебе?

— Адам... за что ты меня ненавидишь? — спросила она.

У нее дрожали губы и глаза были как-то особенно лучисты — послеобеденное солнце ярко освещало ее лицо. Адам нахмурился и отвернулся.

— Откуда ты взяла?..

— Зачем ты пришел за мной? — неожиданно спросила Ульяна.

Адам отодвинулся.

— Чего ты от меня хочешь?

Но Ульяна тоже шагнула в сторону, так, чтобы опять оказаться против него.

— Что у тебя на душе? Почему ты так ко мне относишься?

Адам изменился в лице, глаза его потускнели.

— Зачем спрашивать? Разве не знаешь? Не знаешь, что ничего с этим не поделаешь?

Ульяна побледнела.

— Значит, ты опять за старое... — пробормотала она.

Адам молчал, сомкнув посеревшие губы.

— Может, и правда лучше мне было покончить с собой... — продолжала Ульяна. — Я ведь когда-то собиралась, только смелости не хватило. Все надеялась, что ты за мной приедешь...

Адам мрачно взглянул на нее.

— Я и приехал...

— Лучше бы я повесилась, — быстро проговорила Ульяна.

— Лучше бы потерпела тогда год или два, меня бы подождала, себя соблюла, с Симионом не жила...

Бледный, сжимая кулаки, он смотрел на нее мутными, злыми глазами. Ульяна опустилась на кровать.

— Этого не вернешь. Не мучай меня, Адам.

— Почему не дотерпела? Почему не подождала? — крикнул Адам.— Вот так и со мной было. Когда я тонул. Думаешь, легко? Чуть не лопнул, а не хлебнул же, вытерпел, не потонул. Отчего люди тонут? Оттого, что не могут вынести! А ты почему не вынесла, почему не дотерпела?

— Не в терпении дело было, заставили... — горько вздохнула Ульяна. — Измучили они меня, Адам, довели... И все говорили, что ты умер. Что мне было делать?

— Спать с Симионом! — произнес Адам с безграничной гадливостью.

Ульяна еще больше побледнела и посмотрела ему прямо в глаза:

— Грешно тебе, Адам. Несправедливо. Ты не знаешь, как мне жилось с Симионом... Спроси хоть у него, — сказала она со злой усмешкой. — Узнай, много ли он от меня радости видел...

— Я верю тебе, верю... но все равно это не выходит у меня из головы... Не выходит!

Оба опять замолчали. Комната была неуютная, почти пустая, со свежевыбеленными стенами.

— Может, нам разойтись? — прошептала Ульяна.

— Нет, — сдавленно сказал Адам. — Этого я не могу. Не могу и не хочу. Но все равно то, что у нас с тобой, — не жизнь.

— Чем же я виновата, Адам?

— Почему не дотерпела, почему не дождалась?

Закрыв глаза, он вдруг громко застонал и заскрежетал зубами. Ульяна схватила его за плечи и принялась трясти.

— Адам! Адам! — в ужасе закричала она.

Никогда ей не случалось слышать, как люди скрежещут зубами.

Адам тяжело дышал.

— Оставь, Ульяна, — сказал он чуть слышно. — Наверное, я просто сумасшедший. Этому не поможешь. Ты, бедная, ни в чем не виновата. Что тебе было делать?..

Он был так бледен, голос его так слаб, так беззвучен, что Ульяна содрогнулась.

— Нет, Адам! Не говори так! Лучше ругай меня! — умоляла она, не зная, как облегчить его страдания.

Адам беспомощно пожал плечами. Совершенно обессиленный, он сел на кровать. Ульяна робко присела рядом. Она бы не пожалела года жизни, лишь бы найти слова, которые успокоили, смирили бы Адама. Но таких слов не было, и ничего важного сказать друг другу они уже не смогли. И позже, в театре, только перекинулись несколькими вымученными фразами о пьесе. Всю дорогу домой оба молчали. Ночью, в кровати, каждый постарался отодвинуться как можно дальше от другого. Они долго лежали, боясь пошевельнуться, напряженно вытянувшись, как чужие. Было поздно, когда Ульяна, обняв Адама, обдала его горячим дыханием.

— Адам, — прошептала она в величайшей тоске, — ведь ты один только и есть у меня на свете!

Адам ласково и нежно притянул ее к себе.

— У меня тоже... только ты и есть... — тихо ответил он. — С тех пор, как себя помню... И до гроба никого другого не будет.

— Что ж ты тогда? — всхлипнула Ульяна.

Адам, не отвечая, стал осторожно гладить ее волосы, щеки. Их ласки в эту ночь были нежнее, чем когда-либо, но были овеяны тихой грустью.

Очередной рейс разлучил их. Когда Адам вернулся, Ульяна, встретив мужа в воротах Морского вокзала, взяла его под руку и повела домой. Необычно возбужденная, она глядела на него так, словно ей непременно хотелось прочесть в его глазах что-то очень важное для себя.

— Что с тобой? — удивился Адам.

— Ничего. А что?

Поздно вечером потушили свет, легли.

— Адам! — прошептала Ульяна.

— Ну?

— Ты не хочешь простить меня за прошлое... Так, может, и детей от меня не захочешь?

Адам молчал. Он лежал в темноте рядом с ней так тихо, что не слышно было даже дыхания.

— Как так? — сказал он, помолчав.

— Если бы я, например, забеременела... ты был бы рад? — спросила она каким-то особенным, неестественным голосом.

— Видно, не про нас такое счастье, — с горечью отозвался Адам.

— А почему не про нас? — вдруг задорно, как девчонка, рассмеялась Ульяна.

— Как? — вскрикнул Адам и так порывисто вскочил и оперся на локоть, что кровать зашаталась под ними.

— Очень просто!

Ульяна смеялась все громче и громче. Адам обнял ее, принялся целовать и так сжал, что чуть не задушил.

— Теперь, может, у тебя пройдет, — шептала она между поцелуями, — может, простишь...

(Окончание следует).

ПЕСНИ ИРЛАНДСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Перевод с английского М. Кудинова

Публикуемые нами ирландские народные песни взяты из сборника ирландского фольклориста Патрика Голвина «Песни ирландского сопротивления» (Patrick Galvin. "Irish Songs of Resistance", London, Workers' Music Association).

В этих песнях отражена борьба ирландского народа против английского владычества, за свою национальную независимость.

Народ воспевал в своих песнях подлинные эпизоды героической национально-освободительной борьбы. Так, песня «Джонни Грей» хранит память о крестьянских волнениях в Ирландии в начале XIX века; в песне «Отважный Роберт Эммит» прославляется герой Ирландии, пытавшийся поднять восстание в 1803 году; о восстании 1848 года и о вынужденной эмиграции из страны говорится в песне «Скибберин».

Борьба ирландского народа за свою свободу продолжается и в наши дни. Поэтому ирландцы до сих пор не забывают песен, созданных более ста лет назад.

ДЖОННИ ГРЕЙ

Про Джонни ирландцам хочу рассказать я,
Что с ним приключилось, запомните, братья.
Пусть врежется в память рассказ мой о том,
Как в Килкенни Джонни сразился с врагом.

Ни свет ни заря просыпается Джонни,
На поле идти собирается Джонни,
Вдруг пристав судебный в ворота стучит,
В ворота стучит он и так говорит:

«Наш суд порешил отобрать твое поле,
И жить здесь отныне ты больше не волен;
Поедешь ты в ссылку, в чужие края,
Изгнанье навеки — вот участь твоя».

В дом бросился Джонни, схватил он винтовку:
«Меня не сошлешь ты: стреляю я ловко;
И первый, кто сунется к двери моей,
Останется трупом лежать у дверей».

Сказал ему пристав: «Обязан ты сдаться,
Не то на веревке ты будешь болтаться;
Со мной офицер, с офицером отряд,
Нет ходу тебе ни вперед, ни назад».

И выстрелом Джонни на это ответил:
«Будь прокляты все кровопийцы на свете!
Ведь пòтом полил я здесь каждую пядь,
И вам эту землю легко не отнять».

Он первою пулей убил офицера,
И пристав воскликнул: «Тебя для примера
Повесят на самом высоком суку,
Хоть мало прожил на своем ты веку».

И снова стрельба, и, врагом окруженный,
Пал Джонни, случайною пулей сраженный;
Но выстрел последний его не пропал:
В судебного пристава Джонни попал.

Ирландцы! Достойней погибнуть от раны,
Чем в ссылку поехать в заморские страны;
Земля это ваша, и в смелом бою
Избавьте от извергов землю свою.

ОТВАЖНЫЙ РОБЕРТ ЭММИТ

Сраженье окончено... нас победили...
Тоской отуманен Ирландии взор.
В бою нас разбили, в темницу закрыли,
И я, Роберт Эммит, жду свой приговор.

Веревка иль плаха меня ожидает:
Виновен я в том, что́ стоял я горой
За край мой любимый, в котором родился,
Где жил как герой и умру как герой.

Роберт Эммит, чье сердце не ведает страха,
Улыбаясь поднимется на эшафот.
Не страшит его смерть, не страшит его плаха:
Он за счастье Ирландии жизнь отдает.

Ждет корабль меня, чтобы, с бурями споря,
Увезти меня в край, где свободен народ:
Он в открытое море отправится вскоре,
Но напрасно невеста в порту меня ждет.

Я был арестован за бунт и измену,
И с близкими был разлучен я тюрьмой,
Но никто не посмеет назвать меня трусом:
Я жил как герой и умру как герой.

Роберт Эммит, чье сердце не ведает страха,
Улыбаясь поднимется на эшафот.
Не страшит его смерть, не страшит его плаха:
Он за счастье Ирландии жизнь отдает.

Я колокол слышу, и сердцу понятно,
По ком он звонит и о ком он грустит;
Священник бормочет молитву невнятно,
И нет здесь друзей, чтоб сказать мне прости.

Меня не дождется ни мать, ни невеста;
Прощай же, Ирландия, край мой родной;
Я был тебе верен и долг свой исполнил:
Я жил как герой и умру как герой.

Роберт Эммит, чье сердце не ведает страха,
Улыбаясь поднимется на эшафот.
Не страшит его смерть, не страшит его плаха:
Он за счастье Ирландии жизнь отдает.

СКИББЕРИН

Ты об Ирландии, отец, мне говорил не раз,
Про горы и луга ее я помню твой рассказ.
Ты говорил: тот край велик и полон красоты;
Так почему, скажи, отец, его покинул ты?

Мой сын, я родину любил, и я был верен ей.
Но мор прошел — и вымер скот на родине моей;
Не мог налогов заплатить в тот год не я один,
Вот почему покинул я наш древний Скибберин.

Я помню, как в осенний день стоял в деревне стон,
Когда шериф явился к нам, чтоб всех нас выгнать вон;
Он сжег мой дом, чтоб знали мы: лэндлорд здесь господин;
Вот почему покинул я наш древний Скибберин.

Я помню, как поднялись мы в сорок восьмом году,
Поднялись, чтобы одолеть бесправье и нужду.
Но был изменой королю объявлен тот почин;
Вот почему покинул я наш древний Скибберин.

О, мой отец, настанет день — за все заплатит враг,
Я встану в первые ряды под наш зеленый флаг,
Народ Ирландии, отец, восстанет как один
И мы сумеем отомстить за древний Скибберин.

«БРАТЬЯ ЛАУТЕНЗАК»

Рис. О. Верейского.

Лион Фейхтвангер

Братья Лаутензак

РОМАН

Перевод с немецкого В. Станевич и Р. Розенталь

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЗОФИЕНБУРГ

В те дни, после процесса, Оскар был переполнен счастьем. Все то, что его враги «аристократы» задумали ему на погибель, пошло ему на пользу. Ильза Кадерейт даже не дождалась конца процесса, ею же коварно задуманного. Она уехала из Берлина и странствует где-то в далеких краях, она избегает видеть его — его, чей гений теперь признан раз и навсегда.

Хотя Оскар прекрасно знал, как и почему было вынесено решение суда, он считал, что отныне его гениальность подтверждена самой судьбой. Духом. Юридическим документом удостоверено, что ему дарованы сверхъестественные силы. Вычеркнут из его памяти тот вечер, когда он потерпел такую позорную неудачу, пробуя на Кэтэ свое искусство. Педантичная критика Гравличека казалась ему теперь смешной: зря он распинался, этот богемец, этот придира. А Тиршенройт, бог ты мой, у нее был шанс, она его не использовала, это ее дело. Оскар проверял себя: нет, мысль о ее крупном скорбном лице уже не трогает его. Возражения скептиков опровергнуты. Судьба произнесла свое слово, он стал ее избранником. Есть люди, которым суждено свыше быть несчастными именно потому, что родились они для величия. Он не принадлежит к их числу. Ему дано свыше соединять внутреннее величие с внешним блеском. И он твердо намерен насладиться до конца своим счастьем. Лишь немногие умеют быть счастливыми; пафос блаженства быстро испаряется — достаточно нескольких часов, даже нескольких минут. Оскар же обладает и возможностью, и мудрой способностью наслаждаться своим счастьем, не расставаться с ним целые дни, целые недели.

На публику слава его действовала еще сильнее, чем его искусство, она удесятеряла значение этого искусства. Если фюрер одним своим появлением приводил в восторг массы именно потому, что его избранность подтверждалась славой и счастьем, то Оскар Лаутензак, стоило ему появиться, вызывал какое-то ощущение жути; одно его имя пробуждало темное, жадное предчувствие сверхъестественного, потустороннего. В особенности женщины теснились вокруг него, с вожделением вдыхали они воздух, которым он дышал, были счастливы взглядом, который он дарил им. Он был пророком, предтечей нового бога, нового мира.

Он упивался своим успехом. Счастье его не было случайностью, он вырвал его у судьбы, сам его создал.

Оскар написал статью о счастье для журнала «Звезда Германии».

Окончание. Начало см. в №№ 1 и 2 за 1957 год.

Счастье, доказывал он, не обусловлено внешними обстоятельствами, счастье — это внутреннее свойство. Нужна сила воли для того, чтобы следовать за однажды открытой звездой, следовать даже в то время, когда она не видна. Он — за hybris, за дерзость, которая, по мнению древних, накликает божественную месть на голову смертного. И в этом разница между германским и античным типом человека: немец отважен, он не боится судьбы, он признает одного лишь бога — того, который живет в его собственной груди, он признает одну лишь веру — веру в самого себя, в собственную силу, в собственную звезду.

Он пропел эту мрачную, дерзкую песнь торжества. Он чувствовал себя на вершине своего могущества. Это был новый Оскар Лаутензак; глубочайшему забвению был предан тот Оскар, который совсем недавно — на небе стоял еще тот же месяц — пытался утопить в пиве свой позор и свое банкротство.

Манфред Проэль, сидя в своем кабинете в «Колумбиахауз», велел принести себе простой обед из буфета и поставить на письменный стол; он распорядился не мешать ему на протяжении получаса. Ему нужно еще раз наедине спокойно обдумать поставленную перед ним задачу и принять наконец решение.

Дело заключалось в следующем. Прежние властители Германии, свора, окружавшая Гинденбурга, «аристократы», вручили партии власть, ограниченную, разумеется, сотней оговорок, но удержали за собой важнейшие посты. Для партии это не было неожиданностью, и она давно уже собирала силы, чтобы сбросить с себя все эти путы. Она решила инсценировать государственный переворот слева, а затем потребовать чрезвычайных полномочий для его подавления. Это даст возможность нацистам, не нарушив приличий, навсегда разделаться с неприемлемой для них законностью и утвердить свою неограниченную власть.

Состряпать этот «большевистский заговор» фюрер и поручил ему, Манфреду Проэлю. Ясно, что левый путч надо «подавить» в самом зародыше, в тот момент, когда красными будет дан «сигнал». Но этот «сигнал» должен быть весьма эффектным.

Проэль кладет в рот кусочек гуляша и машинально жует, не зная даже толком, что он ест. Из всех предложенных «сигналов» остановились на трех. Во-первых, красные могли бы устроить покушение на жизнь Гитлера. Во-вторых — взорвать «Коричневый дом» в Мюнхене. В третьих, можно «посигналить» огнем здесь, в Берлине: поджечь какое-нибудь большое общественное здание, например биржу, рейхстаг или арсенал.

И вот прошло уже два дня, а Проэль все еще не сдвинулся с места. Против обыкновения он затрудняется принять окончательное решение. Изберет ли он покушение на Адольфа, взрыв в Мюнхене или пожар в Берлине — дело случая. Все три «сигнала» одинаково нелепы, но возможно, и даже весьма вероятно, что именно своей нелепостью они и подействуют на массы.

Проэль отодвигает в сторону тарелку с остатками гуляша, придвигает десерт — шоколадный торт со сливками, кладет кусочек в рот и запивает глотком кофе. Давай, Манфред, перестанем на минутку думать об этих дурацких «сигналах», пошлем их к дьяволу, а затем уж на свежую голову, не мешкая, примем решение. Из груды газет и журналов, наваленных на столе, он берет первый попавшийся номер — это «Звезда Германии». Она-то ему и нужна. Он пробегает оглавление. Оскар Лаутензак — «О сущности счастья». Ладно, поглядим, в чем сущность счастья. «Счастье — это свойство... я стою за дерзость, которая, по мнению древних...» Какая чепуха! Не вернее ли другое мнение древних: дураки никогда не переведутся.

Ну и ловкач же он, этот Оскар Лаутензак. Ничего собой не представляет, ничего не знает и не умеет, просто напялил на себя вывеску «Я дельфийский оракул» — и стал им.

«О сущности счастья». Какой из трех «сигналов» избрать — это ведь тоже вопрос счастья. Счастье — свойство. Звучит недурно, но, если хорошенько вдуматься,— всего лишь глубокомысленная болтовня, чепуха. Однако бывают случаи, бывают. Как, например, решить вопрос о «сигналах»? Тут разум бессилен. За каждый из трех «сигналов» есть столько же доводов, сколько и против. Да, бывают случаи, когда даже Манфред Проэль не может ничего добиться с помощью разума и вынужден положиться на детское непосредственное восприятие вещей, на свой инстинкт. Но, увы, на сей раз инстинкт нем как рыба.

«О сущности счастья». А для чего же партия позволяет себе такую роскошь, как дорогостоящий ясновидец? Ведь в этом как раз и состоит его профессия — он заставляет говорить онемевший инстинкт. Проэль сам часто видел это, да и друзья не раз передавали ему, что Лаутензак во время своих экспериментов извлекал из них именно то, что они смутно чувствовали, но не могли выразить словами. А что если обратиться к этому Лаутензаку? Пусть займется им, Проэлем, и подхлестнет его инстинкт. Итак, решено. Спустимся в глубь, к праматерям. Шагом марш!

И Проэль дал знать Оскару Лаутензаку, что вечером намерен у него ужинать.

Начальник штаба прикидывался беспечным, но был взбудоражен. Он любил крупную игру. А это была крупная, смелая игра: поставить решение такой важной задачи, может быть, даже судьбу партии, в зависимость от того, что пролепечут уста этого одержимого дегенбуржца!

Оскар впервые очутился наедине с начальником штаба. Он почувствовал, что за легкой, оживленной болтовней Проэля кроется то смущение, то нервное напряжение, которое все ищущие у него совета стараются прикрыть скептической, небрежной манерой разговора. Оскар и сам был взволнован. Он давно уже жаждал показать свою силу именно этому могущественному человеку, этому опасному, насмешливому цинику.

— Я полагаю, дорогой,— начал Проэль после ужина,— что ваш внутренний голос уже шепнул вам, для какой цели я пришел. Партия снова идет ва-банк. Игра крупная. Что же делает Манфред Проэль? Он идет к нашему высокочтимому Калхасу и предлагает, так сказать, попытать судьбу.

Бойкий, нарочито обыденный тон начальника штаба не ввел в заблуждение Оскара. Этот человек уже готов, лучшего и желать нельзя. Он чувствует себя в присутствии Оскара, как пациент в присутствии врача. Он ждет слова, которое послужит ему ориентиром.

— Если вы желаете,— вежливо сказал Оскар,— я с удовольствием проведу с вами сеанс.

— Одно попадание есть,— ответил Проэль,— именно об этом я и хотел вас просить. Загляните-ка в меня поглубже. Моя интуиция что-то пошаливает. Как видно, где-то произошло короткое замыкание. Попробуйте, может быть, вам удастся извлечь наружу то, что заваривается во мне и вокруг меня.

— Думаю, что это я сумею,— сказал Оскар и устремил на своего гостя пылкие синие глаза. Его резко очерченное массивное лицо, на котором еще теперь, среди зимы, сохранился загар, составляло резкий контраст с бледно-розовым лицом его собеседника.— Но предупреждаю вас,— продолжал он,— заглянуть в самого себя иной раз бывает небезопасно.

— Ну, не так уж это страшно,— ответил своим скрипучим голосом Проэль.— И давайте, пророк, без околичностей. Оседлайте-ка вашего драгоценного «даймона». Валяйте.

— Начинаю, господин начальник штаба,— ответил Оскар.

Чем больше этот человек небрежничал, тем яснее видел Оскар его нервную подавленность и тем спокойнее становился сам.

— Постарайтесь, пожалуйста, ослабить всякое напряжение,— предложил он Проэлю,— свободнее, не замыкайтесь, не сопротивляйтесь.

— Что? — удивился Проэль,— а где же ваш таинственный кабинет? Где хрустальная пирамида? Вот так, запросто, на ходу?

— Я сегодня в хорошей форме,— ответил Оскар,— мне не нужны вспомогательные средства,— и он без всякого смущения взглянул на гостя.

— Надо же напустить хоть немножко тумана,— сказал с какой-то судорожной развязностью Проэль,— а иначе кто вам поверит?

— Дайте-ка вашу руку, — произнес в ответ Оскар.

— Пожалуйста, если это вам в чем-нибудь поможет,— сказал Проэль и положил свою белую мясистую руку в большую, грубую руку Оскара.

Он продолжал болтать, но Оскар уже не слушал его. Постепенно умолк и Проэль. Оскар смотрел на него, не отрываясь, и из глаз его, от его руки Проэлю как бы передавалось какое-то странное волнение. Оно связывало, оно притягивало. Притягивало и отталкивало. Оно усыпляло и в то же время пробуждало, проясняло. Оно было сладковатое и противное, вызывало желание обороняться, но в то же время хотелось, чтобы оно чувствовалось все сильнее и сильнее. Рука Оскара тихонько держала руку гостя, глаза не отпускали его, цеплялись за него, присасывались. Оскару послышался тонкий звук, как будто рвалась ткань, окружавшие его вещи исчезли, лицо стало пустым, челюсть немного отвисла. Он выпустил руку Проэля. Почувствовал, что он выходит за пределы своего «я». «Видит».

И то, что он видел, было мучительным и радостным в одно и то же время, оно создавало какую-то страшную связь между ним и человеком по имени Проэль.

Оскар Лаутензак с детских лет любил огонь. Еще мальчишкой он «баловался огнем», как это называли в Дегенбурге. Со своими школьными товарищами он играл в императора Нерона и в пожар Рима. На стенах некоторых домов, на окраине города, они написали краденой черной краской слово «Рим». Затем они подожгли разрушенную мельницу; он, Оскар, взобрался со своей скрипкой на лестницу и, глядя, как начинает заниматься огонь, пел: «Мое сердце как улей»... Чуть было не вспыхнул настоящий пожар, сбежались испуганные люди, и под конец Гансйоргу задали ужасную трепку. Уже тогда это было нечто большее, чем детская игра, а позднее у Оскара возникло настоящее пристрастие к огню. Если где-нибудь начинался пожар, он готов был сделать длинный крюк, чтобы подойти поближе к огню. Он всегда жадно любовался пламенем. И как раз недавно, на днях он дважды смотрел фильм Сесиля де Миля, где был показан Рим, охваченный буйным пламенем. Он собирался посмотреть его в третий раз. Эта его любовь к огню была, как видно, чем-то очень немецким. «Вздымайся, бушующее пламя». Самым сильным из всего созданного Вагнером был гимн огню.

Вот почему он с радостным испугом увидел пламя в душе своего партийного коллеги Проэля. Все в нем горело, пылало, а в его мозгу была картина пожара. Сначала Оскар увидел маленькие огни. «Огоньки»,— подумал он с нежностью. «Огоньки»,— сказал он против воли вслух, наслаждаясь звуком этого слова, но эти огоньки разгорались, высовывали длинные языки и дико плясали, быстро ползли вверх и превращались в море огня.

Медленно, подыскивая слова, но определенно и решительно вещал он Проэлю о том, что видел. «Недурно, недурно»,— поддакивал Проэль. Ему не удалось сохранить привычный, насмешливый, игривый тон, у него пере-

сохло во рту. О проекте поджога знало всего несколько человек. Да и самого проекта еще не было, о поджоге говорили только намеками, иносказательно. «Если бы вспыхнул большевистский переворот,— как-то сказал, задумавшись, один из руководителей партии,— то национал-социалисты получили бы желанную возможность потушить пожар».— «Если бы вспыхнул,— так же задумчиво повторил толстяк Герман.— Для этого достаточно одной спички». Все это было туманно, и как-то не верится, чтобы братья Лаутензак могли узнать об этом. Но интереснее всего, что он, Проэль, если хорошенько подумать, с самого начала считал наилучшим сигналом к большевистской революции именно пожар; теперь, после слов Лаутензака, это стало ему ясно как день. Странно, даже более чем странно, что этот человек способен так близко подойти к чужим, глубоко скрытым переживаниям и мыслям. В этом есть нечто весьма опасное, отвратительное, жуткое и вместе с тем притягательное.

— Недурно, недурно,— повторял Проэль, слегка приглушая свой резкий голос.— Дальше, дальше,— торопил он Оскара. Откашлялся, стараясь обрести свой привычный тон.— Пламя, огонь,— продолжал он,— это звучит так отвлеченно, почти символически. Раз уж вы видите, так, пожалуйста, старайтесь видеть что-нибудь конкретное. Кто или что горит? Где горит? Говорите.

— Вы нетерпеливы,— сказал, почти дразня его, Оскар.— Если вы будете ждать спокойно, без напряжения, без сопротивления, то облегчите и мою работу.— Он опустил веки, почти совсем закрыв свои пронзительные глаза. Он слышал волшебный звук — рев бушующего пламени. И медлительным, ищущим голосом говорил:

— Я вижу. Вижу все яснее. Горит большое общественное здание. Вот золотой купол. Мы оба знаем это здание. Это рейхстаг.

Проэль дышал тяжелее обычного.

— Недурно, недурно,— подтвердил он почти против воли.

— Огонь,— продолжал Оскар,— возник не случайно. Это преступный огонь. Но добрый, очищающий.

— Возможно, возможно,— сказал Проэль. Он взял себя в руки.— Но ваши оценки мне не нужны,— добавил он сухо и резко.— Нужны факты.

— Фактов больше никаких не вижу, господин начальник штаба,— вежливо, но решительно ответил Оскар.— Есть только оценки.

— За словом вы в карман не лезете,— ответил Проэль. Но Оскар спокойно спросил:

— Разве я неправ?

— Неплохо это вышло у вас,— согласился Проэль.— Благодарю.

Оскар погладил себя по лбу, как бы стирая что-то или снимая повязку.

— Я очень рад, господин начальник штаба,— сказал он,— что вы получили то, за чем пришли.

Они сидели друг против друга. Проэль задумался, он уклонялся от взгляда Оскара, пытался изобразить скептическую улыбку. Это ему не удалось.

Он ждал, чтобы Оскар предъявил ему счет. Предполагал, что сумма будет немалой. Почти желал этого. Не хотел быть в долгу у Лаутензака.

Но Оскар и не думал предъявлять ему счет: не намерен был обесценивать свое пророчество, принимая за него денежное вознаграждение. Он воспользовался своим искусством ради самого искусства. Он был достаточно богат, чтобы позволить себе одарить этого очень богатого и очень могущественного человека, и гордился тем, что сделал неоценимый подарок именно Проэлю.

А Проэль все ждал, чтобы Лаутензак наконец потребовал мзды. Ждал напрасно. Это его раздосадовало. Человек этот оказал услугу ему и

национал-социалистской партии. Манфред Проэль не нуждается в подарках. Он хочет уплатить, он любит держать в порядке свои счета. Но этот Оскар Лаутензак, по-видимому, сложный субъект. И в конечном счете — неприятный. Проэль теперь знает, к какому сигналу прибегнуть, и это хорошо. Но чертовски досадно, что вот такая личность может заглянуть тебе в самую душу и просветить ее, точно рентгеновским аппаратом. Вряд ли у кого-либо все внутри настолько чисто и прибрано, что он может позволить постороннему заглянуть во все закоулки. Нет, нет, не про нас это... Ощущение острое, но на этот стул он, Проэль, вторично не сядет.

Прозорливец как будто и в самом деле не намерен брать плату. Господин пророк не лишен самолюбия.

— Итак,— сказал Проэль прощаясь,— огромное вам спасибо. Готов к услугам.

И он ушел. С тех пор это был враг Оскара Лаутензака.

В эту ночь Оскар не мог заснуть от переполнявшей его радости и гордости. Разумеется, решение устроить большой пожар уже созрело в мозгу Проэля; но без него, Оскара, оно бы, вероятно, так и осталось в дремлющем состоянии. Он, Оскар, принадлежит к тем избранным, чье назначение — переводить стрелки на путях истории. Этот образ ему понравился: он — стрелочник судьбы.

Утром, когда он проснулся, его стал одолевать соблазн сообщить своим современникам об этом своем назначении, но здравый смысл дегенбуржца подсказывал ему, что если он это сделает, то испортит свои отношения с начальником штаба Проэлем.

Но оставаться немым как могила он тоже не мог. Хотелось рассказать о своем счастье хотя бы близким. Жалко, что нет Кэтэ. Она по натуре очень сдержанна, но это увлекло бы и ее. Гансйорг, несмотря на весь свой скептицизм, тоже понял бы, что значит покорить этого холодного циника Проэля. Но Гансйорга нет в Берлине. С тех пор как партия у власти, малыш пошел в гору, под его началом находится вся пресса, он получил титул государственного советника, а теперь по делам службы уехал на некоторое время в Рим; вероятно, на него возложили специальную миссию. Из надежных друзей остается только Алоиз.

А к Алоизу после процесса снова трудно подступиться. Его, как специалиста, увлекло выступление Оскара в зале суда, этот «большой номер», и с тех пор он еще сильнее поддавался чарам своего друга. Но самомнение Оскара раздражало его, да и ложная присяга, которую Алоиз принес ради своего партнера, была неприятным воспоминанием. Он стал еще ворчливее, чем прежде, в особенности когда речь заходила о политике. Поэтому Оскар предвидел, что рассказ о встрече с Проэлем вызовет у Алоиза лишь угрюмые насмешки. И все же он не мог удержаться, его тянуло поговорить с Алоизом. Вышло именно так, как ожидал Оскар.

— Катись со своей дурацкой политикой, самовлюбленный осел,— вот и все, что мог сказать Алоиз по поводу выступления Оскара в роли стрелочника судьбы.

Оскар, чтобы отвести душу, поехал к портнихе Альме. Ей теперь жилось прекрасно. Ателье, которое Оскар устроил ей в Берлине, процветало. Она была полна благодарности к своему великому другу, все еще посещавшему ее раза два в месяц.

Ей-то Оскар и рассказал о своей победе. По внешней видимости, на первом плане стоят другие, а на самом деле именно он управляет стрелками, от которых зависит жизнь партии и всего государства. Оскар говорил о грандиозном плане, который он придумал вместе с Проэлем, о пожаре, сигнале, разгроме противников. Он ходил по комнате и расска-

зывал. Альма благоговейно слушала, жалела его за то, что ему придется нести такое тяжкое бремя, восхищалась его величием, была кротка, нежна и почтительна — именно так, как Оскар и представлял себе. Он был очень расположен к ней. Конечно, ее нельзя назвать значительной, но недаром Гете всю жизнь держался незначительных женщин.

Фокусник Калиостро тоже ценил портниху Альму. Он теперь часто заглядывал к ней перед тем, как отправиться на представление. Вся ее повадка — ее спокойная, медлительная манера держаться, народный говор — напоминала ему родные края. Она ставила перед ним пиво, колбасу, редьку, искусно нарезанную ломтями и посоленную, а он говорил об Оскаре. Алоиз привык к этому точно так же, как прежде в Мюнхене привык выпивать по вечерам кружку пива в дымном, шумном, мрачном ресторане «Францисканец», жалуясь на тяжелые времена.

С тех пор как Оскар рассказал ему о Проэле и большом огне, Алоиз говорил о своем друге с особенной неприязнью. Ему было досадно, что Оскар все глубже впутывается в нацистскую политику; он видел в этом руку Гансйорга, бандита, негодяя, о котором он не мог спокойно вспоминать. Он глубоко погружал в белую пену широкий тонкогубый рот, обтирал его большой белой рукой и шумно разжевывал кусок редьки белыми и золотыми зубами.

— Говорю вам, фрейлейн Альма,— заявлял он,—незачем Оскару соваться в политику, он в ней ни черта не смыслит. Художник должен стоять над партиями, это ему известно не хуже, чем мне. Но со времени процесса к нему не подступишься. Надут как индюк, воображает, что умнее всех. Поверьте мне, путаться с национал-социалистами опасно и глупо. Я на месте Оскара не хотел бы иметь касательства к делам этой грязной банды. Подозрительные это дела, уж поверьте мне.

— Вы всегда все видите в мрачном свете, господин Алоиз,— спокойно отвечала Альма и тоже отпивала глоток пива.— Это ваша специальность.

Алоиз угрюмо посматривал на нее, но взгляд его становился все приветливее: Альма сидела перед ним такая уютная, с приятными округлостями спереди и сзади. Он снова брался за кружку, опорожнял ее залпом, ставил на стол, и вдруг беловато-серая кружка оказывалась черной.

— Вот видите, фрейлейн Альма,— говорил он,— есть ведь и у других людей кое-какие способности.

— Например, у вас, господин Алоиз,— одобрительно поддакивала портниха Альма.

Но потом Алоиз снова начинал ворчать. Он, правда, гордился дружбой с гениальным Оскаром, но его грызла зависть. Когда он, например, видел, как слепо Альма восхищается этой хвастливой скотиной, его разбирала сильнейшая досада.

— Политика разъедает душу,— сердито заявлял он,— политика портит характер. Впрочем, по своей натуре Оскар и без того эксплуататор. Он морально эксплуатирует окружающих. Из меня он все жилы вытянул.

— Не надо так говорить, господин Алоиз,— строго выговаривала ему Альма,— я такое и слушать не хочу, даже в шутку.

Но Алоиз упрямо настаивал на своем.

— Подождите, фрейлейн Альма,— говорил он своим ржавым голосом.— Придет и ваш черед, поверьте мне, Оскар еще удивит вас. Он все соки высасывает из человека, а когда высосет, отбрасывает его в сторону. Берегитесь, когда-нибудь он отбросит и вас, словно шкурку от съеденной колбасы.

Но Альма начинала сердиться всерьез. Она так злилась на него, что, казалось, вот-вот укажет ему на дверь. Ему с трудом удавалось ее успокоить.

Замок Зофиенбург был достроен. Оскару хотелось бы переехать туда вместе с Кэтэ. Но она все еще была в Лигнице; состояние отца не позволяло ей вернуться, писала она. Гансйорга тоже не было еще в Берлине, но Оскар не мог больше ждать. Он переехал в Зофиенбург.

Он был неравнодушен к красивой форме, к пышности и свой одинокий торжественный въезд сумел превратить в праздник.

Дом с его строгим, гармоничным фасадом был особенно красив с моря, и Оскар отправился на берег — туда, где никто не мог его видеть. Там он сел на свою яхту. Подхваченная ветром, она быстро, даже как-то слишком быстро унесла его на простор веселого весеннего дня. Она обогнула мыс. За мысом высился его дом. Простой, благородный, он стоял на зеленом холме маленького полуострова, новые флигели сливались в одно целое со старым зданием и с ландшафтом.

Оскар поднялся по лестнице, которая вела к дому между двумя подъездными дорожками. Тут его уже ждал Али, коричневый слуга, произведенный теперь в кастеляны. Двустворчатая дверь открылась, и он вошел в вестибюль, занимающий большую часть нижнего этажа. Это была обширная, строгая комната. Вокруг стены шел фриз с таинственными египетскими и халдейскими эмблемами.

Пустой цоколь, стоявший в середине, придавал вестибюлю какой-то голый вид. Оскар улыбнулся. Его будут спрашивать, что это за таинственный цоколь, но он не скажет никому. А дело в том, что этот цоколь — последняя «пустая стена». Произведение искусства, для которого Оскар предназначил его, пока еще, по-видимому, недоступно. Им владеет господин Обрист, друг Кадерейта. Это античная статуя, женщина с большой, буйной, почти мужской головой, напоминающей Оскару скульпторшу Тиршенройт. Он, Оскар, считает, что эта статуя — сивилла. Господин фон Обрист, конечно, не согласен с этим толкованием, для него это воительница, и он многословно доказывает, что она не может быть сивиллой. Господин фон Обрист вообще неприятный субъект. Когда Оскар спросил его, не согласится ли он расстаться со статуей, тот ответил:

— В этом доме, милейший господин Лаутензак, не продаются ни принципы, ни произведения искусства.

Этот господин — противник нацистов, и свои наглые слова он произнес с улыбкой, с той чуть заметной дерзкой и вместе с тем удивленной улыбкой, которую Оскар иногда замечает на лицах «аристократов» и которая его особенно задевает. Именно эта улыбка господина фон Обриста вызвала у Оскара желание во что бы то ни стало завладеть «Сивиллой». И он с надеждой смотрит на пустой цоколь.

Оскар покинул вестибюль и прошелся по нижнему этажу. Это помещение было предназначено для созерцания, углубления, интимного познания, для работы, которую он хотел делать без всяких помех, наедине с самим собою. Здесь была библиотека с гобеленом «Мастерская алхимика», была и «келья». Затем он перешел в лабораторию, в маленький зал, где он рассчитывал давать консультации. Везде стояла аппаратура для демонстрации фильмов и звукозаписи — каждый его жест, каждое слово должны быть сохранены для потомства. Были и такие приборы, с помощью которых он мог слышать, что говорится в любом уголке дома; и много непонятных рычагов и выключателей, пользоваться которыми мог только он. Оскар осмотрел их с удовлетворением, повозился с ними. Затем поднялся по большой лестнице наверх, в парадные комнаты. Вошел в зал, оборудованный для опытов с «избранными». Он долго и с удовольствием смотрел на большой, странный круглый стол из стекла, стоявший посреди комнаты. На нем были изображены знаки Зодиака, а с помощью особых установок он освещался изнутри то слабее, то сильнее. Предназначался он для того, чтобы мистическим путем получать вести от отдель-

ных лиц, сидящих вокруг стола, и тем же мистическим путем передавать их дальше. Все, что находилось в этой комнате, радовало его глаз. Долго стоял он перед аквариумом с рыбами, которые переливались всеми цветами радуги, обошел клетки со змеями и другими странными тварями, выписанными из разных частей света.

Затем он перешел в зал для приемов и докладов, в «зал вознесения». Хотя Оскар был один, он шел тем торжественным шагом, какому его обучил актер Карл Бишоф. Этот зал был украшением и гордостью замка Зофиенбург. Он казался пустым, как церковь, в нем были только стулья. На большом возвышении стоял амвон ясновидца. Он поднялся и «воссел» на стул. Отсюда он мог регулировать освещение, как это делал фюрер на своих собраниях, давать тот свет, при котором он хотел явиться своим гостям.

В зале не было окон, здесь стоял мрак даже днем. Оскар осветил потолок. Да, эффект был именно тот, какого он ждал. Так и кажется, что стоишь под звездным небом. Он гордился идеей, владевшей им при создании этого зала. Амвон и звезды: даже тупица не мог не понять этого символа. «Две вещи наполняют мою душу вечно новым восхищением и благоговением: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас». Здесь, в Зофиенбурге, в «зале вознесения», он, Оскар Лаутензак, материализовал эти основы кантовского миросозерцания в понятной для всех форме. Когда он будет, восседая на этом стуле, исполнять свои обязанности, каждому станет ясно: для нынешнего поколения, для «Третьей империи», представителем практического разума, интуиции, является он, Оскар Лаутензак.

Одиноко сидел он под искусственным небом, наслаждаясь своим творением. Этот дом он построил вопреки всем препятствиям, он вырвал его у судьбы. Архитектор Зандерс сопротивлялся тому, что виделось Оскару. Этот пошляк твердил об оккультном балагане, о невозможном смешении стилей. Но Оскар не дал сбить себя с толку. Он создал волшебный замок Клингзора, создал собственный мир и увидел, что этот мир хорош. Пастор Рупперт, конечно, назвал бы все это святотатством. Смертный дерзает применить эти слова библии к самому себе. Оскару вдруг стало страшно, но он быстро стряхнул с себя это ребяческое чувство.

Весь день он провел, как намеревался, один в Зофиенбурге, никто не смел беспокоить его. Вечером он удалился в свою келью.

Здесь он сидел в своей домашней фиолетовой куртке. Со стены на него взирал баварский король Людвиг II в серебряных доспехах, влекомый лебедем. Оскар вспомнил, что однажды, когда они с Гансйоргом были еще мальчиками, отец поехал с ними во время каникул осматривать сказочные замки этого короля. Вспомнил и о том, как они восхищались великолепием замка Геренхимзее, как они раскрыли рты от испуга и удивления, когда им сказали, сколько было затрачено на всю эту роскошь,— какие-то астрономические цифры. Теперь эти замки превратились в музейный экспонат, а его, Оскара, дом живет. И портрет короля уже не казался ему вызывающим.

Да и маска уже не пугала его. Он полностью владел своим гением, эксперимент с Проэлем удался ему так, как никогда ни один не удавался. Скульпторша Тиршенройт была неправа, его блеск, его успех не отразились на его способности «видения», а наоборот, дали толчок ее развитию.

Он вспомнил о руках Кэтэ, о том, как она играла камнями, которые сейчас лежат перед ним в деревянной чаше. Нет, теперь неудача не может его обескуражить. Теперь он знает, что неудача — это редкая случайность. Теперь он уже не нуждается в подтверждении своей гениальности.

И все-таки жалко, что нет с ним Кэтэ. Ему не хватает ее. Он тоскует

по ней. Жгуче тоскует. Вся радость, которую ему доставляет его новый дом, отравлена тем, что ее нет здесь.

И вдруг ему сразу становится ясно: все, что он здесь насочинил о своей гениальности, о «ловле человеков»,— сплошной самообман. Ему вдруг становится ясно — он любит Кэтэ.

Он сидит растерянный. Ему стыдно. Сорок четыре года минуло ему, он желал многих женщин, знал многих женщин, интересных, привлекательных, и вот сидит и тоскует по маленькой девочке, точно гимназист. Да, этому состоянию нет другого названия — только гимназическое, глупое, нелепое: он любит Кэтэ.

Оскар тряхнул головой, он досадует на себя. Но вдруг досада и стыд проходят. Превращаются в свою противоположность. Значит, и это переживание ему даровано. Он всегда думал, что самоотверженная любовь — бессмысленная болтовня, что ее не существует, что это лишь ребячливое изобретение глупых поэтов, на самом же деле нельзя любить никого, кроме самого себя. А сейчас он умирает от тоски по этой девчонке. Не может вычеркнуть ее из своей жизни. Чувствует: вся его жизнь—это цоколь, предназначенный для этой женщины. Любит ее. И добудет. Завоюет, как завоевал все другое. То, что она так задержалась в Лигнице, еще ничего не означает. Она не хочет сдаваться, не хочет признать, что верит в него. Ни за что не скажет этого, скорее язык себе откусит. Она очень горда. Истая немка. Именно поэтому он ее любит.

В комнату прокрадывается какая-то фигура. До сих пор Петерман никогда не осмеливался беспокоить его в «келье». Что это еще за новые порядки? Этот субъект позволяет себе слишком много.

Но Петерман даже не извиняется — так он захвачен новостью, которую принес.

— Горит рейхстаг.

Оскар высоко вскидывает голову. Свершилось. Он, Оскар Лаутензак, перевел стрелку судьбы, определил будущность Германии. Небывалое счастье растет в его душе, наполняет его всего, рвется наружу, на простор. Он улыбается широко. Ударяет Петермана по плечу.

— Что скажете, Петерман? — спрашивает он.— А, каково? — и в нем самом как будто вспыхивает волшебное пламя и звучит «хойохо», «хойохей» — клич, с которым Зигфрид проходит через огонь.— «Хойохо», «хойохей»,— вырывается у Оскара, он уже не владеет собой: на глазах у остолбеневшего Петермана делает прыжок и с громким смехом ударяет себя по ляжкам.

В Лигнице Кэтэ застала отца уже здоровым, но он очень постарел. Бродил по комнатам, колючий, угрюмый, жаловался на преждевременную отставку. Он чувствовал в себе еще много энергии, да и пенсии не хватало на его потребности. Недовольство своим положением сделало его ярым сторонником нацистов. Целые дни он болтал о величии этой партии.

Приходили известия о процессе. Хорошо, что в эти дни Кэтэ не видела Оскара, но мучительно было слушать злобные и торжествующие комментарии отца по поводу поражения клеветника Пауля Крамера.

Не нашла Кэтэ в своем родном городе покоя, как надеялась. Теперь уже было совершенно ясно, что она беременна, и положение казалось ей с каждым днем все более запутанным. Она потеряла наивную уверенность ранней молодости и здесь ощущала свою беспомощность еще острее, чем в Берлине. Она ходила по знакомым улицам, но они уже не радовали ее. Церковь святого Иогана, за́мок, старая ратуша, кавалерийская академия, дом иезуитов, школа, где она училась, дома ее товарищей и подруг — все потеряло свой знакомый облик, все казалось маленьким, далеким, отзвучавшим.

В Лигнице она чувствовала себя совсем одинокой, но отъезд все откладывала. Ей было страшно снова увидеть массивное, мальчишески жадное, хищное лицо Оскара. Она чувствовала, что ее влечет к нему еще сильнее, чем раньше, она боялась самой себя.

Но вдруг она устыдилась своей трусости. И решилась откровенно поговорить с ним. Послала ему телеграмму. Выехала в Берлин.

Вся досада, которую когда-либо вызывала в нем Кэтэ, улетучилась, как только он получил ее телеграмму. Он поехал на вокзал встречать ее. С напряженным интересом ждал, какой же приедет Кэтэ. Она приехала серьезная, немного усталая, но показалась ему еще более желанной, чем прежде. На ней был простой коричневый костюм, из-под шляпы выбивались темно-русые, густые, немного растрепанные волосы. Он был полон нежности, он любил ее, он все в ней любил.

Кэтэ смотрела на него — вот он стоит большой, статный, ветер развевает его просторное пальто. Она увидела непритворную радость на его мужественном лице. Увидела ярко-красный рот, услышала веселый мальчишеский смех. Почувствовала сильные руки, обхватившие ее. Все ее сомнения рассеялись. Всем существом она потянулась к нему. Они ведь составляли одно целое.

Оскар не позволил ей поехать домой. Настоял, чтобы она тотчас же отправилась с ним в Зофиенбург. На берегу озера их ждала яхта; они проехали небольшое расстояние вдоль берега. Вот и маленький полуостров. Покрытый травой холм и на нем белый, изящный, изысканно простой замок. «Зофиенбург»,— представил его Кэтэ Оскар, гордо посмеиваясь. Она тоже рассмеялась. Давно ей не было так весело. Какие глупые, нелепые мысли она внушала себе все время!

Они высадились на берег. Вошли в дом.

И сразу ее охватили старые сомнения, будто они только того и ждали. Вся эта варварская роскошь навалилась на нее, сдавила — нелепая и в то же время тяжелая, как могильная плита. Она показалась себе затерянной среди этих вещей. Зачем она здесь? Разве она, Кэтэ Зеверин, может здесь жить?

Она заставила себя говорить в том же тоне, произносить дружеские слова, удивлялась, восхищалась; но он заметил, что все это вымучено. А он-то заранее рисовал себе, как она вскинет на него глаза, сияющие радостью и восторгом, как он сам будет радоваться и это подскажет ему нужные слова: он предложит ей разделить с ним жизнь. И вот вместо новой, веселой, расположенной к нему Кэтэ, которую он встретил на Силезском вокзале, рядом с ним идет упрямая, замкнутая, враждебная Кэтэ, еще более чужая ему, чем в самые тяжелые времена их разлада.

Есть в ней что-то новое, и оно разделяет их. Может быть, процесс? Нет, что-то другое. Но что же? И, немного погодя, он напрямик спрашивает ее об этом.

Сейчас ей следовало бы сказать ему, что она беременна. Ведь она приехала с твердым намерением сообщить ему эту новость. Лучшей минуты и ждать нечего. Он сам спросил ее. Можно ли еще больше облегчить ей эту трудную задачу?

Но она говорит:

— Да ничего, ничего особенного.— Она ли это говорит? Какой странно чужой, еще более обычного сдержанный голос!

Он пожимает плечами. Вот Зофиенбург. И вот женщина, которую он любит. Почему же он не говорит ей, как намеревался, что хочет на ней жениться? Ведь она этого ждет!

Но нет, она отбила у него охоту говорить. Она мастерица отравлять человеку радость. Нет, он не скажет. Уж теперь-то не скажет. Если она будет разочарована, поделом ей. Почему она так упряма?

Они проводят вместе еще немного времени, обмениваясь безразличными, вымученными фразами. Потом она уходит, и он ее не удерживает.

Когда Кэтэ добралась до своей квартиры на Кейтштрассе, она почувствовала себя смертельно усталой. Однако у нее нет желания лечь. Она сидит на маленьком стуле перед громадным роялем, который он подарил ей. Она опирается локтями о крышку, положив подбородок на руки. Сидит и думает, все думает об одном и том же. Почему она ему не сказала? Ведь она твердо решила. Она еще и еще раз переживает минуты, проведенные с ним в Зофиенбурге. Снова и снова доходит до того мгновения, когда вдруг из глубин души пробилось: нет, нет. Она не может жить с человеком, который придумал этот страшный, этот дикий, наполненный привидениями дом. У нее нет с таким человеком ничего общего.

И у него с ней тоже, хоть он и верит в существование этой общности. Думает-гадает, что с ней приключилось, и даже не может распознать, этот ясновидец, что она беременна. Как он смешон со своим огромным кольцом на большой, белой, грубой руке. Смешон со своим колдовским замком, созданным для привидений. Смешон со своим подлым процессом, который он состряпал вместе с негодяем братом. Смешон, зол и опасен.

Но ведь все это она знала раньше и все же решилась с ним говорить. Что толку, если она понимает, как он смешон и низок. Освободиться от него она не может. Ее бросило в жар от радости, когда она увидела его на вокзале. Она задрожала, когда он положил ей руку на плечо.

Кэтэ невольно вспомнилось, как однажды она услышала тяжелые шаги и несколько мужчин, потея и тяжело дыша, к ее удивлению, внесли к ней в комнату огромный рояль. Кэтэ удручало, что рояль был подарен против ее воли, но вместе с тем и радовало. И вот он стоит здесь, этот красивый инструмент, заполняя собой почти всю комнату.

Она встает, идет в спальню. Медленно раздевается, наливает чашку чая, не пьет его, сидит без дела, в пижаме, то на одном стуле, то на другом, наконец, ложится в постель, хотя знает, что уснет не скоро. Не разумнее ли избавиться от ребенка? Она не может говорить об этом с Оскаром, не может. Если она заговорит с ним, он станет настаивать, чтобы она вышла за него замуж, родила ребенка, и она даст себя уговорить, и все пойдет по-прежнему, она будет всю жизнь связана с ним и с его волшебным замком.

Самое разумное — пойти завтра к врачу. У нее есть адрес.

Она отлично знает, что к врачу не пойдет. Пауль всегда пытался ей втолковать, что разум очень мало влияет на человеческие поступки. Почти всеми действиями человека управляет чувство.

Не пойти ли ей к Паулю? Но это повлечет за собой окончательный разрыв с Оскаром. Как бы она ни поступила — все будет неправильно.

Два дня спустя Оскар устроил первое большое празднество в своем новом доме. На новоселье в Зофиенбург съехался весь Берлин — так будет напечатано в газетах.

Хозяин замка обходил гостей, упоенный торжеством и сознанием своей значительности, полный жизненных сил. Дом был освещен феерически. По лестницам двигались вверх и вниз мужчины в ослепительно белых манишках, дамы с обнаженными спинами; мелькала форма рейхсвера и нацистской партии; то и дело слышалось: «ваше сиятельство», «ваша светлость». И среди этих гостей незримо бродили призраки, вызванные возбужденным воображением Оскара: магистратский секретарь Игнац Лаутензак, плаксивая бабушка, профессор Ланцингер,

пастор Рупперт, именитые граждане города Дегенбурга и множество других, живых и мертвых,— все те, кто не верил в него, бранил его, унижал; теперь он им всем «покажет».

Гостей съезжалось все больше и больше. Медленно, толпой, двигались они по комнатам — Гансйорг, Хильдегард фон Третнов, Кэтэ, Алоиз, агент Манц, Проэль, Зандерс, Петерман и еще многие, многие. Здесь было, вероятно, не меньше тысячи человек.

Граф Циндорф не отходил от доктора Кадерейта; на нем была коричневая нацистская форма, а на Кадерейте фрак без орденов и без значка. Ильза после процесса, в который она втянула Оскара, дружила с Циндорфом, и он был некоторое время постоянным гостем в доме доктора Кадерейта, оставаясь им даже теперь, когда Ильза носилась по белу свету. Он спокойно и развязно намекнул доктору Кадерейту, что в недалеком будущем может оказаться ему весьма полезным. Дело в том, что отношения между магнатами тяжелой промышленности и нацистской партией были далеко не простыми. Заводчики наняли бандитов для того, чтобы они обуздали рабочих и крестьян. Бандиты выполнили порученное, получили мзду, но пока еще было неясно, позволят ли они на этот раз оттеснить себя. Бесстыдный маневр с поджогом рейхстага не предвещал ничего доброго. Тщательно сбалансированное равновесие старых и новых сил находилось под серьезной угрозой. Во всем государственном аппарате, сверху донизу, законность была вытеснена почти ничем не прикрытым террором. Доктору Кадерейту и ему подобным нелегко будет отстоять себя перед варварами, которым они сами помогли укрепить позиции. И такой человек, как Циндорф, с наглой небрежностью поддерживающий связи с тем и другим лагерем, мог и в самом деле оказаться полезным.

Кадерейт и Циндорф, увлекаемые толпой, медленно двигались по анфиладе комнат. Зофиенбург был красивым, тихим поместьем, одно время Кадерейт и сам хотел его купить. Полуприкрыв хитрые глаза, он осматривал этот замок, из которого Оскар сделал балаган. Архитектор Зандерс протолкался к Кадерейту и Циндорфу. Он ничуть не обиделся, когда заводчик, дружески улыбаясь, сказал своим высоким бесстрастным голосом, как бы подводя итог:

— Вы создали новый стиль, мой дорогой Зандерс: дегенбургское барокко.

Архитектор сразу предал своего заказчика и, трясясь от смеха, стал отпускать сочные остроты насчет мистического паноптикума и оккультного зоопарка.

Гансйорг, осматривая дом, был охвачен самыми противоречивыми чувствами. Оскар слишком уж размахнулся. Баснословная карьера братьев Лаутензак создала им слишком много врагов среди партийных бонз, глупая необузданность, с которой Оскар выставляет напоказ свое богатство, умножит число их недругов. Оскар — гений, но он глуп. Недоброжелатели, окружающие их, только и ждут его провала. Если Оскар не будет остерегаться, они дадут ему пинка в зад и стащат его с треножника дельфийского оракула, который он воздвиг себе.

Сам Гансйорг в противоположность Оскару отказывается от всего показного. Береженого бог бережет. Он даже уклонился от предложенного ему поста министра, он довольствуется той реальной властью, какую дает ему пост начальника всегерманского агентства печати. Сверх того, у него есть надежная и весьма влиятельная покровительница в лице баронессы фон Третнов.

Он теперь у Хильдхен — свой человек. Она и шагу не ступит, не посоветовавшись с ним. Разумеется, он себя не обманывает: знает, что всегда будет для нее лишь заменой Оскара.

Но она не глупа, она сравнивает — и сравнение иногда бывает в его пользу; сейчас, например, Гансйорг с удовлетворением отмечает, что и Хильдегард скорее удивлена, чем восхищена новым домом Оскара; Оскар, живший на Румфордштрассе, производил на нее более сильное впечатление, чем нынешний хозяин замка Зофиенбург.

Отношения между Гансйоргом и его братом стали еще более сложными. Он все еще оставался под влиянием процесса, на котором с такой силой проявился гений Оскара, а то обстоятельство, что брат своей магией пронял даже такого циника, как Проэль, еще более усилило его восхищение. Затем, однако, Гансйорг разозлился, ибо Оскар, рассказывая ему об этой консультации, нес невероятный вздор, от которого отдавало прямо манией величия. Ему же, Гансйоргу, как раз почудилось, что после этого визита Манфред стал относиться к Оскару весьма неблагосклонно. Вот и сегодня начальник штаба показался здесь лишь на несколько минут и даже не стал дожидаться фюрера, хотя было объявлено, что тот прибудет. Гансйорг опасался, что Оскар именно во время визита Проэля, вместо того чтобы использовать этот огромный шанс, допустил какую-то колоссальную глупость.

Такие мысли мелькали в его голове, когда он медленно шел в толпе гостей по этому причудливому и вызывающе роскошному дому, воздвигнутому Оскаром. Он завидовал брату — ведь Оскар так смело, ни от кого не таясь, выказал свое тщеславие, — но с тревогой думал о последствиях, которые может навлечь на них эта кричащая демонстрация.

Его размышления прервал фокусник Калиостро. Он пробивался сквозь толпу в сопровождении агента Манца и портнихи Альмы.

— Скажите-ка, приятель,— обратился он к Гансйоргу,— что это у вас за необыкновенная цепочка на часах?

Гансйорг схватился за карман жилета и испуганно отдернул руку: оттуда свешивалась маленькая змейка; этот злой шут, как видно, извлек ее из террария, которых вокруг было немало, а затем поколдовал, и она прилипла к жилетному карману Гансйорга. Громким, жирным, довольным смехом разразился агент Манц, звонким и добродушным — портниха Альма, а фокусник Алоиз, ухмыляясь, смотрел на них. Гансйорг с досадой отвернулся. Он не выносил эту компанию; как жаль, что Калиостро — нужный Оскару человек.

Алоиз в этот вечер был очень доволен. Волшебный замок Клингзора ему необычайно нравился. У него вырывались восторженные возгласы: «Ах, ах!», «Ну и здорово!». Он бесцеремонно расспрашивал архитектора Зандерса о затратах и одобрительно приговаривал своим ржавым голосом: «Да, да, уж кому дано, тому дано, и кто может, тот может». Долго стоял он перед буфетом, костлявый, длинный как жердь, и жадно поглощал вкусную пищу, размалывая ее своими белыми и золотыми зубами. Да и выпил он вволю. Но потом, когда нашел незанятый столик для себя и для Альмы, его настроение вдруг резко изменилось. В нем проснулась обычно дремавшая ярость против Оскара.

— Скажите-ка, уважаемая,— с негодованием произнес он,— для чего понадобилось этакому паршивому мальчишке из Дегенбурга развесить над своей головой искусственное звездное небо стоимостью в сорок две тысячи марок?

Многие из гостей Оскара отпускали злые шутки по поводу Зофиенбурга. И все же этот огромный, ни на что не похожий колдовской балаган производил на них впечатление. «Грандиозно»,— говорили они. Успех Оскара, запечатленный в этом каменном замке, увлекал их точно так же, как их увлек успех Гитлера, назначенного на пост рейхсканцлера И они становились убежденными сторонниками оккультизма.

Но все это не действовало на графа Циндорфа. Бахвальство пророка Лаутензака лишь потешало его; оно вызывало в нем желание подшутить над Оскаром. Он взял его под руку и как бы по секрету спросил своим нагло любезным тоном:

— Послушайте, дорогой мой, все это золото и прочее великолепие, надо думать, большей частью — настоящее?

Оскар удивленно взглянул на него и ответил:

— Не совсем понимаю вас, Ульрих.

— Я хочу сказать,— произнес со своей дерзкой улыбкой Циндорф,— такое же настоящее, как, скажем, жемчужина у вас на груди?

— А чем вам не нравится моя жемчужина? — спросил Оскар с глуповатым изумлением.

— Да нет, она мне нравится,— добродушно ответил Циндорф.— На сцене редко носят настоящий жемчуг, умные люди запирают свои драгоценности в сейф.

— Вы же не думаете, что я надел сегодня фальшивую жемчужину? — спросил Оскар.

Но Циндорф вместо ответа продолжал улыбаться своей подлой высокомерной улыбкой и стал напевать: «Си-ми-ли, си-ми-ля». По-видимому, он был пьян.

— Послушайте, Оскар,— сказал он наконец,— я не ясновидец, но что-то подсказывает мне: с этой жемчужиной дело нечисто. Сегодня у вас так весело. Давайте же и мы позабавимся. Заключим пари. Вы считаете эту жемчужину настоящей, а я, полагаясь на свое предчувствие, заявляю вам — с жемчужиной дело нечисто.

— Вы всерьез думаете, Ульрих,— сказал несколько резче Оскар,— что жемчужина — фальшивая?

— Я ничего не думаю, ничего не знаю,— ответил Циндорф,— но точно так же, как и вы, доверяю своему инстинкту. Ну, не упрямьтесь,— настаивал он.— Заключим пари. Скажем, на десять тысяч марок. Если жемчуг настоящий, я буду вам должен на десять тысяч марок больше, если же мой внутренний голос меня не обманул, вы дадите мне десять тысяч наличными,— он протянул Оскару руку.

— Но это было бы просто разбоем с моей стороны,— сопротивлялся Оскар.— Ведь я совершенно уверен, что жемчужина настоящая. Зная, от кого она ко мне перешла, сомневаться на этот счет не приходится.

— Я вижу, вы увиливаете, — продолжал настаивать Циндорф. — Да не делайте же вы такое несчастное лицо. Скажите «да»,— и он все еще не опускал протянутой руки.

Оскар вспомнил о предостережении Гансйорга. Вспомнил, что Циндорф должен ему больше тридцати двух тысяч марок — тридцать две тысячи двести девяносто семь (он был по-дегенбургски аккуратен в денежных делах, и эта цифра прочно запечатлелась в его памяти). Какой будет толк от того, что она превратится в сорок две тысячи? Гансйорг прав: он, Оскар, никогда не получит этих денег. А Циндорф, когда протрезвится, пожалеет об этом пари и его досада обратится против Оскара. А с другой стороны, было бы недурно проучить этого негодяя — графа.

— Идет,— сказал он.

Нахальная улыбка, с которой Циндорф оглядел его с головы до ног, еще усилила тревогу Оскара. Ему вспомнились насмешливые нотки, иной раз звучавшие в голосе Ильзы Кадерейт, вспомнился час горького унижения.

Но задумываться об этом некогда. Прибыл фюрер. Как ни занят был Гитлер государственными делами, он хотел во что бы то ни стало присутствовать на празднестве своего ясновидца. Оскар поспешил к порталу, торжественно встретил Гитлера. Сопровождаемый хозяином замка, среди го-

стей, стоявших шпалерами и приветствовавших его по-римски, Гитлер шествовал по роскошным покоям под возгласы «хайль».

Он выказал глубокое понимание того, к чему стремился и чего достиг Оскар перестройкой поместья Зофиенбург. Ведь он и сам был почти что архитектором. С каким удовольствием строил бы он дома, но, к сожалению, строительство новой Германии не оставляло ему досуга.

— Да, да, — говорил он,— здесь, в вашем жилище, видишь, какие узоры может выткать романтика немецкого духа в нашу эпоху технического прогресса.

Затем он вместе с Оскаром поднялся на возвышение, где находилось кресло ясновидца. Здесь они стояли, фюрер и его пророк, под искусственным звездным небом. У ног их простирался «зал вознесения», нечто среднее между церковью, Валгаллой * и лабораторией. В этом зале теснилась толпа, с благоговением взиравшая на них.

— Теперь,— произнес фюрер,— люди, стоящие внизу, могут собственными глазами убедиться в том, насколько был прав поэт:

Певец не ниже короля Ведь оба
На вышках человечества стоят.

Позже, окончив осмотр и направившись в сопровождении Оскара к выходу, фюрер сказал:

— Люблю, когда кулак подлинно расового чувства соседствует, как в этом доме, с грезами старых времен.

Оскар же, мгновенно используя благоприятный случай, смело ответил:

— Мои грезы могут претвориться в действительность только с вашей помощью, мой фюрер. Отдельная личность слишком слаба, чтоб охватить во всем объеме тайные науки, способные достойно увенчать воздвигаемое вами величественное здание государства.

Фюрер вспомнил:

— Вот, вот,— сказал он,— вы имеете в виду академию оккультных наук. Я ее создам, за этим дело не станет. Что обещано — то обещано.

После того как Гитлер удалился, настроение гостей утратило свой благоговейно торжественный характер. Они вволю пили и ели в буфете, который был искусно и пышно оформлен рестораторами Горхером. Болтали, острили, злословили, расхаживая между клеток со змеями и диковинными птицами. Флиртовали, сидя за стеклянным столом для спиритических сеансов. Танцевали под искусственным звездным небом.

Когда Оскар, усталый и счастливый, попрощался с последними гостями, в водах озера уже отражался новый день.

В Берлине Пауль Крамер не чувствовал себя в безопасности.

Гитлер еще много лет назад обещал, что, как только он доберется до власти, «покатятся головы». Теперь, после поджога рейхстага, ландскнехты Проэля, штурмовики, взялись выполнять это приказание. По настоянию нацистской партии на них была возложена полицейская служба в стране. Они врывались в дома, производили «обыски», грабежи, аресты. Арестованных отводили в казармы нацистов. Об их дальнейшей судьбе ходили ужасные слухи, иные из задержанных исчезали навсегда.

Среди арестованных и исчезнувших были и друзья Пауля. Он сам навлек на себя гнев нацистов. Необходимо было немедленно убраться из квартиры и как можно скорее из Германии.

Он охотно остался бы. Он хотел участвовать в борьбе против шайки разбойников, завладевшей государством. Но его политические единомышленники только смеялись, когда он об этом заговаривал. Они считали, что

* В древнегерманской мифологии — дворец бога Вотана.

он в своей области сделал немало, но в той борьбе, которая теперь предстоит, он будет лишь помехой. Эти рабочие, профсоюзные деятели, политические организаторы тепло относились к нему, не выказывали ему недоверия, которое они обычно питали к интеллигенции. Он и сам понял, что здесь ему больше нечего делать. Здесь теперь господствует неприкрытое насилие, против которого пока можно бороться только выдержкой и хитростью, а эти качества отнюдь не являются его сильной стороной. Если он и сможет действовать, то лишь по ту сторону границы. Его друзья правы. Здесь его на каждом шагу подстерегает опасность — надо скрыться, и притом возможно быстрее.

«Прощай же, тихий дом»,—напевал он про себя, запихивая в чемодан самые необходимые вещи. Сегодня он переночует у некоего Вилли на Гентинерштрассе, завтра у некоего Альберта на Гроссфранкфуртерштрассе. И того, и другого он знает очень мало, но ему известно, что это надежные товарищи. А послезавтра, то есть не позже, чем через три дня, он окончательно исчезнет, если ему только удастся наскрести немного денег, кое-что ему еще должны издательства и газеты.

Места, которые он покидает, не так уж хороши. Есть города покрасивее Берлина, а насчет бранденбургского ландшафта кто-то сказал, что это «подходящий фон для злого духа». Но он любит эту страну, любит этот уродливый Берлин, сросся с этим ландшафтом и покидает его с болью в душе. «Прощай же, тихий дом...»

Свой темно-серый шерстяной костюм он надел на себя, чемодан уложил, теперь остается только покрыть футляром пишущую машинку. Но прежде надо еще написать письмо в этой маленькой, обжитой, милой его сердцу комнате на Нюрнбергерштрассе. Не может же он уехать из Германии, не повидавшись еще раз с Кэтэ. Вокруг совершаются страшные дела, положение не скоро улучшится, неизвестно, свидится ли он когда-нибудь со своими друзьями, да и вообще смешно было бы, если бы Кэтэ так и не взглянула на его темно-серый костюм. И если даже он нарвется на унизительный отпор, он все же должен ей написать, должен попытаться еще раз встретиться с ней.

Он ни разу не видел сестры с тех пор, как она, рассердившись, уехала от него. Это было безумие, достойное сожаления. Он ничего о ней не знает, не знает даже, как она отнеслась к процессу, решительно ничего. Но то, что не удалось сделать ему, вероятно, сделали за это время события. Они, надо думать, вышибли из нее дурь. Он видел снимки отвратительного балагана, который построил себе мошенник Лаутензак. Кэтэ музыкальна, долго она такой фальши не сможет выдержать.

Он начал писать. Высказал все, что было у него на душе. Выговорился вволю. Не поправлял ошибок, не вычеркивал неудачных острот. Весело строчила машинка, аккомпанируя его непринужденной болтовне.

Получит ли она письмо вовремя? Получит ли она его вообще? Безусловно получит. И безусловно придет. Его письмо — это уже начало их разговора.

Кэтэ смотрела на неровные строчки; машинка опять испортилась, и Пауль, конечно, не починил ее. В каждом слове она узнавала интонацию брата, его умную, смелую, сердечную манеру. Когда она наталкивалась на одну из его неудачных острот, лицо ее выражало и боль, и радость.

Кэтэ, не мешкая, подошла к телефону и набрала номер, указанный в письме. Услышала его голос. Глубокий, радостный испуг пронзил ее, а в его голосе прозвенела такая светлая нота облегчения, что ей показалось непонятным, почему они не увиделись гораздо раньше.

Он предложил ей встретиться и назвал маленький дорогой ресторан. «Пропадать, так с треском»,— пояснил он и затем, разумеется, не мог удержаться, чтобы не сообщить ей мимоходом:

— Между прочим, я заказал себе новый костюм. Зеленый.

В ресторан они пришли почти одновременно. Разделись, выбрали столик, прочли меню, заказали ужин. Счастливыми глазами оглядывали друг друга. Пауль, как обычно, болтал обо всем на свете и обсуждал с оберкельнером меню, не спуская с Кэтэ прекрасных карих глаз. Не стесняясь посторонних, он положил руку ей на плечо.

— До чего же мы были с тобой глупы! — сказал он.

Здесь, в ресторане, они могли сообщить друг другу лишь немногое из всего того, что хотелось сказать, но интонация и голос выдавали многое. Пауль ел, как всегда, небрежно, и даже, случалось, ронял на великолепный костюм кусочек рыбы. При этом он болтал не переставая. Кейт, в честь которого названа улица, где она проживает, рассказывал Пауль, был интересной личностью, если только это тот самый Кейт, какого он имеет в виду; в Германии было несколько братьев Кейт, шотландцев, их призвал старый Фриц, по недоразумению столь обожаемый всеми. Этот злой старик, так называемый «Фридрих Великий», по сути дела, и является первопричиной всей теперешней злополучной заварухи, ведь он был первым нацистом, но надо сказать, что по сравнению с «нынешними» в нем было побольше перца. Затем Паулю хотелось знать, понравился ли ей костюм, ведь он ради нее выбрал серую, а не зеленую шерсть, и заметила ли она, какая это прекрасная камвольная ткань, «материалец», как выразился портной Вайц, уверявший, что ей не будет сноса вплоть до тихой и, надо надеяться, поздней кончины клиента.

Кэтэ радостно слушала его болтовню. Все эти пустяки не были для нее пустяками. Кэтэ любила брата, восхищалась им. Как он строен, красив — высокий лоб, умное и страстное лицо, сияющие глаза. Она похудела, стала еще тоньше, чем прежде. Полушутя-полусерьезно сказал он ей, что она похожа на принцессу. Простой темно-коричневый костюм шел к ее темно-русым волосам, а лицо, которое менялось в зависимости от настроения, как ландшафт от погоды, сегодня благодаря радостному волнению встречи было светлее и оживленнее, чем всегда. Она была красива — и не только для Пауля.

Все обращали на нее внимание. С особым интересом рассматривал ее какой-то молодой человек в нацистской форме; его лицо, еще совсем юное, было жестоким и порочным. Очевидно, Кэтэ показалась ему знакомой, он задумался, потом, по-видимому, вспомнил что-то и поклонился — вежливо, но с оттенком дерзкой фамильярности. Улыбнулся и Паулю — нагло, высокомерно, со злой, циничной любезностью. Может быть, он знал его лицо по газетам? Казалось, он даже что-то припомнил, глядя на Пауля, вынул записную книжечку и сделал пометку.

— Кто этот нахальный тип? — осведомился Пауль.

— Некто Цинздорф,— ответила Кэтэ.

Паулю это имя было известно, он скорчил гримасу.

Кэтэ без перехода спросила, правильно ли она поняла намеки в письме и в разговоре по телефону. Действительно ли он бросил квартиру на Нюрнбергерштрассе и хочет надолго уехать? Пауль усмехнулся.

— Да и нет,— ответил он.— Не я отказался от Нюрнбергерштрассе, Берлин отказался от меня. Берлин меня выплюнул. Да, Кэтэ, твой брат покидает столицу. Он отправляется путешествовать. Куда глаза глядят. На неизвестный срок.

Кэтэ побледнела.

— В самом деле? Тебе действительно необходимо уехать? — спросила она, взглянув на него широко раскрытыми глазами.

— Я с удовольствием рассказал бы тебе об этом подробнее,— ответил он по-мальчишески сердито.— Но где? Нельзя ли у тебя? Здесь, в ре-

стране, очень уютно, однако это вряд ли подходящее место для такого разговора.

Они поехали на Кейтштрассе. В ее маленькой квартирке, среди простой, знакомой ему мебели, гордо красовался великолепный рояль. Пауль невольно помрачнел, почувствовал, что к воздуху, которым дышала Кэтэ, примешивалась «аура» его врага Лаутензака.

Он сел и начал свое повествование. Старался говорить сухо, будничнo, посасывая свою трубку, но вдруг сорвался, рассказал о многочисленных арестах, об исчезновении многих и многих, о том, что законность уничтожена, право попрано.

Кэтэ слушала молча, взволнованная. Все это ей было неизвестно. Немногие в Германии знали тогда об этих событиях, хотя они подчас происходили тут же рядом, в соседней квартире. Только пострадавшие знали о них, только противники нацистов, а миллионы немцев ничего не подозревали и не хотели верить, когда им говорили об этом.

Затем Пауль очень сдержанно рассказал, почему он сам очутился в таком положении. В лучшем случае, заявил он, его заставят немедленно отбыть год тюремного заключения, а при нынешних обстоятельствах это будет совсем не сладко.

— Вот почему мне остается,— закончил он,— отряхнуть прах этой страны от ног своих. Завтра я обращусь в бегство.

Итак, сегодня она вновь обрела его, а завтра он исчезнет кто знает на сколько времени, она же в своей великой тоске снова останется одинокой. Надо поговорить с Паулем. Может быть, не следует еще больше обременять его. Именно ей не следует. Ведь в конечном счете он вынужден бежать из-за нее. Но она должна с ним поговорить, поговорить теперь же, ведь завтра его уже не будет здесь.

Кэтэ начала издалека.

— Я виновата,— сказала она. Пауль хотел возразить, но она остановила его.— Ты был, конечно, прав,— продолжала она твердо, своим чистым голосом, не глядя на него.— Он негодяй, насквозь пустой человек. Я была глупа и слепа, когда связалась с ним. Но если такое несчастье с человеком случается, то ни доводы разума, ни добрые советы не помогут. Я не хотела видеть. Но увидела, как он напал на тебя, и тут же решила уйти. Не смогла. Теперь я смогла бы. Но не знаю, как мне поступить. У меня будет ребенок от него. — Она говорила, будто сама с собой, деловито, храбро, и все-таки не глядя на Пауля.

Пауль напряженно слушал ее. Он сидел не шевелясь, но от последних слов ее подскочил. Выбранился сквозь зубы изменившимся голосом:

— Скотина, проклятая скотина!

Но тут он взглянул на Кэтэ, на ее внешне спокойное, похудевшее лицо, и его захлестнула волна жгучего сострадания. Он подошел к ней и неловко, нежно обнял за плечи. И так постоял молча.

То, что эта обезьяна, этот глубокомысленный болтун, этот дрянной выродок сделал племянника или племянницу ему, Паулю Крамеру, казалось какой-то чудовищной нелепостью. Он был возмущен Кэтэ и еще больше этой скотиной, которую она к себе подпустила. Но ведь как-никак это была давнишняя история, и то, что она имела последствия, не давало ему, в сущности, основания ненавидеть Лаутензака сильнее, чем прежде. Однако он ненавидел его еще сильнее.

Разумнее всего было бы, конечно, если бы Кэтэ не произвела на свет ребенка от Лаутензака; имелось множество причин, внешних и внутренних, для такого решения. Но он — заинтересованная сторона, он любит свою сестру Кэтэ, с самого начала неправильно подошел к ней и уж нового промаха не допустит. Только не торопиться!

— Ну и дела,— вот все, что он отважился сказать.— Вот так история.

И опять:

— Ну и дела.

Он прошелся несколько раз по комнате, взял свою трубку, снова положил ее. Вернулся к Кэтэ, погладил ее большую тонкую руку и спросил:

— А что он сам говорит по этому поводу?

— Не знаю,— ответила она,— я не сказала ему. А сам он не заметил,— с горечью добавила Кэтэ.

Пауль был изумлен. То, что Кэтэ ничего не сказала тому, другому, и пришла со своим горем к брату, вызвало у него чувство удовлетворения, взволновало его, возвысило в собственных глазах. Да и в самом деле, ведь она *тому* чужая, а ему, Паулю, своя. И, разумеется, он ей поможет. Правда, он еще не знает, как именно,— он человек недостаточно практичный и в своем теперешнем положении вряд ли может кому-либо помочь.

— Я безусловно останусь здесь,— горячо сказал он,— до тех пор, пока не помогу тебе.

— Чепуха,— ответила Кэтэ, но ее охватило чувство бурной радости.— Ведь ты только сейчас объяснил мне, что должен при всех обстоятельствах завтра бежать. Для меня большое утешение и облегчение, что я могла рассказать тебе обо всем. Ничего большего я не хочу, да и не вижу, чем бы ты мог помочь мне.

— Конечно,— возразил, как всегда задорно, Пауль,— я не акушерка, и если бы я вздумал принять у тебя новорожденного, то несомненно натворил бы бед, но я останусь здесь, и, поверь мне, мы с тобою неплохо будем нянчить ребенка.

Про себя он, между прочим, дал уже имя этому ребенку; побуждаемый какими-то таинственными мотивами, он назвал его Эмилем.

Она хотела возразить.

— Молчи,— сказал он решительно.— Хорош я был бы, если бы покинул тебя в беде с маленьким Эмилем.

— С кем? — удивленно спросила она.

— Ты ведь меня знаешь,— ответил он.— Мне нужно для каждой вещи определенное название. Имя «Эмиль» кажется мне подходящим. Если бы ты сейчас дала мне рюмку коньяку, это было бы замечательно. От истории с маленьким Эмилем меня пробрало до костей.

Она налила ему коньяку, он выпил.

— Черт возьми,— одобрительно сказал он,— видно, он почтенного возраста. Разреши взглянуть? — и он протянул руку к бутылке. Это был очень дорогой «Мартель». — И коньяк от него? — спросил он, сердито покосившись на рояль, и так как она не ответила, налил себе еще рюмку.

Пауль поехал на Гроссфранкфуртерштрассе, к товарищу Альберту, который предоставил ему убежище на сегодня. В голове беспорядочно мелькали мысли. Со стороны Кэтэ очень мило, что она ему сказала, а *тому* нет. Не хочет он, чтобы у Олоферна родился сын. Возможно, что оставаться здесь — преступное легкомыслие, но не может же он покинуть Кэтэ на произвол судьбы. Бросить ее в объятия этой обезьяны на веки вечные. Он начал напевать про себя старую солдатскую песню:

Дитя, что ты родишь на свет, свет,
Я не покину-кину, нет, нет, нет!
И буду я ему отцом — ура!
И буду я ему отцом.

«Да, уж мы будем нянчить его, маленького Эмиля».

Пауль очутился на Гроссфранкфуртерштрассе в квартире Альберта. Он здесь в первый раз и не может ориентироваться. Альберт живет на пятом этаже, но для подъема в лифте нужен ключ, а звонить к швейцару

опасно. И вот Пауль начинает подниматься по лестнице. Когда он добирается до третьего этажа, на лестнице гаснет свет. Пауль не знает, где выключатель, нащупывает какую-то кнопку, но боится, что это звонок в какую-нибудь квартиру, у него осталось только две спички. Усталый, вспотевший, он добирается с трудом до этажа, который, по его расчету, должен быть пятым. Но здесь на площадке три двери, и он не знает, живет ли Альберт справа, слева или посредине. Он пробует, подойдет ли ключ, все еще опасаясь, что это не та квартира и его примут за вора или вообще за какую-то подозрительную личность, а столкнуться с полицией у него нет ни малейшей охоты. Он рискует зажечь последнюю спичку. Наконец, весь в испарине, Пауль входит в какую-то квартиру и видит перед собой Альберта.

Хозяин квартиры без лишних слов отводит Пауля в его комнату. Это очень холодная комната, верхние этажи отапливаются плохо. «Да, так что же нам делать с маленьким Эмилем?»

Вдруг, в ту минуту, когда Пауль уже собирается раздеться, ему приходит в голову одна мысль. Замечательная мысль. «Ура,— говорит он.— Эврика!» Он стучится в комнату, где, по его предположению, находится молчаливый хозяин.

— Что случилось?

— Есть у вас телефон? — осведомляется Пауль.

— Да,— ворчливо отвечает Альберт,— в коридоре.

Пауль звонит Кэтэ. Раздается ее чистый голос, она удивлена: уже далеко за полночь. Решение найдено, заявляет Пауль. Радостно путаясь, немного шепелявя, он повторяет, что решение найдено, и что он, если можно, тотчас же к ней придет.

Но это легче сказать, чем сделать. Прежде всего надо еще раз спуститься по опасной лестнице. Кэтэ живет далеко, и неизвестно, ходят ли еще автобусы. Но наконец усталый и веселый, он снова на Кейтштрассе, у Кэтэ.

Пауль тотчас же сообщает ей, какое нашел решение. В деле с маленьким Эмилем, заявляет он, может помочь только женщина. И он знает, кто именно.

Пауль рассказывает Кэтэ об Анне Тиршенройт, о своей беседе с ней. По ее лицу видно, что это настоящий человек. Анна — старуха, но с большим сердцем, и она привязана к этому — он проглатывает навернувшееся на язык слово,— она привязана к Лаутензаку, хотя видит его насквозь, привязана, как мать к своему заблудшему сыну. Пауль уверен, что Анна Тиршенройт поймет Кэтэ, сумеет дать ей самый умный, самый человечный совет.

Кэтэ слушает молча. Она отвечает не сразу, это не в ее характере, ей нужно время, чтобы подумать, но в глубине души она с первой же минуты решилась принять предложение Пауля. Она так устала в одиночестве нести все эти заботы, перебирать все «за» и «против». Для нее было бы спасением, если бы чуткий и опытный человек решил этот вопрос за нее. Да, она, не откладывая, завтра же поедет к Анне Тиршенройт.

Пауль счастлив. Неглупо придумал. Котелок у него варит. Да, это совсем как в автомате: опускаешь вопрос, нажимаешь кнопку — и сейчас же выскакивает ответ. А разве не блестящая идея — явиться к ней сразу, среди ночи! Теперь она, по крайней мере, будет спокойно спать.

— Но пятно на темно-сером костюме тебе придется вывести,— требует он.— Меня все время мучила мысль, что я должен о чем-то попросить тебя, и наконец-то я вспомнил.

Кэтэ, оттирая пятно, говорит, что теперь ему незачем дольше задерживаться, и это очень отрадно — он может уехать, исчезнуть хотя бы завтра, а лучше — даже сегодня.

— Пошли мне на всякий случай телеграмму,— просит ее Пауль,— как только поговоришь с Анной Тиршенройт.— Он дает ей адрес Альберта на Гроссфранкфуртерштрассе. Дает и пароль, который будет доказательством, что она своя. Но к Альберту можно обратиться только в крайнем случае. Когда ты вернешься из Мюнхена, — говорит он,— тебя уже будет ждать телеграмма, из которой ты узнаешь мой заграничный адрес.

Он кладет руку ей на плечо; выражать словами родственные чувства у них не принято, и он тихо, нежно похлопывает Кэтэ по спине. Она крепко жмет ему руку.

— Как хорошо,— говорит она,— что мы снова с тобой увиделись. Спасибо тебе. И всего, всего хорошего. До свиданья.

Он долго удерживает ее руку в своей.

— Твоими бы устами да мед пить,— отвечает он и благодарно прибавляет: — А пятно, и правда, сошло,— и уходит.

Анна Тиршенройт внимательно смотрела на молодую женщину, сидящую против нее; всматривалась в ее лицо, узкое, длинное, резковато очерченное. Это было типично немецкое лицо, сосредоточенное лицо человека, который раскрывается не сразу. Когда эта незнакомая девушка явилась к ней с письмом от Пауля Крамера, Анна Тиршенройт встретила ее недоверчиво. Чего от нее хотят? Она следила за процессом, с гневом и болью наблюдала, как Оскар расправляется с Паулем Крамером. Она устала, исстрадалась. И вот перед ней сидит эта женщина и полусловами, запинаясь рассказывает ей историю одного великого разочарования. Ах, Анна Тиршенройт все это знает еще лучше: знает, как человек может заползти в душу, как много надо времени, чтобы до конца узнать его, как не хочется верить, что ты обманута. «Нет, нет, неправда это, не могла я так ошибиться», — и все-таки оказывается, что тебя обманули.

Но то, что рассказывает ей эта молодая женщина, Кэтэ Зеверин, хуже и лучше того, что пережила сама Анна Тиршенройт. Она всматривается в Кэтэ своими зоркими глазами — глазами скульптора. Нет, она неплохой человек. Она не лжет. Хорошо, что у нее родится ребенок от Оскара.

Сама Анна отступилась от Оскара. Она отступилась от него, когда из зала суда на нее хлынула волна грязи. Отныне, сказала она себе, пусть идет своей дорогой. И вот перед ней открывается новая, чудесная возможность. Какое неожиданное счастье, что молодая женщина пришла именно к ней.

Кэтэ давно уже умолкла. Крупное лицо Анны не пугало ее, но и не легко ей было говорить, глядя в эти усталые, серые, мудрые глаза. А теперь, когда старуха сидит перед ней неподвижно, ссутулившись, слабо сжимая палку, ее молчание понемногу начинает угнетать Кэтэ.

Наконец Анна Тиршенройт нарушает его.

— Я рада,— говорит она своим низким хрипловатым голосом,— что доктор Крамер почувствовал ко мне доверие и прислал вас сюда.

Это звучит ободряюще. Кэтэ с надеждой смотрит ей в глаза.

— Мне кажется, что я нашла правильный выход,— продолжает Тиршенройт,— но мне не хотелось бы решать второпях. Дайте мне немного времени,— с минуту она колеблется, выбирая обращение,— моя милая Кэтэ Зеверин. Я думаю, что два-три дня надо еще поразмыслить, и я буду рада,— добавляет она взволнованно,— если вы на это время согласитесь быть моей гостьей.

Кэтэ краснеет от радости. Она полна глубокого доверия к этой женщине.

Через день Анна сообщает Кэтэ своим медлительным голосом, к какому выводу она пришла. Не может быть, конечно, и речи о том, чтобы Кэтэ освободилась от ребенка. Но родить его на свет в нынешней Герма-

нии тоже не имеет смысла. Она сама тоже покинула бы страну, если бы не возраст, если бы у нее не болели ноги, если бы она не была связана со своей мастерской. Итак, Кэтэ должна родить ребенка, но не здесь, а по ту сторону границы.

У Анны Тиршенройт есть еще два вопроса. Где теперь Пауль Крамер? Он и сам не знал,— отвечает Кэтэ,— куда отправится — в Швейцарию или в Чехословакию; вероятно, она узнает об этом, как только вернется в Берлин. Если это возможно, советует Анна Тиршенройт, Кэтэ должна жить там же, где брат.

— Господин доктор Крамер мне понравился,— сказала она. И осведомилась о материальном положении Кэтэ. Кэтэ, краснея, ответила, что немного денег ей даст отец, да и Пауль, безусловно, будет ей помогать. Кроме того, она попытается найти работу. Конечно, все это очень неопределенно.

— Если вы мне позволите,— сказала Анна Тиршенройт,— то я скоро вас навещу. Что касается ваших денежных дел,— закончила она, чуть-чуть запинаясь,— прошу вас, не заботьтесь об этом.

Кэтэ вернулась в Берлин, сознавая, что обрела друга в лице Анны Тиршенройт. Она устроит важнейшие дела, а затем встретится с Паулем где-то по ту сторону границы.

Жемчужина оказалась поддельной. Ильза Кадерейт подарила ему фальшивую жемчужину.

Вот они какие, эти аристократы. Отец его был прав. Он ведь знал жизнь. Обер давит унтера. Если водишь компанию с высшим обществом, ничего хорошего не жди. Но он, Оскар, не считался с народной мудростью, он водил компанию со знатными людьми и теперь наказан. Они сговорились, эта стерва Кадерейт и эта скотина Цинздорф, они гнусно ухмылялись и самым подлым, свинским образом надули его, человека из народа. Послали ему фальшивую жемчужину да еще выманили у него десять тысяч марок. Грязная, мерзкая банда!

Оскара душил гнев. Он очень хорошо представлял себе, как это все происходило. Во всем виноват тот глупый разговор по телефону. Она стерва, но не скряга. Ее рассердил отказ, и вот ей пришла в голову забавная, глупая мысль, и она послала фальшивому другу фальшивую жемчужину. А затем, сидя с Цинздорфом, рассказала ему, своему Люкки, какую остроумную шуточку она сыграла с Оскаром, с этим плебеем. И господин граф, памятуя о своих предках, промышлявших разбоем рыцарях, тотчас же отправился к нему, Оскару, и сумел извлечь выгоду из того, что он узнал. Другими словами, залег в кусты и ограбил его, выжал из него десять тысяч марок. Вот они какие, эти аристократы.

Он уселся и стал писать: «Высокочтимый господин граф, пари относительно жемчужины вами выиграно. Разрешаю себе вычесть проигранную сумму, десять тысяч марок, из 32.297 марок, которые вы мне должны согласно распискам. Таким образом, теперь вы должны мне только 22.297 марок. В виду того, что у меня тоже накопились долговые обязательства, я был бы вам признателен, если бы вы немедленно уплатили свой долг. Хайль Гитлер! Неизменно преданный вам Оскар Лаутензак».

Между прочим, Цинздорф был единственным из врагов Оскара, кто мог похвастать победой над ним. Все остальные вынуждены были, по мере его возвышения, униженно уступать ему дорогу.

Например, Томас Гравличек — этот просветитель, этот сухарь. Теперь, когда в рейхе снова утвердились германский дух и чистота мировоззрения, оказалось, что положение этого коварного гнома стало шатким. Он бежал в свою Чехословакию. Пусть там брюзжит и фыркает, а здесь о нем ни одна собака не вспомнит.

Вполне заслуженно потерпел крах и финансовый советник Эдмунд Вернике, тот самый, который на процессе со старческим упорством доказывал, что Оскар — шарлатан. Сварливый старик тогда отделался одними только синяками — тем, что над ним поиздевались. Но так как он продолжал ворчать и даже позволил себе заявить, что в новой Германии и в нацистской партии бухгалтерские книги не выдержали бы проверки, если бы за это взялся добросовестный чиновник финансового ведомства, с ним поступили менее вежливо. Его посадили за решетку. Хватит вам шебаршить, милейший.

Исчез и господин фон Обрист, человек с неподкупными принципами и непродажными произведениями искусства,— и для Оскара Лаутензака это тоже было ценным подарком судьбы. Принципы свои Обрист забрал с собой, а вот произведения искусства захватить не успел. Его имущество было конфисковано рейхом, и Оскар сумел опередить всех и приобрести «Сивиллу», названия и смысла которой теперь не брал под сомнение ни один кичливый аристократ.

И стояла она, эта «Сивилла», в Зофиенбурге, на цоколе, который так долго оставался пустым; она заняла центральное место в вестибюле, и ее мощная, буйная, почти мужская голова царила здесь над всем. Волшебный замок Клингзора нашел свое завершение.

Но не опустел еще рог изобилия, из которого на Оскара сыпались дары счастья. Министр просвещения намекнул ему, что одно весьма высокопоставленное лицо заинтересовано в создании академии оккультных наук, и уж, разумеется, сам бог велел назначить Оскара президентом такой академии. Но прежде чем предложить этот пост, придется присвоить ему научную степень. И в этом направлении уже кое-что предпринимается, сообщил министр с лукавой улыбкой.

И действительно, неделю спустя Оскар получил письмо из Гейдельбергского университета, в котором его извещали, что философский факультет постановил присудить ему степень почетного доктора ввиду его научных заслуг в области психологии. Ректор и ученый совет университета хотели бы согласовать с ним дату и другие подробности торжественной церемонии: Оскар даже сел от неожиданности. Учитель Ланцингер когда-то заявил ему, что при его тупости он никогда не постигнет даже самых элементарных правил латинской грамматики; а теперь ректор и ученый совет одного из старейших, знаменитейших университетов сообщают на чистейшем латинском языке о своем твердом намерении облачить его в докторскую мантию, и он уже мысленно наслаждается этой торжественной церемонией. Студенческие корпорации в традиционных костюмах со знаменами, факельные шествия вокруг Гейдельбергского замка... Оскар был безмерно счастлив. Ему казалось, что он парит чуть ли не в поднебесье.

Мальчиком он однажды прошел по узкой стене, которая тянулась от герцогских владений к саду его отца. Какое это было блаженное чувство: шагать и шагать на такой высоте по гребню стены! С обеих сторон зияла пропасть, и где-то в глубине души засел страх: вот-вот сорвешься. У мальчика слегка кружилась голова. Но от этого страха радость, пожалуй, была еще острее.

То же самое чувство он испытывал и теперь: ему было очень радостно, немного кружилась голова.

Государственному советнику и начальнику всегерманского агентства печати Гансйоргу Лаутензаку тоже жилось привольно, как еще никогда до этого.

Прежде всего его дружба с баронессой фон Третнов. В глазах Хильдегард он поднимался все выше. Конечно, внешне он был неказист, ма-

эстро с состраданием и нежностью называл его «заморышем», но он хорошо знал пределы своих возможностей, умел мудро ограничивать себя и не помышлял о тех почестях, которые воздавались его старшему брату. Фрау фон Третнов находила, что он все-таки многими своими чертами напоминает Оскара. С тех пор как Гансйорг сидел в Моабитской тюрьме, Хильдегард и он пережили много общих радостей и печалей. Словом, баронесса ничего не имела против того, чтобы еще теснее сблизиться с Гансйоргом.

Это было уже немало. Но алчное сердце Гансйорга еще больше радовалось тому, что теперь он мог утолить долголетнюю жажду мести и нанести удар некоторым старым врагам. «Яко же и мы оставляем должникам нашим»,— учил он в Дегенбурге на уроках пастора Рупперта. Но теперь этот жалостливый еврейский кодекс нравственности отменен. Теперь Гансйорг имеет возможность показать, что он — действительно сильный человек, преисполненный нового, истинно немецкого духа и вполне достойный своего истинно немецкого имени.

Тщедушный и невзрачный, он на своем сложном жизненном пути встречал многих людей, которые смотрели на него свысока, унижали его. Когда он во время войны был унтер-офицером и таскал рояли из Польши в Германию, когда он был журналистом и издавал «Молнию», когда он служил «агентом» и обделывал делишки с Карфункель-Лисси и художником Видтке, он нажил немало ярых врагов и завистников. Не заботясь о справедливости, они часто вымещали свои неудачи на этом хилом человечке; немало пинков и пощечин пришлось тогда снести Гансйоргу. Теперь он мог отплатить — и с лихвой.

Взять, к примеру, агента Иозефа Манца. Зря он смеялся шуткам, которые фокусник Калиостро позволил себе отпускать по адресу начальника всегерманского агентства печати на новоселье в Зофиенбурге. Уж лучше бы господин Манц не напоминал о себе Гансйоргу своим громким, жирным, веселым смехом; этот смех еще в прежние времена раздражал Гансйорга, а теперь ведь господин государственный советник и сам получил возможность устраивать весьма занимательные представления.

От пяти и до шести господин Манц имел обыкновение принимать в Западном кафе; туда приходили его друзья — одни по делу, другие просто поболтать. И вот однажды, когда он спокойно сидел с двумя знакомыми, к его столику подошел человек в коричневой форме и спросил:

— Господин Манц, не правда ли?

Господин Манц окинул его взглядом своих маленьких мышиных глаз, он не мог вспомнить это лицо, но оно ему не понравилось.

— Разве мы с вами знакомы? — спросил Манц. И сам ответил: — Нет, мы не знакомы.

— Но я-то вас знаю, господин Манц,— сказал человек в коричневой форме.— Я знаю, что вы с самого начала были горячим сторонником нацистов. Не так ли?

Господину Манцу стало не по себе. Откуда-то незаметно вынырнули еще люди в коричневой форме и мгновенно окружили стол Манца; соседи стали прислушиваться к разговору. Лица обоих его знакомых выражали растерянность.

— Кельнер, счет! — крикнул господин Манц. Но незнакомец не отставал:

— Погодите-ка,— настаивал он,— ведь вы наш старый друг, припомните-ка.

— Да оставьте меня в покое,— потребовал господин Манц.

— Ну, зачем отвечать столь нелюбезно, когда к вам обращаются так вежливо. Мы ведь тоже иногда не прочь позабавиться. Вы заставляли пля-

сать других и недурно на этом зарабатывали. А теперь попляшите, пожалуйста, для нас, милейший.

Господин Манц хотел уйти, прорваться к дверям. Но кругом теснились люди в коричневых рубашках; они стояли даже у выхода и никого не выпускали из кафе.

— А ну-ка, на стол,— резко скомандовал незнакомец,— и извольте плясать! По команде «раз» выкидывайте левую ногу, по команде «два» — правую, по команде «три» — кричите: «Хайль Гитлер!» Ясно? — приказал он. Его глаза и жесты не предвещали ничего доброго, а остальные бандиты окружили плотным кольцом толстяка Манца.

Господин Манц взобрался на стол не слишком грациозно.

— Раз,— скомандовал незнакомец, и Манц поднял левую ногу,— два,— скомандовал он, и Манц поднял правую,— три,— и Манц крикнул: «Хайль Гитлер!» И так несколько раз. Публика смотрела на это зрелище угрюмо, с озлоблением, у некоторых вырывались проклятия, но поблизости выстроились штурмовики, брань умолкла, в битком набитом кафе воцарилась тишина, слышно было лишь позвякивание кружек и тарелок да резкие слова команды: «Раз, два, три». Господин Манц стоял на маленьком бело-мраморном столике, среди неубранных кружек; выделывая свои па, он столкнул кружки, они упали на пол и со звоном разбились вдребезги.

— Не бойтесь, господин обер,— сказал незнакомец,— господин Манц уплатит за разбитую посуду. А господин Манц выкидывал то левую, то правую ногу, кричал «Хайль Гитлер!» своим пискливым жирным голосом, его хитрые мышиные глазки смотрели испуганно и беспомощно, и лысая голова уже не казалась внушительной и опасной. Эти маленькие мышиные глазки заметили напротив у стены тщедушного человечка, который ласково кивал ему — то был Гансйорг. Да, Гансйорг смотрел и ухмылялся, обнажая мелкие, острые, хищные зубы, и теперь господину Манцу было ясно, кто затеял этот танец.

«Дурак я! Вместо того чтобы быстро изчезнуть, как только Адольф Гитлер стал заправилой, я, Манц, точно прирос к месту. А ведь у меня есть опыт, ведь я отлично знаю: на свете нет существа более мстительного, чем неудачливый актер. Вот и получай по заслугам. Вот и приходится тебе валять дурака в переполненном кафе, позориться и плясать под дудку этого сопляка «государственного советника» и его хозяина, этого паршивца, этого канцлера, этого «фюрера», освистанного комедианта».

Раз — левая нога, два — правая, три — «Хайль Гитлер!». Когда господин Манц пришел из кафе домой, расстроенный, растерзанный, совершенно разбитый, он сразу же лег в постель. На другой день он покинул страну, но до того не преминул рассказать своему другу Калиостро о причинах своего бегства.

Произошло резкое объяснение между Алоизом и Оскаром. На этот раз Алоиз по-настоящему взбунтовался: он отказался выступать. Кто принес ложную присягу, заявил он мрачно и мстительно, тому уже ничего не стоит нарушить контракт. Оскар, в свою очередь, устроил скандал Гансйоргу; правда, его несколько сдерживало воспоминание о том, как танцевал Пауль Крамер, кружась вместе с вращающейся дверью и не находя выхода из отеля «Эдем». Наконец агенту Манцу по настоянию Оскара послали письмо с извинением, а два штурмовика были наказаны.

Но господин Манц предпочел остаться за границей. Алоиз почувствовал себя еще более одиноким и, сидя у портнихи Альмы, с еще большей горечью говорил о характере своего друга Оскара.

Кэтэ, одетая в дорожный костюм, отперла дверь своей маленькой квартиры на Кейтштрассе. Она устала, но чувствовала глубокое удовлет-

ворение. Все устроилось наилучшим образом. Как только получится адрес Пауля, она поедет к нему за границу.

У себя Кэтэ нашла телеграммы от Оскара. Он был встревожен, так как несколько раз звонил и все напрасно; были и другие телеграммы и письма, но от Пауля — ничего. Вероятно, он из осторожности решил послать ей весточку каким-нибудь иным путем, а может быть, письма задерживает цензура. Придется еще подождать денек-другой, пока она получит от него долгожданное известие. Где он? В Швейцарии или в Чехословакии? Так или иначе, она завтра же упакует свои вещи. С Оскаром она уже не увидится. Сообщит ему из-за границы, что лучше всего им больше не встречаться. О ребенке ничего ему не напишет.

Кэтэ легла в постель. Худшее — позади. Она была спокойна, счастлива. Заснула быстро и спала в эту ночь крепко.

На следующий день Кэтэ уложила вещи. Пошла в банк, взяла свои небольшие сбережения. Вернулась домой. Почта пришла, но от Пауля — ничего. Звонил телефон, но все это были ненужные звонки. Она снова вышла из дому, чтобы купить себе что-нибудь к ужину. Торопилась, боясь пропустить звонок Пауля. Но позвонил Оскар. Он сердито спросил, где она пропадала. Она солгала, сказала, что ее вызывали в Лигниц, к отцу. Это был неприятный разговор. Но, надо надеяться,— последний. Завтра, самое позднее — послезавтра, она получит весточку от Пауля и уедет.

Кэтэ села за рояль, открыла крышку. Но играть не стала. Она всегда сидела перед этим роялем с каким-то двойственным чувством. Рояль она оставит здесь. С Оскаром расстанется дружески, но рояль оставит здесь.

В эту ночь Кэтэ тоже спала хорошо. Утром позвонила Марианна и спросила, не слышала ли Кэтэ чего-нибудь о Пауле. Сама Марианна уже целую неделю не получает от него известий. Должно быть, Пауль уже по ту сторону границы, ведь мог бы он прислать весточку.

Следующей ночью Кэтэ спала плохо и решила сразу же, с самого утра, пойти к Альберту. Пауль ей сказал, чтобы она обратилась к нему лишь в крайнем случае, но если до завтра не будет ни письма, ни телеграммы, она пойдет. Наступило утро. «Она подождет до двух часов». Пробило два часа. Она решила подождать до четырех.

В пять она была на Гроссфранкфуртерштрассе.

Кэтэ не решилась позвонить швейцару, чтобы вызвать лифт, уж лучше подняться на пятый этаж пешком. Ей открывает худощавый, на вид равнодушный человек. Кэтэ произносит пароль, она еще не отдышалась. Человек окидывает ее с головы до ног холодным, настороженным взглядом.

— Не понимаю вас,— говорит он.

— Но ведь вы господин Альберт,— настаивает она.

— У любого жильца в этом доме можно узнать, что здесь живет Альберт Шнейдер,— говорит он. Кэтэ чувствует, что их разделяет глухая стена недоверия.

— Дело идет о Пауле,— замечает она подчеркнуто,— о Пауле Крамере.

— Не знаю такого,— коротко отвечает он.

Что делать? Он ей не верит, это ясно. Не натворить бы каких-нибудь глупостей, иначе все пропало.

— Да нет же, вы должны его знать,— говорит она в отчаянии,— я его сестра,— торопливо прибавляет она,— он, вероятно, рассказывал вам обо мне. Меня зовут Кэтэ Зеверин, я не лгу вам, клянусь вам богом, посмотрите вот это,— и она показывает ему заграничный паспорт, но тот по-прежнему смотрит на нее с недоверием. И наконец произносит: «Входите». Вводит ее в неуютную комнату.

— Еще раз говорю вам, не знаю никакого Пауля Крамера или кого вы там называли. Я впустил вас только потому, что вы так расстроены.

Кэтэ рассказывает стремительно, сбивчиво. Приводит подробности, которые ей кажутся убедительными. Ее не было в Берлине, она ездила в Мюнхен. Пауль знает об этом. Она условилась с Паулем, что будет телеграфировать ему сюда, на Гроссфранкфуртерштрассе. Так она и сделала, но от Пауля ничего не получила. Он сказал ей, чтобы она лишь в крайнем случае пришла на Гроссфранкфуртерштрассе, но ведь это же и есть крайний случай; ведь если бы с ним ничего не стряслось, она бы непременно получила от него известие.

Все, что она говорит, звучит убедительно. Альберт вспоминает, что Пауль действительно рассказывал ему о сестре. Чудак он, этот Пауль, надо было ему выражаться яснее. Альберт никак не может совладать со своим недоверием, он скуп на слова, в такие времена надо быть крайне осторожным.

— Никакого тут Пауля Крамера не было,— заявляет он.— Никогда не было, поверьте мне, фрейлейн, от чьего бы имени вы ни пришли — от полиции или от кого другого,— он видит ее глаза, беспомощные, полные отчаяния. — Если он не послал вам телеграммы, ваш Пауль, — осторожно поясняет ей Альберт, — то, вероятно, его сцапали; очевидно, у него были причины прятаться,— он говорит угрюмо, задумчиво и все же уверенно.

Кэтэ сидит, оцепенев от страха и бессилия.

— Посидите-ка еще минутку, фрейлейн, — предлагает Альберт, — и отдохните. Полиция, — размышляет он все так же угрюмо, — может быть, и сумела бы разыскать вашего Пауля Крамера или как его там зовут. Но не думаю, чтобы имело смысл к ней обращаться: у нее в эти дни и так хлопот по горло.

Кэтэ понимает, что этот Альберт, из которого надо клещами вытягивать каждое слово, — друг, но он ничего больше не решается, не может, не хочет сказать. Он производит впечатление разумного и надежного человека. Вероятно, он прав, вероятно, Пауль арестован и, конечно, неразумно было бы заявить об его исчезновении в полицию. Поблагодарив Альберта, она уходит.

Льет дождь, но она отправляется домой пешком. Враги поймали Пауля, и виновата в этом она, Кэтэ. Если бы не она, не было бы этого злосчастного процесса. Если бы не она, Пауль давно уехал бы из Берлина и был бы теперь в безопасности. Его инстинкт правильно подсказывал ему и насчет Оскара, и насчет бегства. О том, что творится в нацистских застенках и тюрьмах, он говорил ей только намеками; она не может себе этого представить. Нет, может, но не хочет. При одной мысли об этом у нее перехватывает дыхание.

Она должна вызволить Пауля.

Есть только один путь. С первого же слова, сказанного Альбертом, она знала, что ей придется пойти этим путем. Отвратительный, грязный путь. Ей придется превозмочь себя, решиться на унижение. Но она должна спасти Пауля, она должна отправиться в Зофиенбург, к Оскару.

Как только Кэтэ встретилась с Оскаром, она в первую же минуту сказала ему, чего от него хочет. Ее лицо замкнуто, Оскару видно, как тяжело ей говорить. Ей всегда нелегко было просить. И теперь ее просьба звучит как требование, почти как обвинение.

Оскар мрачнеет. Она, значит, опять встречается со своим братцем — после процесса, несмотря на процесс. Она, как видно, считает Оскара очень великодушным, если предполагает, что он вызволит из беды своего врага — да еще какого врага!

И все же он рад ее просьбе. Враги опутали Кэтэ, женщину, которую он любит, путами рассудочности. Если он преодолеет свой справедливый гнев и смилостивится над предводителем их клики, его великодушный поступок высвободит Кэтэ от пагубного влияния этой рассудочности. Да, он спасет Пауля Крамера. Этот человек слишком ничтожен, и Оскар не станет настаивать на том, чтобы он понес заслуженное наказание.

Оскар молчит. Обдумывает, как облечь свое согласие в возможно более эффектную форму. Кэтэ, между тем, неправильно понимает это молчание. Она знала, что Оскар не сразу согласится, что ей придется пойти на многое. И, подавляя раздражение, она говорит своим чистым голосом, что ей нелегко было обратиться к нему, но она вынуждена это сделать. Она многим обязана своему брату Паулю и, кроме того, она повинна в том, что с ним случилось. Если бы не она, Пауль своевременно уехал бы из Берлина. Она его удержала. Она нуждалась в его совете.

Оскар высоко поднимает густые темные брови. Значит, она снова дружески сблизилась со своим братцем...

— Если тебе нужен совет, — говорит он, — почему ты не обратилась ко мне?

Она решительно отвечает:

— Потому что в это дело замешан ты. А дело вот какое: я беременна.

Лицо Оскара — Кэтэ стало горько и смешно — лицо Оскара, ясновидца, поглупело от изумления. Но вдруг — мгновенная перемена — оно просветлело, оно сияет большой, простодушной, мальчишеской радостью.

Кэтэ ничего не может поделать с собой; при взгляде на внезапно изменившееся лицо Оскара в ней на мгновение вспыхивает прежнее чувство. Но ее лицо остается напряженным и озабоченным. Он это видит и снова совершенно неправильно объясняет себе причины ее озабоченности.

— Почему же ты обратилась к брату? — спрашивает он с упреком и в то же время с неуклюжей радостью. — Неужели ты думала, что я откажусь от своего отцовства? Я и не подумаю отказываться. Это же замечательно — у нас будет ребенок! Теперь мы, конечно, поженимся. Как можно скорее! Немедленно! Увидишь, свадьба будет великолепна! Если все окажется в порядке, сам Гитлер приедет. Разве ты не рада?

Он подходит к ней, обнимает ее за плечи, и его широкое лицо с пылкими синими глазами склоняется близко-близко к ее лицу.

Кэтэ дрожит, она оттаивает. Ее покоряет этот восторг, эта детская, необузданная радость. Только у него лицо может светиться такой радостью. Кэтэ чувствует приближение той волны, которая ей так хорошо знакома, которая захлестывает в ней все разумное. Она борется. Она не хочет снова подпасть под его влияние.

Но внезапная боль заставляет ее опомниться. Кольцо, это ненавистное кольцо, хвастливо сверкающее на его большой руке, впивается ей в плечо. Кэтэ тихонько, чтобы не обидеть его, высвобождается из его объятий.

— Конечно, я рада, — отвечает она. — Но боюсь, у меня не будет ни одной спокойной минуты, пока — она ищет подходящее слово — пока Пауль там.

— Чепуха, — самоуверенно заявляет Оскар, — пусть это не смущает тебя. С твоим братом все будет улажено — об этом я позабочусь.

Кэтэ выпрямляется, потом опускает плечи, как бы сбрасывая тяжесть. Сидит, усталая, опустошенная, ей пришлось напрячь все силы. Он смотрит на нее.

— Прошу тебя, предоставь все мне, — уговаривает он ее заботливо и ласково.— В твоем положении нельзя волноваться. Прошу тебя, Кэтэ, побереги себя.

И минуту спустя, улыбаясь, грубовато, но дружелюбно говорит:

— Послушай, Кэтэ, ну, как же теперь? Может быть, ты, наконец, дашь мне ключ?

Это старый спор. Оскар давно просил ключ от ее квартиры, но Кэтэ отнекивалась, ей казалось, что, предоставив ему ключ, она окончательно потеряет свободу.

Она опускает голову. Теперь уж ничего не поделаешь, теперь она вынуждена отдать ему ключ.

Оскар позвонил в «Колумбиахауз», где помещался штаб штурмовых отрядов Попросил к телефону начальника штаба Проэля. Ему было неприятно просить об одолжении, но он не видел другого способа освободить Крамера.

Проэль, как всегда, прикидывался веселым, но уже само сообщение о том, что звонит Оскар, вывело его из равновесия. Его отношения с этим комедиантом все еще были неясны. Он все еще вспоминал с каким-то гнетущим чувством о том вечере, когда Оскар предсказал поджог рейхстага; этот человек вызывал в нем странно жуткое ощущение. Проэль попытался расплатиться с ним. Он сам напомнил Гитлеру об академии, сам позвонил к министру просвещения, без его вмешательства в Гейдельберге, вероятно, даже не подумали бы устроить такую торжественную церемонию. И Проэлю не было неприятно, что этот человек наконец сам обратился к нему и попросил его об услуге.

— Я нахожу, что это очень благородно с вашей стороны, дорогой мой, — сказал он своим скрипучим голосом, — пристыдить противника своим великодушием. И дядюшка Проэль с удовольствием поможет вам. Я прикажу принести дело вашего, как его там зовут, Пауля Крамера, и если в этом деле нет ничего особенного, мы этого субъекта освободим.

— Благодарю вас, господин начальник штаба, — сказал Оскар.

— Пожалуйста, к вашим услугам, — ответил Проэль.

Провести эти «меры предосторожности» Проэль поручил Цинздорфу.

— Послушай-ка, сынок, — сказал он, — мы арестовали известного тебе Пауля Крамера. Если нет каких-либо особо важных причин, я бы хотел выпустить этого субъекта. За него хлопочет видный член партии, и, насколько я понимаю, такие интеллигенты в настоящее время не опаснее обугленной спички.

Цинздорф все сразу сообразил. Видный член партии — это, разумеется, Оскар Лаутензак. Предположение, возникшее у него при виде Пауля в обществе любовницы Лаутензака, оказалось правильным, между «родственниками» существуют какие-то отношения; и он, Цинздорф, засадив Крамера, насолил сильнее даже, чем рассчитывал, этому наглецу Лаутензаку, который написал ему такое плебейское письмо с напоминанием о долге. В расчеты Цинздорфа не входило выпустить из рук такую добычу, как Пауль Крамер.

— Вы, разумеется, правы, начальник, — сказал он, — этот субъект не опасен, но если один видный член партии хлопочет об его освобождении, то другой видный член партии решительно возражает.

Он смотрел с наглой и веселой фамильярностью в розовое лицо Проэля; не стоило и уточнять, кто этот другой видный член партии.

Проэль знал своего Ульриха, знал его капризное высокомерие, его безграничную разнузданность.

— Оскар Лаутензак оказал партии более ценные услуги, чем ты, сынок, — добродушно отозвался он

— Зато я симпатичнее его, начальник,— возразил Цинздорф,— а что, разве нет?

Проэль молча смотрел на друга своими светло-серыми хитрыми глазками. Он слегка постучал карандашом по лысине, как обычно делал в задумчивости.

— Этот Лаутензак отвратителен, — продолжал Цинздорф. — От него так и несет потом, до того он старается — лезет все выше и выше. От него смердит. Уверен, что и вы, начальник, относитесь к нему точно так же. Не вижу, почему мы должны удовлетворять все капризы этого избалованного мужика.

— А сколько ты должен этому избалованному мужику? — спросил Проэль, все еще постукивая себя карандашом по лысине.

— Тысяч двадцать-тридцать, — спокойно ответил Цинздорф.

— Было бы очень нелюбезно,— заметил Проэль,— без достаточных оснований отказать в маленькой услуге такому заслуженному человеку, как Оскар Лаутензак.

— Давайте-ка я сначала покажу вам дело Крамера, — сказал Цинздорф, — я не все помню, но мне кажется, что это объемистое дело, и если преднамеренно не закрывать глаза, то веских улик в нем можно найти, сколько душе угодно. Между прочим, совершенно независимо от моей личной антипатии, сама партия заинтересована в том, чтобы проучить разок владельца замка Зофиенбург. Слишком уж он задрал нос. Если он преисполнился христианского всепрощения, это его дело. Требовать, чтобы партия ему потворствовала, — просто наглость. Я против освобождения Пауля Крамера, — деловито заключил он.

— Ты очень мил, — сказал Проэль. Но он хорошо понимал антипатию Цинздорфа и находил, что даже с объективной точки зрения его доводы не лишены основания. Этот Лаутензак действительно зазнался; если он одарен способностью заглядывать в человеческое нутро, то это еще не значит, что он имеет право во все совать свой нос. Проэль претендует на «fairness», на порядочность, он хотел бы заплатить этому молодцу, должником которого себя чувствует, он добился учреждения академии оккультных наук, невзирая на высокие издержки. Ну и пусть занимается, сколько ему угодно, делами этой академии. Но в политику Проэль не хочет впускать столь опасного человека, а дело Крамера — это уже политика.

— Благодарю тебя, ангел мой, — сказал он, — что ты так убедительно объяснил мне свою точку зрения. Давай сюда дело Крамера.

Оскар примерял костюм, предназначенный для церемонии присуждения докторской степени в Гейдельберге. Он заказал его портному Вайцу. Черная мантия падала тяжелыми, величественными складками; над большими брыжами возвышалась, излучая силу, массивная голова Оскара, ребристый берет придавал еще бо́льшую значительность его лицу. Оскар гордо смотрел в зеркало, в то время как искусная рука портного Вайца нежно разглаживала складки.

— Вот это мантия! — радовался Вайц.— В ней господин доктор произведет внушительное впечатление. В ней господин доктор похож на монумент. Вот такую статую следовало бы вам заказать скульптору.

— Я очень рад, — словоохотливо продолжал портной, — что новый рейх умеет ценить своих великих людей. А господин доктор — из великих великий, это даже ему, Вайцу, понятно. Ведь он, Вайц, и сам умеет разбираться в людях, в этом отношении он чуточку похож на господина доктора. Когда наблюдаешь людей во время примерки, в одних кальсонах, тогда видишь их насквозь. К тому же господа клиенты во время примерки имеют обыкновение болтать. Он-то, Вайц, их не выдает, но чего

только в таких случаях не наслушаешься. Например, бывший господин рейхсканцлер недавно примерял новый синий костюм. Что он только не наговорил, стоя в кальсонах в примерочной кабине, — просто руками разведешь от изумления. Теперешних господ министров он назвал грязными хулиганами. Недолго-де он будет их терпеть — всю банду разгонит. При этом он так кричал, что во всем магазине слышно было.

Оскар презрительно скривил губы. «Аристократы»! Их песенка спета, это доказывает их бессильная брань. Как бы громко они ни кричали, их никто уже не услышит. Вот им и приходится отводить душу в примерочной у портного Вайца, стоя в одних кальсонах. Он же, Оскар Лаутензак, в мантии и в докторском берете изложит свое мировоззрение студентам, которые выстроятся под знаменами перед иллюминованным гейдельбергским замком. Он осматривал себя в зеркале, на устах — мечтательная, высокомерная, презрительная улыбка. Вдруг ему пришла в голову одна мысль: да ведь у него ключ от квартиры Кэтэ. Надо показаться ей в новом наряде. Перед тем как отправиться в Гейдельберг, он сделает ей этот сюрприз.

Ему докладывают, что его просит к телефону господин начальник штаба Проэль. После тягостного разговора с Проэлем по поводу Пауля Крамера Оскар почти забыл обо всей этой истории.

— Значит, дело улажено, — радуется он, снимая трубку. — Очень хорошо, что Проэль сообщает мне об этом как раз сегодня. Вот я и успокою Кэтэ.

— Я с удовольствием оказал бы вам услугу, — говорит Проэль своим скрипучим голосом. — Но я велел принести дело вашего Пауля Крамера, и, должен вам сказать, дело весьма объемистое, по толщине оно может сравниться с нашим Германом. Кроме вашего процесса, у нас с господином Крамером есть другие счеты, и не маленькие. При всем желании я не смогу выпустить его в ближайшее время, несмотря на то, что об этом хлопочет такой заслуженный человек, как вы. Общее благо выше личных интересов. Если могу вам быть полезным в чем-нибудь другом, дорогой мой, пожалуйста, с величайшим удовольствием. Я не забыл, что еще в долгу у вас. Присуждение степени — это только первый шаг. Я буду и впредь нажимать на Адольфа и добьюсь, чтобы на той высокой кафедре, которой мы восхищались в Зофиенбурге, восседал человек титулованный. Уж можете на меня положиться. Всего доброго, счастливой поездки.

Оскар побледнел. Они не освобождают Крамера. Это новая коварная интрига «аристократов». Они мстят подло, они злопамятны. Как это похоже на гнусную выходку с жемчужиной. Сначала он ему пообещал все сделать, этот Проэль, эта скотина, а теперь, видите ли, появилось толстое дело. Знаем мы эти штуки. Но он, Оскар, предчувствовал недоброе, когда обращался к Проэлю. От бешенства он с трудом находит слова.

— Благодарю вас, господин начальник штаба, — говорит он с подчеркнутым высокомерием,— за то, что вы хотите хлопотать обо мне перед фюрером. Но прошу вас, не старайтесь, фюрер уже сам обещал мне. Этого достаточно. Да и не следует забывать о том, что я оказал услугу партии не ради награды, а прежде всего во имя дела. Сама природа моего искусства такова, что оно даже проявиться не может, если рассчитывать на награду.

— Понимаю, понимаю, — скрипучим голосом отвечает Проэль. — L'art pour l'art. Башня из слоновой кости. «Не дари мне цепи златой» и так далее. Ну, во всяком случае, у меня были добрые намерения, и, насколько я знаю Адольфа, не мешает ему напомнить об его обещании. Итак, всего хорошего. Желаю вам приятно провести время в Гейдельберге.

Разговор окончен. Оскар сидит, у него учащенно бьется сердце, он тяжело дышит; ему стоило немало труда говорить хоть сколько-нибудь спокойно. Вот тебе и поездка к Кэтэ. Оскар вынимает ключ и зло смотрит на него. А он-то ей наговорил о своей власти, о своем влиянии, газеты, мол, полны сообщений о гейдельбергской церемонии... А на поверку оказывается, что он не может даже добиться такой безделицы, как освобождение Крамера.

Проэль подлец. И терпеть не может его, Оскара. Но при первом разговоре искренне хотел ему помочь. Жалко, что нет Гансйорга; он мог бы точно объяснить, кто сунул нос в это дело. Но Гансйорг опять уехал. В Париж. Нет, не нужен ему Гансйорг. Он и сам отлично знает все до мельчайших подробностей. Виноват Цинздорф. Он науськал Проэля. И они вместе сыграли с ним эту шутку.

Но на сей раз они опять просчитались, эти милые «аристократы». Он и не подумает сдаваться. Он обещал Кэтэ вызволить Крамера. И он его вызволит. И вдруг, молниеносно, ему приходит в голову — как именно. Другой на его месте дальше Проэля не пошел бы. Но для него, Оскара Лаутензака, есть и другие пути.

Он звонит в рейхсканцелярию.

Фюрера нет в Берлине. Фюрер уехал на несколько дней в свой замок в Берхтесгадене.

Не беда. Оскар должен быть в Гейдельберге только в пятницу. У него еще есть время слетать в Берхтесгаден. Дело с Паулем Крамером он уладит. Еще до поездки в Гейдельберг.

Канцлер праздно бродил по своему поместью Бергхоф — он нервничал. Надо было сделать выбор, принять решение, а этого он не любил.

Две группы, проложившие Гитлеру путь к власти, тащили его в разные стороны: маленькая группа «аристократов» и большая группа его «старых борцов», авантюристов, — он называл их «народ». «Народ» требовал социальной революции, которую Гитлер ему обещал,— десять тысяч «старых борцов» требовали доходных мест. Но раздавать эти места могли только «аристократы», а они были хитры, упорны, они и не думали подпускать «старых борцов» к кормушке. Можно было бы попросту прогнать «аристократов», но для этого партия пока еще не была достаточно сильна, а Гинденбург, рейхспрезидент, за спиной которого они стояли, все еще пользовался большим авторитетом, чем Гитлер. Кроме того, почтение к «аристократам» было в крови у канцлера, и он ими восхищался, несмотря на всю свою ненависть: ему импонировали их самоуверенность, непринужденность, высокомерие.

Вот, например, сам старик фельдмаршал. Гитлер очень неохотно с ним встречается. Когда престарелый президент стоит перед ним, опираясь на свой костыль, и говорит прерывистым, глухим, как из подземелья, голосом: «Господин Гитлер, так не полагается»,— ему начинает казаться, что он еще мальчишка и стоит перед папашей. Совсем недавно снова случилось нечто такое, о чем он вспоминает с величайшей досадой. В Потсдамской церкви — это было в день поминовения — старик спустился в склеп Гогенцоллернов, а он, Гитлер, не посмел последовать за ним. Правда, он в это время произнес речь перед собравшимися в церкви, и это была замечательная речь. Но все-таки успех выпал на долю президента, а он, Гитлер, шел рядом с огромным величественным фельдмаршалом, как побитая собака.

Надо сказать, что «аристократы», к сожалению, во многих своих требованиях совершенно правы. Они, например, считают, что он должен одернуть кое-кого из своих друзей, которых продвинул на важные посты, так как они совершенно неприлично ведут себя. И по правде говоря, гор-

диться этими друзьями не приходится. Но, с другой стороны, «верность — сестра чести», и если его друзья требуют, чтобы он посадил фрондирующих «аристократов» в концлагерь, то и об этом надо хорошенько подумать.

Ах, как ему надоело изо дня в день принимать решения! Поэтому он и улетел в свой Бергхоф. Покоя он хочет. А ему покоя не дают. Всем надо срочно с ним говорить. С одной стороны, кадерейтам и беренклау, а с другой — его приближенным, проэлям и герингам. Но он не хочет. По крайней мере, в эти несколько дней отпуска он знать не хочет проклятой политики.

И вот он сидит в Бергхофе и брюзжит. Смотрит фильмы, перелистывает иллюстрированные журналы, ни с кем не видится. Но, по совести говоря, ему скучно.

Когда ему докладывают о приезде Лаутензака, он с облегчением вздыхает. Вот наконец человек, который не будет ему досаждать государственными и партийными делами, с ним можно поговорить о чем-нибудь разумном, возвышенном, о внутреннем голосе, судьбе и тому подобном.

— Вы явились как раз вовремя для настоящего мужского разговора, — начал он и схватил грубыми белыми руками грубые белые руки Оскара. — Я не забыл об академии оккультных наук. Перед самым отъездом из Берлина у меня была серьезная беседа на эту тему с Проэлем, и как только вы получите ученую степень, академия будет открыта. Тайные науки, — изрек фюрер, — тайные науки я ценю не меньше, чем Александр, Цезарь, Валленштейн. Я на себе испытал радость и трудность подлинного самоуглубления, добросовестного самопознания и исследования своего внутреннего «я», своей личности. Путь к свету — тернистый путь. Но его необходимо пройти. Внутренний голос — это та основа, на которую опирается истый немец, строя будущность партии и отечества.

Он устремил взор вдаль; затем, после паузы, прибавил значительно, с ударением:

— Вот для этого, господин Лаутензак, я и удалился сюда. Я жду самовыражения моего внутреннего голоса, — и он глубоко погрузил свой взгляд в глаза Оскара.

Оскар почувствовал радостный испуг. Смысл этих слов был ясен: Гитлер ждал, чтобы Оскар заставил звучать его внутренний голос, чтобы Оскар помог ему своим видением.

К такому важному событию Оскар не подготовлен. Он сегодня поглощен собственными маленькими заботами и страстями, он не в форме, ему не хватает той дерзкой уверенности, которую он почти всегда ощущает. Справится ли он с такой задачей? Но нельзя же не использовать этот величайший шанс. Необходимо отважиться на эту попытку.

Он закрывает глаза, открывает их, снова закрывает. Ему незачем говорить фюреру, чтобы тот ослабил напряжение — фюрер не сопротивляется. Этот прославленный человек более велик, чем Оскар, но они сродни друг другу, они от одного и того же корня, и каждый без слов понимает другого.

Оскар стряхивает с себя все, что ему мешает, все себялюбивое. И это ему удается. Он чувствует, как оно спадает с него и вот сейчас, сейчас разорвется какой-то невидимый покров. Оскар «видит». Видит ненависть фюрера к «аристократам», его страх перед ними, его почтение, жажду повиноваться им и все-таки быть среди них первым. И видит, что Гитлер связан со своими верными друзьями и сообщниками, но в то же время втайне мечтает избавиться от этой банды. Все в фюрере гораздо неистовей, гораздо опасней, чем в нем самом, но — Оскар видит это с глубокой благоговейной радостью — все это близко его собственным переживаниям.

Он начинает говорить, полный почтительного участия, он подбирает слова темные и все-таки уверенные. Почти неразрешима задача канцлера. Он должен примирить непримиримое. Должен удовлетворить «старых борцов» и не слишком ущемить интересы алчных «аристократов», без которых он обойтись не может.

— Вам необходимо, мой фюрер, — вставляет Оскар, — сделать так, чтобы волки были сыты и овцы целы. И притом, — смелым, интимным тоном продолжает он, — часть вашего сердца принадлежит волкам. Верно я говорю? — спрашивает он, смотря прямо в лицо фюреру; это звучит и боязливо и торжествующе.

— Да, милый Лаутензак, — задумчиво подтверждает Гитлер. — Вы правы. Моя борьба — это вечное хождение по узкой тропе: справа и слева зияет бездна, и, глядя вдаль затуманенными глазами, тихо продолжает: — Пожалуй, вы правы даже насчет волков. Пожалуй, часть моего сердца принадлежит волкам.

Опасные вопросы были затронуты Оскаром. Но он уже не мог не продолжать. Мысли и желания шли волнами от Гитлера к Оскару. Оскар знал, что фюрер ждет совета, и знал, какого.

Он осторожно начал:

— Не слушайтесь, мой фюрер, слишком ретивых друзей и не принимайте решений, для которых еще не пришло время. Подождите, пока заговорит ваш внутренний голос. А уж тогда... — он не кончил.

— Ждать, ждать, — отвечал фюрер, его голос звучал странно протяжно, мечтательно. Но то, о чем он мечтал, было опасно, это были бури такой силы, что он, которому предстояло выпустить их на простор, сам их боялся. — Ждать, ждать, — повторял он все тем же злым мечтательным голосом. — Ждать, пока заговорит внутренний голос. И потом?..

— И потом ударить, — внушил ему Оскар быстро, тихо, таинственно.

Фюрер впустил в себя слова Оскара.

— И потом ударить, — повторил он. — И потом — пусть покатятся головы,— продолжал он мечтать,— много голов, безразлично, чьи это головы, врагов или друзей. Когда внутренний голос говорит, пусть они катятся, головы. Правильно, правильно. Это вы хорошо увидели и хорошо сказали, дорогой Лаутензак.

Оскар непроизвольно, точно защищаясь, слегка приподнял руку. Брожение и кипение в душе глубоко почитаемого им человека испугало его. То, что вырвалось с такой дикой, мрачной силой из этой души, было больше того, что он увидел и выразил, и больше того, что он хотел внушить.

Фюрер оторвался от своих грез. Он почувствовал, что его одобрил человек, внутреннему голосу которого он доверял. Ему, Гитлеру, дан совет выждать, оттянуть решение. Это соответствовало его желаниям. Его лицо, только что выражавшее такую мрачную одержимость, прояснилось.

Он очень милостив к Оскару. Он обнимает его за плечи, ходит с ним взад и вперед по комнате. Замок Бергхоф — светлое, веселое здание; в громадные окна заглядывают могучие снежные горы. Но в Бергхофе, как и в Зофиенбурге, везде расставлены таинственные, новейшей конструкции аппараты. Канцлер показывает своему ясновидцу некоторые из них. Здесь не только сложная киноаппаратура, радиоустановки, приборы для подслушивания, но и множество хитроумных сигналов тревоги, подъемников и туннелей, ведущих глубоко внутрь скалы; по таким туннелям канцлер может спастись от своих врагов.

Все это фюрер не без гордости показывает своему ясновидцу. Да, он очень благосклонен к нему.

Оскар приходит к выводу, что он поступил правильно, приехав сюда. А теперь настало время обратиться к фюреру с просьбой.

Он проводит скромную параллель между собой и фюрером. Ему тоже приходится страдать от слишком усердствующих людей. Один из них, например, посадил в тюрьму человека, который несколько месяцев назад глупо оскорбил его. Речь идет о некоем Пауле Крамере; конечно, фюрер помнит этот процесс. Но ему, Оскару, арест этого молодчика кажется слишком мелочной, слишком ничтожной, слишком материалистической местью. Ему хотелось бы унизить его глубже. Ему хотелось бы, чтобы Пауль Крамер был освобожден, и тогда они померяются силами на просторе — на духовном просторе созданной фюрером новой Германии. Ему хотелось бы нанести удар не телу врага, а его духу.

Гитлер немного сморщил свой большой, острый, треугольный нос. Слова Лаутензака не вполне его устраивали. Он и сам нередко раздумывал о сущности мести.

— Мстительность, — возвестил он, — основное свойство германской души. Вспомните «Песнь о Нибелунгах». Вспомните великого Рихарда Вагнера, посвятившего всю свою жизнь мести. Да и на меня возложена миссия мести, ужасной, многоликой мести. Судьба повелела мне повернуть колесо истории, пущенное на ложный путь бесславной французской революцией и ее продолжателями большевиками. И я это совершу, миссию свою выполню, на это может положиться весь мир. — И снова в его глазах промелькнуло то опасное, бредовое, что наполняло Оскара восхищением и ужасом. Он, Оскар, был одарен только «видением». А человек, стоявший перед ним, помимо этого дара, обладал еще и кулаком. Ему стоило лишь захотеть, и «увиденное» сегодня станет действительностью завтра.

— Мы, — продолжал фюрер, — будем вершить кровавое дело мести не так дилетантски, как это делают французы и русские, мы займемся этим с железной немецкой основательностью. Головы покатятся, — снова погрузился он в свои грезы, — но гораздо, гораздо больше голов, чем у них. Во много раз больше голов. Это будет целая пирамида, огромная пирамида. — Последние слова он произнес почти шепотом, но с каким-то судорожным напряжением. Он смотрел в одну точку, лицо его выражало решимость, сладострастие.

Оскар побледнел. Он почти против воли отступил на шаг перед этим одержимым. То, что он, Оскар, развязал, по-видимому, принимает чудовищные размеры. Эта мысль высоко подняла его и в то же время испугала. Снова им овладело то головокружение, та дрожь, которые он испытал, когда мальчиком шел на такой опасной высоте, по самому гребню стены, все дальше и дальше, ставя носки внутрь, глядя вперед со страхом и затаенной радостью. Гитлер видел, какое впечатление произвели его мечты на Лаутензака. Он радовался этому впечатлению. Тон его снова стал дружелюбным, шутливым.

— Вам-то легче, мой дорогой Лаутензак,— сказал он. — Вам-то разрешается вершить месть в форме игры идей. Я бы и сам этого желал.

Оскар поблагодарил фюрера за то, что тот позволил ему заглянуть в себя. Сначала голос его был несколько глух, но постепенно Оскар разошелся. Он воздал хвалу фюреру за образность и силу, с которой тот показал значение инстинкта мести, одну из важнейших черт немецкой натуры. В душе немца, перевел он слова Гитлера на свой язык, сила разрушения является не менее творческой, чем сила созидания. Для немца вожделенный миг, когда он повергает в прах и растаптывает своего противника, несет в себе радость созидания.

— Я вижу, что вы меня поняли, — похвалил его Гитлер. — Итак, — сказал он, заканчивая беседу, — я освобожу этого вашего господина — как его — Крамера,— он что-то отметил в своей записной книжке.—

И желаю вам, мой дорогой Лаутензак, чтобы ваша месть дала вам удовлетворение.

Довольный, покинул Оскар замок Гитлера. Он дал телеграмму Кэтэ: «Фюрер распорядился освободить Крамера»,— и в самом лучшем настроении поехал в Гейдельберг.

Огромная фигура доктора Кадерейта заполнила тесный кабинет Проэля в «Колумбиахауз»; когда Кадерейту захотелось походить, как он привык, по комнате, он так быстро натолкнулся на стену, что снова уселся на свой неудобный стул. И опять машинально делал все новые попытки пройтись по комнате — уж очень он был раздражен, хотя старался говорить в обычном для него игривом, насмешливо циничном тоне.

Проэль слушал его с интересом. Сердцем он был со своими штурмовиками; когда наступит неизбежный окончательный бой между ландскнехтами и «аристократами», он и Кадерейт очутятся по разные стороны баррикады. И все же он с симпатией относился к Кадерейту; он сам по происхождению и воспитанию принадлежал к «аристократам» и предпочитал манеры Кадерейта манерам своих товарищей по партии.

Во всяком случае, глупо без какой-либо необходимости задевать такого могущественного человека, а это делали уже не раз. Что это за новый «афронт», на который Кадерейт уже в третий раз намекает? Кадерейт, видно, думает, что Проэлю известно об этом афронте; но тот ничего не знает. В конце концов Проэль напрямик спросил об этом своего гостя.

Оказалось, что доктор Кадерейт хотел обсудить с господином Гитлером некоторые экономические вопросы величайшей важности, вопросы вооружения, но у господина рейхсканцлера не нашлось для него времени. Это не было бы так обидно, если бы господин Гитлер не потратил время на прием господина Оскара Лаутензака.

— Я вполне понимаю, — сказал Кадерейт, — что оккультные науки имеют большое значение для тысячелетнего рейха. Но на ближайшее десятилетие вопросы экономики и вооружения, на мой взгляд, являются более неотложными. Если господин Гитлер находит время только для господина Лаутензака, то мне, к величайшему сожалению, придется, минуя его, обсудить свои дела непосредственно с господином рейхспрезидентом.

— Я и сам изумлен, дорогой Кадерейт, — ответил Проэль, барабаня по письменному столу пальцами белой мясистой руки. Он действительно был изумлен. Только вчера говорил он по телефону с Адольфом, и тот ни словечка не проронил ни об отказе Кадерейту, ни о приеме Лаутензака.

— И вы совершенно уверены,— спросил Проэль,— что он принял Лаутензака?

— Я слышал это от самого пророка, — решительно ответил Кадерейт. — Я позвонил ему в Гейдельберг; ведь сейчас там его облачают в докторскую мантию, да еще с такой помпой. Вот я его и поздравил; вы понимаете, никак из нашего брата не вытравишь врожденную вежливость. И что вы думаете ответил мне на это его оккультное святейшество? «Надо нам повидаться, дорогой доктор Кадерейт. Но я эти дни так занят, сначала мне пришлось съездить к фюреру в Бергхоф, а теперь вот — в Гейдельберг. Но по возвращении в Берлин постараюсь освободить полчасика для такого доброго старого друга».

Лукавые, светлые глаза Проэля встретились с лукавыми полузакрытыми глазами Кадерейта. Проэль спрашивал себя, чего, собственно, Оскар добивался от Адольфа. Вероятно, дело касалось этой дурацкой академии. Как всегда, было очень неприятно, что кто-то сумел вкрасться в доверие к Адольфу. И столь успешно, что самому Адольфу неловко, иначе он не

утаил бы от Проэля визит этого молодчика. В сущности Проэль был рад, что теперь затронуты его интересы и, значит, у него есть причина для расправы с пророком.

Фриц Кадерейт, со своей стороны, именно потому, что он никогда не хотел себе признаться, как глубоко его задела любовная связь Ильзы с Лаутензаком, всегда прикидывался перед самим собой, будто относится к этому субъекту с холодным, скептическим любопытством опытного сердцеведа. Когда Лаутензак с наивной алчностью завладел прекраснейшим произведением искусства, принадлежавшим господину фон Обристу, чтобы выставить его напоказ в своем ужасном паноптикуме, Кадерейт спустил это ясновидцу. Он поддерживал с ним приятельские светские отношения, позвонил в Гейдельберг, чтобы поздравить его. Но когда этот тип, в довершение всего, пытается вмешиваться в политику и примазывается к Гитлеру, это уже слишком. Посади свинью за стол, она и ноги на стол.

Кадерейт и Проэль прекрасно понимали чувства друг друга. Они улыбнулись и заключили союз против Оскара Лаутензака, разумеется, ограничившись лишь намеками.

— Надо иметь снисхождение к слабостям великого человека, — кротко сказал Проэль.— Разве Цезарь не вопрошал авгура, прежде чем принимать важные решения?

— Но кто сказал, — ответил Кадерейт, — что он ориентировался на его предсказания? Безусловно нет, если эти предсказания противоречили интересам хозяйства.

— Положитесь на меня, дорогой Кадерейт, — сказал Проэль. — Мы, старые ландскнехты, понимаем, что такое здоровое хозяйство. Откуда же нам еще черпать наши доходы? Как только Адольф вернется в Берлин, вы будете первым, кого он примет. Ну, а что касается полчасика, который обещал вам господин доктор Лаутензак, тут уж я ничего не могу вам гарантировать.

Оба ухмыльнулись и расстались добрыми друзьями.

Это было утром. А днем Цинздорф показал начальнику штаба телеграмму из Берхтесгадена. Фюрер пожелал освободить Пауля Крамера, которого арестовали штурмовики.

— Вы представляете себе, начальник, — спросил Цинздорф, — кто или что за этим кроется?

Когда Проэль утром услышал о приеме Лаутензака Гитлером, он предположил, что пророк хотел вырвать у фюрера крупный куш для своей академии или какой-нибудь жирный кусок для себя. Теперь, прочитав телеграмму, он понял истинную причину этого посещения и очень удивился. Проэль не предполагал, что Лаутензак так сильно заинтересован в судьбе Крамера, и ему становилось как-то не по себе при мысли, что сам он отказал ему в этой просьбе. Но со стороны Лаутензака было неслыханной наглостью обращаться к Гитлеру за спиной Проэля.

— Мне кажется, — сказал он, бросив телеграмму на стол, — не надо быть Талейраном, чтобы понять суть дела.

— Кто бы подумал, — размышлял Цинздорф, — что этот Лаутензак может встретить такую поддержку в Бергхофе?

Розовое лицо Проэля утратило свое обычное игривое выражение. Ему было досадно, что приходится выпускать из рук Крамера; но он сказал себе: если он будет сопротивляться, то из этого легко может возникнуть целая «история».

Цинздорф сидел перед ним, спокойно небрежный, элегантный, и смотрел на него дерзко и выжидательно.

— Ну как? Господин доктор Крамер освобожден? — спросил Проэль.

— Я хотел сначала изложить вам это дело, начальник, — ответил Циндорф. — Полагаю, оно вас заинтересует.

— Полагаешь ты правильно, — отозвался Проэль. — Но чего ты, собственно, хочешь? Адольф распорядился выпустить его. Приказ ясен.

— Есть тут обстоятельства, — возразил Циндорф, — которые позволяют вам сделать запрос. Дело Крамера стало пробой сил, поединком между теми, кто хочет руководить нашей партией на основе разумных военно-политических принципов, и некоторыми грязными, темными элементами, действующими снизу. Надо было бы предостеречь фюрера от этих грязных элементов.

— В особенности потому, что ты должен этим грязным элементам двадцать-тридцать тысяч марок, сынок, — ответил Проэль, — и я понимаю, что у тебя есть желание выступить против них в роли святого Георгия.

Циндорф наклонился, посмотрел Проэлю прямо в глаза и сказал дерзким, интимным тоном:

— Я думаю, Манфред, мы с тобой согласны насчет того, что раздавить этого вонючего клопа Лаутензака — не только в моих интересах, но и в интересах партии.

Проэль не улыбнулся и не ответил. Человек, который сидел перед ним и с лица которого еще не сошло фамильярно-дерзкое выражение, был ненадежным другом. Еще неизвестно, постоит ли за него этот человек, когда придет решительная минута, или же предпочтет предать штурмовиков «аристократам», а его самого — Кадерейту. Нетрудно представить себе, как его Улли в этом случае с чуть-чуть иронической миной сунет конверт с тридцатью сребрениками себе в карман. И, как ни странно, Проэль даже не особенно обижается на него за это.

Что же, доставить удовольствие себе и Улли? Заняться всем этим самому? Если бы стычка с Лаутензаком ограничилась делом Крамера, он, Проэль, не колебался бы. Но, насколько он сумел изучить Оскара Лаутензака, тот теперь не успокоится. Будут неприятные последствия; он пойдет дальше. Что, например, скажет по этому поводу Гансйорг, наш Гансик? Он все еще в Париже, он налаживает франко-германские отношения; для него будет неприятным сюрпризом, когда он, вернувшись, узнает, что между Проэлем и дорогим братцем Оскаром началась открытая борьба. Дружба между Гансом и Проэлем и без того пострадала от соперничества Улли, а теперь она подвергается новому испытанию. Стоит ли того Улли? Стоит ли того необъяснимая антипатия Проэля к ясновидцу?

— «Клоп Лаутензак», — повторил он после паузы слова Циндорфа.— Грубо ты выражаешься о философах, Улли. Плохо понимаешь, как нуждается в религии человеческая душа. И чего ты, собственно, хочешь? Вот телеграмма Гитлера: Roma locuta, causa finita *.

В глубине души Проэль знал, что стоит ему всерьез захотеть, и все может еще обернуться по-иному. Он с самого начала вспомнил, что есть верное средство заставить Гитлера взять обратно свой приказ и, быть может, лишь выжидал, чтобы Циндорф посоветовал ему прибегнуть к этому средству.

И тот не преминул это сделать.

— Дело Пауля Крамера, — сказал он, — объемистое дело, но, насколько я знаю вашу добросовестность, начальник, вы его все же изучили. И уж наверняка помните одну статью этого Пауля Крамера, приложенную к делу: очерк о стиле Гитлера. Мы в свое время поберегли фюрера и не показали ему этой статьи. Теперь, думается, незачем его дольше ща-

* Рим сказал свое слово — вопрос исчерпан *(латинск.)*.

дить. — Он улыбнулся, его красивое лицо вдруг стало таким жестоким, что даже Проэля передернуло. — Не находите ли вы, начальник, — продолжал он, — что нельзя выпускать этого человека, пока не будет сделан запрос фюреру? Не подождать ли с освобождением Крамера, пока не получится ответ на этот запрос? Вы меня поддержите? Рискнете встретиться с разгневанным Адольфом? — спросил он льстиво.

Проэль вздохнул.

— Каждый из нас в глубине души поросенок,— сказал он,— но ты, Улли, не то что поросенок, ты целый кабан. Продувная ты бестия, мой мальчик. — И он слегка хлопнул Циндорфа по плечу.

Когда Гитлер три дня спустя приехал в Берлин, Проэль принес ему статью Пауля Крамера.

— Мне сообщили, — начал он, — что надо освободить Пауля Крамера. Мне сообщил это Оскар Лаутензак, он ссылается на тебя. Это немножко странно. Кажется, здесь кто-то кого-то неправильно информировал. В лучшем случае это недоразумение.

Гитлер прочел статью о стиле Гитлера. Гитлер покраснел. Он с силой выдохнул воздух через большой треугольный нос. Гитлер был очень чувствителен к критическим суждениям о своем немецком языке. Своим стилем он гордился. И считал его неповторимым.

Он швырнул журнал со статьей на стол.

— Это уж верх наглости, — сказал Гитлер, — это черт знает что.

Он говорил негромко, в данном случае неуместно было бы проявлять свое бешенство криком. Он ходил взад и вперед большими шагами. Его тянуло обратно к столу; он снова взял в руки журнал. «Его фразы, точно дождевые черви,— это нечто длинное, извивающееся и липкое»; он тряхнул головой и закусил губу.

— И вот этакое посмели напечатать, — с возмущением крикнул он.— Режим, допускавший к печати подобные вещи, с самого начала был обречен на гибель. Такие гнилые плоды — лишнее доказательство, что спилить это трухлявое дерево было нравственной необходимостью.

Быстрыми хитрыми глазками Проэль следил за метавшимся по комнате фюрером. Он остерегался его прервать. Он знал, что Гитлер так скоро со статьей не расстанется.

И он, в самом деле, принялся сызнова изучать ее.

— Ходульным он называет мой язык, — негодовал фюрер, — напыщенным. Упрекает меня за уродливые образы, противоречащие друг другу сравнения. Он не знает, этот чужак, этот невежда, что только скрещение образов дает силу и размах языку оратора, который плывет по бурным волнам мысли и проносится через пустоту, иногда неизбежно возникающую. Да, я люблю пышный, богатый образами язык. Мое знакомство с палитрой художника насыщает мой язык красками.

Теперь, наконец, Проэль решил, что благоприятная минута наступила.

— Видишь ли, — сказал он, и его деловитый тон составлял странный контраст с высокопарным тоном фюрера, — я тотчас же понял, что спускать с цепи автора такой статьи — не в твоем духе.

— Да, — недовольно ответил Гитлер, — следовало бы Лаутензаку лучше осведомиться насчет этого мерзавца, прежде чем просить меня об его освобождении. — Он был раздражен и смотрел куда-то мимо Проэля. В неприятную он попал историю. Бросить вызов ясновидцу и силам, которые стояли за ним — перед таким поступком он испытывал суеверный страх, но, вместе с тем, нестерпима была мысль, что человек, которому принадлежит эта преступная и оскорбительная писанина о его стиле, снова очутится на свободе. — Вечные осложнения, — ворчал он, — всюду трудности.

— Мне понятно, — добродушно произнес Проэль, — что ты иногда прислушиваешься к мнению твоего друга Лаутензака. Но такой пророк — он компетентен только в великом, космическом, когда же он сует свой нос в будничные политические дела, получается черт знает что.

— Этого не должно быть, — отозвался Гитлер. — Постижение космического и понимание частностей не исключают друг друга. У меня, например, тоже бывают видения и, однако, я провожу в будничной политической работе, во всех ее мелочах последовательную линию подлинно германской хитрости.

Он вернулся к делу Крамера. «Пусть на меня клевещут, сколько душе угодно, — заявил он. — Но чтобы такой человек, как Крамер, нападал на немецкий язык, пачкал благороднейшее достояние нации, этого я не потерплю. Я, по совести, не могу отвечать за безнаказанность этого человека».

— Именно, — поддакнул Проэль, — этого ты не можешь.

— С другой стороны, — ворчливо продолжал Гитлер, — я обещал Лаутензаку освободить этого субъекта. Я дал ему честное слово.

— Но ведь тогда ты не знал, — возразил Проэль, — что за опасный тип этот Крамер. Да и сам Лаутензак, вероятно, этого не знал. Оба вы исходили из ложных предпосылок.

— Пожалуй, что и так, — ответил Гитлер, — оба мы были в заблуждении. Но мне не хотелось бы обижать Лаутензака. Дар его — редкостный, единственный в своем роде. Я чувствую себя морально обязанным быть покровителем и заступником этого замечательного человека.

— A la bonne heure! * — ответил Проэль. Покровительствуй ему, охраняй его. Создай, например, академию. Я решительно ничего против него не имею, я полностью за него. Но ведь у тебя есть исторические обязательства и перед немецким языком. Ты не можешь допустить, чтобы его хулители разгуливали на свободе. Ведь ты сам только что так прекрасно говорил об этом.

— Верно, Манфред, верно, — Сказал фюрер, полный тяжелых сомнений. — Я обещал освободить этого человека, а нравственный закон требует, чтобы я оставил его за решеткой. Вечно какой-нибудь конфликт чувства и долга,— ворчал Гитлер. Он два раза прошелся по комнате широкими шагами — туда и обратно. Затем остановился и решительно заявил: — Я не могу, не имею права поступить иначе. Я обязан надеть намордник на этого Крамера.

— Ну, значит, — добродушно подвел итог Проэль, — наденем на него намордник. Короче говоря, пока что я держу его за решеткой.

— Не вижу другого выхода, — меланхолически заметил фюрер. — Я обязан надеть на него намордник. Надеюсь, Лаутензак поймет мою точку зрения.

— Конечно ты обязан, и конечно он поймет,— подтвердил Проэль; он взял со стола дело Крамера.— Значит, вопрос исчерпан,— сказал он и перешел к другим делам.

Гансйорг вернулся из Парижа. Там его чествовали, сделали кавалером ордена Почетного Легиона, он был принят президентом республики, да и в делах добился успеха. Он с удовольствием представлял себе, как будет рассказывать об этом брату, который находился еще в Гейдельберге.

Он получил полную информацию о делах Оскара. К своему удивлению, он узнал, что Проэль энергично взялся за академию. Значит, предположение, будто Проэль недоволен Оскаром со времени пресловутой

---

* Отлично! *(франц.)*.

консультации, было неверно. Петерман рассказал ему также о поездке Оскара к Гитлеру и, разумеется, не преминул сообщить свои соображения по поводу того, как и почему Оскар на это решился.

Еще до возвращения Оскара из Гейдельберга Гансйоргу пришлось узнать об этой поездке к Гитлеру много неприятного. Проэль решил откровенно обсудить это дело с Гансйоргом. Он не хотел терять дружбу Гансля из-за глупости его брата.

Поэтому, как только Гансйорг закончил свой доклад о Париже, Проэль заговорил об Оскаре.

— У него настоящая мания величия, — сказал он, — разыгрывает из себя чуть ли не исповедника фюрера. Боюсь, что долго он на такой высоте не удержится. Занялся бы ты этим делом, сынок.

Гансйорг побледнел.

— Извини, Манфред,— сказал он,— но я решительно ничего не понимаю. Что он тут натворил, пока я был в Париже? Допустил какую-нибудь оплошность в Гейдельберге? Должен сказать, что я сам дал указание газетам поднять шумиху вокруг этого дела. А может быть, что-нибудь с академией? Слишком зазнался?

— Все это вздор, — насмешливо сказал Проэль. — Гейдельберг, академия! Нацепи он на себя докторские колпаки спереди и сзади, назови себя хоть далай-ламой, я и то благословил бы его. Но фюрера пусть оставит в покое. Есть более заслуженные люди, и не скоро придет его черед лезть к фюреру. Тут он зарвался. Чтобы этого больше не было!

Гансйорг сидел как ошпаренный, пока Проэль подробно рассказывал ему всю историю.

— Может быть, он и гений, — сказал Проэль в заключение, — но — полнейший идиот. Даже грудному младенцу понятно, что обращаться к Адольфу через мою голову бесполезно! И, конечно, он ничего не достиг своей назойливостью. Наоборот, Адольф не может теперь без ярости вспомнить о Крамере. Он поручил мне надеть на него крепкий намордник. И все из-за этой Лорелей и ее песен. Не делай такое несчастное лицо, мой мальчик, — продолжал он; Гансйорг был еще бледнее обыкновенного. — Ты ведь в конце концов тут бессилен. Но я знаю, как ты ему предан, поэтому мне и хочется по-дружески предостеречь тебя. Поговори, что ли, со своим братцем. Его дело — чистая оккультная наука и ничего больше. Вправь ему мозги. Поговори с ним решительно. Пусть хорошенько зарубит себе это на носу.

Оставшись один, Гансйорг долго сидел в полном изнеможении, без единой мысли в голове. Затем попытался разобраться в услышанном. Разумеется, за всем этим опять-таки стоит Кэтэ Зеверин. Помешанный он, этот Оскар. Корчит из себя невесть что перед своей кралей, из-за дурацкого тщеславия делает невероятные глупости. Хоть надевай на него смирительную рубашку.

В душе Гансйорга поднялась горячая волна ненависти. Всю жизнь он приносил жертвы ради брата. Он создал ему положение, такое положение, каким не может похвалиться ни один телепат во всем мире, а этот негодяй, этот невыносимый дурак ни о чем не думает, кроме женщин. Если на его девчонку нашел сентиментальный стих, он готов на рожон лезть. А Гансйорг — расхлебывай кашу.

Оскар — гений. Отлично. Гитлер и Оскар — единственные люди, которых Гансйорг признает гениальными. Но Гитлер, кроме того, прошел сквозь огонь, воду и медные трубы, а Оскар попросту глупая скотина. Гений, мошенник и дурак.

Сумел-таки испортить отношения с Проэлем, этот болван. Должно быть, во время консультации натворил несусветные глупости. Проэль его ненавидит, это сказывается в каждом слове. Сначала Оскар повздорил с

Циндорфом, наперекор всем наставлениям, а теперь еще и Проэля ухитрился взбесить.

Манфред поступил очень порядочно, предупредив его, Гансйорга. «Надо вправить Оскару мозги», сказал он. Гансйорг вправит ему мозги. Манфреду не придется напоминать об этом вторично. Он его отчитает, этого Оскара. Не постесняется. Пусть он только приедет из Гейдельберга, этот дуралей.

Несколько молодчиков в коричневых рубашках волокут какой-то стонущий комок мяса и костей по коридорам «Колумбиахауз».

Заключенный — в грязном и измятом темно-сером костюме, зовут его № 11783. Прежде его звали Пауль Крамер.

Полумертвого Пауля Крамера втаскивают в один из кабинетов. Здесь сидит человек в парадной форме, на его воротнике нашито нечто вроде листочка, по-видимому, это важная шишка в армии ландскнехтов. Раньше Пауль знал, что означает этот листок; ему досадно, что он не может вспомнить. Человек в парадной форме корректен, даже вежлив. Называет заключенного «господин доктор Крамер». Просит его сесть, и когда оказывается, что он сесть не может и все клонится набок, приказывает тем, кто его втащил, уложить Пауля на диван.

— Господин доктор Крамер, как видно, неважно себя чувствует,— говорит он и предлагает заключенному выпить воды и даже коньяку. Теперь Паулю вспомнилось, что означает этот листок на воротнике, он символизирует крону дуба, и человек этот среди ландскнехтов нечто вроде полковника.

Человек с дубовым листком приказывает конвоирам удалиться, он остается с Паулем наедине и ведет с ним вежливый, хотя и несколько односторонний разговор.

— В вашем положении, господин доктор Крамер,— говорит он,— нужна некоторая сила духа, чтобы остаться объективным и правильно оценить наши побуждения. Мы стремимся лишь к одному: исправлять и вразумлять. В наше суровое время этого можно достичь только суровыми мерами. Вы можете, конечно, обвинить нас в том, что мы применяем лекарство в лошадиных дозах, но вы должны понять, что это наш метод лечения. Вы меня слушаете, господин доктор Крамер? Вы в состоянии следить за ходом моей мысли?

— Стараюсь,— хрипло сказал Пауль.

— Перехожу, в частности, к вашему делу, — сказал полковник. — Я ознакомился с некоторыми вашими статьями и удивляюсь, как это такой умный человек не понял с самого начала, что партия, которая хочет удержаться у власти, никоим образом не может допустить распространения некоторых теоретических положений. Для того чтобы заставить вас понять эту элементарную истину, мы взяли вас на полный пансион. Я пускаюсь в подробности, господин доктор Крамер, но для меня важно, чтобы вы как можно отчетливее уяснили себе свое положение. Сначала мы намеревались лишь преподать вам урок, но с тех пор обстоятельства изменились, инстанция, не терпящая никаких возражений, заинтересовалась вашим делом и предложила надеть на вас намордник. Существует разница между «уроком» и «намордником». Тому, кому преподан урок, предоставляется время и возможность о нем поразмыслить. Тот, на кого надевается намордник, уже лишен возможности говорить. Такому хорошему стилисту, как вы, незачем разжевывать, в чем тут разница. Что касается вашего намордника, господин доктор Крамер, то, согласно предписанию, он должен быть безусловно надежным.— Человек в парадной форме сделал маленькую паузу и пояснил: — Я читаю вам эту лекцию из одного лишь человеколюбия. Вам дается несколько часов на размышление. Поду-

майте, пожалуйста, хорошенько и сделайте выводы. Мы верим в свободу воли и поэтому предоставляем решение вам. Хотите еще коньяку?

Пауль лежал и слушал. В теле струилось приятное обжигающее тепло от выпитого коньяка, боль не прошла, но уже не наполняла его всего, он слушал то, что говорил человек в парадной форме, слова доносились, словно издалека, и не все доходили до его сознания.

— Есть у вас какие-нибудь пожелания? — спросил человек в парадной форме, и этот вопрос глубоко вонзился в душу Пауля и сразу привел его в полное сознание. Он судорожно глотнул воздух.— Поразмыслите, время терпит,— вежливо сказал человек в парадной форме. Но Паулю не понадобилось много времени на размышление.

— Я хотел бы лечь в постель,— сказал он дребезжащим голосом,— и еще коньяку.

В камере, куда через некоторое время отвели Пауля, действительно стояла кровать, кроме того, в ней были еще стул и громко тикающие стенные часы. А с большого крюка, прибитого к потолку, свешивалась толстая веревка, ярко освещенная электрической лампочкой.

Пауль лежал на кровати, прикрыв глаза опухшими веками. Но даже сквозь сомкнутые веки он ясно видел крюк и веревку. Странно. Зачем им нужно, чтобы он сам покончил с собою? Ведь им как будто должно быть все равно, они ли засунут его голову в петлю или он сам. Так или иначе, они скажут, что он покончил с собой. К чему же тогда все это представление?

Но им не совсем все равно; ведь это добросовестные чиновники. Гитлер дал указание надеть намордник на Крамера, Проэль это указание дополнил: надо, чтобы намордник был надежный. Циндорф еще уточнил: существует лишь один-единственный надежный намордник. «Но у нас нет приказа покончить с этим человеком,— пояснил он.— Мы можем лишь намекнуть заключенному № 11783, чтобы он сам об этом позаботился. Чем выразительнее мы ему намекнем, тем будет лучше, чем активнее он сам будет участвовать в этом убийстве, тем лучше». Вот почему перед стонущим комком мяса и костей спустили в качестве приманки ярко освещенную веревку.

Пауль видел, как тщательно, с каким знанием дела все подготовлено. Надо лишь встать на стул, сунуть голову в петлю и оттолкнуть стул ногой. Это будет стоить ему напряженных усилий, мучительных болей, но недолго будут тикать часы, если он это сделает. Если же он не покончит с собою сам, если будет лежать на кровати и дожидаться, пока другие придут и сделают это, часы будут тикать дольше и боль придется терпеть века, целые века.

Надо встать на этот стул. Надо это сделать. Совершенно бессмысленно не делать этого.

И все-таки он этого не сделает, уже потому не сделает, что это, очевидно, им выгодно.

А кому польза от того, что он останется здесь лежать и целые века будет терпеть боль и муки ожидания? Ни ему, ни кому-нибудь другому. Никто об этом не узнает. Это героично и совершенно бессмысленно. Гитлер скажет, что этот человек погиб по-дурацки.

Пауль улыбается, вспоминая о стиле фюрера, да, улыбается, несмотря на муки, распухшими, окровавленными губами. Судя по тому, что говорил человек в парадной форме, его погубила статья о стиле Гитлера, и хотя Гитлер за это убивает его, Пауль не может не смеяться, вспоминая речи фюрера.

А ведь по существу смешон он сам. Смешно было не держать язык за зубами, смешно было настаивать на процессе и не бежать своевременно. И все же он был прав, хотя и погибает из-за этой своей правоты. Для по-

томков шутом будет Лаутензак, а героем и рыцарем будет он, Пауль, со своей правдой и своим темно-серым костюмом.

Что касается темно-серого костюма, то портной Вайц оказался хорошим пророком: материалец Пауль действительно проносил вплоть до своей блаженной кончины.

Его блаженная кончина. Хорошие слова. И хорошая тема для размышлений в течение того часа, какой ему осталось еще прожить. Он отправится к праотцам. К каким праотцам? Еврейским или древнегерманским? К тем, которые возлежали на медвежьей шкуре и попивали вино, или к тем, которые сочиняли псалмы и нагорную проповедь? У евреев есть хорошее определение для предсмертного часа. Вот уже две тысячи пятьсот лет они кричат на своем смертном одре: «Слушай, Израиль, вечное едино»,— а для него, Пауля, слова эти всегда имели только один смысл: идея едина, неделима и не допускает компромисса. Недурно для последнего слова.

Но тут кто-то входит в камеру, это опять некто в нарядном, хорошо сшитом военном мундире, какое-то высокое начальство.

— Вы все еще здесь? — удивленно, но вежливо спрашивает начальство.— Мы честно рекомендуем вам самому о себе позаботиться. У нас есть опыт и в том и в другом направлении. Уж поверьте мне, лучше сделать это самому. Я даю вам хороший совет. Подумайте-ка еще раз. Теперь половина двенадцатого, даю вам срок до трех. В три я буду здесь опять.

Вежливый человек ушел. В камере пусто, голо, очень светло от яркой электрической лампы. И все-таки камера не пуста. В ней есть крючок и веревка, в ней звучат слова вежливого человека, они наполняют ее. Часы тикают громко, но не заглушают этих слов. «Даю вам срок до трех. В три я буду здесь опять. Поверьте мне, лучше сделать это самому... Подумайте-ка еще раз»,— слова эти были сказаны не очень громко, но они отдаются как гром во всем теле Пауля.

И лишь постепенно возвращаются собственные мысли. «Значит, мне дан выбор,— думает он,— мне предоставлена свобода выбора. Свобода, свобода. Я могу сам сунуть голову в петлю или другие сунут ее. «Провозгласите свободу по всей стране». Это тоже библейские слова. Они звучат очень революционно. На втором курсе университета он немного ознакомился с древнееврейским языком, и как он обрадовался, наткнувшись на эту фразу. «Дероорр» — это слово в том месте библии обозначает свободу. А по существу оно значит «литавры свободы». «Дероорр». Это как раскат грома. Слышишь их, эти литавры?

Значит, ему дан срок до трех. Три с половиной часа. Нет, три часа и двадцать семь минут. Тюремщики точны. Боли опять усилились. Они смывают мысли, осталась только боль. Одна только боль. Еще три часа.

А ведь я подойду к этой веревке. Она манит к себе, веревка, для того она и повешена. Надо только подойти и сунуть голову в петлю. И конец болям. Как она манит, петля».

Пауль приподнялся на постели.

«Боль, боль. Тикают часы. Петля манит. Все это так просто. Если я подойду, часы протикают еще сто раз, в худшем случае еще двести раз, и голова будет в петле, и конец всему, конец болям.

Думать, думать. Если думать, мысли пересилят боль. Петля манит. Думать. Мыслью осилить боль. Пересилить петлю. Не покоряйся им. Тикают часы. Петля манит. Если она меня притянет, часы протикают еще двести раз. А если я устою, если я устою перед злом, они будут тикать и тикать — сколько еще раз? Думать. Думать назло веревке. Один час — это шестьдесят раз по шестьдесят. Значит, часы протикают еще три тысячи шестьсот раз. Три часа — три раза по три тысячи шестьсот. Сколько это?

Думать. Наперекор петле. Трижды три тысячи будет девять тысяч, трижды шестьсот будет тысяча восемьсот.

Не могу больше. Не выдержу. Ни один человек этого не выдержит. Это нестерпимо. Не выдержу. Нет, выдержу, досчитаю до ста. Будет на сто секунд меньше. 77, 78, 79... 92, 93... так, теперь уже на сто секунд меньше. Я выдержу, надо только захотеть. Я им не покорюсь, все пройдет. Скоро останется десять тысяч секунд. Потом только восемь тысяч. Пройдет. Петля манит, но я не покорюсь. Не буду думать «петля манит», буду думать «не покоряться».

Как отрадно знать, что скоро это пройдет. Это как волна. Боль накатывает волнами, и я ее выдерживаю, после прилива всегда начинается отлив. Я выдержу.

Надо быть разумным. Надо собрать все силы ума. Я знаю, все это скоро пройдет. Надо собрать все силы ума и, пока длится отлив, заснуть. Часы тикают. Это тикание усыпляет. Глупо они сделали, что повесили часы, которые тикают.

А я поступил правильно. Прав я был, когда высказал Гитлеру, как лжива его немецкая речь. И прав я был, бросив вызов Оскару Лаутензаку. Кто-нибудь должен был сказать, что все это ложь.

Все — ложь. Все — ложь. Когда думаешь одно и то же, это помогает заснуть. Все — ложь. Вверх — вниз. Прилив и отлив. Все — ложь! Теперь я засну. Это будет здоровый сон, хороший, заслуженный сон, это будет разумное использование последнего часа. Все — ложь. И я не подчинюсь им. Я просто засну, засну надолго. Вверх и вниз. Все — ложь. Прилив и отлив, он уносит в сон. Он унесет, убаюкает, и ты заснешь. Все — ложь. Все — ложь. Все. Я засыпаю, да, засыпаю».

Его дыхание, свистящее, стонущее, становится более равномерным, лицо разглаживается. Нечто вроде улыбки проходит по этому измученному, опухшему, в кровоподтеках, лицу.

Все — ложь. Он засыпает. Когда вежливый господин ровно в три часа входит в камеру, он застает заключенного № 11783, правда, неподвижным, но не в петле. Пауль все еще лежит на кровати, дыхание свистящее, стонущее, но равномерное. Оно похоже на храп. Это храп. Ей богу, этот парень храпит. Он заснул. Он позволил себе заснуть, вместо того чтобы повеситься. «С этими проклятыми интеллигентами сам черт не разберется», — недовольно говорит вежливый господин.

Кэтэ почти все время проводила в своей квартирке на Кейтштрассе, она ждала. Она хотела известить фрау Тиршенройт о том, что произошло. Но затем решила, что лучше сначала дождаться возвращения Пауля. Она не смела выйти на улицу, боясь, что прозевает его приход или телефонный звонок. Ей хотелось, чтобы он, как только выйдет из тюрьмы, тотчас же, без единой минуты промедления, покинул эту страну.

Она почти не выпускала из рук телеграмму Оскара: «Фюрер распорядился освободить Крамера». В эти дни ожидания она часто перечитывала ее. Оскар сделал над собой усилие ради нее, Кэтэ. По-видимому, он был у Гитлера. Во всяком случае, он добился этого — враги снова выпустят Пауля на свободу. Это уже кое-что. Конечно, она за это заплатила. Остаться с Оскаром в этом диком призрачном замке Зофиенбург — цена немалая.

А она-то думала, что будет жить с Паулем где-нибудь за границей и воспитывать ребенка, во всем советуясь с братом. Хорошие были дни, когда она верила в это, счастливые дни.

Она ждала. Надеялась, что Пауль вернется в первый же день после телеграммы Оскара или на второй, наконец, не позже чем на третий. Но вот уже наступил четвертый день, а Пауля — нет. В чем же дело? Если

Гитлер приказал, значит все препятствия устранены. Почему же не возвращается Пауль?

В этот день Оскар позвонил из Гейдельберга, он был в превосходном настроении, очень мил и любезен, он опять превратился, как в свои лучшие часы, в маленького мальчика, наивно удивлялся своему успеху, гордился им, рассказывал, как его чествовали, и жалел, что она, Кэтэ, не наслаждается этим успехом вместе с ним. Кэтэ ждала, что он сообщит ей что-нибудь о Пауле или, по крайней мере, спросит о нем. И он действительно спросил: «Кстати, виделась ты с братом?» Когда она ответила, он сказал с удивлением, но без особой тревоги: «Ну, вероятно, сегодня или завтра придет»,— и снова начал рассказывать о Гейдельберге, а в конце разговора предупредил, что, быть может, задержится еще на некоторое время.

На следующий день Кэтэ стала подумывать, не пойти ли ей на Гроссфранкфуртерштрассе, к Альберту. Но ведь он ничего не скажет, только захочет что-нибудь узнать от нее. Тогда она решила известить обо всем фрау Тиршенройт. Нет, надо подождать еще день.

Еще через день почта доставила ей пакет. Это был большой пакет, и Кэтэ пришлось два раза расписываться на какой-то бумажке. Она думала, что это посылка от Оскара или от фрау Тиршенройт.

Но посылка оказалась из секретариата полиции. В ней было несколько свертков, а сверху лежало письмо. Кэтэ извещали о том, что заключенный Пауль Крамер умер в тюрьме. Ей, как самой близкой его родственнице, и, вероятно, наследнице, посылаются: во-первых, сосуд, содержащий пепел умершего заключенного, во-вторых, вещи, бывшие на нем в момент ареста. Список вещей прилагается. Сумму расходов, связанных с их пересылкой, полиция сообщит соответствующим властям, которые учтут ее при исчислении налога на наследство.

Кэтэ сидела не шевелясь. Комната казалась пустой, все, что придавало ей личный отпечаток, было уже уложено. Одиноко стоял громадный рояль, на нем лежали искусно запакованные и завязанные «вещи». Письмо она уронила на колени, конверт лежал на полу. Так она просидела некоторое время. Судорожно глотала слюну. Она должна с кем-то поговорить об этом. Она не может переживать это в одиночестве. Она должна поговорить от этом с Паулем.

И только теперь Кэтэ до конца осознает, что Пауля нет больше на свете. У нее вырывается короткое рыдание. И опять она сидит съежившись, потерянная, оцепеневшая. Несколько раз с какой-то странной машинальностью поднимает руку и снова роняет ее, поднимает и роняет. Вдруг она почувствовала давящую боль. Ее вырвало.

Через некоторое время она снова сидела перед увязанными «вещами». «Это надо открыть,— пробивалась мысль.— Это пепел умершего заключенного и вещи, которые были на нем». Она хотела встать, взять ножницы, нож. Но не смогла. Она страшно устала. Не в силах была пошевельнуться.

Внезапно ее охватил невыносимый страх перед этими вещами. Она была вообще не боязлива, но сейчас не могла дольше оставаться в одной комнате с «вещами». И вдруг она услышала голос Пауля. «Это не интересно»,— совершенно ясно сказал голос. «Бедная Кэтэ»,— сказал голос, и это доконало ее.

Во всем виновата она.

Кэтэ не могла больше находиться таком состоянии. Она не могла оставаться в этой комнате, наедине с этими вещами, не могла здесь сидеть, не могла жить в этой квартире, да и ждать ей теперь было нечего. Она покинула квартиру, дом, это было как бегство, это было — бегство. Она бежала по улицам так стремительно, что прохожие с удивлением смотрели ей вслед. Она виновата во всем, а теперь схватят и ее, надо бежать.

Внезапно она почувствовала, что мучительно голодна, выбилась из сил. Вошла в большую кондитерскую. Здесь было много людей, и это показалось ей приятным. Она не нашла свободного столика, пришлось подсесть к другим. Надо заказать еду, и она услышала, что заказывает что-то чужим голосом. Комната была наполнена дымом и громкой пошлой музыкой. Это ее не беспокоило. Она ела, ела торопливо, не знала, что́ ест, ела много.

Ей ведь надо что-то сделать, что-то неотложное. Надо известить Марианну. Но нет, не то. Надо известить человека на Гроссфранкфуртерштрассе. И опять не то. Вдруг она вспомнила: необходимо позвонить в Мюнхен, поговорить с фрау Тиршенройт, сейчас же, немедленно. Она заказала срочный разговор.

Кабина, в которую она вошла, была какая-то неудобная. Дверь не закрывалась, во всяком случае, она не могла ее закрыть. Сюда проникал шум, пошлая музыка. Кэтэ держала трубку, из аппарата доносился низкий, хриплый голос фрау Тиршенройт, он напряженно спрашивал, но это было спокойное напряжение:

— Как дела? Есть у вас известия? Вы едете? Куда же вы едете?

— Да, теперь я еду,— произнесла Кэтэ чужим голосом.

— Что случилось? — спросила Тиршенройт, на этот раз с тревогой.— Говорите же,— сказала она, и это звучало, как приказание; и Кэтэ было приятно, что кто-то приказывает ей.

— Пауля уже нет,— сообщила она.

— Уже уехал? — спросила Тиршенройт.

— Нет,— ответила Кэтэ,— он не уехал, но его нет. Его уже нет,— пояснила она.

Наступило долгое молчание.

— Вы еще говорите? — спросила телефонистка.

— Да, мы еще говорим,— ответила Кэтэ.

— Понимаю,— сказала наконец фрау Тиршенройт. Голос ее был более низким и хриплым, чем обычно.— Я правильно поняла? — спросила она.

— Да, вы правильно поняли,— ответила Кэтэ.

— Хотите приехать ко мне? — спросила фрау Тиршенройт. — Или мне приехать к вам?

— Я теперь уезжаю,— ответила Кэтэ.— Вы ведь понимаете, что я теперь уеду.

— Но вы сообщите мне адрес,— почти робко сказала Тиршенройт.

— Да,— ответила Кэтэ.— И еще раз большое спасибо.

Она пошла домой, она спешила домой, точно ее кто-то гнал. До дома было недалеко, но она взяла такси. Она уже не боялась «вещей». Войдя в комнату, она тут же, с какой-то злой решимостью принялась распаковывать свертки.

В первом были бумаги, записки, заметки, затем трубка Пауля, бумажник, который она сама подарила ему. Во втором — аккуратно вычищенный темно-серый костюм, брюки были отутюжены. В третьем был четырехугольный сосуд. Вероятно, пепел.

Как он мал, этот сосуд с пеплом.

Даже странно, что от человека остается так мало пепла.

— Пепел,— думает она,— пепел, странное слово.

Значит, это и есть Пауль. Значит он все-таки пришел, правда, в виде пепла. А Оскар до конца остался обманщиком.

Может быть, он обманывал, сам того не сознавая. «Фюрер распорядился освободить». Вероятно, его самого обманули. Ведь все ложь. Они лгут друг другу. Постоянно. Но это неинтересно. Вдруг для нее становится невыносимой мысль, что «вещи» лежат на рояле. Она снимает их, ста-

вит на стол, но стол слишком мал. Она оставляет сосуд с пеплом на столе, остальное относит в соседнюю комнату и кладет на свою постель.

На следующее утро Кэтэ покинула Германию, взяв с собой только самые необходимые вещи и ни разу не вспомнив об Оскаре.

В это же утро Оскар вылетел в Берлин, довольный и счастливый. Его пребывание в Гейдельберге было вереницей волшебных дней. Докторский берет, латинская речь ректора, его собственный ответ на латинском языке, факельное шествие студентов и в конце — торжественный костер, на котором были сожжены книги противников. Одна церемония прекраснее другой.

В Темпельгофе, на аэродроме, его встретили только Петерман и Али.

— А фрейлейн Зеверин не пришла? — спросил Оскар; он ей телеграфировал.

«Ее не было. Как она бестактна! Он из-за нее отнял так много времени у величайшего из людей, а она не может даже встретить его на аэродроме. Когда она станет его женой, ей придется научиться себя вести».

Приехав в Зофиенбург, он тотчас же позвонил Кэтэ. Никто не отвечал.

— Пошлите фрейлейн Зеверин городскую телеграмму,— приказал он Петерману.— Или нет, пошлите кого-нибудь к ней узнать, что случилось. Я хотел бы как можно скорее видеть ее.

И все же ему нравится, что она именно такая. Это лучше, чем то благоговение, которое выказывают ему другие. Он рад, что увидит ее, будет с ней спорить, вновь и вновь покорять ее.

Но прежде чем ему удалось повидаться с Кэтэ, явился Гансйорг.

Он с горечью ожидал приезда брата. Фрау фон Третнов жадно глотала сообщения о пребывании Оскара в Гейдельберге. Она сожалела, что сама туда не поехала. Очевидно, ценила «деятельность» Оскара в Гейдельберге выше, чем работу Гансйорга в Париже. Снова пришлось Гансйоргу убедиться, что его затмевает даже одно имя Оскара.

Поэтому, узнав, что Оскар вернулся, он пришел, сердитый, обозленный, чтобы выполнить поручение Проэля и вправить мозги брату, этому гению и идиоту. На восторженные рассказы о блестящих гейдельбергских торжествах он ответил только несколькими саркастическими замечаниями. И затем, без перехода, сухо и зло сообщил о своем разговоре с Проэлем.

Оскар ушам своим не верил.

— Крамер все еще не выпущен? — спросил он.— Проэль держит его в тюрьме, несмотря на приказание фюрера?

Он сидел с глупым видом, высоко подняв брови.

— Ты что, совсем спятил? — ответил Гансйорг. — Говорю тебе, что ты достиг как раз обратного тому, чего хотел. Гитлер приказал надеть на твоего протеже надежный намордник. Насколько я знаю нравы охранной полиции, этот намордник будет очень надежным.

Лицо Оскара все еще выражало тупое удивление.

— Вы его убьете? — спросил он.— Фюрер обещал мне освободить его, а вы его убьете?

— Вы, вы,— насмешливо отозвался Гансйорг.— Мне твой Пауль Крамер нужен, как прошлогодний снег. Но ты опять наглупил. Если бы ты спокойненько дожидался, пока я вернусь, и затем попросил меня уладить это дело, не тронули бы волоса на голове твоего Крамера. Но нет, он собственным умишком раскидывает. Этому ослу, видите ли, понадобилось связываться с Манфредом Проэлем. И не пришло тебе на ум, что ты против него — жалкая козявка. Или ты в самом деле вообразил, что

Гитлер ради тебя откажется от своего Проэля? — сколько насмешки и презрения было в этом «ради тебя».

Но Оскар думал только об одном:

— Кэтэ,— боязливо спросил он,— что с Кэтэ?

Гансйорг пожал плечами.

— А я почем знаю? — ответил он, чуть не задохнувшись от негодования.— Что я, сторож твоим бабам? Он бредит своей Кэтэ, этот осел, этот сумасшедший,— продолжал Гансйорг с ожесточением.— Ты, видно, все еще не хочешь понять, что́ поставлено на карту. Твоя шкура. Проэль предложил мне вправить тебе мозги. Это последнее предостережение.

Оскар вместо ответа вызвал к себе Петермана.

— Есть у вас какие-нибудь вести?

Да, у Петермана были вести. Кэтэ уехала. В Чехословакию, сообщили посланному. Больше никто ничего не знает.

Значит, все, что рассказал здесь Малыш, правда. Пауля Крамера не выпустили — его укокошили, а Кэтэ подумала, что он, Оскар, ей солгал, и она бежала от него, бежала с его ребенком, и все рухнуло, все разбилось вдребезги.

Его лицо выражало бешенство и отчаяние. Гансйорг прикрикнул на него:

— Не разыгрывай, пожалуйста, Фауста, потерявшего свою Гретхен. Я здесь с официальным поручением. Я должен тебя предостеречь. Опомнись. Пойми наконец, что если ты не возьмешь себя в руки, тебе — конец.

Оскар, полный злобы, сидел перед большим письменным столом; высокомерно и насмешливо смотрела на него маска. Он был уже совсем у цели, в Гейдельберге он был у цели, он достиг и внешнего блеска, и внутреннего расцвета, и вот все рухнуло.

— Виноват ты,— вдруг обрушился он на Малыша, тихо, но мрачно, с безмерной ненавистью.— Ты втянул меня во все это. Если бы не ты, я остался бы в Мюнхене. Работал бы как порядочный человек и заключил бы договор с Гравличеком. Если бы не ты, у меня была бы моя Кэтэ, эта или другая. Все было бы хорошо, если бы не ты.

Гансйорг научился владеть собой, но если человек несет такой бесстыдный вздор, как этот сопляк Оскар, то даже у святого может лопнуть терпение.

— Попридержи язык,— ответил он тихо, но с необычайной резкостью.— Мне это надоело. Все, что тебя окружает, доставил тебе я, всем, чем ты стал, ты обязан мне. Кровью и потом это мне досталось, а в награду я слышу только идиотскую брань.

— Плевка не стоит все, что ты мне дал,— возразил Оскар.— И ты это прекрасно знаешь. За всю эту дребедень ты отнял у меня самое дорогое. Отнял у меня «видение». К этому ты стремился с самого начала, пес ты, негодяй.

— Знаем мы эту музыку,— со злобой и презрением ответил Гансйорг.— Ты всегда был таков: при малейшей неудаче все сваливал на меня. Когда ты поджег мельницу в Дегенбурге, кому пришлось красть черную краску? Мне. А кто получил от этого удовольствие? Ты. А кому достались побои? Мне. И так было всегда. Ты не мог себе отказать даже в самом маленьком, самом подлом желании, а я должен был тебе помогать. Из-за какого-нибудь дрянного пустяка ты всегда готов был прозевать главное, а мне приходилось поправлять то, что ты напортил. И в благодарность ты плевал мне в лицо. Подлец. Когда я одолжил тебе 20 пфеннигов — ты был тогда у Ланцингера в третьем классе,— мне была дана торжественная клятва, что в пятницу деньги будут возвращены. А ты не только не вернул их, но еще напал на меня, отколотил. И все потому, что ты на десять сантиметров выше меня, в этом все твое величие. Я обе-

щал Терезе Лейхтингер, что пойду с ней на каток, и вот у меня не было 20 пфеннигов, чтобы заплатить за вход, и я остался дома, и она тоже, и вся наша любовь кончилась. А что ты сделал с двадцатью пфеннигами? Ты их прожрал. Купил себе тянучек.

Оскар все это отлично помнил, он вспоминал сотни подобных случаев, важных и неважных, но по существу неважных не было, и на минуту в нем шевельнулось слабое чувство вины. Но он тотчас же подавил его. Так уж повелось на свете: один велик, а другой мал, один из породы господ, и ему все дозволено, а другой — ничтожен.

— Теперь все ясно,— торжествуя, ответил Оскар.— Теперь ты сам себя разоблачил. Ты неудачник, тебе с самого начала не везло с женщинами, поэтому ты и зол. Мне эти двадцать пфеннигов не нужны были. Тереза Лейхтингер за мной и без двадцати пфеннигов бегала. Ты мне завидуешь. Вот ты и сваливаешь свои неудачи на меня, вот ты и бранишься, и брызжешь ядовитой слюной.

— Скажу тебе одно, — ответил Гансйорг, — несмотря на все твои громкие слова, ты проиграл. Весь этот вздор, все это очковтирательство уже не действует. Ни Проэля, ни меня не проймешь. Впредь я твою наглость сносить не намерен. Говорю тебе раз навсегда, если ты еще и впредь будешь так нагл со мной, я перестану тебя поддерживать. И тебе крышка. Ты ведь уже видел, чего можешь достигнуть, когда предоставлен самому себе.

Братья стояли друг против друга, бледные, с искаженными от бешенства лицами, со сверкающими глазами. Странно было смотреть, как эти элегантные господа, государственный советник и почетный доктор, видные члены самой могущественной партии Германии, стоят друг против друга в роскошно обставленной комнате, непристойно бранясь, забывая свой, с таким трудом приобретенный, литературный язык и переходя на грубые баварские ругательства.

— Подумать только,— тихо, коварно, с затаенной злобой сказал Гансйорг,— что все это ты натворил из-за Кэтэ, из-за самонадеянной, капризной девчонки. Важный господин решил преподнести ей подарок, важный господин не мог ответить отказом на просьбу, не в силах был заявить своей возлюбленной: нет уж, хватит, точка.

Оскар сказал так же тихо, но с угрозой в голосе:

— Говорю тебе, перестань.

— И не подумаю,— возразил Гансйорг.— Повторяю еще и еще раз. Своим идиотским тщеславием ты испакостишь карьеру себе и мне. На твою кралю нашел сентиментальный стих. Она требует, чтобы ты достал ей луну с неба...

Оскар уже не слушал того, что говорит Гансйорг. Слова «сентиментальный стих» снова напомнили ему о том, что он потерял. Этот жалкий дурак Гансйорг даже не понимает, о чем идет речь. Ведь он туп, как бревно, он во всем виноват, этот заморыш, этот злой дух, этот искуситель. И вот он стоит, маленький, невзрачный, бледный, бесстыжий, да еще смеется над его горем. Оскар посмотрел на него диким взглядом. Его большие руки сжались с такой силой, что толстое кольцо больно врезалось в ладонь.

Гансйоргу стало страшно. Но он преодолел этот страх.

— Что ты смотришь на меня какими-то глупыми глазами,— сказал он,— я ведь прекрасно знаю, что за этим взглядом ничего нет. Меня ты не запугаешь. Я не из пугливых.

Но тут бешенство окончательно захлестнуло Оскара, перед глазами поплыли черные и красные круги; он бросился на брата, как бывало в детстве, когда не мог найти другого довода, и стал его избивать. Это было

огромным облегчением, но от каждого удара, который он наносил, ему было больно самому.

Гансйорг съежился, но не сопротивлялся. Вдруг Оскар увидел кровь, на лице брата выступил большой красный порез. Как видно, Оскар поранил его кольцом. Это сразу отрезвило старшего, вся его ярость угасла. «Заморыш,— подумал он,— как это недостойно: почетный доктор, академия, а дерусь с ним, как мальчишка. Но это его вина. Нет, моя. А впрочем, не все ли равно, кто виноват?»

Он отошел от брата.

— Плохо мне, Гансль,— проговорил он тихо, жалобно, искренне.— Я очень страдаю. И ты коснулся самого больного места.— И он открылся ему: — Дело в том, что у меня будет ребенок от этой женщины, и я безмерно этому радовался. А теперь вы укокошили ее брата. Теперь она ушла от меня. Теперь вы все у меня отняли.

Гансйорг сидел перед ним маленький, щуплый, и кровь струилась по его лицу. Он машинально отер его носовым платком, и платок тотчас же пропитался кровью, она каплями стекала на костюм. Но Гансйорг не обращал на это ни малейшего внимания, ибо он вдруг понял душевное состояние Оскара. Значит, и его настигло горе, этого хвастуна, этого гениального пророка. Значит, и он испытал то, что Гансйорг испытывал всю жизнь. У него есть все, чего только можно пожелать, но эта женщина ему не достанется. А ведь он уже завоевал ее, он уже сделал ей ребенка. У него есть сто других, сколько душе угодно, еще красивее, еще лучше, но именно эта ему нужна, и именно этой он не получит, она от него ускользнула. Гансйоргу стало жалко брата, но он тут же подумал: поделом ему. Чего ради он втюрился в эту гордячку, в эту Кэтэ? Ему, Гансйоргу, она всегда была противна, и он не понимает, почему Оскар с ней так долго возится, раз она мучает его.

Между тем, Оскар, увидав, как он разукрасил брата, испугался, он был полон раскаянья и жалости.

— Идем в ванную,— позвал он Гансйорга.— Надо вымыться. Я пошлю к тебе на квартиру или позвоню, чтобы тебе принесли костюм и белье. Тебе больно? — спросил он озабоченно.— Может быть, вызвать врача?

Гансйоргу не было больно, и он не хотел звать врача. Но он пошел в ванную в сопровождении Оскара и разрешил позвонить насчет белья и костюма.

Он стоял в ванной под душем. Оскар с презрением и состраданием рассматривал тщедушное тело этого заморыша. «Нет, не надо быть героем, чтобы отколотить его. Но зачем Гансль доводит его до такого состояния?»

Гансйорг тоже размышлял: «Начала она хитро, эта Кэтэ, эта высокомерная девка, дразнившая его своей холодностью. Заставила дурака Оскара сделать себе ребенка в расчете на то, что он на ней женится. Но она перегнула палку и осталась на бобах. Оскар пока еще не понимает, как ему повезло, но в сущности даже на этот раз, когда он оплакивает свою утрату, все сложилось очень удачно. Да, везенья у него больше, чем ума. Проэль и Цинздорф против собственной воли оказали ему огромную услугу, избавив его от связи на всю жизнь с этой девчонкой. Да, дуракам счастье».

Эти мысли текут, но в то же время Гансйоргом овладевает подсознательный страх: Оскар, этот подлый, грубый, неистовый Оскар, может ведь своим глупым, дерзким взглядом, своим «видением» проникнуть в его, Гансйорга, мысли. Гансйорг боится брата. Но ведь, пока он стоит здесь под душем, тот не может заглянуть ему в глаза, здесь он в безопасности. И Гансйорг усердно продолжает смывать кровь, хотя он ее давно

уже смыл; что касается девчонки, он выразит брату сочувствие и не пожалеет утешительных слов.

Затем он садится на стул. Оскар заботливо вытирает брата, дает ему какое-то кровоостанавливающее средство. И Гансйорг уже острит:

— Это будет похоже на рубец от удара шпаги. Подумают, что я дрался на дуэли. А ведь, пожалуй, так оно и было.

Затем они возвращаются в библиотеку. Гансйорг надевает один из халатов Оскара. Халат ему велик, в этом роскошном одеянии Малыш напоминает озябшую обезьянку. Он начинает осторожно утешать брата Но тот глубоко удручен.

— Мы живем среди разбойников и убийц,— жалуется он.— Послушал бы ты, как ласково говорил со мной фюрер — точно брат с братом. А эти свиньи как ни в чем не бывало убивают Крамера наперекор приказу фюрера.

— Будь же благоразумен, Оскар,— сказал Гансль.— Принимай жизнь как она есть. Я верю, что Гитлер твой друг и хочет тебе добра. Но он не может обойтись без такого человека, как Проэль. Ведь тот, в конечном счете, заправляет всей этой махиной, всем партийным аппаратом. Поверь уж мне, никто с ним ничего не может сделать — ни ты, ни я, ни сам Гитлер. Я-то ведь тебе во всяком случае желаю добра, Оскар. Будь благоразумен. Эти люди не мелочны, пока им не становятся поперек дороги. Ведь то, что ты получил,— не шуточки. Зофиенбург, солидный счет в Дрезденском банке, докторская степень. Да и президентом академии ты станешь — это только вопрос времени. А бабы — бери любую. Да и Кэтэ твоя к тебе вернется.

— Кэтэ никогда не вернется,— жаловался Оскар,— ты ее не знаешь. С этим — кончено.— Он сидел печальный, сумрачный.— Все кончено. Я это не в упрек тебе говорю. Оба мы под угрозой, я понимаю. То, что сегодня сделали с Крамером, завтра могут сделать со мной или с тобой. Если Проэлю или Цинздорфу пришлись не по вкусу мои глаза, а они им не по вкусу, то стоит им лишь захотеть, и они расправятся со мной, как с этим Крамером.

Гансйоргу стало не по себе. Слова Оскара ложились на него почти физической тяжестью; то, что видел и говорил Оскар, так часто сбывалось. Гансйорг мысленно защищался, старался взять себя в руки.

— Некоторое время ты был сверхоптимистом,— сказал он,— а теперь ударился в противоположную крайность. Это бывает. Нам обоим пришлось вести ожесточенную борьбу. Бывает, что, пока борешься, ничего, а как только очутишься у цели, нервы изменяют. Будь благоразумен, Оскар,— уговаривал он его со всей сердечностью, на какую был способен.— Мы свое взяли. Пробились наверх. Теперь держись-ка потише две-три недели, пусть все это порастет травой, в такое время трава растет очень быстро. А затем ты поедешь в Прагу — или где там обретается твоя Кэтэ — и заберешь ее обратно. Ведь ты с любой женщиной справлялся. Ну, не делай такой кислой физиономии, это тебе не идет. Мы, братья Лаутензак, теперь наверху, и если мы будем держаться друг друга, никому не удастся столкнуть нас вниз. Никакая сила в мире не столкнет нас.

Оскар в эти дни бродил, опустошенный, изнуренный, жизнь была ему не мила.

Разумеется, предположение Гансйорга, что Кэтэ вернется,— вздор. Он было и сам хотел поехать в Прагу, чтобы уговорить ее вернуться. Но знал, что это безнадежно. Теперь ему стало ясно, как все произошло. Обещание Кэтэ выйти за него замуж и жить с ним было лишь платой за спасение брата. Уже задолго до этого она приняла сторону Крамера и, значит, против него.

Не менее тяжела была мысль, что он обманулся в Гитлере. Оскар не был моралистом, он не обиделся на Гитлера за то, что тот не сдержал слова. Но Оскар верил, что между ним и Гитлером существует глубокое сродство, дружба, идущая от единства крови, от праматерей; оказалось, что Гитлер только играет роль.

Он находился в состоянии глубокой подавленности, когда ему подали письмо из рейхсканцелярии. Гитлер поздравлял его с получением степени почетного доктора и сообщал, что он распорядился ускорить открытие академии оккультных наук. Он собственноручно приписал, что рад будет вскоре увидеться с Оскаром.

Оскар просиял. Облака рассеивались. В глубине души он всегда знал, что фюрер по-прежнему остался его другом. Не он, а другие, вопреки слову фюрера, лишили его жены и ребенка. Это были его старые враги, все те же «аристократы», фальшивые, как подаренная Оскару жемчужина. Кадерейты, Проэли, Цинздорфы.

Но нет, на этот раз они просчитались. Кое в чем они добились успеха: отняли у него женщину, к которой он был привязан. Но из сердца фюрера они его не вытеснили.

Он берет письмо Гитлера. Смотрит на его почерк — нескладный, нестройный, крупный детский почерк. Буквы словно соскакивают с бумаги, они стоят перед Оскаром, как нечто осязаемое, из них струятся мысли, чувства, желания фюрера. Оскар сознает, что фюрер его друг, и этот его друг Гитлер зовет его, нуждается в нем.

В сердце Оскара оживают слова фюрера о прекрасном свойстве немецкого характера — мстительности — и с неистовой силой вспыхивает ненависть к «аристократам», которые всю жизнь давили его — как и Гитлера. Вешать их надо, и будут их вешать — на каждом дереве Тиргартена будут они висеть. Самые сокровенные чувства Гитлера — это Оскару известно — те же, что и его собственные, но только самые сокровенные. «Аристократы» преследуют фюрера еще ожесточеннее и успешнее, чем Оскара. Они не только интригуют в его приемной, но посягают и на сердце его. Оскар ведь знает, что делается в душе Гитлера, он это видел, и письмо ясно напомнило ему все виденное. Снова встает перед ним картина: «аристократы» набросили аркан на сердце фюрера и тянут, и дергают. Он, Оскар, нужен Гитлеру, он должен разорвать эти путы. Письмо фюрера — крик о помощи. Отомстить «аристократам», снести их высокомерно поднятые головы — задушевное желание Гитлера, но ему нужен толчок, ему нужна помощь, ему нужен он — Оскар.

В комнате, обставленной с причудливой роскошью, перед громадным письменным столом сидит Оскар, в его больших руках с массивным кольцом на пальце — письмо Гитлера. На губах играет глупо восторженная детская улыбка. Гитлер зовет его не напрасно. Оскар выведал тайное желание Проэля, человека бездарного и своего врага,— как же не угадать ему желаний Гитлера — этого гения, дружественного и родственного ему?

Фюрер и на этот раз не стал откладывать свидания с ним. Уже на следующий день Оскару было назначено явиться в рейхсканцелярию.

Гитлер с дружеской откровенностью заговорил о том событии, которое могло омрачить отношения между ним и его ясновидцем,— о смерти Пауля Крамера.

— Вероятно, вы уже слышали, мой дорогой Лаутензак,— сказал он,— что мне не суждено было исполнить ваше желание. Тот, кого я обещал освободить, все испортил своей трусостью. Этот чуждый нам по крови человек покончил с собой, прежде чем его выпустили. Кроме того, дело осложнилось тем, что он совершил преступление не только против вас, но и про-

тив германского духа и, прежде всего, против немецкого языка, представляемого мною. Я убежден, что если бы вы все знали, то не просили бы меня об его освобождении. Во всяком случае, тут говорить о борьбе духовным оружием не приходится. Это было бы большим промахом. Но что обещано — то обещано, и я, разумеется, пытался примирить данное вам слово с моими обязательствами перед немецким народом и немецким языком — наложить намордник на этого молодца. Но тут-то ваш господин Крамер коварно опередил нас. Я здесь ни при чем и весьма сожалею, что не сумел оказать услугу такому другу, как вы.

Оскар был очень взволнован тем, что фюрер перед ним оправдывается. Во всем виноват он, Оскар, уверял он Гитлера. Ему следовало раньше обо всем разузнать. Он не имел права просить фюрера освободить этого человека. И, разумеется, он даже в сокровенных глубинах души не определял поведение фюрера неуклюжим понятием «нарушение слова».

— Очень рад,— ответил Гитлер.— Вы один из тех немногих, кто понимает, что моя миссия иногда связана с необходимостью обидеть друга. В жестких рамках политики слова и дела не всегда совпадают. Историю творит судьба, но слова, фразы произносят наши уста, наш язык — вот почему грош цена этим словам, когда встает вопрос о выполнении обещания. Лишь в том случае, когда слова произносятся нашим внутренним голосом, может идти речь о верности данному обещанию или о его нарушении.

И он продолжал распространяться о значении верности. Положение, в котором он оказался перед своим другом Лаутензаком вследствие смерти Крамера, к сожалению, в его жизни повторялось нередко. У него на каждом шагу возникали ситуации, когда он, фюрер, якобы оказывался нарушителем верности по отношению к испытанным друзьям, людям с золотым, но грубым сердцем,— и все это только потому, что он сохранял верность своему высшему долгу: верность судьбам Германии.

— Пусть мещане,— сказал он,— хвастают тем, что они строго держатся формальных обещаний, несут околесицу о вероломстве. Вы же, мой дорогой Лаутензак, понимаете меня.

Да, Оскар понимал его и был искренне благодарен фюреру, который снова почтил его своим доверием и дал ему возможность глубоко заглянуть в самую суть вечно волновавшей его проблемы. Ибо Гитлер говорил — в этом Оскар не сомневался — о том, что всегда занимало его, Оскара: чьи головы он в конце концов велит снести. Пожертвовать ли ему «аристократами», которые импонируют ему и стилем управления, и манерами, или же отдать на заклание шумливых и беспокойных друзей своих?

Оскара переполняла фанатическая преданность этому человеку, столь могущественному, так бесстрашно открывшему свои глубочайшие тайны ему, другу. Эта дружба была не меньшим даром, чем дружба, которой удостоил Рихарда Вагнера баварский король, блестящий Людвиг II. Оскар любил фюрера с какой-то сладострастной угодливостью.

— Мой фюрер,— заявил он восторженно,— вам незачем бояться неудач, ни внешних, ни внутренних, если только вы будете слушаться своего внутреннего голоса. Он надежен, он непогрешим.

И так как Гитлер задумчиво и испытующе взглянул на него, он прибавил с фанатической страстностью:

— Если бы вы, мой фюрер, сейчас заявили: «Лаутензак, на вас лежит вина, которая может быть искуплена только смертью»,— я без всякого протеста принял бы этот приговор, даже не зная, за что я должен умереть.

И Оскар в это мгновение верил в правду своих слов.

Гитлер, взволнованный такой преданностью, вцепился в плечо Оскара и вместе с ним стал ходить по комнате, погруженный в мрачные размышления.

— Власть и дружба,— сказал он,— полярные полюсы, порой они извергают смертельные искры. Если бы все были так же мудры, как вы, дорогой Лаутензак, тогда и носителю власти было бы легко. Но есть друзья, которые, несмотря на верность, в своем ослеплении перечат моему внутреннему голосу, и что мне остается, как не заставить их в конце концов умолкнуть? Когда дело идет о национальной революции, я не имею права останавливаться даже перед самыми суровыми мерами. Может быть, это и трагедия, но ничего не поделаешь, колебаний тут быть не может.

Рассуждения фюрера были несложны, но от этого не менее опасны. В них звучала решимость, и Оскар понял: кто станет, добровольно или против собственной воли, поперек дороги фюреру, должен погибнуть. Но именно опасность, исходившая от этого человека, притягивала Оскара.

— Вы много требуете от своих друзей,— сказал он,— но еще больше — от самого себя.

— Путь в Валгаллу — это не автострада,— ответил Гитлер.— Быть немцем значит жить среди опасностей. Быть немцем значит стремиться все добывать кровью, а не потом. Вот вам в двух словах мое мировоззрение.

Он подвел Оскара к своему письменному столу, открыл ящик и указал на револьвер.

— Вот он лежит,— сказал фюрер.— Заряжен. Лежит, как вечное напоминание, что каждый час полон решимости: победить или умереть.

Резким движением он снова задвинул ящик.

Оскар видел в душе фюрера грозовую тучу, всегда готовую разрядиться. Вопрос был лишь в том — против кого. Но теперь только от него, Оскара, зависело направить молнию на истинных врагов, на «аристократов». Гитлер был в подходящем настроении; чем примитивнее Оскар будет говорить, тем вернее он достигнет цели.

— Да,— начал он,— каждый час полон новых опасностей. Враги не дремлют, они только дожидаются случая. Они бесстыдны и даже не скрывают своего злого умысла.— И он рассказал о том, как прежний рейхсканцлер в примерочной портного Вайца кричал, что эту банду он больше терпеть не намерен и скоро ее уничтожит.

Оскар весьма удачно коснулся чувствительного места Гитлера. Фюрер ненавидел бывшего рейхсканцлера. Из-за этого человека его восхождение на вершину власти затянулось на месяцы, на годы. В распоряжении бывшего рейхсканцлера имелись документы, из которых было видно, сколько заплачено рейхсвером агенту № 1077, Адольфу Гитлеру, за его работу. Этот человек не был из числа осторожных, он всегда ругал Гитлера, издевался над ним, Лаутензак не первый рассказывал об этом Гитлеру.

Но угрожающие возгласы, о которых сообщил ему Оскар, были особенно подлы и похожи на правду. Гитлер побледнел, кровь отлила от его плоских щек, большой треугольный нос стал белым. Им овладело слепое бешенство. Оскар с приятным удивлением увидел, что на губах фюрера выступила пена.

— Собака! — кричал он.— Подлый, низкий завистник. Растопчу его, уничтожу, поставлю к стенке за государственную измену!

Гитлер с трудом пришел в себя. Но когда он заговорил деловым тоном, в котором все еще слышался скрежет зубовный, этот тон яснее, чем бешеные крики, показал Оскару, что он достиг цели.

— Да, это похоже на него,— заявил фюрер спокойно и энергично.— Узнаю птицу по полету; самое место, где произносились эти бессильные угрозы, говорит за себя. В примерочной портного, оставшись в одних каль-

сонах, отплевывается этот бывший человек. Там он исходит желчью от зависти, потому что я сижу здесь, а он в примерочной у Вайца. Уничтожит! Посмотрим еще, кто кого уничтожит?! Эти господа обнаглели благодаря моему долготерпению. Но теперь я принял решение и жду только часа — часа, который будет подсказан мне внутренним голосом. Тогда я уже не отступлю перед тем, чтобы снести преступные головы, даже причесанные камердинерами и возомнившие, что сидят на плечах, как железные, и что вековая принадлежность к привилегированным классам обеспечивает им неприкосновенность...

С удовлетворением видел Оскар, что он снова оказался стрелочником судьбы и направил волю Гитлера на правильный путь. Бывший рейхсканцлер — предводитель «аристократов». Если он падет, с ним неизбежно падут многие, например господа Проэль и Циндорф.

Хотя гордость распирала Оскара, он никому не сказал ни слова об этом разговоре с фюрером. В его ушах еще звучало предостережение Гансйорга. Он будет сдержан. Лишь наступив ногой на своих врагов, он посмеется над ними: «Это я растоптал вас».

Все снова и снова, помимо воли, думалось ему о судьбе Кэтэ и его ребенка. Он узнал, что она в Праге. Несколько раз он писал ей длинные телеграммы, но не решался посылать их. Это было бессмысленно. Затем ему пришло в голову поехать в Прагу на гастроли, но он отказался от этой мысли, еще до того как подписал контракт.

К счастью, у него было не очень много времени на размышления. Приходилось напряженно работать для академии, кроме того, он каждый вечер выступал, давал консультации, много сил отнимали светские обязанности; и дни, и ночи были заполнены.

Однажды он встретился в обществе с графом Циндорфом. Отрадно видеть врага, когда знаешь, что его уже ждет печь в крематории.

Живой труп — Циндорф — раскланялся с Оскаром как ни в чем не бывало и завел с ним вежливый разговор. Он учтиво и нагло спросил Оскара, сможет ли публика в будущем видеть его на эстраде или же сан президента академии не позволит ему выступать публично.

— Разве публичные выступления — позор? — высокомерно спросил Оскар.

— Я бы на вашем месте,— дружелюбно предложил Циндорф,— посоветовался об этом с фюрером. Ведь вы у него свой человек.

— Фюрер оказывает мне честь,— сдержанно отозвался Оскар, внутренне насмехаясь над Циндорфом,— иногда спрашивать моего совета.

— И следует ему?

Оскар ничего не ответил Циндорфу, только взглянул на него. Чуть заметно, но очень надменно дрогнули уголки его красных губ. Эта скотина скоро на собственной шкуре узнает, следует ли фюрер советам Оскара. У него гладкая, красивая рожа, этого отрицать нельзя, женщины за ним бегают, но все это ему не поможет. Сегодня на коне, а завтра...

— Послушайте, Оскар,— продолжал Циндорф,— помнится, вы недавно прислали мне записку с предупреждением. Обычно я таких записок не читаю, бросаю их в корзину, но так как на этом письме был ваш автограф, то я ее пробежал. И нахожу, что это нелюбезно с вашей стороны разыгрывать Шейлока в отношении меня, бедного маленького чиновника. Вы же знаете, сколько мне приходится работать для партии. Ну, а для гешефтов не остается ни минуты времени. Охранять безопасность рейха — утомительная задача. И не очень благодарная. Каждый вмешивается в это дело. А когда хочешь отсечь гнилое мясо, на тебя нападает целая орда слюнявых гуманистов и начинает кричать караул.

Этот сопливый мальчишка еще смеет бросать ему вызов! Этот мальчишка еще смеет напоминать ему о подлой истории с Паулем Крамером! Этот мальчишка над ним издевается!

— Я на вашем месте, Ульрих,— ответил Оскар, — не расписывал бы так свою работу. Работа палача нужна, но особенно ее афишировать не следует.

— Вы ошибаетесь относительно моей должности, Оскар,— ответил Цинздорф.— Я не веду овец на бойню — я только мечу их.

Он не давал себе ни малейшего труда скрывать, какое удовольствие доставляет ему дразнить своего собеседника.

Оскар был уже не в силах скрывать гневную радость, видя, как слепо этот наглец шел навстречу своей судьбе.

— Иные думают, что они ставят мету,— сказал он,— а сами они уже давно отмечены.

— Звучит апокалипсически,— отозвался Цинздорф.— Это изречение из библии или ваше собственное?

Оскар с возрастающим веселым гневом ответил:

— Это не из библии и только наполовину мое. Это сказано человеком, имеющим власть претворять свои слова в дела. Можете понять и так: иные хотят уничтожать, а сами будут уничтожены.

— В вашем собрании цитат есть, по-видимому, много жемчужин, мой дорогой,— кротко сказал Цинздорф.— И все они настоящие?

Оскар с трудом сдержался, чтобы не ударить его по красивому, наглому, высокомерному лицу.

— Есть человек,— ответил он,— который в данный момент не отступит перед тем, чтобы кое-кому снести головы, даже если они причесаны камердинерами и возомнили, что вековая принадлежность к привилегированным классам обеспечивает им неприкосновенность. Вот это безусловно подлинная цитата, и тем, которых она касается, следовало бы, пожалуй, посбавить спеси, граф Цинздорф.

— Да,— ответил Цинздорф,— похоже, что эта цитата подлинная.

Он пытался сохранить прежний задорный тон, но это ему не удавалось. Впервые Оскар увидел нечто вроде растерянности на дерзком лице Цинздорфа.

Оскар ушел. Он чувствовал себя удовлетворенным. Наконец-то он дал щелчок этому сопливому мальчишке.

И в самом деле, слова Гитлера, переданные Оскаром, поразили Ульриха Цинздорфа. Но только на мгновение. Дело еще не дошло до последней схватки между «аристократами» и чернью, да и далеко еще не ясно, на чью сторону в этой окончательной борьбе станет истерический клоун Гитлер.

Ясно одно: перед этим фокусником фюрер держал торжественные речи. Не подлежит сомнению, что приведенные Лаутензаком слова принадлежат Гитлеру — нельзя не узнать его напыщенной манеры.

Но уж во всяком случае эти слова Гитлера не подлежат оглашению — и при этой мысли лицо Цинздорфа прояснилось. «Вы меня щелкнули по носу, милый мой Оскар, это так. Но, пожалуй, этот триумф — величайшая из глупостей, содеянных вами».

Цинздорф удобно сидел в кресле, закинув ногу на ногу, прикидывал, соображал. Эти цитаты надо опубликовать. Пусть их прочтут люди, которых это касается,— Кадерейт, бывший рейхсканцлер. Они зашевелятся, подымут шум. Если человек не умеет бережно обращаться с тем, что доверил ему фюрер, то это государственная измена, а Гитлер быстро расправляется с теми, кто обвинен в государственной измене. Да, вот это и есть решение.

Задача нелегкая: напечатать статью, в которой ничего не сказано и сказано все, статью, которая содержит неоспоримо подлинные цитаты. Но когда Цинздорф чего-нибудь по-настоящему хочет, он не только любезен, но и ловок.

Статья появилась. Статья была понята. «Аристократы» возмутились.

С гримасой сожаления Цинздорф положил статью на стол начальника штаба. Проэль прочел. Проэль задумался.

— Я понимаю все,— сказал он, подводя итог своим размышлениям,— но не понимаю одного: как это попало в газету. Наш циркач — гений и, следовательно, глуп. Но не настолько же он глуп, чтобы выкрикивать такие вещи и распространять их в количестве пятисот тысяч экземпляров.

— Господин начальник агентства печати,— невинно доложил Цинздорф,— тоже не понимает, как это случилось. Он в панике позвонил мне и потребовал, чтобы я посадил в концлагерь редактора, пропустившего статью. Я это, разумеется, сделал.

Проэль пристально взглянул на своего Цинздорфа. Взял его руку, узкую, сильную, холеную руку.

— Эта рука участвовала в игре, Ульрих? — спросил он.— Ведь все это состряпал ты. Разве не так?

— Да что вы, начальник! — ответил Цинздорф, но таким тоном, чтобы Проэль понял: Ульрих солгал, а вся эта история доставляет ему глубочайшее, жестокое удовольствие.— Оскар Лаутензак по-видимому рехнулся,— продолжал он,— Кадерейт объявил мне, что он больше таких вещей терпеть не станет, да и «покойник» канцлер выходит из себя. О случившемся будет доложено Гинденбургу. Зигфрид проболтался. Боюсь, что Зигфрида нельзя будет спасти.

— Я тоже этого боюсь,— ответил Проэль.

«Смотрите-ка, этот мальчик стал остроумным. Так он, значит, ненавидит Оскара?!» Лицо Проэля стало серьезным. Он постукивал карандашом по лысине. Ему было жаль Гансйорга — он потеряет брата и жаль Гитлера — он лишится друга и прорицателя. «Но этот Оскар Лаутензак слишком простодушен. Он слишком неосторожно обращается с даром, которым наделен. Создает себе слишком много врагов. Сначала он замахнулся на него, Проэля, а теперь разглашает тайны, доверенные ему Адольфом Гитлером. Он может доставить партии неприятности. Нет, его не спасти».

В душе Проэля, когда он взвешивал все эти обстоятельства, ожил отголосок того неприятного чувства, которое охватило его, когда он сидел против Лаутензака и этот человек, держа его руку, заглянул в тайники его души. А теперь вот как обернулось дело. Скоро, очень скоро этот человек раз и навсегда лишится возможности заглядывать ему в душу. И на мгновение Проэль возликовал: этот человек, враг, теперь в его руках. Им овладела дикая, неукротимая радость: он его уничтожит, сотрет с лица земли.

Но это не дошло до его собственного сознания и тем более не было показано Цинздорфу. Напротив, тот видел перед собой лишь высокопоставленного сановника, медленно обдумывающего важное решение. Очевидно, это решение Манфреду было труднее принять, чем он, Цинздорф, предполагал; ему даже казалось, что Манфред на него сердится. Но Цинздорф знал, что в конце концов Проэль даст свое согласие.

Проэль положил карандаш.

— У тебя злое, злое сердце, Ульрих, мой мальчик. Мне, я вижу, ничего не остается, как идти к Адольфу.

Манфред Проэль показал фюреру статью.

Статья ему понравилась.

— Неплохо,— сказал он.— Эта грозовая туча висит теперь над «аристократами», как дамоклов меч.

— Прости, Адольф,— заметил Проэль, подавляя легкое раздражение.— Я не докучал бы тебе такими пустяками, как чтение статьи, если бы ее можно было оценивать только с точки зрения эмоций. Пойми, прошу тебя, что эта статья — дело политическое.

— Я нахожу,— настаивал Гитлер,— что повесить такой дамоклов меч над «аристократами» только полезно.

— Это им полезно,— ответил Проэль своим скрипучим голосом,— но совсем в другом смысле. Мы с ними в союзе. Мы связаны соглашениями. Эти угрозы — нарушение заключенного с ними договора. Доктор Кадерейт созвал нечто вроде военного совета. «Покойный» канцлер и его присные заявили, что ни в коем случае не будут больше мириться с такими вещами.

— С чем это они не будут мириться, эти наглецы, эти свиньи? — мрачно спросил канцлер.

— С твоими угрозами,— ответил начальник штаба.— Не обманывайся насчет серьезности этого дела, Адольф. Господа «аристократы» ударяют кулаком по столу и кричат, что мы во всеуслышание заявили о своем намерении нарушить слово. Они могут использовать Гинденбурга.

— Мое имя не названо в статье,— недовольно сказал Гитлер.

— Имя Лаутензака тоже не названо,— ответил Проэль.— Но фразы, содержащие угрозы — твой неповторимый немецкий язык,— с головой выдают автора. Не может быть никаких сомнений и в том, что разгласил их Лаутензак. Адольф, ты от этого не отделаешься, тебе придется сделать недвусмысленное заявление.

— Что значит «недвусмысленное»? — высокомерно и неприязненно спросил Гитлер.— «Недвусмысленное» — это нечто чуждое немецкому языку. Заявления Гете не были недвусмысленными.

— Так он ведь был поэт,— нетерпеливо сказал Проэль.

— Он был и министр,— настаивал канцлер.

— Адольф,— ласково уговаривал его Проэль,— не уклоняйся в сторону. Вникни в суть дела. Ты должен отвернуться от этого болтуна. Решительно. Раз и навсегда.

Фюреру было не по себе. Болтать — это со стороны Лаутензака безответственно, и сделай это кто-нибудь другой, разговор с ним был бы короткий. Но Лаутензак — ясновидец. От него нельзя требовать, чтоб он был нем как могила. Видения и высокопарные речи неразрывно связаны друг с другом — это Гитлер сам знает лучше, чем кто-либо. Когда сердце полно, уста глаголют. То, что для другого было бы государственной изменой, для ясновидца Лаутензака простительный грех. Из-за таких пустяков «отвернуться» от друга? Вечно у него хотят отнять то, что его радует. Нет, не выйдет! Он не пожертвует другом и ясновидцем молоху отечества.

— Я провел с Лаутензаком часы возвышенного созерцания,— упрямо сказал он.— Он понимает во мне многое, что скрыто для других.

— Мне понятно, что ты ему симпатизируешь,— отозвался Проэль. В нем что-то есть, я сам это испытал. Но он чудовищно наивен, и его дружба для государственного человека — тяжелая обуза. Ты же видишь, он не в состоянии держать язык за зубами, этот Зигфрид,— повторил он довод Цинздорфа.— Ты должен от него отвернуться.

В душе Гитлера шла жестокая борьба. Сравнение с Зигфридом понравилось ему; он наслаждался трагической ситуацией, в которой вновь очутился. Но и страдал от нее. Он тяжело дышал, потел.

— Я готов,— заявил он наконец,— отвернуться от Лаутензака, хотя

он этого не заслужил. Я готов заявить господину Кадерейту, что тут произошло недоразумение.

— Полусловами тут не отделаешься,— сказал Проэль.— Сам Гинденбург потребует от тебя объяснений и новых торжественных заверений. Будут настаивать, чтобы все это происходило публично, открыто, при свете прожектора. Если ты собираешься спасать Лаутензака, тебе не обойтись без неприятной сцены со стариком.

Гитлер — этого и добивался Проэль — вспомнил тот час унижения, когда он с поджатым хвостом стоял перед Гинденбургом. Нет, во второй раз он этого не вынесет.

— Оставьте меня в покое,— разразился он.— Каждому батраку дают передышку. Но меня вы рвете на куски день и ночь. Это не жизнь, это какое-то вечное жертвоприношение. На куски вы меня рвете.

Проэль видел, как страдает его друг. Он подошел к нему, положил руку ему на плечо.

— Тебе тяжко, Адольф,— сказал он,— я знаю. Но ведь подумай, если даже ты унизишься перед Гинденбургом ради этого Лаутензака, он через два или три месяца снова впутается в какую-нибудь глупую историю. Ты должен заставить себя ради партии. Весь этот шум нам сейчас совершенно некстати, об этом мне незачем тебе говорить. Существует только *одно* решение. Этот человек должен исчезнуть. Только его исчезновение может тебя обелить. Он должен быть стерт с лица земли. Вместе с ним сама собой забудется и вся эта неприятная история.

Гитлер отлично знал, что подразумевалось под словом «отвернуться». У него было честное намерение спасти друга. Но Проэль привел неопровержимые доводы. И даже если он унизится и спасет его — тут Проэль прав,— союз между ним и Лаутензаком навсегда расторгнут. Сам Лаутензак расторгнул его своей болтливостью. И разве он сам не дал ему, фюреру, отпущения? «Если вы меня осудите, то осудите справедливо»,— сказал он. «Ваше сердце принадлежит волкам»,— сказал он. Ясновидец предсказал свою собственную судьбу, предсказал, какую жертву судьба возложит на него, фюрера. Какая трагическая ирония судьбы!

Проэль тихонько снял руку с плеча Гитлера. Он смотрел на мрачно размышлявшего друга, видел, как тот себя пересиливает. По-видимому, он разыгрывает теперь чуть-ли не целую драму. В таких случаях самое правильное оставить его в покое. Но вдруг Проэлю померещилось, что в этой кровавой драме героем является вовсе не ясновидец, а он сам. Он сердито стряхнул с себя эту мысль. Проклятый Лаутензак. Уже от одного имени его в душе поднимается что-то темное, жуткое.

— Что ж, Адольф, этот человек должен исчезнуть? — повторил он свой вопрос.

Гитлер не смотрел на него; медленно взял он со стола маленький черепаховый нож для вскрытия писем, медленно нажал на него большими пальцами холеных, сильных, грубых рук. Черепаховый нож с противным скрипом сломался.

— Благодарю,— сказал Проэль.

Когда Гансйоргу доложили, что Проэль просит его к телефону, он испугался, хотя ждал этого звонка.

С тех пор как он прочел ту статью, ему было ясно: случилась беда! Успокаивающий, вежливо сочувственный, насмешливый тон, которым тогда говорил по телефону Циндорф о «неприятном деле», только подтвердил его догадку, что зачинщиком этой гибельной шутки был Ульрих.

Оскар погиб. Пытаться спасти его было бессмысленно; что бы ни предпринял Гансйорг, ему не одолеть Проэля, который безусловно будет выгораживать своего Улли,— это означало бы лишь повредить себе са-

мому. Говорить с Оскаром теперь тоже нет смысла. Гансйорга мучило, что он вынужден предоставить Оскара собственной судьбе, и в то же время он втайне ликовал, что отныне ему не придется жить в тени своего гениального брата.

В таком настроении, напряженный, взволнованный, ждал он звонка Проэля. Но, позвонив ему, Проэль все-таки оставил его в мучительной неизвестности. Он болтал о всяких пустяках своим обычным игривым тоном. В конце разговора все же пригласил его поужинать и пообещал: «Мы будем с тобой наедине, мой ангел».

За ужином Проэль был любезно развязен, его скептическая речь, в которой отражалось знание мира и людей, блистала и переливалась всеми красками.

Он старался показать себя Гансйоргу с лучшей стороны. Пусть Гансйорг поймет, что Проэль ни в малейшей степени не возлагает на него ответственности за глупые выходки Оскара. С другой стороны, он хочет, чтобы Гансйорг дал ему обещание, как мужчина мужчине, что он не будет мстить за гибель Оскара. Пусть сам Гансйорг примет решение стоять не за брата, а за друга.

После ужина он повел его в кабинет, куда подали кофе и коньяк. На письменном столе лежал номер журнала, открытый на злополучной статье. Проэль указал на него чуть заметным движением руки.

— Да, мой дорогой,— сказал он,— тут мне ничего не остается, как выразить тебе соболезнование по поводу припадка сумасшествия, приключившегося с твоим братцем,— и он положил ему руку на плечо.

— Что ты решил с ним сделать, Манфред? — спросил Гансйорг. Его голос звучал резко и сухо.

— Я-то ничего не решил,— с напускной развязностью ответил Проэль.— Ты знаешь, он мне нравился, это был удивительный человек в своей области, единственный в своем роде. Однажды он даже оказал мне значительную услугу. Адольфу он тоже был по душе.

Бледные губы Гансйорга дернулись. Манфред говорил об Оскаре, как о покойнике. Оскар был человек конченый, Гансйорг знал это. И все-таки не хотел в это поверить.

— Он должен умереть? — как-то по-детски спросил Гансйорг и судорожно глотнул воздух.

— Адольфу нелегко было сломать черепаховый нож,— ответил Проэль.

— Сломать что? — спросил Гансйорг.

— Ты знаешь Адольфа,— ответил Проэль.— Он ничего не сказал, только сломал черепаховый нож. Это была песнь без слов.

Гансйорг сидел против Проэля, тщедушный, несчастный, ему было дурно. Эти минуты показались ему наиболее ужасными в его жизни. У него были самые лучшие намерения, но он повел брата неправильным путем.

— Разве нет другого средства? — спросил он жалобно.

Проэль налил в кофе коньяку, выпил.

— Гитлер сломал черепаховый нож,— сказал он.

— Оскар — гений,— с усилием произнес Гансйорг после паузы.— Гений и безумие родственны друг другу. Нельзя разве на некоторое время поместить его в лечебницу для наблюдения за ним?

Проэль курил, пил. Пил, курил. Теперь он нашел средство поставить Гансйорга перед выбором. Он молчал так долго, что Гансйоргу стало казаться, будто Проэль рассержен его предложением и не дает ответа.

Но тут Проэль неожиданно встал. Гансйорг тоже хотел встать.

— Сиди, сиди, мой мальчик,— сказал Проэль. Этот полный человек с розовой холеной кожей и круглой лысой головой подошел к своему го-

стю; он стоял так близко, что его тихое, зловещее дыхание обволакивало Гансйорга. Эти светло-серые хитрые глаза показались Гансйоргу самым жестоким из всего, что он когда-либо видел в своей жизни, а жестокого он видел немало.

— Слушай, сынок,— сказал Проэль, его скрипучий голос звучал совсем тихо.— Я справедлив, и, признаюсь тебе, твое предложение можно было бы осуществить, я и в самом деле мог бы послать твоего братца в лечебное заведение. Но я не сторонник половинчатых решений, ты это знаешь. Я не могу взять на себя ответственность и оставить тебя — брата такого опасного, беспокойного человека, как Оскар,— в партии, на высоком посту. Пока Оскар жив, он будет стоять на твоем пути, где бы он ни был. И вот, либо мы сделаем так, как ты предлагаешь, и он отправится в лечебницу, но тогда и ты отправишься туда же, для ухода за ним — из партии тебе придется уйти — либо он погибнет, и тогда ты можешь остаться самим собою. Выбор в твоих руках, мой мальчик. Да, тебе придется сделать выбор — и после маленькой паузы он почти неслышно кончил — между ним и мной.

Быстрые бесцветные глазки Гансйорга пытались уклониться от властного взгляда Проэля, улыбка отчаяния исказила его остренькое бледное лицо.

— В нелегкое положение вы ставите меня, Манфред,— прошептал он.

— Выпей,— Проэль налил ему коньяку.— Да, я ставлю тебя в нелегкое положение,— согласился он.

Гансйорг выпил. Он представил себе, насколько проще и лучше станет его жизнь, когда он сбросит со своих плеч бремя, именуемое Оскаром. Теперь, после испытания дружбы, которому подверг его сегодня Проэль, ему нетрудно будет раз навсегда вытеснить Цинздорфа. А для Хильдхен Оскар будет впредь всего лишь исторической фигурой и никаких преград на пути Гансйорга не останется.

Он набрался духу.

— Я остаюсь с тобой, Манфред,— сказал Гансйорг. Но не успел он произнести эти слова, как уже картины будущего, которые он нарисовал, чтобы подбодрить себя, исчезли — вместо них он увидел пронзительные синие глаза брата и почти физически почувствовал, как проникает в него взгляд этих глаз. И ему стало нестерпимо больно.

Проэль легко положил руку на его плечо.

— Этого я не забуду,— сказал он.

— Я его увижу еще раз? — с трудом выговорил Гансйорг после минутного молчания.

— А почему бы и нет? — сказал Проэль.— По мне — пусть еще несколько дней порадуется приготовлениям к открытию академии. От нас он не уйдет, и спешить нам незачем,— Проэль налил себе еще коньяку.— Это был талантливый парень. Будь у него, кроме таланта, хотя бы капля здравого смысла, он пошел бы далеко.

Оскар, как и фюрер, прочитав статью, прежде всего почувствовал удовлетворение. Его радовала мрачная похвала, которая воздавалась ему, мрачные угрозы против «аристократов».

Но затем, проглядев статью вторично, он ясно понял, что она попала в печать только по чьей-то злой воле. За этим стоял, конечно, не кто другой, как Цинздорф. И добром это не кончится. В партии у него будут неприятности за то, что он без разрешения предал огласке слова фюрера. И опять ему придется оправдываться перед Гансйоргом.

Он почти жаждал телефонного звонка брата. Ему еще не было ясно, какие последствия повлечет за собой статья. Лишь после объяснения с

Гансйоргом он сможет ясно представить себе размеры постигшей его беды.

Но Гансйорг не звонил. И никто не говорил с ним о статье.

К счастью, у него в тот день было много работы. Утром его принял министр просвещения, и они обсуждали вопросы, связанные с открытием академии, днем у него была трудная консультация, вечером — выступление. После выступления он поехал в ресторан с очень красивой итальянкой. Времени для тревожных мыслей у него не было.

Однако ночью он не мог заснуть, его одолела тревога. Как примет историю со статьей партия и, главное, фюрер? Он еще раз перебрал в памяти отдельные места, он даже встал среди ночи, пошел в библиотеку, разыскал статью и снова перечел ее. И вдруг ему стало до ужаса ясно, что это не может кончиться благополучно, что это самая опасная из всех шуток, какие сыграли с ним «аристократы».

Он был рад, когда наступило утро: можно было взяться за работу. Дневная суета поглотила все его мысли. Он забыл о статье и в этот вечер лег в постель такой усталый, что тотчас же заснул. Спал он хорошо и на утро почувствовал себя отдохнувшим, бодрым. Работал с удовольствием, да и вечера ждал с радостью. Предстояло новое свидание с итальянкой, и он надеялся, что оно кончится победой.

Но позже, когда он прилег, чтобы отдохнуть перед выступлением, им снова овладело беспокойство. Он злился на себя, пробирал, бранил себя. Все это глупая игра воображения. Нужно раз и навсегда покончить с этим идиотским страхом. И для этого есть только одно средство: поговорить с Гитлером. Он тотчас же сел, написал письмо, просил фюрера принять его.

После выступления он встретился с итальянкой, и все сложилось так, как он ожидал. Эта женщина была красива, обворожительна, она понимала толк в любви; и сам Оскар, и его слава увлекли ее. Она была с ним нежна, он отвечал ей тем же, он спал с ней. Но за всем этим стояли тревога и страх: как пройдет беседа с фюрером?

Это происходило в то самое время, когда Проэль поставил Гансйорга перед выбором.

На следующее утро Оскар получил ответ из канцелярии Гитлера. Ему сообщали в изысканно вежливых выражениях, что господин рейхсканцлер в настоящее время очень занят. Господин доктор Лаутензак будет уведомлен, когда у господина рейхсканцлера найдется для него свободное время.

Прочитав письмо, Оскар побледнел. Но он говорил себе, что такой ответ ровно ничего не доказывает. Было бы нелепо воображать, что фюрер недоволен, и только на том основании, что у него на этот раз вовсе не нашлось времени для Оскара. Он уцепился за эту мысль, вновь и вновь повторял себе одно и то же, но успокоиться не мог. Он знал, что фюрер его осудил, и апелляции быть не может. Он сам заверил фюрера, что не возмутится, если тот его осудит. Он сам уговаривал его слушаться, не рассуждая, своего внутреннего голоса. Гитлер так и сделал. Теперь он, Оскар, погиб. «Теперь крышка»,— сказал он вслух на языке своей юности.

Какая чепуха! Это уже патология. Сумасшествие. Надо взять себя в руки. Никому нельзя рассказывать об этих нелепых страхах. Иначе его попросту сочтут помешанным. Надо взять себя в руки. Но десять минут спустя он поймал себя на том, что прокрался мимо маски, боязливо отвернувшись. Ему было стыдно, что теперь, накануне гибели, его живое лицо меньше чем когда-либо похоже на этот бронзовый лик. Накануне гибели. Вздор. Нельзя так распускаться. Нельзя так отдаваться во власть этого бессмысленного страха. Надо во что бы то ни стало отвлечься.

Он с головой окунулся в работу. Но в самом ее разгаре его охватила тоска по Альме. У нее он успокоится. У нее он избавится от возбужде-

ния, которое его так изматывает и в конце концов действительно сведет с ума.

Он тотчас же поехал к ней. Ходил взад и вперед по ее уютной комнатке, чувствовал себя хорошо, говорил об академии, о предстоящем торжественном открытии ее. Вдруг он умолк и после короткой паузы сказал, даже не сознавая, что говорит вслух:

— Доживу ли я еще до этого?

Портниха Альма взглянула на него широко раскрытыми глазами.

— Но это же будет через две недели,— произнесла она.

— Что будет через две недели? — спросил он.— Что я такое сказал?

Она видела, что он чем-то расстроен.

— Да что с тобой? — испуганно спросила она. Он провел рукой по лбу.

— Ничего, ничего,— пробормотал он,— это была глупая шутка.

«Так дальше продолжаться не может»,— приказал он себе. Если он сошел с ума, то, по крайней мере, другие не должны этого замечать. «Выдуманные страхи,— повторял он про себя.— Пройдет, возьми себя в руки. Сдерживайся, пока это не пройдет».

Но на следующий же день, в разговоре с Алоизом, снова прорвалось то, что он называл сумасшествием.

Алоиз был зол на академию. Он опасался, что когда Оскар станет президентом академии, их совместная работа кончится. Он отпускал грубые шутки по поводу научной деятельности Оскара, ухмыляясь, напоминал, что Оскар и сам много раз потешался над сухой и бесплодной ученостью. Но сегодня Оскар не отвечал на иронические замечания друга с обычным высокомерием.

— Да,— согласился он,— много безответственного сказал я в своей жизни. Но у меня неприятности, Алоиз, и, пожалуй, не следовало бы еще и тебе на меня обрушиваться.

— А что такое? — с удивлением спросил Алоиз,— что ты имеешь в виду?

Но Оскар продолжал разговаривать в том же тоне, он был так угнетен, что Алоиз озабоченно произнес:

— Да говори, наконец же, что с тобой сегодня?

Оскар вместо ответа задумчиво взглянул на друга.

— Собственно говоря, тебе всю жизнь приходилось пребывать в тени, которую я отбрасывал. Хорошо, что ты, со своей стороны, все же был всегда мне верен.

Алоиз смущенно ответил:

— Это звучит как некролог.

И продолжал:

— Ты, вероятно, хочешь избавиться от меня ввиду открытия твоей знаменитой академии. Обыкновенный иллюзионист уже недостаточно хорош для тебя. Что ж, тебе не придется повторять это дважды. Считаю наш договор расторгнутым. Такой договор я могу заключить в любое время.

Оскар с непривычной мягкостью возразил:

— Не говори чепухи, Алоиз. Я не брошу друга на произвол судьбы.

Оскар сделал едва заметное ударение на слове «я», с болью и горечью думал он о фюрере, предавшем его. Он не мог больше сдерживаться.

— Я открою тебе тайну,— доверился он другу.— Я отмечен. Вот, сижу с тобой... спрашиваю себя: не в последний ли это раз?

Сначала Алоиз думал, что Оскар разыгрывает одну из своих глупых зловещих шуток, но потом понял, что ему не до того. Боязливо, с притворной бодростью начал его уговаривать:

— Ты бредишь. Переутомился, всему виной эта дурацкая академия.

Но Оскар ответил:

— Нет, нет. Говорю тебе, я обречен. Они не отстанут от меня.

— Кто «они»? — с возрастающей тревогой спросил Алоиз.

— Нацисты, конечно,— зло ответил Оскар,— наши старые друзья.

Говорить такие вещи теперь, когда все газеты трезвонят об академии, которую нацисты создают для Оскара, было явным безумием. Оскар заболел манией преследования, совершенно ясно. Но, может быть, это и хорошо, может быть, в результате они с Оскаром раз навсегда развяжутся с этой гнусной бандой, с нацистами. Алоиз схватил друга за рукав.

— Так давай уедем, Оскар,— сказал он настойчиво, ласково, таинственным тоном заговорщика.— Ведь я тебе всегда говорил, что с нацистами ты не уживешься. Теперь ты видишь: Гансль и вся его идиотская политика только сводят тебя с ума. Давай уедем за границу. Пусть сами делают свое грязное дело. Контрактов у нас будет, сколько душе угодно, Манц устроит их нам в два счета. Уедем за границу и будем заниматься нашим старым ремеслом.

Он говорил горячо, с дружеской настойчивостью; он видел, как страдает Оскар.

Оскара взволновала мысль о том, что Алоиз ради него отказывается от Мюнхена. Он улыбнулся, тронутый и смущенный. Неужели Алоиз так плохо знает нацистов? Да разве они выпустят за границу человека, которого уже обрекли на жертву? Но он не стал пускаться в длинные объяснения.

— Да вознаградит тебя бог, Алоиз,— сказал он.— Не так уж плохи мои дела. Ничего, все утрясется.

Он ушел.

Алоиз долго еще сидел, подперев рукой длинное, худое лицо; еще задумчивее, чем обыкновенно, смотрели карие печальные, насмешливые глаза. «Черт возьми»,— сказал он про себя, скорее ворчливо, чем сердито. Глупым речам своего друга он не придавал особого значения, но то, что Оскар был так тих и кроток, наполняло его сердце заботой и недобрыми предчувствиями.

На людях Оскару иногда удавалось прогнать страх, когда же он оставался в одиночестве, этот страх ложился на душу и почти физически угнетал. Иногда он чувствовал себя как бы в пустоте, ему мерещилось, что он уже находится по ту сторону жизни. Он еще мог двигаться, еще мог говорить, но звук его голоса уже почти не слышен, Оскару казалось, что он накрыт стеклянным колпаком.

Не было ничего осязаемого, ничего такого, что могло бы дать основание для страха. Но Оскара все больше и больше мучили подозрения против всех и всего. Какой-то парень возился в его саду.

— Что вам здесь надо? — напустился на него Оскар.— Это частное владение.

Но оказалось, что этот человек — помощник садовника и выполняет порученную ему работу.

Оскару звонил по телефону министр просвещения, газеты только и говорили о предстоящем открытии академии. Все шло своим чередом. Но Оскара это не обманывало. Они оставались незримыми, его сторожа, его убийцы. Но его не проведешь. Он чувствовал их невидимое око. Он знал, что петля незаметно затягивается все туже.

Оскар не в силах был дольше терпеть, он отправился к Гансйоргу. Это было на третий день после свидания между Гансйоргом и Проэлем.

— Я должен с тобой поговорить, сейчас же, наедине,— сказал он.

— А что случилось? — спросил Гансйорг.— Что с тобой? Это по поводу академии? Трубить еще громче, по-моему, нет возможности.

Он усиленно затянулся сигаретой, стараясь прикрыть свое беспокойство развязным тоном.

— Что́ случилось,— горько и растерянно повторил Оскар, — тебе должно быть известно лучше, чем мне. Ведь ты меня предупредил, что мне головы не сносить, значит ты должен знать, когда падет топор.

— Ты бредишь, ты переутомился,— сказал Гансйорг точно так же, как Алоиз. Но Оскар уловил нотку неуверенности, что-то судорожное в словах Гансйорга, во всем его поведении. Он, Оскар, обречен. Где-то в книгах «аристократов» уже записана дата его гибели, час его смерти. А Малыш заодно с «аристократами» и прекрасно знает, что затевается.

— Значит, ты ничего не хочешь мне сказать? — жалобно произнес он, и в его голосе было такое отчаяние, что Гансйоргом овладело чувство вины и сострадания.

— Не надо нервничать,— просительно сказал он.— Я понимаю, тебя лихорадит: выступить в роли президента академии нелегко. Но ты великолепно справился с процессом. Я уверен, открытие академии ты тоже проведешь блестяще. Играючи.— Он курил. Он улыбался.

Но Оскар не ответил на его улыбку. Он только поглядел на Гансйорга, даже не очень выразительно, и все же Гансйорг не мог вынести этого взгляда. Малыш чувствовал, что он, Оскар, знает все.

И Оскар начал жаловаться. Он не кричал, не бранился — Гансйоргу было бы гораздо приятнее, если бы он бранился. Оскар говорил тихо, без обычного высокомерия, и каждое его слово было проникнуто горькой безнадежностью.

— Зачем ты меня предал, Гансль? — сказал он.— Ведь предал же? Или нет? Ты ведь что-то знаешь? Ты очень многое знаешь. Почему ты мне не сказал ни слова об этой статье? Ты же знал, что она задумана мне на погибель. И должен был вовремя предупредить меня. Должен был спасти меня. Ты мог. Безусловно мог. Почему ты этого не сделал, Гансль, брат мой? Я иногда подло поступал с тобой, согласен, и ты имел право мне отомстить. Но погубить меня — нет, это слишком. Ведь человеку дается только одна жизнь, а мне еще нет и сорока пяти. Я прошел через войну, через сто тысяч смертей, а теперь ты вот сидишь и куришь сигарету и спокойно предоставляешь мне околевать. А ведь мы связаны, орфически, из глубины глубин, и, очутись ты в петле, уж я не дал бы тебя повесить, не предал бы тебя, Гансль, брат мой.

— Не болтай чепухи,— ответил Гансйорг.— Надо, может быть, отложить открытие и поехать на несколько дней к морю или в горы, чтобы отдохнуть,— предложил он, но это были вымученные слова, в них не чувствовалось силы убеждения. «Надо это выдержать,— думал он,— надо как-нибудь вытерпеть. Ведь уже не имело бы никакого смысла пойти теперь к Проэлю и сказать, что я все-таки предпочитаю отвезти его в сумасшедший дом. Проэль теперь на это не пойдет, я только погубил бы вместе с Оскаром и себя».

— Ты дьявольски умен,— говорил между тем Оскар,— ты всегда был умнее меня. И ты, вероятно, не по злобе оставляешь меня в петле. Своя рубашка к телу ближе. Тут ты прав. Я и сам так думал. Но только в таких случаях, когда мы, например, крали яблоки, а если бы дело коснулось твоей жизни, Гансль, я не сказал бы: «Поезжай к морю или в горы»,— тогда я заслонил бы тебя, ты это отлично знаешь. Ну, да что толку говорить об этом. Все кончено. И я рад, что не так дьявольски умен, как ты.

Он говорил медленно, тягучим голосом, точно извлекал из себя слова, как иногда говорил, находясь в трансе. Гансйорг ничего не ответил, он даже не взглянул на брата.

И Оскар ушел. Гансйорг слышал, что он уходит, но не поднял глаз, не шевельнулся. Целых две-три минуты после ухода Оскара сидел он неподвижно, тщедушный, мертвенно бледный.

С тех пор на протяжении всех четырех дней, какие еще осталось прожить Оскару, был ли он один или на людях, его не покидал мучительный страх. Страх тяжело наваливался ему на грудь, давил, душил. Встречая штурмовика, Оскар думал: «Может быть, вот этот завтра или послезавтра хватит меня топором по голове». Катаясь на яхте по морю, он думал: «Здесь, может быть, утопят меня». Гуляя по лесу, вблизи своего замка Зофиенбург, он думал: «Может быть, здесь меня зароют». И все время боялся, что они придут сейчас, сию минуту.

Оскар принимал снотворное, но спал плохо. Как-то он проснулся, ошеломленный, подавленный, весь в поту. Он ясно слышал шаги, он крикнул в темноту: «Кто здесь?» Шаги затихли. Но кто-то побывал в комнате, он был в этом уверен. Мороз пробежал у него по телу, он перекрестился, как в детстве.

На следующий день вечером, открывая калитку своего сада, Оскар вспомнил, что в его связке ключей есть маленький ключик от квартиры Кэтэ, завоеванный им после долгой борьбы. Он ощутил непреодолимое желание побыть у нее в квартире. «Там,— думал Оскар,— я, может быть, почувствую раскаяние, но избавлюсь от страха».

Он поехал туда, отпер квартиру. Она не была пуста, но Оскару она показалась больше чем пустой. Кэтэ оставила все, что он подарил ей, и все, что имело какое-нибудь отношение к нему. Свет уличного фонаря ярко освещал комнату. И Оскар стоял в опустевшей квартире, прислонившись к огромному роялю. Этот обычно столь уверенный в себе человек опирался на рояль неуклюже, неловко, точно обмякнув.

В это же время фрау Тиршенройт сидела в комнате Кэтэ в Праге. Она просматривала оставленные Паулем рукописи — Альберт нелегально переслал их Кэтэ. Тут была статья «Рихард Вагнер, как пример и предостережение», тут были статьи по вопросам языкознания и острые очерки, по-новому освещающие события немецкой истории и политической жизни Германии. Несколько раз упоминалось имя Оскара Лаутензака.

— Вот несколько строк об Оскаре,— произнесла Анна Тиршенройт и подала Кэтэ рукопись.— Пауль был храбр и умен,— сказала она,— но беспристрастностью не отличался. Да и нельзя требовать от человека так много.

Кэтэ взяла лист, но не читала. Выражение лица у нее было замкнутое, почти злое.

Первое время после отъезда из Берлина она ощущала большую пустоту. Воспоминание об Оскаре вызывало в ней странное чувство: будто бы в ее душе было какое-то помещение, сначала битком набитое ветошью и хламом, а теперь опустевшее. Так, вероятно, чувствует себя человек, у которого ампутировали руку или ногу и который продолжает ощущать боль в том месте, где они были. Но затем это прошло. Теперь она не питала к Оскару ни любви, ни ненависти, у нее не было времени для него. Да и ни для чего другого не было ни времени, ни мыслей, только для ребенка, которого она должна была произвести на свет. Она даже не понимала, как ей могла прийти в голову мысль избавиться от ребенка.

Анна Тиршенройт видела, что Кэтэ держит в руке лист и не читает. Она защищается от воспоминания об Оскаре, думала Анна, вероятно, она иначе не может. Она несправедлива к Оскару. Все к нему несправедливы. Ребенку она рада, но отстраняет от себя мысль, что Оскар — его отец. А ведь все-таки в нем было «что-то», в нем было то, что вложено в «мас-

ку». Он всегда напыщенно говорил о судьбе и считал себя ее баловнем. А ведь он только пасынок ее. Иногда Оскар был близок к тому, чтобы схватить дарованное ему, овладеть им. И если бы ему больше везло, он, может быть, и добился бы этого.

Кэтэ положила лист на стол.

— Вы, конечно, понимаете, фрау Анна,— сказала она,— что я не хочу иметь ничего общего со всем этим. Я хочу думать только о ребенке.— Она смотрела прямо перед собой, решительно, доверчиво, радостно.

На другой день вечером Оскар находился в роскошном ресторане, заполненном посетителями. Вдруг он увидел двух мужчин и понял: это они. Он вспомнил, что видел их уже вчера, да и сегодня днем. Он вышел в вестибюль. Один из них последовал за ним. Оскар ушел из ресторана, поехал в другой, но они были и там.

Оскар не решался вернуться домой. Гансйорг выпроводил его — ждать помощи от брата не приходится. Но он должен еще раз повидать его. Он должен за кого-нибудь уцепиться, когда придут палачи. Он поехал к Гансйоргу.

Господина государственного советника не было дома. Когда Оскар стал настойчиво спрашивать, где же брат, ему нерешительно ответили, что господин государственный советник поехал к фрау фон Третнов.

Оскар отправился к баронессе. Была поздняя ночь. Дверь ему открыл заспанный швейцар. Узнав его, швейцар как будто удивился и смутился. Оскар заявил, что здесь его брат, с которым ему надо срочно повидаться. Швейцар, все еще смущенный, попросил его подождать и исчез. Некоторое время спустя он вернулся и доложил, что господин государственный советник был здесь, но уже уехал.

Гансйорг отступился от него. Оскар растерялся, как еще никогда в жизни. Они, конечно, ждут его на улице. Выходя из машины, он ясно заметил неподалеку другую машину. Здесь, у баронессы, он в безопасности. И Оскар не хотел уходить. Это произойдет сегодня. Пока его отделяет от тех вот эта дверь, ему еще разрешается дышать. Неправда, что Гансйорг уехал. Он здесь, под этой крышей, его брат Гансль, покинувший его в час смертельной опасности.

Смущенный и недовольный швейцар все еще стоял перед ним, дожидаясь, пока неприятный посетитель уйдет. Оскар тоже стоял, грузный, во фраке, и не собирался уходить.

— Я неважно себя чувствую,— сказал он наконец,— принесите мне водки,— и он сунул кредитку в руку швейцара. Тот, помедлив, удивленно ответил:

— Если это так, господин Лаутензак...— и удалился.

Оскар сидел в высоком, дорогом, старинном кресле, цилиндр он поставил возле себя на пол. Швейцар вернулся с коньяком.

— Не мог достать ничего лучше, господин Лаутензак, повсюду уже закрыто,— сказал он.

— Это теперь уже не имеет значения,— отозвался Оскар и выпил.

— Извините, господин доктор,— вдруг обратился к нему швейцар,— я ведь читал, что вы стали почетным доктором. Я видел в «Иллюстрированной газете» ваши портреты и снимки вашей академии. Это замечательно. Я вас сердечно поздравляю.

— Спасибо, спасибо,— сказал Оскар.— А теперь я, пожалуй, пойду.

— Может быть, хотите остаться? — спросил швейцар.— Может быть, переночуете здесь? Не позвать ли врача?

Оскар размышлял. Если он болен, то здесь, в доме баронессы фон Третнов, в присутствии врача, они вряд ли нападут на него, а если даже нападут, если его убьют на глазах у Гансля, то поделом ему, этому Иуде,

этому братоубийце, пусть воспоминание о смерти брата преследует его всю жизнь.

Но какой смысл оставаться? Ведь все равно придется уйти. Если оставаться, надо взять себя в руки, надо лгать, разыгрывать роль. И какой ему прок от того, что он получит еще одну ночь и, быть может, еще один день со всей его ложью, отвратительным притворством и жестоким, давящим сердце страхом.

— Спасибо,— сказал он.— Нет, пожалуй, я лучше поеду домой.

Он тяжелыми шагами вышел из дома баронессы фон Третнов, так и не повидав своего брата.

А те все еще тут? Кажется, да. Оскар не был в этом уверен. Он вошел в машину. Но куда же ехать? Опять в какой-нибудь ночной ресторан? Ему были противны свет, музыка, шум, были противны смеющиеся, веселящиеся, куда-то спешащие люди. Но еще страшнее думать о Зофиенбурге, о большом, пустынном доме, с его бессмысленной роскошью. Там уж его наверняка схватят. Некоторое время он бесцельно ездил по улицам. Затем направился к ресторану «Табарэн». Он встретил здесь знакомых женщин, он пил.

Когда он вышел из ресторана — швейцар уже открыл дверцу его машины,— те двое подошли к нему.

— Я думаю, господин доктор Лаутензак,— сказал один из них,— что теперь вам лучше сесть в нашу машину; другой чуть заметным движением указал на нескольких людей, стоявших поблизости. Была ночь, но чувствовалось, что скоро настанет утро. Оскар огляделся вокруг. Улица была пуста. Швейцар, чуя недоброе, незаметно ушел: он как будто испарился. Оскару хотелось кричать, громко кричать о своей загубленной жизни. Но тогда они его сейчас же убьют, а если он будет вести себя тихо, он проживет еще несколько минут.

— Прошу вас,— произнес человек, и в его тоне звучали и насмешка, и угроза, и приказание: сам Оскар не мог бы сказать лучше. Он вошел в машину, на которую ему указали. Это была удобная машина. Кроме него, в ней сидело четверо.

— Куда мы поедем? — спросил Оскар. Ему не ответили.

Машина быстро неслась по пустынным улицам. Оскар хорошо знал эти улицы, он очень часто проезжал здесь в такси же предрассветный час; они были населены видениями — немало он пережил на этих улицах, это был тот Берлин, который он завоевал. В нем пробудилось много воспоминаний, и еще больше — страхов, и еще больше — бешено несущихся мыслей. Есть ли спасение? Но все эти воспоминания, страхи, мысли заслонил один вопрос и одно желание: увижу ли я еще рассвет и утро?

Машина ехала на запад, все дальше и дальше на запад, в район Зофиенбурга.

Промчались и через этот район. Выехали к лесу и свернули в узкую просеку. Оскар знал эти места. А вот еще более узкая просека — машина продвигалась здесь с трудом. И остановилась.

— Вылезай,— приказал один из сопровождающих. Оскар сидел. Он чувствовал страшную слабость, его знобило, и рассвет еще не забрезжил.

— Вылезай,— повторил человек тем же холодным, насмешливым, угрожающим тоном.

— А шляпу и пальто взять с собой? — глупо, по-детски спросил Оскар. «Выиграть время, время, время выиграть»,— думал он. Все четверо сидевших в машине ухмыльнулись.

— Шляпу и пальто можешь взять с собой,— сказал один из них.

Оскар неуклюже вышел из машины. Он стоял посреди реденькой рощи во фраке, пальто и цилиндре. Дорога здесь кончалась, перед ним, рядом с ним был лес, тонкий, бледный месяц, едва мерцая, стоял на небе

уже очень низко, так, что был еле виден сквозь деревья. Оскар страшно ослабел, его трясло, хотя было не холодно.

— Идем,— сказал штурмовик.

— Нельзя ли подождать до завтра? — заикаясь, жалобно спросил Оскар и дрожащей рукой достал бумажник.

— Идем,— вместо ответа повторил сопровождающий. Его окружили, заставили идти. Вели все глубже в лес. Шли, натыкаясь на кусты, корни деревьев. Остановились.

— Теперь беги,— услышал он приказ,— беги туда, и ему указали на лесную чащу.

Оскар оглядел своих палачей одного за другим долгим, молящим, тоскующим взглядом. На их лицах не было ничего похожего на чувство, ничего, кроме холодного, деловитого стремления выполнить приказ. Утро еще не наступило, но надежды не было. Он направил всю свою волю на то, чтобы дотянуть до утра, но, увидев эти холодные лица, понял: его последнее желание, последняя воля бессильны — снова осечка.

Он отвел глаза от этих людей. Еще раз посмотрел вокруг себя. Увидел деревья, слабо освещенное небо, бледный низкий месяц, темноту. Он надел цилиндр и повернулся лицом к лесу — к дороге.

Он очень хотел, чтобы в нем зазвучала музыка, какая-нибудь широкая торжественная мелодия. Но и это желание было напрасным. Никакой музыки в нем не было, когда он отправился в свой последний путь,— лишь обрывки свиста и грохота, который стоял в «Табарэне».

Он поднял ногу в лаковом ботинке. Пошел. Тяжело шагая по роще во фраке, пальто и цилиндре, шел во тьму, ожидая, что вот-вот щелкнет выстрел и все кончится.

За день до открытия академии оккультных наук все газеты поместили на первой странице под жирными заголовками сообщение о том, что Оскар Лаутензак зверски убит. У него на пальце было кольцо, знакомое сотням тысяч людей, побывавших на его выступлениях, были драгоценности и деньги, но его не ограбили. Очевидно, убийство совершено по политическим причинам. Оскар Лаутензак был для «красных» представителем национал-социалистской идеологии; они убили его из-за угла.

Фюрер распорядился устроить своему ясновидцу торжественные похороны на государственный счет. Гроб провожала огромная толпа, оркестр исполнял траурные мелодии, было много знамен и флагов.

Сам Гитлер произнес речь на могиле Оскара Лаутензака.

— Это был один из тех,— провозгласил он взволнованным голосом,— кто возвещал колокольным звоном — музыкой души своей — становление новой империи, созидаемой мною.

«СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛЕТИНЫ БУРСАЧА» *Рис. Бор. Ефимова.*

Бранко Чопич

Случаи из жизни Николетины Бурсача

Перевод с сербо-хорватского Е. Рябовой

Босния — живописный горный край в самом центре Югославии, край, в котором родился и о людях которого с такой любовью пишет Бранко Чопич — один из самых популярных современных югославских писателей.

В начале освободительного движения Бранко Чопич вступил в ряды партизан и боролся за свободу народа оружием солдата и писателя. И во время войны, и после нее в своих многочисленных стихотворениях, рассказах и в романе «Прорыв» он прославлял величественную борьбу народа за освобождение.

В прозе Чопича мы видим замечательные портреты боснийских крестьян. Писатель правдиво и тонко показывает, как они по-своему переживают революционные события, как в ходе освободительного движения из людей отсталых и темных вырастают в сознательных борцов за новое общество. Этой теме — формированию нового человека во всенародной борьбе за свободу — и посвящена последняя книга Чопича «Случаи из жизни Николетины Бурсача», вышедшая в 1956 году и получившая Октябрьскую премию Белграда.

Рассказы о Николетине Бурсаче печатались на страницах югославских периодических изданий и выпущены в 1956 г. отдельной книгой. Они раскрыли перед читателем образ простого человека из Боснии, веселого, доброго и смелого Николетины.

Рассказы из новой книги Бранко Чопича мы публикуем в нашем журнале.

Первая встреча с Николетиной

(ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСКИХ ЛЕТ)

С Николетиной Бурсачем, лихим партизаном, прославленным пулеметчиком, а позже — командиром роты, любимым бойцами, я познакомился еще в те времена, когда он был всего-навсего босоногим сорванцом Николицей.

В тот день я в первый раз пошел в начальную школу.

Осенним утром меня одели по-праздничному, и дед повел меня в школу. По дороге, под самой горой Михаилича, нас догнал голенастый парнишка со школьной сумкой, подпрыгивающей за спиной, — на бегу бросил нам «с добрым утром!» и вскачь понесся в гору, но дед окликнул его:

— Эгей, Николица, постой!

Подросток остановился, будто его осадили на всем скаку, повернулся на одной ноге и с любопытством уставился сначала на деда, а потом на меня.

— Слушай, Ниджо, душа, присмотри-ка за моим внуком. Видишь, еще совсем несмышленыш. Ходи вместе с ним в школу и домой, чтобы не кинулась на него чья-нибудь собака или корова не забодала. Как, брат, согласен?

— Согласен, а чего же, — добродушно отозвался нескладный, одетый кое-как подросток и с интересом оглядел меня с головы до пят. Видно, светловолосый первоклассник в красной шапке, какие носят в Лике, и новеньких домодельных башмаках из сыромятной кожи показался слишком нарядным, так как у Ниджо вырвалось восклицание:

— Ишь ты какой — как все равно бусинка!

— Вот-вот, ладная дедова бусинка, дедушкин ученичок! — с гордостью подтвердил старик и, обнимая меня, посоветовал: — Ты, душа, знай держись этого паренька. Не отходи от него всю дорогу.

Словно принимая меня под свою опеку, Никола сдвинул мою личанскую шапочку на правое ухо и критически оглядел меня.

— Так вот и носи, как парню положено!

— Ни дать ни взять — парень, — согласился дед, да и сам я, чувствуя, как шапка щекочет мне ухо, возомнил, что другого такого молодца не сыщешь во всей округе и не встретишь ни на одном приходском празднике. Даже на таком, где присутствуют жандармы. Шапка набекрень, эгей!

Разумеется, когда дед ушел, а я остался в классе, все мое молодечество как рукой сняло. Я едва дождался перемены и поторопился выйти во двор, чтобы там, словно и в самом деле потерянная дедова бусинка, приткнуться к моему новому знакомцу Николе, ученику второго класса.

— Карандаш чинить умеешь? — выспрашивал мой покровитель.

— Умею, меня Бея научила.

— А штаны расстегнуть и обратно застегнуть можешь?

— Могу.

— Ну, молодец. А если тебя кто ударит, ты мне только скажи, я ему так наподдам...

По дороге домой Никола предложил мне:

— Скинь-ка опанки да положи в сумку, лучше босиком ходить.

Я с радостью последовал его совету, а он, помогая мне засовывать башмаки в сумку, серьезно, как взрослый, сказал:

— Опанки надо беречь на зиму.

Никола быстро вошел в роль моего опекуна и сразу прижился в нашем доме. Глядя, как он стремительно меряет двор своими длинными ногами, мой дядя дивился:

— И как только этот Бурсач не поломает свои ходули?!

С его приходом в нашем тихом, спокойном доме стало ощущаться резкое дыхание иной, суровой жизни. В играх, в мальчишечьих похождениях и в серьезном деле Никола не баловал меня, хоть и был всегда справедлив. Я впервые почувствовал, что «родимый дедушкин Бая» отнюдь не всегда бывает прав. Мир и люди, окружавшие меня, начали ставить пределы моим желаниям. Счастье еще, что рядом находился мой Николица, с чьей помощью легче было переваривать первые порции горького житейского опыта.

— Ага, подразнил, значит, собаку, когда она ела! — язвительно укорял он меня. — Вот и прощайся со штанами.

— Убей ее! — хныкал я сквозь слезы.

— Э, ты сам виноват. Она собачка славная, веселая. Вот если бы на тебя набросился Глишин желтый пес, этот бродяга, я бы его, ей-богу, отдубасил колом.

Николин родной дом находился в поселке Вргеле, прилепившемся к самой горе. Поблизости не было начальной школы, и николина мать отослала паренька в наше село, к своей сестре, чтобы он ходил в школу отсюда.

— Видишь, вон он, наш Вргель, под тем желтым пятном, — показывал мне Никола на далекий горный откос. — Смотри, там, на опушке, мой дом. А это моя мать, вязанку дров тащит. А вон сестра моя Елка, отгоняет метлой лису.

— Где, где лиса? — наивно спрашивал я, изумляясь, как это Никола видит и мать, и сестру, и лисицу, а я — ничего.

— Неужто не видишь? — притворно удивлялся Никола. — А вон тех барсуков в камнях видишь? Не видишь! А медведя? Гляди, гляди! Скорей! Вон он!.. Э, да ты ничего не видишь.

— Разве около твоего дома и медведи водятся?

— Ого, да их там что муравьев! — восклицал, увлекшись, парень; а потом, будто вспомнив что-то, добавлял уже серьезно и деловито: — Каждый год, как поспевает кукуруза, матери отбою нет от медведя.

Николина мать Мария овдовела, когда дети ее были совсем маленькими: Николе шел пятый год, Елке — второй.

— Ну, хозяин, теперь придется тебе за домом смотреть, — говорила она малышу, уходя куда-нибудь на работу. — Сиди тут под яблоней и качай сестру, а если придет эта охальница лиса, бей ее палкой и кричи.

Как только за домом раздавалось истошное кудахтанье кур и хлопанье крыльев, мальчуган бросал люльку и сломя голову пускался в погоню. Хитрющая кумушка уже трусила по редкому папоротнику с курицей в зубах, а маленький преследователь, безнадежно отставая от нее, ругался сквозь подступающие слезы:

— Чтоб ты сдохла, чтоб ты подавилась, проклятая! Дождешься у меня еще, смотри!

Побежденный и расстроенный, он возвращался к люльке и жаловался сестре:

— Ну вот, опять утащила курицу. А тебе хоть бы что, моргаешь только!

Лиса, говорят, в конце концов так обнаглела, что вырывала у малыша курицу из рук. Он тянул к себе, она — к себе. Но упорный мальчишка уже выходил победителем. Взлохмаченный, пыльный, с окровавленной птицей в руках, он ликовал, с трудом переводя дух.

— Ага, что, съела? Только ты и видела курочку!

Эта победа, самостоятельно завоеванная своими руками, уже с малых лет придала Николе смелости. Он начал смотреть на все вокруг с насмешливым вызовом, будто говоря:

— Знаю я вас, так и норовите что-нибудь у меня сцапать.

Ясными вечерами в конце лета мать накидывала старое отцовское пальто, брала с колоды топор и звала мальчугана:

— Ну-ка, Николица, душа, прихвати кожух да пойдем в поле сторожить этого разбойника.

— Какого разбойника, мама?

— Да медведя, бессовестного. Опять в кукурузу повадился.

Девочку оставляли спать дома, а паренек отправлялся с матерью в поле, на опушку леса. Там они разводили костер и устраивались сторожить.

— Вот ведь разбойник без стыда и совести! Видно, и он знает, где вдовья худоба, так туда и метит,— бранила медведя крестьянка.— Не идет, подлая зверюга, туда, где мужчины в доме есть, а норовит туда, где бабы да малые сироты.

— Мама, а я тоже мужчина? — спрашивал малыш, взволнованный красотой летней ночи.

— Мужчина, душа моя, только ты еще маленький да слабый. А вот как ты у меня подрастешь, пусть тогда этот дармоед медведь сунется в нашу кукурузу...

— Ого, пусть только сунется! — вскакивал на ноги босой паренек.

Слово за слово, мальчуган незаметно засыпал с мыслью о будущей расправе с медведем, а Мария, сгорбившаяся и молчаливая, клевала носом над маленьким веселым костром, который один бодрствовал на пустынном ночном подгорье...

Школьные годы в селе пролетели незаметно и без возврата, будто все только снилось. Не успел я опомниться — уж под моим окном тоскливой ночью шумит Уна и переливается огнями многолюдный Бихач. Теперь я гимназист.

— Где ты, родимый край, куда девался ты, Никола Бурсач, мой защитник?

Многих тайных слез стоила мне разлука с родными местами (черт его знает, примирился ли я с ней когда-нибудь по-настоящему). Через десять-двенадцать лет, перед самой войной, меня остановил на крупском базаре здоровенный, рослый молодец и с упреком покачал головой:

— Ага, вот ты как, удрал от меня, скрылся? А кто тебя защищал столько лет без меня?

В тот же миг я узнал Николу Бурсача, давнего моего покровителя. Он стоял предо мной, знакомый, суровый и милый, как трудная жизнь моей родины.

— Как по-твоему, Бая, что это такое готовится? — доверительно придвинулся он ко мне.— Вроде этот гад и к нам норовит вломиться, а?

Я вспомнил его вечные распри с лисой и медведем и только было собрался ему ответить, как вдруг кто-то крикнул:

— Николетина, эй, Николетина, поросенок сбежал!

Николетина вскинулся и, не сказав ни слова, затопал сквозь толпу вдогонку за поросенком.

Год спустя, когда повстанцы собирались начать штурм Босанской Крупы, Николетина отыскал меня в Вигневичевской роще и без предисловий сердито пожаловался:

— Говорил я тебе прошлый год: готовится гад, того и гляди на нас полезет. И вот он тут как тут. Кого-кого, а Николетину в таких делах не проведешь — стреляный воробей... Видно, мне на роду написано — всю жизнь обороняться то от одной, то от другой напасти!

Крах и пророчество

Резервисты Николетина Бурсач и Йовица Еж несколько дней блуждали по Добою и окрестным селам, отыскивая часть, к которой были приписаны. Но всюду, куда бы парни ни ткнулись, оказывалось, что они попали не туда, куда надо. В одном месте им грубо отвечали, что они ошиблись, из другого просто выгоняли, а в третьем какой-нибудь фельдфебель мерил их с ног до головы хмурым взглядом и цедил сквозь зубы:

— Только вас двоих мы и дожидались, чтобы парад начать. А ну, проваливайте с глаз долой, олухи деревенские, пока я вам не...

Посылали их и в «пёсью роту свинского батальона», и в «воловий моторизованный полк», и другую чушь несли, а в одной части какой-то поручик пригрозил им расстрелом и обозвал их «простыми башибузуками».

— Вот тебе на! — недоуменно чесал в затылке неуклюжий Николетина.— Ты идешь по военному делу, а они над тобой потешаются. И что это за такие «башибузуки»?

— Чудно что-то. Никогда я такого не слыхивал. Добро бы сказал олухи, прохвосты, скоты или еще как-нибудь, чтобы человек понял, что к чему, а то... Подозрительно что-то. Может, это значит «дезертиры»?

Сутулый Йовица держался понуро и озабоченно, точно пастух, который потерял корову и безуспешно разыскивает ее, прислушиваясь, не звякнет ли вдали колокольчик. Николетина, напротив, был зол и раздражен: от дома его оторвали, война на носу, а тут еще эти ослы с ума посходили и дурака валяют. Чем только все это кончится?..

В конце концов, после долгих скитаний и расспросов, случайно они узнали, что, оказывается, их часть стоит в Травнике. Добрались туда и в сумерках, полных мглы и изморози, отыскали ее.

— Как-никак, что ни говори, мы теперь все же вроде как дома,— сипел Николетина, давясь в темноте черствым солдатским хлебом.— Никак в толк не возьму, кто нас послал совсем в другую сторону, аж в Добой?

— А бог их знает,— примирительно бормотал Йовица, счастливый тем, что попал под крышу и что незачем больше плутать да расспрашивать.— Послал, да и только.

— Как это «да и только»? А тебе разве не кажется, что тут кто-то воду мутит?

— Что поделаешь,— уговаривал его измученный, обмякший Йовица, устало примащиваясь на соломе.— Выходит, есть кому и таким делом заниматься.

— Как это так? — кипятился Николетина.— Тут кто-то подкапывается под державу и воду мутит, а ты говоришь «что же поделаешь?»

— Ну, а что делать-то,— выпрямился Йовица, и в его голосе зазвучала извечная крестьянская тоскливая беспомощность.— Разве меня когда кто спрашивал насчет державы? Налог с меня брали, только и всего.

— И это верно... Никто нас не спросит, никто не послушает.

— Мутит, мутит,— бормотал Йовица,— только бы все это опять на беднягу крестьянина не обрушилось...

Наутро стало известно, что началась война. Офицеры засуетились, стали совещаться, шептаться, забыв о солдатах. Вновь прибывшие резер-

висты только на другой день получили некомплектную форму и винтовки без патронов.

— Кол-то я и сам мог бы найти, да получше этого,— возмущался Николетина, беря карабин за дуло.— Не больно-то с этим повоюешь.

Несколько раз они строились в маршевую колонну, но затем или раздавалась команда «вольно» или они разбегались от авиации по ближним зарослям и оврагам и только затемно возвращались в казармы. Около них начали шнырять какие-то подозрительные личности в штатском: одни предлагали солдатам идти по домам, другие насмехались, говорили, что все пропало, грозили, уговаривали отдать оружие. Николетина слушал их в мрачном молчании, а когда какой-то зеленоглазый и белобрысый тип будто в шутку потянулся к его винтовке, он резко отстранился и отрубил:

— Осади назад, шпак!

Помрачневший Йовица украдкой вздыхал и посматривал на своего рослого товарища. И Николетина, после долгого угрюмого молчания, вдруг загудел:

— Говорил я тебе, что тут кто-то мутит и подкапывается. Так под башмаками и чую, как гад какой-то роет и подтачивает.

Йовица недоверчиво вгляделся в Николины разномастные башмаки, похожие на копыта, и испуганно замигал.

— Неужто правда?

— Не веришь? — почти оскорбленно спросил парень.— Ей-богу, рост. Так это во мне и отдается, такая на меня слабость и оторопь нападает, что просто не чувствую себя больше солдатом... Знаешь, весь я какой-то распоясанный, разоруженный, будто уже в плен попал.

— Вот, вот! — понимающе поддакнул Йовица.— И я что-то такое замечаю, будто тоска какая-то во мне засела...

— Да, да, тоска,— мрачно вздохнул детина.— Я сначала думал, что хвораю от солдатского пайка, а потом гляжу — нет, не в этом дело, а подкапывается под нас какой-то дьявол, точит нас, как червь под корой. Я еще и не видел неприятеля, а уже... черт его знает... будто меня давно кто-то отдал в руки немцу.

— Вот, вот, правильно! — быстро подхватил Йовица.— Растерялся человек, и мерещится ему, что враг его уже за горло схватил.

Дня через три-четыре они все-таки получили малость боеприпасов и двинулись вперед. Два раза они выходили из вагонов, занимали позицию в кустах над железнодорожным полотном, затем опять грузились и продолжали путь. Потом шли маршем и смертельно уставшие, без ужина, расположились на ночлег возле каких-то чабанских хижин, на плато над самой шоссейной дорогой.

Вдыхая знакомый запах сосны, гари и овец, Николетина уныло качал головой:

— Нет, дружище, не похоже это на войну. Всё мы чего-то тянем, всё отходим в горы, будто прячемся от неприятеля.

— Ей-богу, так оно, верно, и есть,— сокрушенно соглашался сонный Йовица.

Когда рассвело, разнесся слух, что ночью офицеры, покинув часть, куда-то сбежали. Брошенные солдаты заметались и загалдели, не зная, куда податься и что делать. Потом они стали группами расходиться, теряясь в сумрачном ельнике. Некоторые двинулись вниз, к дороге.

— Что ж это такое, Йовица? — озираясь спрашивал Николетина, небритый, опухший и страшный.— То ли мне это снится, то ли...

— Да не снится тебе... Видишь, все пропало.

— Что пропало?

— Держава, разве не видишь?

— Откуда мне видеть, горемыке. Вижу только, что войско расползается, а почему, из-за чего?..

— Эх, Ниджо, Ниджо, сдается мне, из-за того самого, что уж давно, как ты заметил, буравит и роет под твоими башмаками.

— Ну да, видишь, вот оно и вылезло на свет божий,— подхватил Николетина.— Смотри ты, как оно снимает с солдат ремни, заставляет бросать винтовки, патроны. Говорил я тебе, что быть нам в плену раньше, чем хоть одна винтовка выстрелит. Проснешься однажды утром и увидишь...

— Вижу, вижу, чего тут говорить... вот оно, это самое утро, и есть.

Они поднялись на оголенный гребень над хижинами, будто оттуда, с высоты, лучше увидят и легче разберут, что делается вокруг. Первое, что наверху донес до их ушей ветер, было какое-то отдаленное жужжание, которое все нарастало и приближалось. Николетина несколько мгновений внимательно прислушивался и вдруг побледнел и пробормотал, уставившись вдаль:

— Вот они!

— Кто, кто?

— Немцы! Неприятель! Вон они за первым поворотом на дороге!

Как будто поставленный здесь дозорным, Николетина взволнованно оглянулся, чтобы дать сигнал о появлении противника. Оглянулся — и остолбенел. Позади — никого. Последние кучки разбредшихся солдат, уже едва различимые, точно муравьи, уползали по далеким пастбищам. Кому подать сигнал?

Угнетенные и безмолвные, парни долго смотрели на ожирший участок дороги, по которому двигалась немецкая мотоколонна. Потом Йовица с трудом выдавил:

— Говорю тебе, погибает держава!

— Погибает, погибает,— задумчиво подтвердил Николетина, будто уверяя самого себя, что это правда.— Погибает без единого выстрела, а я, ей-богу, думал, что одни только жандармы продержатся самое меньшее полгода — столько их было.

Они стояли на гребне, потерянные, одинокие, как сироты. Зябко поеживаясь, будто промокший, Николетина подавленно спросил:

— Куда теперь податься?

— Домой, куда еще,— пробормотал Йовица.

— Это ты хорошо придумал,— невесело усмехнулся Николетина,— а то я совсем что-то растерялся, будто нет у меня больше ни кола, ни двора. Впервые вижу, как пропадает держава, и никак в себя не приду.

Он помолчал и грустно добавил:

— Хоть бы жив был мой покойный дед Тодор, мы бы с ним посоветовались. При нем столько держав сменилось: и турецкая, и австрийская, и... а он каждый раз выпутывался и жив оставался.

Вконец расстроенный, Николетина потерянно поглядел на Йовицу и громко выкрикнул:

— Эх, легко ему было — ведь то все были чужие державы, а мы, горемычные, дожили до погибели своей собственной!

— Хоть голова цела осталась,— нерешительно заметил Йовица.

— Голова? И верно, тут она,— оживился Николетина.— И ноги вот, и руки, и ... А погляди-ка вокруг, брат Йова,— и горы наши тут, и долины, и леса, и нивы...

Будто пробуждаясь от тяжкого сна, он, снова здоровый и крепкий, прояснившимся взглядом посмотрел вокруг.

— Йова, братец ты мой, видишь, цела осталась вся наша прекрасная земля! Наша, наша, слышишь, а не тех, кто там проезжает внизу. Знаешь, ведь даже собака у своей конуры смелее, а человек и подавно.

— Дай-то бог!

— Даст, даст, не бойся! — вырвалось у Николетины.— Запомни, что я, дурак, тебе скажу. Они приехали к нам, как на парад, а как они уедут, того ни один черт не скажет. Так всегда было.

Он сжал губы и весь подобрался, будто готовясь к громадному прыжку.

— Слушай, Йовица, мой злосчастный дед видел спину и турецкой и швабской власти, всех он проводил и пережил, а в нем и сорока ок* весу не было. Ну, что ж, и мы этих или выживем или вышибем, а так дело не оставим, даже если сам бог со всеми святыми того захотят! Мне об этом что-то из-под земли шепчет, так и пробивается сквозь подметки и струится по телу. Слышишь, пусть весь свет плюнет мне в лицо, если я, Николетина Бурсач, снова не опояшусь солдатским ремнем!

Царь и бог

У Оканова Бука уже несколько дней бурлил шумный и пестрый повстанческий лагерь, полный самого разного люда: от босоногих парнишек до едва ковыляющих стариков, которые добровольно шли в ночной дозор, потому что им все равно не спалось по ночам. Как только улеглась шумная сумятица первых дней восстания, между повстанцами и злополучным павеличевским государством установилось нечто похожее на границу, весьма ненадежную и неопределенную...

В эти дни лагерь начал понемногу таять. Те, что не годились к бою или побаивались ружейной пальбы, стали неприметно подаваться в села, укрываясь за спинами десятка людей, вооруженных винтовками, которые вместе с тремя десятками безоружных составляли нечто вроде роты.

Вскоре разнесся слух, что в горах сформирован штаб отряда. Оттуда приходил то один, то другой со звездой на шапке, держали речи. Повстанцы получили командира, а с ним еще одного начальника, который назывался комиссаром. Мало-помалу в голове каждого бойца всерьез начала складываться уверенность в том, что это настоящая рота и ей уже следует вести настоящую войну.

— Ну, братцы, теперь хватит нам прохлаждаться, пришла пора пороху понюхать! — говорил своей ротной братии Николетина Бурсач из Вргеля, тот самый неуклюжий и прямодушный детина, который в первой повстанческой атаке на Будимличи разбил радиоаппарат в жандармской казарме.

— Конечно, армия должна воевать, Ниджо,— озабоченно подтверждал рано ссутулившийся, щуплый паренек, его сосед Йовица Еж.

Первое настоящее боевое крещение рота получила на дороге к Будимличам. Здесь она устроила засаду и легко разбила целую роту домобра-

* Ока — старинная мера веса, немногим более одного килограмма.

нов*. А Николетина Бурсач взял в плен двоих солдат, притаившихся в высоченной траве у ручья.

— А ну, выходите отсюда, нахохлились, что твои куры на яйцах!

— Ого, да ты двоих в плен взял! — радостно приветствовал командир Николетину, видя, как тот выходит с домобранами из ивняка.

— Брось, какое там «взял»,— отбивался парень.— Просто нашел их без винтовок в той осоке у ручья.

— Так или иначе, а все-таки они твои пленные.

— Пленные? Может быть, они и не настоящие солдаты, а обозники какие, и если я кому скажу, что в плен их взял, вся рота меня на смех подымет. Это скорее, по-моему, военный трофей.

— Ну, вряд ли!

Оказалось, что оба домобрана — настоящие солдаты, и Николетина стал страшно серьезным.

— Смотри ты,. и это называется взять в плен... Ей-богу, я думал, что больше попотеть придется.

Вся рота столпилась вокруг пленных. Посыпались угрозы. Того, что поплотнее, кто-то схватил за ухо. Николетина ощетинился.

— Убери руки, братец, тебе его не тятя купил! Тут я свои чакширы по ивняку трепал.

Испуганные домобраны прибились поближе к своему новому хозяину и еще больше стали напоминать двух растерянных и ошалевших кур, которых вдали от дома застала непогода.

— Эй вы, только меня будете слушать. Теперь я для вас царь и бог!

В лагере, отойдя в сторонку к забору, Николетина начал допрашивать своих пленных:

— Вы что, настоящая армия, государственная?

— Да, господин.

— Господ у нас нет,— нахмурился парень,— господа не воюют.

Смотрел он на них, несчастных и взъерошенных, точно мокрые курицы, и думал про себя:

— Что это за регулярная армия, если она так вот сдается простому... простому...

Тут Никола никак не мог придумать, как ему именовать самого себя. Что и он какой-нибудь там солдат, этого нельзя было сказать, потому что нет у него ни формы, ни настоящего оружия, да и государства такого нет, которое бы стояло за его плечами и давало ему «гибиру»**.

Поэтому парень помолчал немного, а потом сказал своим пленным:

— Вижу я, никудышное это государство, коли войска его с первого выстрела рассыпаются, как воробьи. Между нами говоря, братцы, мне бы на вашем месте стыдно было.

— Кого это нам стыдиться? — удивленно вытаращился пленный помоложе.

— В самом деле, кого? — спросил теперь уже самого себя Никола.— Мне бы, например, было стыдно перед женщинами и детишками, которые остались там, в моем селе, и надеются на меня, как на каменную стену. А эти?! Разве их родня какая снарядила, чтобы они здесь, около Оканова Бука, гоняли по чащобе за каким-то Николетиной Бурсачем? В самом деле, кой черт послал вас воевать с нами?

— Заставили нас,— пожал плечами старший из пленных.

Николетине вдруг стало жаль этих растерянных и встревоженных людей, таких же крестьян, как и он. Бойцы его роты уже поснимали с них

---

* Домобраны — регулярные войска фашистского марионеточного правительства Хорватии.

** Искаженное немецкое «Gewehr» — винтовка.

обмундирование и дали им свои лохмотья, так что бедняги еще больше стали походить на кого-нибудь из Николиных односельчан, посаженного в общинный клоповник.

Среди этих невеселых размышлений застал Николетину связной из штаба отряда. Он прибыл со срочным распоряжением тотчас же отправить пленных в штаб.

— Каких это пленных? — прищурился на него Николетина.

— Этих вот двоих,— небрежно и свысока показал связной.

— Какое дело штабу до моих пленных? — подбоченился Никола.— Если им нужны пленные, пусть сами себе и добывают. А эти — мои да божьи.

— Все равно отправишь,— холодно пригрозил связной, сознавая, что представляет высшую власть.

— Вот, ей-богу, не отправлю! — заартачился Николетина.— Я их добыл в бою и теперь, что захочу, то с ними и сделаю. Захочу — буду их резать, свежевать, жарить, кому какое дело?.. Эй вы, а ну, встать!

Домобраны повскакали, бледные, испуганные.

— Смирно! — скомандовал Ниджо.

Пленные замерли на месте.

— Напра-во! — пронзительно и отрывисто выкрикнул детина; когда его приказ был выполнен, он, сторожко наставив ухо, прислушался и нахмурился, подражая капралу югославской армии*.— Плохо, плохо, ребята. Не слышал я, чтобы башмаки щелкнули.

— Да мы ж босые, господин,— пожаловался старший домобран.— Разули нас тут.

— Не вижу, ничего такого не вижу! — заупрямился Николетина.— Ложись! Вставай! Раздевайся!

Боясь, как бы дело не приняло худого оборота, домобраны начали неохотно и медленно раздеваться, и когда дело дошло до штанов, Никола вытаращил глаза:

— Вы что, догола? Всерьез надумали?

— Всерьез, господин. Видим, что пришло время с головой расставаться.

Николетина опомнился и начал остывать.

— Ну, ну, какая еще там голова? Давай одевайся.

Когда домобраны были готовы, парень подозвал ротного повара:

— Дай им обоим по двойной порции, и пусть себе идут в штаб с этим парнишкой... Сам видишь, как я расходился, еще, чего доброго, и вправду люди головы лишатся.

Затем он повернулся к связному и наставительно сказал:

— Вот, видел? Могу сделать с ними что угодно, только не хочу.

— Ух, а я уж думал — обоим крышка,— облегченно перевел дух связной.

— Неужели я тебе в самом деле таким показался? — недоверчиво покосился Никола.— Этаким кровопийцей?

Он немного помолчал и вздохнул с сомнением и тревогой:

— И что только не взбредет на ум человеку, если дать ему власть и силу?! Людей жарить вздумал! За все двадцать пять лет мне это в голову не приходило, а как повластвовал полчаса — измотал людей, раздел догола, и еще немного — зарезал бы, ободрал да зажарил... Эхе-хе, Ниджо, сокол ты мой, смотри, как легко потерять ум и совесть...

---

* Имеется в виду армия, существовавшая до оккупации Югославии гитлеровцами в 1941 г.

Необыкновенные союзники

Второй день холмики и перелески над Черной Водой гремели и сотрясались от винтовочных выстрелов и пулеметных очередей. Реденькие, миролюбивые перелески и орешники, созданные для безмятежного блеяния овец, мычания коров, позванивания колокольчиков и пастушьей свирели!

— Ты только посмотри, Николетина, он как все равно взбесился, этот маленький березнячок,— дивился озабоченный Йовица Еж.— Трещит и стреляет, будто сейчас разлетится на тысячу кусков... Бывало, как зайду я туда с овцами, погляжу, как на березках листья трепещут, так меня сразу в сон и клонит. Э-эх, сколько раз меня будила ругань сторожа и его кизиловая дубинка!

— А сейчас нас, братец ты мой, разбудила, да еще с каким шумом, железная палка! — бурчит Николетина, лежа у пулемета.— Не верь больше ни березе, ни осине. Я теперь и на простую нашу православную корову по-хорошему глядеть не могу, сразу танки мерещатся.

До сих пор на этом участке наседала и лезла в бой только разболтанная и крикливая усташская милиция, от которой было больше шуму, чем дела. Но два дня назад позиции заняла целая рота регулярных войск, легионеров, обученных в Германии. Это дало себя знать уже в первое утро, как только начался бой.

— Ого, это будет кое-что другое,— навострил уши Николетина, услышав энергичные и дружные залпы.— Эти нам, ей-богу, зададут жару.

На другой день, после полудня, когда две партизанские роты были уже оттеснены к самому подножью горы, по стрелковой цепи пронеслась ободряющая весть:

— Из отряда прибыли боеприпасы!

В истории Николиной роты это был первый случай, когда боезапас пополнялся откуда-то со стороны. Это уже было похоже на настоящую армию, на государство, на...

Заряжая запасной диск ручного пулемета, Николетина победоносно оглядел свое отделение.

— Ну, ребята, теперь отступать нельзя. Получили боеприпасы совсем задаром, так какой же подлец теперь побежит с этаким грузом?

Перебежками, под свист вражеских пуль, партизаны занимали новые позиции. Упав в высокий папоротник, за серый камень, Николетина, едва переводя дух, оглядел товарищей вокруг себя и вдруг, вытаращив глаза, изумленно протянул:

— Смотри-ка, кладбище!

— Что ты, что ты говоришь, брат?! — перепугался его помощник Йовица.

— На кладбище мы, да еще на нашем, разве не видишь?

Йовица начал суеверно озираться вокруг, рассматривая потемневшие деревянные кресты, торчавшие здесь и там среди папоротника, верхушки каменных памятников, выглядывавшие из густой зелени, простые нетесаные плиты. Они находились на старом, запущенном кладбище их родного села.

— Что бы это значило, Ниджо, скажи Христа ради?

— Да ничего. Вот еще народу к нам привалило.

— Ну тебя! Чтоб черт... чтоб бог взял этакий народ,— отдувался Йовица.— Нечего сказать, хороша компания — покойники!

— А я на них больше надеюсь, чем на кого другого,— буркнул Николетина. — Они, по крайней мере, не побегут, когда легион на нас полезет.

— Надо думать, не побегут, бог с ними,— с сомнением пробормотал Йовица, укладываясь, наподобие жаворонка, в небольшой ямке.

Противник что-то притих. Пользуясь этим, Николетина попытался точнее определить, в какой части кладбища они находятся. Вдруг он встрепенулся, зорко вгляделся в каменный памятник, за которым, справа от него, лежал Танасие Буль, схватил ручной пулемет, сделал два прыжка и растянулся рядом с Булем.

Танасие удивленно повернулся на бок.

— Что такое, ты зачем сюда?

— Это мое место, а ты ищи себе другое,— отрезал Николетина.

— Какое еще твое? Я его первый занял.

— Ступай, ступай! — нетерпеливо продолжал Ниджо.— Это могила моего покойного деда Тодора. С какой стати мне занимать позицию там, около Джюрджа Майкича, когда тут у меня, в двух шагах, близкая родня?

— Вот дьявол, что еще выдумал! — разинул рот Танасие, продолжая лежать у памятника.— Чем тебе тут дед поможет, когда эта банда опять полезет?

— Поможет, как же иначе. Разве хватит у меня совести, чтобы так прямо и пустить легион шагать по дедовой могиле. Так мне и представляется, что он встанет и давай меня корить: «Бежишь, значит, бессовестный? А сколько раз я тебя на закорках носил, а?»

— Раз ты такой чувствительный, что ж ты ему могилу не огородил, чтобы ее не топтали овцы да коровы? Если им можно, почему легиону нельзя?

— Тьфу, ну и язва же ты! — плюнул Николетина.— Одно дело легион, а другое — добрая крестьянская скотинка. Когда невинная овечка около дедова памятника щиплет травку, дедова душа веселится и поет от радости. А как корова подойдет...

— Избави бог от этих твоих рассказов!

Из папоротника подал голос Йовица:

— Эй, Ниджо, может, и мне переместиться к тебе поближе?

— Давай, давай, перебрасывайся сюда, за куму Стеванию.

— За какую еще Стеванию?

— Да за покойную куму Стеванию Декич. Она тут, где моя левая нога.

— Вот уж занесла нечистая сила! — вздыхал Йовица, ползя и таща снаряжение.— И во сне не снилось, что придется укрываться за какой-то кумой Стевкой.

— А что ты плохого в моей куме нашел, скажи на милость? — вытаращил глаза пулеметчик.— Женщина была, что твой порох: живая, проворная, сущий огонь.

— Хватит с меня огня и от легиона этого самого,— отфыркнулся Йовица.— Только мне и не хватало, чтобы навязалась на мою шею эта твоя покойная кума Стевания.

— Если тебе не нравится рядом с ней, переходи на другую сторону, за свояка Марко Сирикича.

Йовица сердито покосился на холмик, о котором шла речь, и с кислым видом шмыгнул носом:

— Лучше около кумы, а то там колючки.

— Смотри ты, какой нежный!

Танасия Буля Николетина перебросил к какому-то своему покойному дяде. Танасий что-то долго возился и устраивался около ветхого деревянного креста, а потом подал голос:

— Не могли поставить ему камень на могилу! Человеку укрыться не за чем.

— Э, кабы он не пропил все при жизни...

Легион переходил в наступление: на открытый луг, далеко перед кладбищем, высыпали темные фигуры солдат.

— Вот они!

Николетина с сожалением покосился на посеревший камень рядом с собой и добродушно пробурчал, хватаясь за оружие:

— Ну, дед Тодор, теперь затыкай уши!

От первой очереди вздрогнула и загудела земля. Около могилы зазвякали пустые гильзы. Выстрелы раздались и из-за кумы Стевании, и из-за свояка Марко — ожило все кладбище.

— Ого-го, ей-богу, славную панихиду мы устроили нашим односельчанам! — азартно восклицал Николетина, разгоряченный стрельбой.— На том свете, наверно, и самый глухой проснется.

Застигнутые врасплох яростным партизанским огнем, легионеры заколебались и скатились с открытого пространства в неглубокую, поросшую лесом лощину. Николетина обтер горячий пот, сменил диск и подмигнул дедову памятнику:

— Что скажешь, деда, а? Видал, как пятки засверкали?

Тишина. Задумчиво молчит серый камень, испещренный желтым, как сера, лишаем, молчит зеленый холмик. Только сердце пулеметчика глухо стучит о твердую песчаную землю.

— Деда, ты вроде дуешься на меня, а?

Николетина повернул голову и начал составлять в слоги едва различимые буквы на памятнике: «Здесь почиет в мире божием Теодор Бурсач...»

— Гм, в мире божием! Не за это ли ты сердишься, деда? Конечно, что это за мир божий, если у тебя над головой гремят партизанские очереди!

Снова заработали пулеметы противника. Под прикрытием их огня легионеры по всему фронту двинулись вперед. Пулеметная очередь, просвистев, затрещала в кроне дикой груши за Николетиной. Йовица откашлялся и плотнее прижался к земле.

— Ты только держись за мою куму,— подбодрил его Николетина.— К ней сам черт не подступился бы, будь она жива.

Внезапно на фланге противника появилась молодежная ударная рота. Легион заколебался и стал отступать. По всей позиции, приближаясь к кладбищу, катилось, отдаваясь эхом, партизанское «ура!». Началось преследование неприятеля.

Опустившись на колени, Николетина прочувствованно погладил помятый папоротник на дедовой могиле.

— Спасибо тебе, ты меня сегодня хорошо укрыл. Хорошо иметь своего, хоть бы и на том свете.

Все отделение уже было на ногах. Николетина подхватил ручной пулемет за середину, нахлобучил шапку, чтобы не свалилась на бегу, пощупал, в кармане ли ложка, и поклонился направо и налево могилам своих односельчан.

— Простите, кумовья, свояки и соседи, что мы вас потревожили. Знаем мы, что это святое кладбище, а не банялуцкая ярмарка, где стреляют по жестяным зайцам. Но что делать, беда заставила и вас призвать в союзники. Спасибо за помощь и не сердитесь за шум, товарищи покойники!

Беседа о братстве

Когда раненого комиссара отправили в госпиталь, рота сразу затихла и приумолкла, будто ее мокрой кошмой накрыли. Не слышно стало песен, задорных шуток и смеха. Каждый одним ухом так и ловил, кто бы дал какой-нибудь знак для шуток и потехи.

— Эх, кто бы мог подумать, до чего нужен в роте человек речистый да задушевный,— дивился Николетина Бурсач, заместитель командира, и хмуро созерцал носки своих громадных башмаков, будто жалуясь им.

Через несколько дней распространился слух, что комиссаром в роту назначен один мусульманин, Пирго из Козары, уже известный своей храбростью; о нем даже песню сложили:

Во всей Германии нет генерала,
Чтоб сравнился с Пирго-комиссаром...

Услышав о назначении Пирго, Николетина разинул рот, и глаза у него остановились, будто его кто-то внезапно огрел колом.

— Пирго?! Братцы мои, турка к нам комиссаром!

Николетина к тому времени едва-едва примирился с тем, что мусульмане также идут в партизаны. Он знал, что около десятка человек пришло и в их батальон, но так как в его роте не было до той поры ни одного мусульманина, он считал, что все разговоры об этом — лишь «теория», а на практике его «эта блоха не укусит» — ему, мол, не придется увидеть рядом с собой партизана-мусульманина. А тут на тебе: ни больше, ни меньше — комиссар из турок!

— Все-таки я думаю, это чья-то пропаганда,— утешал он себя.— Выдумали от нечего делать наши же крестьяне-баламуты. Не лезет им в голову братство, и все тут.

Все было еще ничего, пока его не вызвали в батальон и официально не сообщили, что к ним в роту действительно назначен новый комиссар, мусульманин Пирго.

— А почему именно к нам, помилуй его бог?! — невольно вырвалось у Николетины.— Засмеют нас эти мошенники из Дядиной роты.

— Почему это они вас засмеют? — серьезно спросил батальонный комиссар.

— Да из-за этого чертова тур... мусульманина, комиссара.

— На то и существует командный состав, чтобы воспитывать людей. Вот, например, ты мог бы подготовить свою роту к приходу нового комиссара.

— А почему именно я? У нас, слава богу, и командир еще жив и здоров.

— Тебя бойцы лучше знают. Командир — рабочий, человек городской.

Николетину прошиб пот.

— Неужели нельзя как-нибудь без меня обойтись? Когда это я речи говорил? Я и двух слов связать не могу.

— Язык у тебя что надо! — прикрикнул комиссар.— Слышал я, как ты готовишь бойцов к бою.

— Так это я их срамлю и ругаю, чтобы не сбежал кто. Это-то я умею — изругать на все корки.

— Вот видишь.

— Верно, друг, но тут речь о братстве,— и Николетина завертел головой,— тут ругань вряд ли поможет. Тут надо политично, издалека.

— Ты давай, как всегда,— подбодрил его комиссар.— Ничего ты издалека не начинай, а сразу режь вплотную, прямо в глаза. Этак у тебя лучше получится.

Озабоченный, вернулся Николетина в свою роту. И как на грех сразу же наткнулся — на кого бы вы думали? — на Йовицу Ежа! Сидит себе Йовица у дверей амбара, латает башмак и ехидно щурится на Николетину. Пронюхал, видно, собака, что-нибудь об этом разговоре в штабе и теперь радуется, что Николетине туго придется. И когда он только успел все разузнать, черт сутулый?

— Ты чего это скалишься, словно вареный заяц? — накинулся на него Николетина.— Уселась ворона на дороге!

— С нами бог! — изумился Йовица.— Что это с тобой?

— Сам знаешь, что! — огрызнулся Николетина.— И кто бы мог подумать, что ты такая язва!

Николетина бросился куда-то мимо амбара, а Йовица остался у дверей, недоуменно соображая:

— Что это с ним, разрази его бог? Будто из осиного гнезда вылетел.

Больше всего Николетину беспокоило, как он будет держать речь в присутствии командира. Со своими, с крестьянами, ему было много легче: изругает их на чем свет стоит, и дело с концом. Но командир человек городской, начитанный...

И тут вдруг, в самый разгар его терзаний, ему улыбнулось счастье. Однажды утром командир отправился в штаб батальона, на какое-то совещание.

— Ну, или сейчас, или никогда! — сказал себе Ниджо, и дрожь, вызванная этим решением, пронизала его с ног до головы.

В те дни рота участвовала в осаде города. Она удерживала возвышенность на восточной его стороне — холмистую местность, усеянную ямами и поросшую кустарником да одиноко стоящими дубами. Время от времени усташи из города стреляли по холмам из гаубиц. Услышав свист снаряда, партизаны скатывались в ближайшую яму и бросались на землю.

Выдвинутые вперед партизанские дозоры могли иногда слышать, как оттуда, где стояли пушки, орет некий Бечура, горожанин, известный своим зычным голосом:

— Эгей, партизаны, вот вам кое-что потяжелее!

Крестьяне отдувались и жаловались друг другу:

— И надоели же, брат, эти турецкие пушки. Нельзя человеку в поле выйти за-за этих бандитов!

Николетина решил свою злосчастную беседу о братстве провести именно здесь, на самых позициях.

Еще с утра на холме перед городом он подстерег Йовицу Ежа и, расставив ноги, остановился перед ним.

— Слушай, Йовец, видел ты когда-нибудь деревенскую молодую?

— Бог с тобой, как же не видеть?

— Ну, тогда запомни хорошенько: когда я сегодня стану в роте речь держать, ты должен сидеть и глядеть перед собой, как молодая на свадьбе. Понял — как молодая!

— А зачем это, брат?

— А вот зачем! Как только ты на меня глянешь своими дурацкими глазами, я сразу и забуду, о чем начал говорить.

— Да я больше тебя буду бояться, как бы ты не сбился.

— Ладно, ладно. А Танасию Булю сейчас же скажи, чтобы он шел в дозор и до обеда не возвращался.

Рота была собрана в просторной лощине приблизительно в центре позиции. Бойцы, увидя, что Николетина устраивается почти на самом верху склона, чтобы быть выше всех, начали любопытно вытягивать шеи.

— Ну, что вы таращитесь, будто перед вами медведь пляшет?

По лощине прошел веселый ропот. Николетина обвел глазами партизан и увидел где-то в середине своего Йовицу, потупившего очи.

— Смотри ты, какой благонравный — прямо сегединская горничная! — пришло на ум сравнение его унтера из старой югославской армии, и сразу стало легче на душе. Николетина почувствовал себя намного увереннее и смелее.

Он посмотрел на своих бойцов, рассевшихся в поломанном папоротнике, на дюжих, беззаботных ребят, и они показались ему досужей компанией бездельников, собравшейся тут в укрытии, чтобы, перемигиваясь, потешаться над его мучениями. И сами собой у него вырвались первые слова:

— Жулики вы этакие, бездельники, ни стыда у вас, ни совести!

Бойцы еще старательнее навострили уши. Коли Николетина так их срамит и ругает, значит речь пойдет о чем-то весьма серьезном.

— Уж не пойдем ли мы в наступление на город? — шепнул кто-то Йовице в самое ухо, но парень не шелохнулся: боялся Ниджо.

— Ничего другого и не делаете, лежебоки здоровенные, только валяетесь в папоротнике да глазеете на меня, как бараны. А спроси вас о чем-нибудь путном, вы и рта раскрыть не можете. Так-то.

— К чему бы это? — забеспокоились бойцы.— Что-то он очень по-ученому начал, издалека.

— Ничего другого и не знаете, как только оговаривать да поносить этих наших несчастных турок,— бушевал Ниджо.— Турки, турки, только от вас и слышишь. А скажи вам кто, что это вовсе и не турки, вы бы так рты разинули, словно белую ворону увидали.

— Что за черт, о чем это он? — вырвалось у кого-то. Николетине почудилось, что он узнает голос Танасия Буля. Вот, скотина, не пошел, значит, в дозор, пронюхал, что Ниджо речь держать будет.

— Вон вы все какие великовозрастные, даже женатые есть,— гремел Николетина, уже совершенно освоившись,— и ни один из вас еще не знает, что эти турки вовсе не турки, а мусульмане, наши братья по крови и языку, и той же веры, болваны вы стоеросовые.

— А, вон ты куда клонишь! — вставил кто-то, догадавшись, в чем дело.

— Да, да, братцы, нечего дивиться! — еще шире расставил ноги Ниджо.— Из самого Верховного штаба пришел приказ, что мы и тур... и мусульмане — братья, и с этих пор вся наша армия должна этого придерживаться.

— Вот дьявол!

— Дьявол или не дьявол, а так оно и будет! — и Николетина поднял руку и пригрозил: — Если только я теперь услышу, что кто-нибудь мусульман назвал турками, я им сам займусь! Что еще за турки!

Не успел оратор закончить фразу, как над лощиной послышался резкий свист, и снаряд, пущенный из города, взорвался и задымил на обнаженном холме повыше роты. Николетина во весь рост растянулся на земле и громко выругался:

— Вот чертовы турки, пропади они пропадом! Пронюхал Бечура, что я говорю о братстве!

Над лощиной рассеивался едкий пороховой дым. Николетина поднялся с земли, отряхнул штаны и, указывая пальцем на город, громким голосом поучительно произнес:

— Ослы вы этакие, видите, что делают те, кто против братства! Даже и меня заставили проговориться. А теперь... кто против братства, пусть идет себе вниз, в город, к усташам, скатертью дорожка!

Любовь и ревность

Когда командир Коста приказал распределить группу пленных итальянских солдат по селам освобожденной территории, чтобы бедняги могли прокормиться и заработать кусок хлеба, их размещение было поручено отделенному командиру Николетине Бурсачу.

— Кому же, как не Николетине, брат. Самое это его дело.

Невозможно было и представить себе, чтобы такое необычное и исключительное дело обошлось без Николетины. С головы до ног он казался просто созданным для этого. Шапка на нем черт знает какая, ни на что не похожа, носище — лучше и не говорить, шинелишка куцая, а башмачищи... Когда этакий молодец появляется перед твоим домом, сразу понимаешь, что пришел он не по какому-нибудь там обычному делу, а по такому, о каком и во сне сохрани бог услышать. А потому и на этот раз ничего удивительного не будет, если Николетина, как с неба свалившись, брякнет:

— На, держи, вот тебе итальянец.

Когда ему отсчитали и вручили семнадцать «зеленых»*, Николетина только переглянулся со своим товарищем из патруля, сутулым Йовицей Ежем.

— Что скажешь, Йовица? Отсчитали, как скотину. Вот задачка-то, не приведи господь. Хоть бы по именам их знать, тогда бы куда ни шло.

Пленных построили в колонну по двое. Семнадцатый, оставшийся без пары, какой-то маленький оробелый горемыка, серый как мышь, оказался в хвосте. Похоже было, что на его долю в жизни всегда доставались синяки да шишки; вот и сейчас, в колонне, он оказался без товарища, без собеседника.

Командир уже объяснил итальянцам наполовину на испанском, наполовину на итальянском языке, куда их отправляют, и солдаты оживились и на марше весело гомонили. Теперь они, по крайней мере, знают, что останутся в живых, а что до остального — хороший солдат всегда на месте разберется.

Только последний, тот, что остался без пары, подавленно молчал и тоскливо разглядывал порыжелый прошлогодний папоротник вдоль дороги. Уже высушенный солнцем ранней весны, папоротник невесело напоминал о прошедшем годе, и о новом, еще не известном, только предчувствуемом, который придет и принесет с собой бог весть что.

Николетина задумчиво смотрит вперед, на узкие плечи маленького итальянца, и говорит, скорее сам с собою:

---

* Прозвище итальянских солдат по цвету их формы.

— Жаль, что не знаю я по-итальянски.

— А к чему тебе этот бандитский язык, не собираешься же ты кошек есть? — враждебно возражает Йовица и еще больше хмурит брови. Он вполне вошел в свою роль конвоира военнопленных.

— Кошек не языком едят, а зубами! — добродушно поправляет его Николетина.— Захотелось мне просто перекинуться словечком с этим вот, последним.

— Разговаривать с оккупантом? — холодно меряет его взглядом Йовица.— Что это с тобой, человече!

— Эх, до чего ты нынче злющий,— морщится Николетина.— Что с тобой стряслось?

— А с тобой что? — парирует Йовица.— Ты сам всегда говорил, что и глядеть-то на итальянцев не можешь?

— Ну, и не могу.

— Хорошо, а сейчас ты что сказал?

— Эхе-хе! — укоряюще протянул Николетина.— Одно дело итальянец, который в колонне движется на наши позиции и шпарит из пулемета, а другое — такой вот горемыка.

— Что же он, по-твоему, не оккупант? — злобно щурится Йовица.

— Если этот — оккупант, тогда я — банялуцкий владыка,— выкатывает глаза Николетина.— Не видишь, что ли, какой он?

— Вижу, ну и что?

— Как, что? Если бы ты хоть что-нибудь понимал, сразу бы увидел, что его в Югославию пригнали из-под палки. До оккупации ли ему, такому-то! Брось ты, ей-богу.

— Ни дать ни взять, как баба на поминках, разохался,— кисло цедит Йовица.

Николетина взрывается:

— Баба, говоришь? А это тебе баба перед городом скосила пулеметом целый грузовик чернорубашечников? Это баба по пояс в снегу без единого выстрела разоружила целое отделение итальянцев? И это бабе, значит, итальянская ракета прожгла штаны на заду?!

— Да ладно, ладно, что ты,— принимается успокаивать Николетину испуганный его гневом Йовица.— Я тебе говорю только вон о том...

— А я тебе говорю вот об этом! — поворачивается спиной Николетина и, задрав до пояса обшарпанную шинель, показывает свои штаны. На широком заду наложена заплата другого цвета, на которой красными печатными латинскими буквами значится: «Тигер, траде марк».

— Вот, видел?

— Что мне смотреть, будто я знаю итальянские буквы. Может, ты это пришил какой фашистский лозунг.

— Лозунг нет ли, а у меня другой заплаты под рукой не было! — уже спокойнее басит Николетина.— Это я для того, чтобы ты и по писанному убедился, что задница моя побывала у оккупантов в переделке.

Их ожесточенная перепалка обеспокоила маленького итальянца, шедшего перед ними и видевшего, что оба они что-то уж очень часто поглядывают на него. Николетина это заметил и потрепал его по плечу:

— Не волнуйся, братишка. Не такой человек Ниджо, чтоб измываться над бедняками.

Маленький итальянец залопотал что-то на своем языке. Николетина только помотал головою.

— Прке-фрке, совсем я тебя, дружище, не понимаю. Имя, имя ты мне скажи, а там мы разберемся.

Пленный развел руками и пожал плечами в знак непонимания.

— Фу ты, черт! — выбранился партизан.— Слушай, я — Никола Бурсач, Никола, понял? А он вот Йовица, Йовица. Ну, а ты?

Николетина указывал пальцем на себя, на Йовицу, на итальянца, повторяя имена и вопрос:

— Никола, Йовица... А тебя как?

— А-а-а! — широко улыбнулся итальянец и стукнул себя в грудь: — Николо, Николо!

— Как, и ты тоже Никола? — радостно заорал Николетина.— Мой тезка? Что же ты мне сразу не сказал? Слышишь, Йовица,— я тезку нашел.

— Оно и видно,— улыбнулся Йовица.

— Да, да, тезка, тезка, самый настоящий, а ты как думал? — довольно гоготал отделенный.— А ты тут одно заладил: оккупант да оккупант, фашист! Откуда ему быть оккупантом?

— Как бы ты не переборщил,— угрюмо усомнился Йовица.

— Не бойся ты ничего. Неужели мне тезка подожжет ракетой штаны? Шалишь, братец!

После полудня Николетина закончил распределение пленных. Остался у него только тот непарный солдат, Николо. Он никому не приглянулся, а отделенному не хотелось самому предлагать его кому-нибудь.

— Куда мы теперь денемся с этим твоим тезкой? — спросил в конце концов Йовица и оглядел пленного кисло и неприязненно; дело в том, что злосчастный иностранец казался ему весьма похожим на него самого.

— Эге, кому попало я его не отдам,— протянул нараспев Никола.— Этого я отведу прямо к своей тетке Ружице.

— Давай, давай, дело твое. С тобой сегодня сладу нет.

Николетина его почти не слушал. Покровительственно и влюбленно смотрел он на незадачливого солдатика, почти мальчишку. В случае надобности он готов был ссориться из-за него, бороться, драться. За пулемет бы взялся из-за него, если б подошла такая крайность.

— Эх, ты, мой итальянчик, мой Николица, отведет тебя тезка к тетке Ружице и станешь у нее жить как у Христа за пазухой.

Он обнял пленного за плечи, и так они шли по плоскогорью, словно два старинных знакомых, два товарища — старший и младший, покровитель и подопечный. Плетясь позади, Йовица искоса, ревниво поглядывал на них.

— Йовица, Йовица, посмотри, как он, подлец, смеется! Только что не говорит.

В ответ на эти растроганные Николины вопли Йовица только сердито вскидывал карабин и бурчал под нос:

— Плевать мне, что фашист смеется.

Не слушая его ответов, Николетина снова сообщал:

— Смотри ты, уже разговорился, освоился. Человек — он человек и есть! Что итальянец, что наш. Слышишь ты, Йовица?

— Ты бы дал ему прочитать надпись на твоем заду,— ядовито ответил Йовица.— Он, надо быть, к этому делу причастен.

Но и эта отравленная стрела пролетела мимо Николина уха. Всецело занятый своим подопечным, он слушал и видел только то, что этот, еще несколько часов назад непонятный и далекий чужестранец, с той стороны моря, принадлежащий к иной вере и к иному народу, неприятель с другой стороны фронта у него на глазах превращался в близкое и родное человеческое существо. Еще немного, казалось ему, еще немножко — и пленный заговорит простым и понятным языком паренька, возвращающегося с чужбины домой.

Так и оставил его Николетина в теткином доме. Остался добрый маленький Николо с невысказанными словами дружеской нежности, вертевшимися на кончике языка, а отделенный, купаясь в шумной пене радости, пустился по зеленеющему плоскогорью.

— Видел, Йован?

Йовица шагает молча, будто не слышит. Николетина закидывает руку ему на шею широким жестом, будто обнимая Грмеч.

— Да разговорись ты, Йовец, чего куксишься, будь ты неладен.

Йовица только сердито фыркнул, сбросил с плеча Николину руку и отстранился.

— Да ну же, Йовица, чего ты?

— Тебе есть теперь с кем обниматься. Вон с тем фашистом.

— Брось ты, Йовандека...— начал Никола, раскрывая объятия, но Йовица прервал его каким-то хриплым, прерывистым голосом:

— Забыл ты Йовандеку, будто его никогда и не было, у тебя теперь получше компания.

— Глянь, глянь, вот оно что,— прищурился отделенный, будто внезапно напал на подозрительный след.— Тут вроде кому-то жалко стало, что я того несчастного мальчишку...

— Жалко не жалко, а здесь перед нами расходятся две дороги, и ступай ты себе по одной, а я пойду по другой! — решительно и непримиримо прервал его Йовица.— До штаба можем дойти и порознь. И никогда мы не были бог знает какими друзьями, а теперь и это позади.

Йовица направился через заросли по левой тропинке и, не оглянувшись, исчез в кустах. Николетина мрачно посмотрел на последнюю качающуюся ветку, огляделся вокруг и отмахнулся от голубого мотылька, порхавшего перед самым его носом.

— Брысь! Или и ты за итальянца злишься?

Назойливый мотылек снова вернулся и сел ему на рукав. Николетина затаил дыхание, разнеженно поглядел на притихшего летуна и прогудел:

— Ладно, ладно, сиди уж. Найдется у Николы место и для тебя. Не такая я горячка, как этот взбалмошный Йовица... Эх, как приду, и изругаю же его — как собаку. Верь моему слову, друг мотылек!

Расчет с богом

Николетина Бурсач, партизанский отделенный командир, завернул на ночевку к матери. Сидит он у окна, барабанит пальцами по столу и со строгим выражением лица слушает, что говорит старуха.

— Сынок мой, только бы оборонили тебя господь бог и святая троица, только бы ты жив остался, а об остальном я и не думаю.

Николетина только фыркнул в ответ и молча протянул табакерку пленному итальянцу, который уже некоторое время жил и работал у Николиной матери.

— Не поможет ли милостивый бог, чтоб эта война поскорее кончалась? — вопросительно поворачивается к Николетине старуха, но он только курит, мрачно уставившись в угол. Рядом с ним, на скамье, итальянец гладит кошку и приговаривает:

— До́бро, до́бро *.

* Хорошо, ладно *(серб.)*.

Из сербских слов итальянец быстрее всего заучил слово «до́бро» и, хотя теперь он знает изрядное количество других, охотнее всего пользуется именно этим словом, уверенный, что уж оно-то его не подведет. Для него «до́бро-до́бро» — и когда начинается гроза, «до́бро», когда ему предлагают поесть, «до́бро», когда он выгоняет свинью и когда откликается на ребячий гомон...

Николетина, добродушно насупясь, смотрит на итальянца, на кошку, а потом обращается к матери:

— А как этот твой... ест он кошек, или это так просто, пропаганда?

— Да что ты! — удивленно отмахивается старуха и, усмехаясь, глядит на итальянца.— С чего это крещеный человек станет кошек есть, бог с тобой!

— До́бро, до́бро! — на всякий случай поддакивает пленный и улыбается обоим.

Николетина снова хмурится, молчит, жует губами, а потом выпрямляется на стуле и откашливается. Мать, насторожившись, поднимает голову от очага и ждет, что скажет парень.

— Мать! — торжественно начинает Николетина и ударяет ладонью по столу.— С сегодняшнего дня знай: бога нет!

Пораженная, старушка застывает с кочергой в руке. Она не верит своим ушам.

— Что ты сказал?

— Бога, говорю, нет, слышишь?

— С каких это пор, сынок? Что это ты?

— С сегодняшнего дня, так и знай...

Старая крестится и вздыхает:

— Ах ты, беда какая, да от кого ты это слышал?

— Слышал в роте, от комиссара. На днях он нам сказал.

Старуха качает головой и горестно цокает языком.

— Кто ж нам пошлет дождичка, если бога нет?

— Никто не пошлет. На что нам дождь? — отвечает детина.— Как освободимся, пахать будем на характере. Дождя тогда вовсе не понадобится.

— Что это за характер такой, родимый?

— Характер... это машина такая, едет сама собой и пашет горы и долы.

— Эх, сынок мой, сынок! — пригорюнивается старуха и обращается к итальянцу: — Слышал ли ты это, родимый?

— До́бро, до́бро! — встревоженно, со смиренным видом подтверждает итальянец, примечая, что разговор идет о чем-то важном.

Николетина откашливается, будто проверяя свое ораторское оснащение, и переходит в новую атаку:

— Какой еще там бог! Где это ты видела бога, что так в него веруешь?

— А где ты видел этот свой характер, что пашешь им и горы, и долины?

— Нам комиссар рассказывал. Пятьдесят человек это слышали.

— Так и я слышала бога. Как загремит он на небесах, слышат его все державы от Боснии до Лики, не то что твои пятьдесят человек. Ну-ка, скажи, кто ж это тогда наверху гремит и сверкает, коли бога нет?

Парень ерзает и невнятно бубнит:

— Гм, гремит! Что ты меня все спрашиваешь, тут тебе не школа. Известно, что гремит.

— Ну, а что все-таки, что? — наседает старуха, нащупав слабое место Николетины.

— Что ты ко мне привязалась, как банный лист? — ворчит парень.— Раз тебя так заело, я спрошу у комиссара, тогда и узнаешь.

— Спроси, спроси! — ободрилась мать и уже начала было посмеиваться: — А нас кто сотворил, дорогой сыночек, коли бога нет?

— И это известно.

— Все тебе известно. Ну, раз ты такой умный,— скажи-ка, кто создал солнце, раз бога нет?!

Николетина видит, что продолжение разговора поставит его в весьма затруднительное положение, и прибегает к высшим авторитетам:

— Бог с тобой, мать, ведь не я это выдумал, пришел приказ из штаба отряда. Раз командование говорит, что бога нет, значит нет его, и точка!

— Что ж ты сразу не сказал, дурень этакий! — стихнув, говорит старушка и перестает сердиться на сына. Она родом из Лики, граничарка*, и еще родителями приучена почитать войско и его приказы. Поэтому она не собирается спорить и против этого приказа насчет бога. Раз войско говорит, что бога нет, значит надо слушаться — войско знает, что делает.

Примирившись с судьбой, старуха поворачивается к итальянцу и пожимает плечами.

— Вот какие дела, голубчик ты мой, слыхал: нет его, бога-то. Вышел такой приказ, что тут поделаешь? Храни господь нас и наш дом.

— До́бро, до́бро! — соглашается пленный.

Николетина тем временем скручивает новую цигарку; он молчит, ощущая какое-то недовольство собой. Говоря по совести, старуха приперла его к стене своими каверзными вопросами. Надо — он это прекрасно понимает — ответить ей толком, но что поделаешь, если Никола всего этого и сам не знает?

Как же он, в сущности, поступил?

Увильнул, брат, увильнул самым трусливым образом: укрылся за авторитет штаба и командования. Нечего сказать, герой! Если мы и дальше так станем действовать — давить на людей страхом и командой, тогда и Николетину, чего доброго, кто-нибудь возьмет да и провозгласит богом! Поглядим тогда, кто осмелится спорить.

Николетина помрачнел при мысли, куда могла бы завести его только что взятая им линия, и проворчал:

— Ну, нет, комиссар, так дело не пойдет. Сначала ты мне разъясни, и отчего гром гремит, и откуда человек произошел, и мало ли что там еще, а когда я все это буду знать, тогда и насчет бога рассуждать смогу. Тогда я и старухе объясню да и сам разберусь, верно ты мне сказал или нет.

Он посмотрел на мать и пробормотал:

— И откуда только у нее эти ехидные вопросы? Она и самого политкома бригады поколебала бы, а не то, что меня, простого отделенного, так сказать, самый младший командный состав. Эх, мать, я и не знал, какой агитатор за господа бога есть в моем доме.

---

* Граничары — жители Военной границы (область между Боснией и Хорватией), служившие в полурегулярных войсках, которые Австрия держала здесь до 80 х годов XIX века.

Развязанный Николетина

Неожиданно, точно во сне, от Николетины и Йовицы скрылось сияющее и радостное небо восстания. Хлоп! Вдруг провалились люди в бездонную яму, во мрак четницкой тюрьмы, заваленной снопами ржаной соломы и разной рухлядью. Над головой — обветшалая кровля, полная осиных гнезд. Одним словом, заперли их в одной из служб какого-то большого хозяйства. К кулаку, как определил Николетина.

— Охо-хо, незавидная наша доля, попали как кур в ощип,— вздыхает Йовица. — Хоть бы знать, правильно ли мы вели себя перед классовым врагом.

— Гм, вели себя! — кисло мямлит Никола.— Нечего сказать, хорош классовый враг — зипунники с Манячи! Нет у них ни веры, ни класса. Накинулись на нас в темноте, попробуй-ка, веди себя правильно. Я только и успел двинуть двоих-троих по морде да отца ихнего помянуть — вот и все мое поведение.

— И этого, я думаю, хватит с нас, простых крестьян,— сокрушенно заключает Йовица.—Будь мы поученее, может, что и умнее придумали бы.

— Если, брат, сила навалится, тут и ум не поможет! — презрительно заключает Николетина.— Будь на моем месте хоть три комиссара, и то в такой темнотище четникам сильнее бы не досталось. Одному я ухо ободрал, как липку.

— А я все думаю, брат, должно быть, они нас этой ночью ухлопают,— тоскливо пророчествует Йовица.— Что скажешь, Ниджо?

— Надо полагать, на свадьбу не позовут,— гудит Николетина.— Ухлопают, как пить дать, ухлопают.

— Да-а... Надо бы нам немного подготовиться...

— К чему?

— Да к этому... к беде этой, брат Ниджо.

— Как это подготовиться? Не звать же попа, чтоб исповедаться?!

— Какого еще попа, пес с ним. Давай сообразим, какие лозунги будем кричать, когда нас на расстрел поведут.

Николетина только отмахнулся.

— Выкрикивай, какие хочешь, а я и не пикну! Это перед козопасами какими-то, неряхами неумытыми? Они и знать не знают, что такое лозунг!.. Уж лучше их обругать как-нибудь, хоть поймут, по крайней мере.

— Ну да. Но ведь ты слышал, как там разные наши герои...

— Кабы я был герой, а то так... незачем простому человеку лезть в тонкое дело. Не про меня это. Нос там кому-нибудь откусить во время расстрела — это бы мне еще подошло, а то...

— Это уж чересчур просто, не по-ученому,— хмурится Йовица.— По-моему, в таких обстоятельствах не так поступают.

— Не знаю, Йован. Меня первый раз в жизни расстреливают,— признается Николетина и принужденно усмехается.— Кабы найти где-нибудь пылинку табаку, легче было бы это перенести.

Два дня назад, при штурме города, партизаны попали в ловушку. Николина рота была рассеяна, а сам он и Йовица, отрезанные от остальных, с трудом перелезли через какие-то садовые ограды и добрались до холмов на другом конце города. Здесь на них, растерянных и измученных, из темноты навалились четники воеводы Джюкана — «Хавроньи» и похва-

тали их живьем. Их вели и вели какими-то лесами да буераками, а к ночи заперли в этом старом строении, полном мышиного писка и возни. Вот и все.

Йовице не сидится, он вертится, кряхтит и разглядывает свои связанные руки. Николетина лежит, как колода, прислонившись к большому снопу ржаной соломы, и упорно молчит.

— Как это ты так? — не выдерживает Йовица.— Лежишь и молчишь, будто тебе и дела нет.

— Отдыхаю от революции,— кратко отвечает Николетина.— Для меня это единственный случай.

— Обошлись бы мы и без этого случая,— ворчит Йовица и снова ерзает, устраиваясь поудобней.

После полуночи узников выводит из полусна какой-то разговор и звяканье за дверьми... За ними пришли.

— Послушай, Ниджо... не крикнуть ли нам сейчас лозунг о нашем войске или Красной Армии? — всполошился со сна Йовица, выбираясь из соломы.

— Да брось, Йова. Нет у этих болванов уха на такие вещи. Лучше уж заблей перед ними бараном — это им понятнее всего.

...Их вытолкали наружу, под звездное небо, и, посовещавшись, патруль погнал их по дороге. Вели трое четников.

— Опять нас куда-то гонят,— забубнил Николетина.— Не будет расстрела.

Позади надсадно заскрипел чей-то сиплый голос, вероятно, старшего в патруле:

— Молчать, никаких разговоров.

Николетине голос показался странно знакомым. Он уже представил себе красный шмыгающий нос и опухшие глаза. Кто бы это мог быть?

Чтобы заставить неизвестного опять заговорить, он громко сказал:

— Какие там разговоры. Мы еще в сорок первом обо всем договорились.

Неизвестный, опешив, сердито бросил:

— Вот именно договорились, оно и видно.

— Уж лучше, чем вы, как ни верти,— отрезал Николетина, а в памяти его уже вставало какое-то лицо с растерянным, унылым взглядом. «Постой-ка, кто ж это?»

— Ты бы, братец, попридержал язык,— неуверенно пригрозил неизвестный.

— Как же, испугался я тебя, прямо помер со страху! — заартачился Никола, и в эту минуту перед его глазами явственно всплыло лицо говорящего. Ну конечно это Янко Несванулица из Бабиной Греды, его товарищ по начальной школе. Год просидели за одной партой.

— Эх, Янко, Янко, до чего ты докатился.

— Откуда ты меня знаешь? Ты кто?

— Сколько раз я с тобой куском делился, уроки списывать давал.

— Так это ты... Бурсач? Я сразу догадался.

— Янко, Янко, и ты, выходит, угодил в банду?

— Сами вы банда! — затверженно, почти машинально отпарировал Янко.

— Эх, Янко мой, дуралей ты мой,— уже с выражением превосходства и сожаления продолжал Николетина, не обращая внимания на то, что Йовица тычками давал ему знак замолчать.— Знаешь ли ты хотя бы, за что борешься, а?

— А ты будто знаешь.

— Ясно, знаю,— подзадоривая, подхватил Никола.— Борюсь за рабочих и крестьян всей страны, за твоего горемычного батьку Обрада и

мою мать Марию. Страдаю и муку принимаю, чтоб они зажили получше.

— Ты, брат, уклоняешься влево,— зашептал Йовица.— Мы боремся в первую очередь за освобождение страны от оккупантов и собственных...

— Подожди ты, не мешай! — отмахнулся Николетина.— Ну-ка, скажи, а ты за кого борешься, Янкич, яблочко мое?

— За короля и отечество! — вяло отозвался вопрошаемый.

— Видно, много тебе этот король дал, коли ты так за него заступаешься? — продолжал насмехаться речистый Ниджо.— Сидит он себе в Лондоне, уписывает пироги да яичницу, пока ты, блаженный Янкеля, треплешь свои собственные опанки по горам.

— Смотри, Ниджо! — оскорбленно пробормотал Янко.— Ответишь ты за это.

— Перед кем, дурень несчастный? Не перед этими ли твоими бородачами *, которые тебя муштруют и гоняют, как скотину. Ну, скажи, чему хорошему ты за эти полтора года войны выучился, а?

— А ты чему? — ядовито возразил четник.

— Эге, чему! Тебе бы неделю пришлось слушать. Вот, скажи, например, кто сейчас наши главные союзники?

Янко молчит. Это еще больше подзадоривает Николетину.

— Ага, ясное дело, не знаешь. Советский Союз, Англия, Америка и все свободолюбивые люди всего человечества! Вот, слыхал?

Позади, во вражеском лагере, снова воцаряется тревожная тишина.

— А чьи союзники мы, крестьяне? — со злорадством продолжал Николетина.— Ясно, и этого ты не знаешь. Мы — союзники рабочего класса и вместе с ним составляем фронт трудящихся, которые после освобождения будут править всей нашей страной.

— А король, а правительство? — вырвалось у Янко.

— А пускай он себе разъезжает по свету, все равно делать ему нечего, а у нас будет управлять райя, беднота, такая, как твой батя Обрад.

— Где ж моему бате управиться с целой державой?

— Подожди, брат, научится.

— Гм, как-то это все... Крестьянин человек темный, неученый.

— Да, коли нас господа дурачили,— не утерпел другой четник.

— Вот именно, это самое я и хотел сказать! — закричал Николетина.— Видишь, как этот товарищ четник все прекрасно понимает.

— Ну да, господа нам рта раскрыть не давали,— ободрившись, продолжал четник.— Слово скажешь, а он тебя за воротник: молчать, говорит, скотина деревенская, много ты понимаешь.

— Верно, так оно и было.

— Это я и сам знаю! — ввернул Янко.

— А раз знаешь, чего ты с четниками связался?

— Разве я по своей воле пошел? Заставили, брат, меня, мобилизовали.

— Прикладами гнали,— подтвердил другой конвоир.

— Так идемте с нами, дураки вы этакие, пока не поздно.

— Да, чтоб нас там расстреляли,— нерешительно протянул Янко.

— Кто тебя расстреливать станет, что ты вздор мелешь? Поторопись, пока есть еще время, а то потом, как притянем тебя к ответу...

— Кто это притянет?

— Известно кто — мы. Я вот первый.

Янко с сомнением протянул:

— Как это ты? Сам видишь — ты связан, ведем мы тебя к высшему начальству, а ты еще грозишься, судить нас собираешься.

* Четники отпускали бороды, давая обет не бриться до восстановления югославского королевства.

— Эх, Янко мой, дуралей мой, неужели ты думаешь, что можешь всерьез меня связать? Прошло то время, дружище! Я в сорок первом развязался на вечные времена, и теперь хоть наводи на меня пушки, куй самую твердую сталь — ничего не поможет, я больше себя связать не дам.

Николетина обернулся, презрительно, с высоты своего роста, поглядел на своего конвоира и продолжал:

— Думаешь, вы чего-нибудь добились тем, что обмотали мне руки вашими паршивыми веревками? Эх, дорогой мой! Можешь меня расстрелять и бросить в самую бездонную пропасть, а я все равно, когда настанет час, приду тебя судить, понял?

Конвоиры начали переглядываться. Янко кисло процедил:

— А, пустяки все это.

Николетина вдруг остановился и строго приказал:

— Живо снимай у нас это с рук и пошли с нами! Надо и из вас людей сделать. Давай, давай, чего уставился, пошевеливайся!

Янко остановился, нерешительно поглядел на своих товарищей и, подойдя к Николетине, начал развязывать стягивавшую его руки веревку. Когда все было кончено, он секунду-две подержал веревку в руках, а потом бросил в траву.

— Вот, Никола, теперь делай что хочешь.

— Ты, Янко, опять в кусты... Не могу я делать, что хочу, только то могу, что наша правда велит. Давай сюда твою дружескую руку и пошли вместе.

Янко снял винтовку, отдал Николетине, крепко пожал ему руку и с облегчением спросил:

— Ну, теперь правильно?

— Конечно, правильно. Коли сам не знаешь урока, спиши у меня, как раньше делал. Сильный ученик должен помогать слабому, у нас это правило тоже есть. Не так ли, Йовица, мастер ты мой на лозунги!

Обременительный спутник

Отделенный командир Николетина направляется из штаба бригады в штаб тыла. Он несет с собой почту и три миллиона лир, а вдобавок ему всучили маленькую еврейскую девочку лет шести. Девочку надо передать тыловому командованию, чтобы ее пристроили в каком-нибудь селе на свободной территории.

— Ну что я буду с ней делать, люди добрые? — недовольно бубнит Николетина и кисло глядит на ребенка.— Откуда мне знать, как с детьми обращаться? Не умею я этого.

— Вот еще! Мина она, что ли? — стыдит его писарь.

— Не мина, а все-таки... А если мне на дороге из танков поддадут? Разве она отступать может?

— Эхе-хе, вот ведь ты, братец, какой! — добродушно укоряет писарь.— Со своим пулеметом раз пятьдесят отступал и наступал, а тут ему тяжело девочку подхватить да бегом! Видишь, какая она легонькая, прямо перышко.

— Гм, перышко! Одно дело — пулемет, а другое — живая душа.

— Вот те на! — раздражается писарь.— Мы тут ребенка из самого

пекла вытащили, из усташского грузовика, а ты вон как? Хочешь, чтоб мы ее бросили, что ли?

— Ну тебя к богу! Разве я такое говорил? — ощетинивается парень.

Девочка сразу же послушно и доверчиво следует за отделенным.

Ниджо приятно, что ребенок его не сторонится, и он спрашивает, все еще насупленно:

— Боишься ты меня, маленькая?

— Не боюсь,— отвечает девчонка и смотрит на него открыто и спокойно большими темными глазами, так что он смущенно отводит взгляд в сторону и басит:

— Смотри ты, как смело глядит, будто большая. Гм, уж как женского пола, так и самого бога не боится.

Смотрит он на нее украдкой и дивится: какой же она веры, рыжая такая? Давеча будто бы говорили жидовской или еврейской, как это там называется.

— Слушай, а как тебя зовут?

— Эрна.

«Эрна! Это что же за порода такая? То ли турецкое имя, то ли немецкое? А может, и евреечка, кто ее знает... Эх, Ниджо, Ниджо, как видно, поводишь ты в этом восстании всякие нации».

Отделенный ускоряет шаг и спрашивает:

— Кто ты, маленькая?

— Простите?

— Я не архиерей, чтобы прощать. Кто ты, я говорю?

— Девочка.

— Это я и сам вижу, что девочка, а не командир, скажем, противочетницкого батальона!— останавливается Николетина, выпучив глаза.— Я тебя спрашиваю, кто ты — сербка там или хорватка, или мусульманка?

Девочка тоже останавливается, смотрит на нахмуренного, широко расставившего ноги солдата с автоматом в руках и вдруг начинает дрожать, не спуская широко раскрытых остановившихся глаз с лица Николетины.

— Ну, что с тобой? — хмурится отделенный.

— Дяденька, ты меня убьешь? — лепечет ребенок.

— За что, дурочка? Что это ты вдруг?

— За то, что я еврейка,— шепотом говорит девочка.

— Да ну тебя к богу! — сердито гаркает отделенный.— Что я, фашист, что ли? Что это еще за пропаганда?

Эрна продолжает не мигая смотреть на Николетину. От такого рослого и нескладного детины всего можно ожидать.

— Ну, чего ты застыла, как богородица деревянная? Боишься меня?

— Боюсь,— шепчет девочка.

— Боюсь, боюсь! Ну, что же мне делать? Вот, хочешь, неси автомат, если боишься, что я тебя убью. На, держи!

Николетина вешает девочке на шею автомат и раздраженно ворчит:

— Вот сподобила меня нечистая сила с тобой связаться. Теперь убеждай тебя тут целых полчаса. Ну, боишься еще?

Девочка опускает глаза, моргает и нерешительно говорит:

— Боюсь.

— Что за черт! — хлопает себя по бедрам Николетина.— И чего ты боишься, ни дна тебе, ни покрышки, чего, скажи? Ну, и я тоже еврей, как и ты, клянусь Николаем-угодником. Думаешь, нас меньше преследовали, чем вас? Черта с два.

Девочка молчит, опустив глаза, вся в тени своих длинных ресниц. Искрятся только ее тяжелые бронзовые волосы. С какой стороны теперь к ней подойти?

— Ну, хорошо, брат, чего ты еще от меня хочешь? — разводит руками отделенный.— Разоружила меня, веру я из-за тебя переменил, капитулировал, как старая Югославия, а ты все... Хочешь, прыгну в этот ручей внизу? А?

Николетина подходит к деревянному мостику и склоняется над узким омутом, затянутым ряской.

«Здорово бы я разукрасился, если бы плюхнулся туда!» — думает он про себя.

Девочка исподлобья жалобно глядит на партизана и трогается с места.

— Пошли, что ли? — спрашивает Никола.

— Пошли,— грустно отвечает ребенок.

Девочка плетется за Николой с автоматом на шее. Немного спустя она несмело говорит:

— Дяденька, мне тяжело нести ружье.

— Еще бы не тяжело. Ну, давай я тебе его понесу.

Понемногу девочка успокаивается и становится увереннее. Она начинает задавать вопросы.

— Дяденька, а на какую улицу мы сейчас идем?

— Что ты говоришь?

— На какую улицу мы идем?

— О чем ты толкуешь? Какая тебе еще улица? Ничего я у тебя не понимаю.

— Уф, дяденька, до чего ты глупый.

— Это твой дядя глупый?

Николетина пасмурно смотрит на девочку и бурчит:

— Смотри ты, к улицам привыкла. Нет здесь никакой улицы. В лес мы идем, душа моя.

— Но ведь в лесу разбойники,— пугается девочка.

— Эге, разбойники! И ты, значит, поддалась на их пропаганду? Разбойники — в городах, на этих твоих улицах.

Они медленно бредут в гору по редкому, шепчущему березняку. Внезапно девочка в страхе бросается к Николетине и хватает его за рукав.

— Дяденька, там волк!

Николетина сверкает глазами в направлении ее взгляда и насмешливо басит:

— Гм, вон он, твой волк! Не видишь разве, что это чей-то осел?

Он неприязненно оглядывает животное, будто оно перед ним в чем-то провинилось, и сердится.

— Волк, скажи, пожалуйста. Кто теперь из нас двоих глупее, ну-ка?

Перед дубовой рощей Никола останавливается и поправляет пояс с висящими на нем тяжелыми дисками.

— Ну как, маленькая, устала? Присядем, что ли?

Он опускается под первым же дубом, вытягивается во весь рост и, кладя под голову сумку с миллионами, разнеженно мурлычет:

— Эге, умела когда-то буржуазия жить: миллионы под голову да в холодок, вот и все дела.

Он уже начал было погружаться в сон, как вдруг его всполошил крик девочки:

— Ой, что это? Дяденька, дяденька!

Николетина мигом сел и с ошалелым видом стал вглядываться в лес. У ближнего ствола мелькнула неясная тень и зашмыгала по веткам.

— Ну, что опять? Вот это? Да ведь это же белка, накажи тебя бог, что ты панику поднимаешь? Белка это, дурочка, чего ты боишься... А я уж подумал, не вражеская ли разведка.

Не спуская глаз с дерева, девочка начала пододвигаться к Николетине.

— Дяденька, мне страшно.

— Вот те раз! — всплеснул руками отделенный.— Так я и знал, что хлебну с тобой горя. А что еще будет на дороге, если оттуда навалятся танки? Как ты тогда испугаешься? Обнаружишь нас своим визгом, и пропали мы с тобой.

Эрна посмотрела на него умными, серьезными глазами:

— Я, дяденька, танков не боюсь.

— Ого, вот так так! — разинул рот отделенный.— Танков не боишься, это ты-то, такая трусиха?

— А вот и не боюсь. Они каждый день проходили по нашей улице. И эти маленькие-маленькие и большие. Взрослые их боятся, а мы, дети, нет.

— Вот оно как, смотри ты!

— А ты, дяденька, боишься танков?

Николетина прокашлялся и растерянно огляделся вокруг, словно опасаясь, что его кто-нибудь услышит.

— Да как сказать... Гм! Вот ведь ты какая. Раз ты не боишься, с какой стати мне-то бояться? Так просто... Неприятно на него глядеть, как полезет в гору, а вообще-то, гм...

— И черт на нем нарисован,— весело добавила девочка и вскинула брови.

— Это ты правильно,— серьезно согласился партизан и задумался.

Девочка несколько раз обошла вокруг Николетины, пытливо заглядывая ему в лицо. Потом приблизилась и осторожно ткнула его в плечо пальчиком.

— Дяденька, а ты чего-то испугался?

— Да нет, что ты, детка. С чего бы? — встрепенулся Ниджо, до глубины души тронутый этим дружески заботливым вопросом чужой девочки. Чтобы скрыть волнение, он смешно надулся и с упреком проговорил:

— Что это ты заладила все «дяденька» да «дяденька»? Меня зовут Никола... Дядя Никола, так сказать.

Отделенный командир закинул сумку за спину, взял автомат и, подтянув ремень, деловито сказал:

— Ну, пошли, товарищ Эрна?

— Пошли, дядя Никола.

Роковой спектакль

Идут военные годы, в Николину роту придет еще немало ученого народу и разных школяров, но никто больше не придется так по сердцу ее людям и не будет столько значить для роты, как первый ее гимназист.

— Эх, Гимназист наш!

Будут помнить и «гимназиста из Бихача», который пришел в отряд после освобождения этого города; и веселого школяра, прозванного «парнишкой из Нового»; и «вечного студента» (из учительской семинарии исключен, из коммерческого училища сам ушел!); и «ученика-монашка» из Санского Моста; и «второгодника» из местечка Притоки... Каждый из

них или имел какое-нибудь прозвище или назывался просто по месту, из которого пришел. Только первый в роте гимназист остался ничем не отмечен и свободен от клички, остался только «Гимназистом», и ничем больше. Гимназист — было его занятие, «Гимназист» — стало его именем в роте, и, хоть жил он и воевал, как всякий другой боец, он все-таки продолжал для всех оставаться гимназистом, а не партизаном, скажем, омладинцем * или кем-нибудь еще.

Были потом в роте школяры и пригляднее, и ученее, и храбрее, но никто не умел так хорошо и так увлекательно рассказывать обо всем прочитанном и выученном, никто не был так мил и простодушен, как этот худенький и бескорыстный говорун. Бойцы знали, что он сирота, крестьянский сын, как и все они, что он знает, что такое суровый, черствый дядя, ночлег в пустом сарае, пробуждение на зябком рассвете, пыль и пот молотьбы. В нем видели своего мальчишку, тощего и изголодавшегося, но все еще жизнерадостного и упорного, чтобы где-то там, в городе, в таинственной гимназии, яростно и весело схватываться один на один с книгой и наукой. Да, он был первым из их среды, который преодолел науку, первым, кого они видели своими глазами и слышали своими ушами.

— Играет наукой, как мячиком! — сказал однажды изумленный Николетина. И это каким-то образом придавало храбрости каждому бойцу в роте: если может он, почему не сможем когда-нибудь и мы или, по крайней мере, кто-нибудь из наших помоложе?

— Славный он, этот наш Синенький, добрая душа,— без ревности признавал Николетина, посматривая откуда-нибудь из-за угла на голубовато-прозрачное лицо увлеченного рассказом подростка.— Ты только погляди на него: рта не закроет, не успокоится, будто огонек в нем какой-то горит.

В своей грубоватой, ворчливой любви к гимназисту он выдумал и слегка насмешливое прозвище «Синенький» (из-за голубоватого от худобы лица мальчика), но это новое имя не пристало к парнишке. Все стеснялись произносить его при Гимназисте, им казалось, что это будет насмешкой и над книгой, и над наукой. Только когда они оказывались где-нибудь далеко от него, вблизи боя и стрельбы, прозвище «Синенький» становилось уместным и вполне подходящим Гимназисту — этому чудаковатому мечтателю, который среди такого смертоубийства умудряется еще сходить с ума по знанию и науке и даже привораживать к ним других.

Однажды Гимназист вернулся из штаба отряда с полной сумкой «культурного материала» и сразу начал отбирать бойцов для подготовки первого ротного концерта. Нужно было выучить несколько стихотворений для декламации, спеть хором две песни и сыграть маленькую пьеску-скетч, в которой показывалось, как усташи расстреливают передового учителя и как их самих вскоре настигает справедливое партизанское возмездие.

— А если бы командира партизан сыграл Николетина? — загорелся Гимназист.— Весь он, как из одного куска, убедительный, непосредственный.

— Нет, нет! — как от зубной боли морщился политический комиссар роты.— Только хлопот себе наделаем. Не годится он для этого.

— Воображения не хватает?

— Да черт его знает, когда как. Иногда совсем нет, а иногда — уж чересчур много. Если он на сцене увлечется и распалится, устроит он нам комедию, всерьез драться начнет.

— Неужели правда?

---

* Член антифашистского союза молодежи Югославии.

— Уж ты мне поверь. Не говоря о том, что после концерта не захочет снять командирские знаки различия. Знаю я его.

— Эх, жаль, товарищ, ужасно жаль. Это был бы актер из актеров,— сокрушался ученик.

День за днем, как только выпадало немного свободного времени, в сарайчике рядом с лагерем партизанские актеры репетировали свою пьесу. Сначала все делалось стыдливо и втихомолку, пока участники понемногу не осмелели настолько, что и в самом лагере, перед остальными, начали в шутку произносить свои реплики. Расхрабрился даже понурый Йовица Еж, по пьесе усташский шпион; он стал подлизываться и лебезить перед «усташским старшим лейтенантом» Танасием Булем.

Все это Николетина и замечал и не замечал, делая вид, что знает гораздо больше, чем было на самом деле; притворяясь равнодушным, он краем уха постоянно ловил что-нибудь из этих гимназистовых «глупостей». Только иногда, когда казалось, что Йовица уже перехватил, он, прищурившись, косился на него сквозь едкое облако самосада и зловеще басил:

— Смотри, смотри, сутулый черт. Я не я буду, если тебе комиссар за это не утрет твой кошачий нос.

На самом концерте, в набитом до отказа классе сельской школы, Николетина, сидя рядом с комиссаром, спокойно слушал декламацию и пение — вещи, уже знакомые ему по начальной школе. Но когда поднялся занавес и началась пьеса, он нахмурился и вытянул шею: ничего такого он еще не видывал. Спустя несколько минут у него вырвалось:

— Гляди, в штатском-то — наш Гимназист.

— Да, учителя играет,— шепотом объяснил комиссар.

Все дальше развивалось действие, и все мрачней и мрачней становился Николетина. Наконец, окончательно и бесповоротно узнав в «шпионе» Йовицу, он стиснул челюсти и пробурчал под нос:

— Гм!

— Ты что? — сжал ему руку комиссар.

— Ничего.

До самого конца спектакля слышались страдальческие Николины вздохи и скрип стула под ним, а когда над «убитым шпионом» Йовицей опустился занавес, Николетина шумно поднялся, непонимающе глянул на радостно оживленного комиссара, желчно плюнул и кинулся куда-то к дверям, очумело расталкивая всех.

— С дороги, чего уставились!

В темноте он прошел в расположение роты, забрался в сарай и натянул на голову сложенное вдвое одеяло, только бы не слышать доносившегося из школы пения. Ему никак не удавалось заснуть, и долго еще из груди вырывалось мучительное и сдерживаемое:

— Гм!

Три-четыре дня после концерта Николетина избегал встреч с Йовицей, а на Гимназиста посматривал только издали, украдкой и со странным недоумением. Видно было, что он молча страдает от какой-то тайной муки.

— Не иначе как сейчас новолуние, потому и наш Ниджо туча-тучей ходит,— подмаргивал исподтишка долговязый Танасие Буль, стараясь, чтобы его не услышал расстроенный пулеметчик.

Лишь перед самой атакой на Старый Майдан, когда рота отдыхала в густом запутанном дубняке, Николетина и Йовица случайно оказались наедине, в стороне от остальных.

— Ты так, значит, Бранкович * ты этакий? — сделал большие глаза

* Герой сербского эпоса, по преданию изменивший сербам в битве с турками на Косовом поле (1389 г.).

пулеметчик, с притворным спокойствием выпуская целое облако табачного дыма.— Так, значит, товарища предают, да?

— Что ты еще выдумал? Какого товарища? — сдвинул брови Йовица.

— Ты мне богородицей не прикидывайся,— холодно процедил сквозь зубы Николетина.— Знаешь, о ком я говорю,— о гимназисте. Или забыл, что в школе было?

— Так это ты о представлении, о нашей пьесе! — догадался Йовица, но Никола оборвал его еще грубее:

— Да, да, об этом, чего егозишь! О твоем шпионстве.

— Это же было просто представление, сам знаешь.

— А почему именно ты, мой ближайший сосед, вызвался шпиона представлять? Ни за что поумнее не взялся?

— А что тут плохого? И Гимназист, вон, представлял, ты же видел...

— Это тебе твой кошачий нос врет! Гимназист и там, перед школьниками, говорил то самое, что и нам в роте говорит — о мире, о книгах, о науке. Ничего он не представлял. А ты и этот болван Танасие Буль только и думали, как бы погубить парня. И погубили, клянусь богом.

— Да Ниджо, это же шутка. Вон он, Гимназист, живой и здоровый, а вот и мы — партизаны, как и раньше.

— Эге, не совсем это так, — серьезно и горько сказал Николетина.— Ни он для меня не живой, как раньше, ни вы двое больше не... Знаешь, я только сейчас разглядел: не кошачий у тебя нос, а шпионский, самый настоящий шпионский, который всюду пролезет и все пронюхает. Только после этого представления мне стало ясно, какая ты двуличная душонка, настоящая лиса.

— Ей-богу, Ниджо, либо ты с ума сошел, либо все это какая-то дурацкая шутка.

— Дурацкая шутка — то, что было в школе,— оборвал его пулеметчик.— На глазах у всей роты, у всей молодежи превратиться в бандита, в шпиона и убить единственного школяра в роте, единственного нашего выучившегося деревенского мальчишку! Видно, слишком много у нас таких, а?

Николетина воинственно нахмурил брови.

— Что ж вы на меня не пошли, будь вы неладны, на пулеметчика, я бы вам показал, почем фунт лиха! Мне бы во сто раз легче было вам простить, если б вы мне голову сняли, а не этому мальчишке. Школьник с карандашом, с книжкой, так давай на него, да?

— Но, Ниджо, мы же представляли, как фашисты...

— Кого б вы там ни представляли — опростоволосились вы! Зачем этому нашему народу, да и мне вместе с ним, знать, что на свете есть такие скоты, которым ничего не стоит загубить ученого человека, застрелить ни в чем не повинного учителя посреди школы, перед детишками? Зачем это нам?

— Ну, чтобы лучше бороться, чтобы, так сказать...— замялся Йовица.

— Чтобы лучше бороться? Слушай, Йован, у меня руки на пулемете стынут, как я об этом вспомню. Так и думаю: раз такое есть где-то на свете, между живыми людьми, значит и в нас оно может проникнуть и заползти. Мы ведь тоже из плоти и крови. Раз ты согласился такое представлять, значит зло не дремлет, а так и пробирается повсюду, так и подкапывается...

— Эх, Ниджо, нашел, чего бояться!

— Ей-богу, боюсь, брат,— теперь уже спокойнее, озабоченно признался Николетина.— Врага, что атакует с той стороны, можно остановить пулеметом, но его отрава, яд... как ты загородишь этому дорогу? Так однажды глянешь, а твой первый друг... Оставь, пожалуйста, это не шутка...

Вот я в бою под Чераковым недавно поджег дом, оставил кого-то без крова. Теперь спрашиваю себя: где приютились детишки того человека?

— Да кто будет думать об этих бандитах из Черакова?

— Говорю же я, что яд действует,— опечаленно закивал Николетина.— Действует, действует и никого не щадит. Как от него человеку защититься, один бог знает.

Спустя несколько месяцев после концерта, Гимназист погиб в бою у усташского укрепления «Черные воды». Притихла рота после его похорон, но больнее всех, казалось, было самому новому командиру — Николетине Бурсачу, его добровольному покровителю. В лагере он обычно все время молчал в каком-нибудь углу, не переставая курил и будто искал кого-то блуждающим взглядом.

Видя его в таком состоянии, товарищи не упоминали при нем о Гимназисте. Однажды, сидя с Йовицей на пригорке около Оканова Бука, Николетина впервые заговорил о нем:

— Вы на том представлении наворожили моему несчастному Гимназисту гибель.

Йовица изумленно откинулся.

— Да, да, наворожили. Играют дети в войну, она и приходит, так и вы.

Расстроенный, Йовица молчал, не зная, что ответить, а Никола продолжал, не заботясь, слушают его или нет:

— Когда он в вашей пьесе должен был погибнуть, я сразу понял, что это с ним и в самом деле может случиться, и заныло у меня сердце. И вот сейчас — жив я, здоров, иду с ротой, как раньше, а на душе так, будто потерял запасной *диск от пулемета. Я не дурак, я понимаю, что диск* — это одно, а этот веселый мальчишка-грамотей — совсем другое, а все-таки... Бедный мой Синенький.

Контроль в Бихаче

Прошло несколько недель после освобождения Бихача, и командир Николетина Бурсач вновь оказался со своей ротой в этом городке на реке Уне.

Весь город под тонкой снежной пеленой. Тишина такая, что кажется, будто ты оглох, и недоверчивый командир подозрительно озирается и простуженно хрипит, обращаясь к взводному Ежу:

— Йовица, что это Бихач притих, все равно как ребенок, когда обделается? Не рассыпаться ли нам, а то как дадут очередь из окон, поздно будет.

Месяц назад, в начале ноября, когда партизанские бригады готовились к штурму города, Николетина первый раз в жизни очутился под Бихачем. Политический комиссар бригады произнес перед партизанами речь о годовщине Октябрьской революции, которая, бог весть почему, произошла седьмого ноября. Он упомянул и о тяжелых орудиях крейсера «Аврора» и о штурме царского Зимнего дворца, и у Николы, в грохоте и сумятице двухдневных боев за город, смешались в одну кучу Бихач и Петроград, октябрь и ноябрь, «Аврора» и партизанские минометы. Когда в конце концов, закопченный и грязный, он вломился в просторный монастырь бла-

гочестивых сестер в самом центре города, ему показалось, что это и есть тот самый пресловутый Зимний дворец — ни больше, ни меньше. Он пришел в себя лишь тогда, когда вокруг испуганно затрепыхались черные рясы монахинь.

— Тьфу ты, нечистая сила. Давай, Йовица, выбираться из этих юбок, пока живы! Не разбираюсь я ни на грош ни в женщинах, ни в законе божием.

И даже несколько дней спустя Николетина, проходя мимо монастыря, каждый раз отворачивался и кривился, будто это погреб с протухшей кислой капустой.

Вот говорят — «Зимний дворец, Зимний дворец!» А как попадешь туда — едва выпутаешься из женских юбок...

Сейчас, когда Николетина второй раз попал в Бихач, город показался ему каким-то необычайно торжественным и спокойным. То ли из-за выпавшего утром снега, то ли из-за чего другого, командир сам не знает. Но, как всякий настоящий солдат, он недовольно косится на всю эту тишь и красоту.

— Гм, вот штатская жизнь, заснули они все тут, в тылу, что ли?

На домах то тут, то там виднеются флаги. Чем ближе к центру, тем их больше. Только теперь Николетина догадывается, что это может означать, и ищет взглядом взводного Ежа.

— Йовица, уж не началось ли это самое заседание скупщины или правительства?

С того времени, как в бою под Цазином был ранен ротный комиссар Пирго, Йовица стал своего рода неофициальным политическим советником Николы. Хотя он знает, быть может, еще меньше своего командира, Николетина всегда обращается к своему добродушному и терпеливому соседу, встречая такую надежную поддержку и такой искренний отклик, словно он рассуждает вслух сам с собою. Все самое лучшее, что мог бы он сказать и пожелать себе сам, скажет и пожелает ему этот неприметный сгорбленный Йовица.

Хотя Еж принадлежит к числу бойцов помоложе, все партизаны с некоторого времени называют своего взводного «Батей», ибо он так же сгорблен, как и их отцы. Раннее сиротство наложило на его лицо печать постоянной глубокой озабоченности, так что при взгляде на него каждый думает: этот, как видно, добровольно взвалил на себя и мои заботы.

«Батя» Йовица напряженно моргает, словно силясь сообразить что-то, и тупо глядит на Николу.

— Я говорю, не началось ли заседание скупщины этой, как она там называется?..— громче повторяет Николетина и недовольно потирает небритое лицо.

— А-а, ну да, как же! — спохватывается Йовица.— Как это его называют, брат? А?

Все так же моргая, он торопливо роется в торбе, вытаскивает оборванный лист бумаги и разочарованно рассматривает его.

— Нет... искурили... Вот тут было записано.

— Искурили политический материал? — меряет его Николетина укоризненным взглядом.— Нечего сказать, хорошо ты мне помогаешь!

— Что делать, если вся рота у меня просит.

Им приходится обратиться за информацией к новичку, восьмикласснику, присоединившемуся к роте в самом Бихаче, и тот объясняет им, что сейчас в городе заседает АВНОЮ — Антифашистское вече народного освобождения Югославии.

В беготне и сутолоке, наступившей после освобождения Бихача, никто толком не разъяснил бойцам Николиной роты, что такое АВНОЮ. Да и кто мог бы это сделать — ведь комиссар был ранен. Поэтому бойцы ре-

шили, что в Бихаче заседает партизанское правительство. Гимназист, правда, пытался, как мог, растолковать им, в чем дело, но бойцы не очень-то слушали его, а еще меньше верили: что может он знать, в роту пришел только вчера, а, кроме того, на шее у него шелковое кашне — одним словом, барич. Эх, если б был тут прежний их Гимназист, тогда была бы совсем другая песня!

Николетина замолк, будто воды в рот набрал, и ковылял перед колонной, как нагруженный мешками помольщик, а когда роту разместили, он отозвал Йовицу в сторонку.

— Слушай, пойду я посмотрю, что там делается. Не мешает, знаешь, проконтролировать.

— А что именно?

— Да вот это самое АВНОЮ.

— Но тебе-то что за дело до него?

— Вот те на! — вытаращил глаза командир.— Создается правительство, командование всего государства, а ты говоришь — что мне за дело? Хочу посмотреть, и все тут.

Николетина прибрался и подтянулся, насколько это было возможно. Насупившись, он решительной походкой направился к зданию, где происходило заседание. Глядя на этот дом, он припомнил, что и здесь вроде сражался в ноябре. Это еще больше укрепило его в принятом решении.

Перед самым домом его остановил часовой.

— Эй, товарищ, куда?

— Я только загляну,— деловито отвечал Николетина и хотел пройти.

— Нельзя, товарищ.

Никола вздрогнул, как от удара, и мрачно всмотрелся в часового.

— Как нельзя? Ты что?

— Нельзя, там заседание.

— Так я из-за него и пришел.

Партизан позвал начальника караула; тот, убедившись, что Николетина — не делегат и не гость, с важностью покачал головой.

— Нельзя. А что тебе там надо?

— Хочу посмотреть, кто там есть.

— Ишь какой. А тебе что за дело?

Николетина вскипел:

— То есть как «какое дело»?! Я тут второй год кровь проливаю, того и гляди головы лишусь, а теперь, когда создают власть и государство, кто-то меня не пускает посмотреть. На что это похоже?! Чепуху ты городишь, братишка! Есть у меня право...

Начальник караула несколько смутился.

— Никто тебе, товарищ, не говорит, что ты не имеешь права вмешиваться в это, но только... Запрещено, брат, входить, пока там идет работа, приказ такой.

— Да успокойся ты, парень, не стану я там в барабан колотить. Тихонько войду и погляжу, кто там сидит.

— И этого, товарищ, нельзя.

Николетина нетерпеливо почесал в затылке.

— Ладно, а что если я на животе подползу и посмотрю как-нибудь, одним глазком?

— Ты что, с ума сошел или дурака валяешь? — сдвинул брови начальник караула.— На брюхе он полезет на заседание АВНОЮ, нечего сказать!

— А что ты удивляешься? — приосанился Ниджо.— Я во время боя пол-Бихача прополз на пузе, неужто десяти шагов до зала не проползу?

Начальник охраны только отмахнулся, исчерпав все доводы. Николе-

тина оглянулся на Йовицу Ежа, который стоял в трех-четырех шагах от них, и полусердито-полушутливо подмигнул:

— Видишь, Йовица, и заглянуть не дают. Неспроста это, что-то меня сомнение берет.

— Что еще за сомнение? — мрачно отозвался начальник.

— Как что? — рявкнул Никола.— Если тут и правда составляется настоящее наше правительство, партизанское, почему это от меня скрывают и так его охраняют? Почему мне нельзя заглянуть туда?

— Нельзя, да и все тут! — рассердился начальник караула, не входя в дальнейшие объяснения.

— Выходит, ты мне не дашь увидеть свое собственное правительство? — побледнел Никола и вплотную придвинулся к начальнику.

— Да, не дам. Ну, и что?

Николетина резко обернулся и прошипел:

— Йовица, веди роту!

И Йовица, и начальник караула ощутили неприятное замешательство.

— Какую еще роту? — нахмурился начальник.

— Мою роту! — рявкнул Никола.— Если мы могли ворваться в блиндажи перед Бихачем и пройти по мосту, когда по нему строчили пять пулеметов, не остановит же нас эта несчастная дверь с парой часовых.

Йовица приблизился к начальнику караула и озабоченно посоветовал:

— Пропусти его, товарищ, пусть заглянет. А то наделает он нам хлопот, уж такой у него нрав, черт бы его побрал! Рота за ним в огонь и в воду пойдет.

Начальник караула с остервенением плюнул и хмуро поглядел на Николины перекрещенные ремни.

— Ладно, оставь тут оружие, приоткрою тебе дверь, так и быть, заглянешь.

У Николетины округлились глаза.

— Оружие? Какое оружие?! Я дал зарок не снимать оружия до самого Берлина и сейчас не сниму, хоть бы там в зале сама святая троица была.

— Поступай, брат, как знаешь! — отмахнулся начальник, которому надоело препираться; введя вместе с часовым Николетину в здание, он осторожно приоткрыл дверь и шепотом позвал:

— Иди, но только чтоб один нос просунуть.

Николетина пригнулся, затаил дыхание и приник глазом к узкой щели между дверью и косяком. Через несколько мгновений начальник караула едва расслышал, как он просипел:

— У-ух, мать честная, да тут почти одно войско!

И, как бы объясняя самому себе, прошептал уже спокойнее:

— Вся страна поднялась. Даже деды надели военную форму. Вон и поп сидит, клянусь Николаем-угодником!

Вытягиваясь, чтобы лучше видеть, он уже просунул голову в зал скупщины. Делегаты, сидевшие с края, начали оглядываться, чувствуя, что сзади потянуло холодом, но Никола попятился только тогда, когда ему показалось, что его заметил сам Верховный главнокомандующий, сидевший за столом президиума.

Поглощенный виденным, ничего не замечая вокруг, он в сумраке вестибюля едва взглянул на начальника караула и с упреком покачал головой.

— Так, значит, ты? Не хотел дать мне взглянуть на такую нашу честь и славу, такую... такую... Эх, будто их сам царь Лазарь созвал на пир!

— Объяснял ведь я тебе: приказ есть приказ.

— Да, сразу видно, что твои деды, как и мои, служили императору.

Уперся тут в дверях... Я было испугался, не приехал ли кто-нибудь из лондонского правительства, коли тебе так неохота меня пустить.

— Ну, это уж ты хватил!

— А как же иначе! Собрались тут все мои соседи, крестьяне, командиры, члены комитетов, а ты уперся...

— Ну, и уперся, своих ведь охраняю, это тебе не какой-нибудь там прошлогодний снег.

— Ого, смотри, оказывается, ты и с этой стороны можешь зайти,— удивленно вырвалось у Николетины.— Вот теперь ты правильно говоришь. Правильно, клянусь верой.

Тут Ниджо на минуту задумался, а потом, выходя на улицу, добавил уже совсем дружески:

— И я тоже прав, ты это должен, товарищ, признать. Подумай только: воюю я, воюю, кровь проливаю, а вдруг там за закрытыми дверями кто-то мне свинью подложить собирается. Глазом не успеешь моргнуть, как тебе скажут: а ты откуда явился, что тебе тут надо? Не так ли, Йовица, яблочко мое сладкое?

В обществе поэта

Политический комиссар батальона получил необычное задание: обеспечить охрану известному старому поэту и перебросить его из расположения своей части в штаб соседнего отряда.

Поэт прибыл накануне, выспался, отдохнул и теперь прогуливается под цветущими черешнями на лужке перед штабом, беседует сам с собой и рассеянно чему-то улыбается.

— Подумать только, и это тот самый человек, из-за которого я чуть было не провалился, когда кончал четвертый класс гимназии! — дивится комиссар, выглядывая из окошка.— А теперь я его защищаю и обеспечиваю ему охрану. Кто б мог подумать! Эх, кабы знал я как следует его произведения, поговорили бы сейчас с ним немножко, а так... просто не смею человеку на глаза показаться. Еще чего доброго спросит меня о чем-нибудь, и опозорюсь на всю жизнь.

Вчера поэт показался ему просто усталым стариком; было странно видеть этого штатского деда среди одетой в форму партизанской братии. А нынче на солнечном лугу, под ослепительной пеной цветущей черешни стало видно, что это — и в самом деле прославленный писатель, против которого мечет гром и молнии вражеская пропаганда. Он ходит себе, прогуливается, тоненький, темный, скорее тень, чем человек; но тщетно направлять на него пулеметы и пушки — его имени и славе ничем не повредить!

— Э-эх, люди, люди! Подумать только — поэт! И я вижу его собственными своими глазами!

Спозаранку комиссар послал за Николетиной и его отделением. Спокойнее всего будет поручить поэта Ниджо. Он хорошо знает дорогу до соседнего отряда, храбр и надежен и, если что случится, не бросит поэта, хотя бы и пришлось лишиться головы.

Из рощи доносится песня. Старик на лугу замедляет шаги и прислушивается. Комиссару кажется, что и до него долетает восхищенный шепот неисправимого романтика:

— До чего прекрасно!

Отделение гуськом появляется из лесу. Впереди, разумеется, Николетина, косматый, неуклюжий, с ручным пулеметом на плече.

— Вот как закинул его, будто вертел несет с ягненком на церковном празднике,— негодует комиссар.— Что только скажет посторонний человек, сущий срам!

Как назло Николетина сразу же заприметил человека в шляпе и свернул прямо к черешням, поближе разглядеть, кто бы это мог быть.

— Смотри ты, какой молодцеватый дед, даже звезду на шляпу нацепил!

Николетина было разинул рот, чтоб засмеяться, как вдруг старичок вгляделся в него и, подойдя, одобрительно похлопал по бицепсу своей узкой, бледной рукой.

— Ого-го, смотри-ка, настоящий Милош Обилич *.

Озадаченный поступком старика, Николетина сперва смутился и замер на месте. Но когда кто-то из бойцов засмеялся, он презрительно оглянулся назад:

— Ну, чего ржете? Обилич и есть, а вы как думали?

Сказал он это полушутливо-полусерьезно, а когда старичок одобрительно закивал головой, Николетина, уходя, махнул ему рукой:

— Правильно ты говоришь, дед: как серб солдатским ремнем опоясшется, так он и на Косовом поле.

Перед штабом в полной растерянности стоял политический комиссар, озадаченно разводя руками и моргая.

— Зачем тебе понадобилось заворачивать туда и приставать к этому товарищу? Черт знает, что ты там...

— Да ничего, товарищ комиссар; тот дед сказал, что я Обилич, а мои жеребцы сразу давай...

— Какой еще дед, гром тебя разрази! Да ты знаешь ли, кто это?.. А ну, иди в комнату.

В канцелярии, уже несколько притихший, отделенный нахохлился, ожидая выговора. Комиссар с укором хмыкнул:

— Гм, дед! От тебя только такого и жди!

Он сел на стул и, нахмурив брови, уставился на Николетину.

— Медведь ты краинский, да знаешь ли ты, что это знаменитый поэт? Ты о поэтах когда-нибудь слыхал?

— Как не слыхать! — обиделся парень.— Был у нас в селе один поэт, так мы его однажды на посиделках, как собаку, избили.

Комиссар схватился за голову.

— Господи, и кого я назначил в охрану! Поэта избили?! А за что, черт побери?

— Песню он сочинил, выставил нас на посмешище. Пять сел над нами смеялось.

— Это почему?

— Да вот, спроси людей. Промышляли мы куницу на Грмече, а он... Безобразие, да и только... Наврал чего-то, навыдумывал, наплел. Я в скалах порвал чакширы и весь ободрался, а он и давай: «Бурсач Никола без штанов ходит голый»! Как его было не отколотить, а?

Комиссар рассмеялся.

— Человече, это поэт совсем иного рода. Знаешь, вроде тех, что пели о Марко** и о Косовом поле.

— Это другое дело.

— Вот именно, брат. Его фашисты хотели бы больше заполучить, чем пять наших батальонов. Да каких там пять!

---

* Герой сербского народного эпоса, олицетворяющий силу и доблесть.

** Марко Королевич — богатырь, герой сербского эпоса.

Николетина только рот разинул и пригнулся к окошку.

— Неужто за этого старичка пять батальонов? Да его даже наш Йовица в мешке унесет.

— Ну-ну, полегче. Поэта в мешок, тоже нашелся! Разве вам ротный комиссар о нем не рассказывал?

— Это, значит, тот великий ученый, что книги сочиняет, а фашистское радио раструбило, будто мы его украли?

— Вот-вот,— подхватил комиссар,— он самый.

— Ох, люди, с нами крестная сила! — захлебнулся Николетина.— Разрази меня гром, если я не думал, что это какой-нибудь старый землемер!

К своему отделению Никола возвратился озабоченный и грозный.

— Хорошо вы себя показали перед этим старым товарищем там, на лугу: ржете и выкобениваетесь, как жеребцы.

— Смотри ты! — брякнул черномазый Танасие Буль.— А что, это тебе не по нраву?

— Всем нам это не по нраву,— строго ответил отделенный.— Знаете вы, кто это?

Когда Ниджо произнес имя поэта, у Гимназиста глаза стали круглые, как блюдечки.

— Вот горе, если бы мне раньше знать! Постой, я хоть сейчас одним глазом взгляну.

— Подожди, подожди, парень, еще наглядишься, будет у тебя время,— нараспев протянул отделенный.— Мы сегодня его сопровождаем до самых Белайских Скоков.

Гимназист изменился в лице и опять сел на колоду.

— Неужто мы?! Ей-богу, не знаю, как я от страха пойду рядом с ним, ноги у меня так и подкашиваются!

— Гм, а ведь ты как-никак гимназист,— присвистнул Танасие Буль.— Каково же нам, простофилям?

— Вам хорошо, вы по-настоящему и не знаете, кто он такой, а я... Уф, уф, снится мне все это, что ли?

— Хватит рассуждать — снится, не снится,— нахмурился Николетина.— Сегодня мы его сопровождаем, но — запомните хорошенько — все чтоб были тише воды, ниже травы, как деревенские невесты. Чтоб ни песен, ни ржания... Словом, как в крестный ход на святого архангела Гаврилу.

— А как же Хазим Гркля, ведь он мусульманин? — вырвалось у Танасия Буля.

— Ты, черномазый дьявол, братства не затрагивай. Мы теперь все одной веры. Ишь ты какой!

Поэт сел на лошадь, и колонна тронулась в путь, торжественная и тихая, словно процессия. Особенно странно было видеть обычно словоохотливого Гимназиста, который теперь молча шел за Николетиной, будто лишившись дара слова.

Даже когда бойцы слегка расшевелились и стали понемногу болтать, он боязливо и озабоченно молчал, не решаясь даже обернуться и взглянуть на поэта.

Николетина, привыкший к разговорчивости Гимназиста, чувствовал себя будто оглохшим и, не выдержав, повернулся к колонне и поманил паренька пальцем.

— Поди-ка на минутку... Что это с тобой сегодня, вроде у тебя мельница остановилась?

— Оставь ты меня, бог с тобой, я никак не могу в себя прийти. Неужели это я охраняю...

— Ага, трещотка этакая, слава богу, и у тебя хоть раз язык к нёбу присох... Эх, не зря комиссар говорит, что он стоит больше, чем пять отборных батальонов. Фашисты бы, говорит, за него...

— Понимаешь, Ниджо, он уже не просто один человек. Он... он стал как сто, как тысяча людей, и ничего фашисты с ним не сделают. Пусть хоть из пушки разнесут его в мелкие кусочки, развеют в пух и прах, он все равно будет жить всегда, как и сейчас. Каждое его стихотворение, каждая книга говорят вместо него, его голосом. Понимаешь ты меня?

Николетина только почесал в затылке и в замешательстве оглянулся на поэта.

— Что ты мне говоришь, брат! А я-то с ним утром так...

— Да-да, Ниджо,— вдохновенно продолжал Гимназист.— И через сто лет о нем будут говорить так, будто он жив. И он вправду будет жив.

Николетина печально опустил голову и вздохнул:

— И никто не узнает, что когда-то в эти трудные времена провожал и охранял его какой-то дурень, Николетина Бурсач.

Гимназист оживился еще больше.

— Постой, постой, это еще неизвестно. Может, он в какой-нибудь своей книге и напишет, как мы его проводили через наши горы.

— Иди ты!..

— Да-да, тебе кажется, что он сейчас ничего не замечает и в толк не берет, а там, глядишь — на какой-нибудь его странице появится и то, как в голове колонны шагал плечистый, рослый молодец с ручным пулеметом, охраняя поэта... Ничего, что, может, имени твоего он и не упомянет... все равно ты войдешь в историю, в литературу, живой, бессмертный. На вечные времена тебя изобразит.

— Хоть бы я с утра побрился, чтоб его,— пробурчал Николетина.— А так может случиться, что я через эти сто лет буду, как медведь косматый, выглядеть.

— Да, дружище! Фашисты потому его и боятся, что как он их опишет, такими они и останутся на веки вечные.

— Вот как, значит. Теперь я понимаю, почему из-за него такая заваруха идет!

Долго они шли молча, потом Николетина озабоченно проговорил:

— Страшно мне теперь, брат, на глаза ему показываться. Бог знает, чем я, такой серый человек, могу ему не угодить.

— Ну, вряд ли.

На одной вершине, откуда открывался широкий горизонт, поэт, весь озаренный, остановил коня.

— Постойте, друзья. Грешно было бы не отдохнуть здесь и не полюбоваться на этакую красоту. Вы только взгляните на ту долину.

Слушая, как он восторгается цветущими черешневыми садами, нежно-зеленой озимью и сверканием ручья в низине, Николетина изумленно переглядывался с Гимназистом.

— Слышишь, будто он коз со мной в этих горах пас, а сейчас вспомнил о детстве и привольных денечках на пастбище. Ни дать ни взять в сердце у меня читает.

— Вот-вот! — опять словно вспомнил что-то Гимназист.— Потому он и великий человек, что высказывает именно то, что каждый из нас в душе носит.

Николетина растянул рот до ушей, глаза его засверкали.

— Знаешь, Гимназист, ей-богу, я его ни капельки не боюсь. Видишь, он ведь совсем наш, он даже больше, чем ты, простой человек из народа.

Николетина по-мальчишески доверчиво придвинулся к поэту и стал слушать, что тот рассказывает. Вдруг старик обратился прямо к нему.

— Отделенный, а ребята почему не поют? Противник близко, что ли?

Николетина покраснел и забормотал:

— Да это... они так... можно и без песни обойтись.

— Нет, нет, ни в коем случае! — возвысил голос поэт.— Где молодость, там должна быть и песня. Вспомните-ка о красивых девушках из вашего края, и взыграет ваше молодецкое сердце!

Николетина помотал головой.

— Ну уж нет, мы этим не занимаемся. Мое отделение от этого чисто.

Поэт лукаво сощурился и погрозил ему пальцем.

— Хе-хе, отделенный, будь откровенен и скажи нам, о какой ты девушке думаешь, когда спать ложишься, а? Каждый вечер, небось, засыпаешь с думой о ней.

Николетина весь вспыхнул. Голос его был покрыт громовым хохотом бойцов, и это помогло ему уклониться от ответа. Оглушенный горячей волной, он только и смог пробормотать про себя:

— Угадал, старый, чтоб черти на нем коноплю трепали! Вижу и я, не зря на него фашисты зубы точат. Читает в человеке, как в книге.

Продолжая путь, партизаны так громко пели и ухали, что с деревьев с криком поднимались вороны. Бойцы притихли, только подойдя к полосе «ничьей» земли, границе между отрядами, по которой шла шоссейная дорога, контролируемая противником.

Пока ждали темноты, чтобы безопаснее перейти шоссе, Николетина отозвал в сторону Гимназиста и своего дружка Йовицу.

— Ну, ребята, сам я пойду с пулеметом и засяду у нижнего края дороги, со стороны города. Насчет меня не беспокойтесь, я не дам маху. Пройдет наш дедушка.

— Может, сегодня никто и не налетит,— понадеялся Гимназист.

— Налетит, не налетит, а я не отступлю! — расширил глаза Николетина.— Пусть это будет патруль, рота, батальон — все равно. Разве я допущу, чтобы в книги вошло, как я удрал, и наши праправнуки бранили и срамили меня: сбежал бессовестный Николетина, бросил поэта!

— Перестань ты, ей-богу, не каркай! — поежился Йовица.

— Я не каркаю, а просто хорошо знаю свое задание,— отчеканил отделенный.— А если все-таки этой ночью что-нибудь случится, и башка моя останется внизу, на дороге, ты, Йован, объясни все моей старой матери, убеди ее, что иначе нельзя было. Скажи ей просто: мол, забыл Никола ноги, когда пошел на задание. Оставил их на всякий случай в резерве, чтоб потом было на чем путешествовать по книгам и по истории. Так, ведь, Гимназист, грамотей мой великий?

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

(К 125-летию со дня смерти)

Рис. К. Теодоровича.

Иоганн Вольфганг Гете

ПАРАБОЛЫ И ЭПИГРАММЫ

Перевод с немецкого Льва Гинзбурга

РЕЦЕНЗЕНТ

Был некто у меня в гостях.
Зашел узнать о новостях,
Сказал, что рад меня проведать.
И я позвал его обедать.
Вот он за стол с ухмылкой сел
И столько выпил, столько съел,
Что насмерть чуть не обожрался.
Потом, откушавши, поднялся,
Пошел к соседу моему
И ну, давай, шептать ему:
«Суп безобразен! Дрянь — жаркое!
Вино — черт знает что такое!..»

О, всеблагие небеса!
Он — рецензент! Убейте пса!

АМУР И ПСИХЕЯ

Вот музам раз взбрело на ум
К искусству приобщить Психею.
Наверно, месяц бились с нею —
В стихах бедняжка ни бум-бум.
Стояли сказочные ночи —
Не раздавался лиры звук,
Но лишь Амур взглянул ей в очи —
Был в миг усвоен курс наук.

Помещаемые в этом номере стихи Гете на русском языке публикуются впервые.

ЛЯГУШКИ

Тяжелым льдом сковало пруд.
Бедняги-лягушки со страху мрут.
Ни квакать, ни прыгать нельзя. Хоть тресни!
И страстно они поклялись тогда:
«Эх, только бы выбраться из-подо льда,—
Как соловьи, запоем мы песни!»
Весна наступила. Растаял лед.
Лягушки лапки пустили в ход,
И с гордостью на берег выйдя, они
Заквакали вновь, как в былые дни.

ОРИГИНАЛ

Сказал художник: «Я влияньям не подвержен!
Нет в мире мастеров, к которым я привержен,
И я ни у кого не проходил ученья,
И я не признаю ни одного теченья!»
Ах, вот как! Что ж, побьемся об заклад:
Он попросту дурак на свой особый лад.

ПРИЗНАНИЕ

А:

Что, друг, прикинулся бедняжкой?
Ты уличен в ошибке тяжкой!

Б:

Ее исправил я сейчас.

А:

Как так?

Б:

Да как любой из нас!

А:

Знать, каялся долго, о прошлом жалея?

Б:

Нет, сделал ошибку, еще тяжелее.
И люди настолько разгневаны были,
Что грех мой вчерашний легко забыли.

ГОДЫ

Хороший нрав у юных лет:
Чего ни попросишь — отказа нет,
И в дружбе с ними, без всякой опаски,
Мы можем прожить, как в волшебной сказке.
Но вдруг характер меняют года.
Это — сварливейшие господа.
Взаймы не дают, без конца укоряют
И все, что давали, назад забирают.

Шарль Бодлер

ИЗ "ЦВЕТОВ ЗЛА"

К СТОЛЕТИЮ ВЫХОДА КНИГИ

Вступление и переводы с французского В. Левика

На Втором съезде писателей СССР Арагон, говоря о Бодлере и сожалея о том, что поэт после революции 1848 года отвернулся от рабочего движения, что он подвергал враждебной критике творчество таких писателей, как Мольер и Беранже, в то же время сказал от имени передовых писателей Франции: «Мы требуем восстановления всего наследия нашего народа, восстановления в правах и Вийона, и Мольера, и Гюго... и самого Бодлера. Мы требуем... признания всех поэтов, в стихах которых с такой силой прозвучал французский язык».

Дело, конечно, не только в силе звучания французского языка, но и в других достоинствах бодлеровской поэзии — одного из наиболее оригинальных и совершенных явлений французской поэзии вообще. Если не считать нескольких нарушающих классические каноны сонетов, форма бодлеровских стихов классична. Классически строга конструкция фразы и точен отбор слов. Классически ясна и незыблема композиция. Но в тематике, в системе образов, в словесной ткани стиха, а главное — в художественном содержании этой поэзии есть нечто, по сравнению с предыдущими поэтами, совсем новое. Наряду с видениями отвлеченно прекрасного, идеального, перед нами обнажаются еще никем не раскрытые в стихах глубины человеческой души, разворачиваются картины полного противоречий города, его жизни, блестящей и нарядной на поверхности, но неприглядной и даже отталкивающей в своих недрах. Сила обличительного пафоса, воплощенного в необычных образах,— вот главное, что привлекало к Бодлеру внимание прогрессивных деятелей культуры, в том числе русских революционеров. Недаром народоволец П. Якубович-Мельшин, находясь в ссылке, посвящал краткие часы досуга переводу «Цветов зла». Эти переводы и были первым изданием книги Бодлера на русском языке, причем во вступительной статье Якубович подчеркивал гражданское значение поэзии Бодлера.

Единственная изданная Бодлером книга стихов вышла в свет в 1857 году. Впечатление от нее было так сильно и необычно, она настолько диссонировала со всем тем, к чему привыкло в поэзии буржуазно-филистерское общество времен Наполеона третьего, что выход «Цветов зла» превратился в публичный скандал. Автора привлекли к суду за оскорбление общественной нравственности (вспомним аналогичный процесс Флобера в связи с выходом «Мадам Бовари»). Бодлер и его издатель были присуждены к большому денежному штрафу, некоторые стихи были изъяты из книги.

Эта несправедливость была исправлена лишь девяносто лет спустя. В 1946 г. Учредительное Собрание Франции по предложению коммунистической фракции пересмотрело приговор суда и отменило его. Однако и при жизни Бодлера многие передовые умы, даже те писатели, чье творчество резко отличалось от бодлеровского, горячо приветствовали новую музу. Например, Виктор Гюго, и по своему восприятию жизни, и по своим эстетическим идеалам, в сущности, антипод Бодлера, писал ему: «Я получил

ваше благородное письмо и вашу прекрасную книгу. Искусство бесконечно, как небо, вы это доказали. Ваши «Цветы зла» горят и сверкают, как звезды. Я кричу изо всех сил «браво» вашему могучему дарованию. Вы получили одно из самых высоких отличий, на которые способно современное правительство. То, что оно называет справедливостью, осудило вас во имя того, что считается на его языке нравственностью. Это высшая награда. Жму вашу руку, поэт».

Нет ничего удивительного, что официальная Франция отнеслась к «Цветам зла» враждебно. Достаточно взять наугад несколько стихотворений из книги, чтобы увидеть, с каким отвращением относится Бодлер ко всему, что порождено современным ему буржуазным обществом. Об этом же красноречиво говорят хотя бы такие строки из одного письма поэта: «За исключением Шатобриана, Бальзака, Стендаля, Мериме, Флобера, Банвиля, Готье и Леконт де Лиля, вся современная дрянь приводит меня в ужас. Ваши академики — ужас, ваши либералы — ужас, добродетели — ужас, пороки — ужас, ваш торопливый стиль — ужас, прогресс — ужас». Не менее выразительна запись в дневнике — гневная инвектива по адресу буржуазной прессы. «Невозможно просмотреть ни одну газету за любой день, месяц или год и не найти в каждой строке доказательств самой ужасной человеческой извращенности одновременно с поразительным бахвальством своей честностью, добротой, щедростью и с самыми дерзкими уверениями в прогрессе и цивилизации».

Будучи необычайно взыскательным художником, Бодлер давал своим стихам вылеживаться целыми десятилетиями и без конца их переделывал. Знаменитый «Альбатрос» был напечатан только через шестнадцать лет после того, как это стихотворение услышали и горячо одобрили друзья поэта. От голодной смерти спасали Бодлера журнальные статьи по вопросам литературы и живописи да работа над переводами Эдгара По. Эти переводы считаются во французской литературе совершенными образцами переводческого жанра.

Статьи Бодлера об искусстве отличаются стройностью мысли и остротой суждения; Бодлер и в них проявлял явно выраженные демократические симпатии. Он горячо защищал творчество рабочего-песенника, поэта Дюпона, восхищался демократическим реализмом художников Барбизона, дружил с Курбе, хотя и посвятил его творчеству лишь несколько строк. После 1848 г. Бодлер разочаровался в результатах революции и сильно качнулся вправо, что сказалось отчасти на его эстетических взглядах. Но хотя он и отвернулся от многих, кого прежде высоко ценил,— от того же Дюпона и даже от таких гигантов реалистического искусства, как Мольер, Беранже, Курбе, все же эстетический вкус и чувство правды не позволили ему примкнуть в своих художественных симпатиях к лагерю реакции. До конца жизни остается он влюбленным в романтический гений Делакруа, высоко ценит Домье и других передовых художников. Правда, в дневниках и письмах последних лет мы встречаем, наряду с глубокими острыми мыслями, совершенно абсурдные и реакционные высказывания. Побуждаемый «демоном противоречия», Бодлер иногда впадает в крайность: из ненависти к общепринятой и лицемерной буржуазной морали, к ее банальным истинам, он отворачивается даже от здорового, даже от естественного и нормального. Он ищет объект эстетического любования в том, что само по себе противно эстетическому и нравственному чувству. Он готов принять даже аморальное, лишь бы от него не пахло буржуазным филистерством.

Однако о художнике нельзя судить только по одним его крайностям, по его слабостям и неудачам. Перед нами «Цветы зла» — книга, которой Бодлер знаменит. Будем же судить об этой книге, исходя из нее самой.

Передовая русская критика всегда правильно оценивала противоречивость и сложность бодлеровского творчества. И, наоборот, только декаденты оставляли в тени его прогрессивные стороны, выдвигая на первый план все искусственное, болезненно-мрачное — то, что они исповедовали сами и что называли «демонизмом» Бодлера. Отсюда и возникла традиция считать Бодлера родоначальником декадентства и символизма.

Впрочем, Бодлер и сам называл себя поэтом декаданса. Так характеризовал его и Теофиль Готье, старший друг и поэтический наставник Бодлера, который хотя и

проповедовал принцип «искусства для искусства», умел все же проявлять широту взглядов и был проницательным критиком и публицистом. Но надо помнить, что в устах Бодлера и Готье слово «декаданс» имело совсем не тот смысл, какой оно приобрело впоследствии.

Декаданс, в понимании Бодлера,— это прежде всего синоним изысканности, рафинированности, утонченности. Теофиль Готье говорил о поэзии Бодлера, что это «искусство, дошедшее до крайней зрелости, искусство, которое рождается под заходящим солнцем дряхлеющих цивилизаций. Это стиль изощренный, сложный, полный изысканности и тонких нюансов»...

Мы, уже знающие модернистскую послебодлеровскую поэзию, почти не чувствуем в стиле Бодлера ни особой изощренности, ни чрезмерной затейливости, ни преднамеренной сложности. Сущность всякого жизнеспособного новаторства в том и заключается, что его подлинные достижения входят, наряду с общепризнанной классикой, в золотой фонд литературы и становятся для будущих поколений мерилом высокого в искусстве. И для нас бодлеровский стиль, идущий от острого и живого ощущения действительности, гораздо ближе к классике, чем к модерну (я не говорю об «ущербных» стихотворениях, в которых Бодлер, проводя определенную тенденцию, видит мир в предвзятом свете). Но беда в том, что после Бодлера появились поэты, уже официально назвавшие себя декадентами, культивировавшие крайности этого стиля и возведшие декадентство в некую эстетическую систему, с характерной для нее нарочитой литературной условностью, манерной и далекой от жизни. Таковы законы истории! Аналогичная судьба постигла родоначальников импрессионизма. Если Клод Моне или Ренуар писали тени голубыми, то это происходило от обостренного внимания к реальным цветовым отношениям, существующим в природе. Если их последователи, уже демонстративно именовавшие себя импрессионистами, писали тени утрированно синими, то делали это потому, что над ними тяготела эстетическая догма, как и всякая догма, враждебная реализму. Они были столь же далеки от жизни, как и выученики старой Академии, заливавшие свои картины коричневым соусом только на том основании, что картины их великих предшественников успели покрыться коричневой патиной времени. Но по закону психологической аберрации позднейшие искусствоведы и литературоведы перенесли на великих учителей грехи и промахи их посредственных учеников. И, подобно тому, как первым импрессионистам приписали философию импрессионизма в ее позднейшем развернутом виде, в каком ее исповедовали эпигоны, так и Бодлеру приписали все позднейшие грехи декадентства и символизма. А между тем, когда же бывало так, чтобы творчество большого поэта, живописца или композитора укладывалось в рамки определенного течения или школы? Разве творчество Брюсова, а еще больше Блока не переросло и не опрокинуло школьные границы символизма? И что общего с декадентством имеют хотя бы такие стихи Бодлера, как «Утренний сумрак», перекликающийся с «Вечерним сумраком», помещенным ниже, в подборке его стихотворений.

Казармы сонные разбужены горнистом.
Под ветром фонари дрожат в рассвете мглистом.

Вот беспокойный час, когда подростки спят,
И бродит в их крови болезнетворный яд,
И в мутных сумерках мерцает лампа смутно,
Как воспаленный глаз, мигая поминутно,
И, телом скованный, придавленный к земле,
Изнемогает дух, как этот свет во мгле.
Мир, как лицо в слезах, что сушит ветр весенний,
Овеян трепетом бегущих в ночь видений.
Поэт устал писать, а женщина — любить.

Вон поднялся дымок и вытянулся в нить.
Бледны, как труп, храпят продажной страсти жрицы,
Тяжелый сон налег на синие ресницы,
А нищета, дрожа, прикрыв нагую грудь,
Встает и силится скупой очаг раздуть,
И в страхе пред нуждой, почуяв холод в теле,
Родильница кричит и корчится в постели.

Вдруг зарыдал петух и смолкнул в тот же миг,
Как будто в горле кровь остановила крик.
В сырой белесой мгле дома, сливаясь, тонут,
В больницах сумрачных больные тихо стонут,
И вот предсмертный бред их муку захлестнул.
Разбит бессонницей, уходит спать разгул.

Дрожа от холода, заря влачит свой длинный
Зелено-красный плащ над Сеною пустынной,
И труженик Париж, подняв рабочий люд,
Зевнул, протер глаза и принялся за труд.

Разве не блестящая реалистическая зарисовка этот пейзаж просыпающегося города? Разве каждая строка не идет непосредственно от жизни, не рождена острым и чутким восприятием действительности? А между тем, это стихотворение в книге Бодлера отнюдь не единично и не случайно.

И, наконец, еще об одном. Не раз говорилось о бодлеровском культе всего извращенного, порочного и искусственного, о его патологизме, аморализме и так далее.

В таких характеристиках звучат отголоски той версии, которая, по сути дела, была порождена клеветой и травлей, поднятыми против Бодлера официальной печатью, раздувавшей слухи о его чудовищной аморальности, слухи, которые охотно, хотя и по другим соображениям, подхватывали приверженцы Бодлера из лагеря декадентов, желавшие создать вокруг поэта, избранного ими в мэтры, «сатанический» ореол. Здесь не место заниматься странностями бодлеровского характера; но при внимательном рассмотрении его биографии миф о том, будто интерес Бодлера к темам зла и порока проистекал из его собственной аморальности, рассеивается. Безусловно, это был человек повышенно нервной душевной организации, уязвленный, как будто загипнотизированный темными сторонами жизни, но недаром писал о нем П. Якубович-Мельшин: «Весь мрачный скептицизм, вся злобная мизантропия французского поэта проистекает именно из его страстного стремления к свету, из мучительной любви к красоте и гармонии, из невозможности увидеть их воплощенными в жизнь и действительность». Как совпадают слова русского народовольца со словами французского поэта и друга Бодлера, уже цитированного мною Готье! «Без сомнения,— писал он,— Бодлер в эту книгу, посвященную изображению современной испорченности и развращенности, занес много отвратительных картин, где обнаженный порок валяется в грязи, во всем безобразии своего позора. Но поэт говорит о нем с величайшим отвращением, с презрительным негодованием, с непрестанным обращением к идеалу, которое часто отсутствует у сатириков-бытописателей; поэт неизгладимо клеймит каленым железом все эти нездоровые тела, натертые мазями и свинцовыми белилами. Нигде жажда девственно чистого воздуха, непорочной белизны гималайских снегов, безоблачной лазури, неугасимого света не проявляется с бо́льшим пылом, чем в этих произведениях, на которые наложили клеймо безнравственности, словно бичевание порока есть сам порок и как будто сам делается отравителем тот, кто описал лабораторию ядов, которой славился дом Борджиа».

Готье даже не подозревал, что такой характеристикой он далеко отбросил будущих декадентов от Бодлера, ясно отграничив его могучий стиль от их мелкой условности, от свойственного им кокетничанья индивидуализмом, равнодушием к общественным вопросам и т. д. Пафос бодлеровского творчества — в мятежной тоске по здоровью, силе и красоте. Даже стихотворение «Падаль», где он с такой беспощадной откровенностью рисует мерзкую картину гнили и разложения, все же заканчивается жизнеутверждающим аккордом: обещанием сберечь в памяти «и форму, и бессмертный строй» истлевшей красоты. Никакой упадочности, душевной немощи, смирения перед силами рока! Хотя Бодлер, противопоставляя декаданс классицизму, писал именно об искусстве заката, как об искусстве, достигшем высшей зрелости и цветенья, но по его лучшим стихотворениям мы видим, что он воспринимал этот закат как трагедию, а подлинно великим искусством считал искусство здоровое, человечное — в первую очередь классическое искусство древности. Именно эта мысль выражена в характерном для Бодлера бунтарском стихотворении «Лебедь», в котором протест против унижения искусства — «чистого, белокрылого гиганта» — великолепно

смыкается с протестом против унижения человеческого достоинства, сочувствием всем угнетенным, «чью сиротскую жизнь иссушила Беда».

Этот мятежный, протестующий дух бодлеровского творчества высоко ценил Горький, сказавший о Бодлере, что он «жил во зле, любя добро», и причисливший поэта, задыхавшегося в атмосфере меркантилизма и морального оскудения, к тем художникам, которые, как «более честные, более чуткие люди, люди с желаниями истины и справедливости, люди с большими запросами к жизни... не хотели преклониться перед идолами, неся в своих сердцах вечные идеалы».

Поэтому, разбирая вопрос о Бодлере и декадентах, нельзя смешивать воедино эти литературные явления, сходные в некоторых чертах, но столь различные в своей направленности. Что у Бодлера было негодованием и протестом против уродливости и пошлости, пропитавшей всю современную жизнь, воплем тоскующего духа, «придавленного к земле», то стало у его последователей и эпигонов простым бегством от жизни, уходом в условную литературщину и действительной изменой реализму в искусстве.

Я остановился так подробно на этом вопросе потому, что поэзия Бодлера является одним из рубежей, а сам он — одним из тех художников, в творчестве которых наиболее ясно выражена диалектика историко-литературного процесса. То, что роднит Бодлера с декадентами, на мой взгляд, гораздо менее значительно, чем то, что их отличает и разделяет.

Установив этот рубеж, мы сохраняем в нашей сокровищнице культурного наследия многогранное творчество Бодлера.

* * *

Люблю тот век нагой, когда под звуки лиры
С вершин сам Феб сходил, чтоб золотить кумиры,
И людям страх был чужд, и ложь дыханьем зла
Ни женщин, ни мужчин еще не обожгла.
Их звал небесный луч, ласкаясь к ним с любовью,
Служить лишь красоте, лишь силе и здоровью,
И в тягость не были земле ее сыны,
Средь изобилия Кибелой взращены —
Волчицей ласковой, равно, без разделенья,
Сосцами смуглыми питавшей все творенья.
По праву признанный царем земных красот,
Был сильным человек, прекрасным, точно плод
Без червоточины, без пятен и без гнили,
Который зубы сам зовет, чтоб укусили.

А в наши дни, поэт, когда захочешь ты
Узреть природное величье наготы
Там, где является она без облаченья,
Ты в ужасе глядишь, исполнясь отвращенья,
На монстров без одежд. О, мерзости предел!
О, неприкрытое уродство голых тел!
Горою животы, а груди словно доски,
Те скрючены, а те раздуты или плоски.
Как будто Пользы бог, что всех богов сильней,
В пеленках бронзовых держал их с первых дней.
А эти девушки, что вянут прежде срока,
Приняв от матери наследие порока!
И эти женщины, чей пуст и мутен взгляд,
Которых и вскормил, и высосал разврат!

Да, в нашем племени, уродливом телесно,
Есть, есть прекрасное, что древним неизвестно,
Есть лица, что хранят сердечных ран печать, —
Я красотой тоски готов ее назвать.

Но это наших муз печальных откровенье,
Оно в болезненном и дряхлом поколенье
Не погасит восторг пред юностью святой,
Пред чистой юностью, веселой и простой,
Чей взор ясней воды в речушке быстротечной,
Той юности, что всем от полноты сердечной
Дарит, как небеса весну и жизнь дарят,
Свой жар, свою любовь, и песнь, и аромат.

ИГРА

Вкруг ломберных столов — преклонных лет блудницы.
Металл и яхонты на шеях, на руках.
Жеманен тел изгиб, насурмлены ресницы,
Во взорах ласковых — безвыходность и страх.

Там, над колодой карт, лицо с бескровной кожей,
Безгубый рот мелькнул беззубой чернотой,
Тут пальцы теребят, сжимаясь в нервной дрожи,
То высохшую грудь, то кошелек пустой.

Под грязным потолком, от люстр, давно немытых,
Ложится желтый свет на груды серебра,
На сумрачные лбы поэтов знаменитых,
Которым в пот и кровь обходится игра.

Таков проклятый мир, в угаре ночи душной
Представший предо мной, когда сидел я там,
Один, вдали от всех, безмолвный, равнодушный,
Почти завидуя и этим господам,

Еще сберегшим страсть, и старым проституткам,
Еще держащимся, как воин на посту,
Спешащим промотать, продать в веселье жутком
Одни — талант и честь, другие — красоту.

И зависть ширилась в моей душе иная,
О ужас! зависть к тем, кто с детства жизнь свою
В труде и в бедности влачит, предпочитая
Страданье — гибели, и ад — небытию.

ИДЕАЛ

Нет, нашим женщинам, виньеточным сиренам,
Столетья пошлого испорченным плодам,
В высоких башмачках и в юбке с модным треном,
Я сердце гордое вовеки не отдам.

Пусть этот шумный рой красавиц золотушных,
Поэт хлорозных дев, рисует Гаварни.
Цветы, возросшие в оранжереях душных,
Мой красный идеал не заслонят они.

Вам, леди Макбет, вам, великой в преступленье,
Готов я посвятить моей души томленье,
Вам, кинутой в снега Эсхиловой мечте,

Тебе, святая Ночь, создание титана,
Дочь Микельанджело, простертая так странно
В изваянной для уст Гигантов наготе!

ЛЮБИМЫЙ ОБМАН

Если вижу я, как ты идешь, дорогая,
По эстраде, рыдающей музыке в лад,
Гармонически плавно и гибко ступая,
И глаза твои в даль безучастно глядят,

Если вижу сияние этих печальных,
Словно сумрачной кистью начерченных глаз,
Если бледный твой лоб средь огней театральных
Розовеет зарею в полу́ночный час,

Как прекрасна! Как странно свежа!— говорю я,—
Иль не смято в ней сердце, как вянущий плод?
Иль не знает изысканных ласк поцелуя?
Или прошлого тяжесть ее не гнетет?

Что же — плод ли ты, пьяным наполненный соком,
Погребальная урна, наперсница слез,
Аромат, говорящий о чем-то далеком,
Ложе неги, букет увядающих роз?

Есть глаза — я видал их — чей сумрак бездонный
Полон грусти, но тайна не скрыта за ней,
Без сокровищ ларцы, без святынь медальоны,
Даже Неба пустого они холодней!

Что мне в них, если ты повергаешь в смятенье,
Если сердце уводишь от правды в мечту!
Ты глупа? Равнодушна? Ты маска? Виденье?
Все равно! Обожаю твою красоту!

ВЕЧЕРНИЙ СУМРАК

Душистый вечер лег на бледный небосклон.
Союзник темных дел, как вор, подкрался он,
И раскрывается высокий звездный терем,
И человек спешит оборотиться зверем.

О вечер! Как ты люб тому, чей скромен дом,
Чьи руки, не солгав, воскликнут перед сном:
«Мы поработали!» Ты сходишь, утешая
Того, чей скорбный дух грызет тоска глухая,
Мыслителя, чей лоб изрыл упорный труд,
Рабочих, что в постель усталые бредут.

А духи зла меж тем над смолкнувшей столицей,
Стряхнув ленивый сон, взлетают вереницей,
Снуют средь пляшущих под ветром фонарей
И с видом деловым стучатся у дверей.
Вот проституция огнями засветилась,
И в муравейнике все вновь засуетилось.
Она, как враг, не спит и тайный ищет путь,
Чтоб город блуда в сеть неслышно затянуть,

Незримо соки пить его живого тела —
Так пожирает червь амбары земледела.
Там слышен кухни гам, тут ресторана звон,
Театров плач и смех, оркестров хрип и стон,
А там вовсю картеж идет в угрюмом баре,
За ломберным столом, где плут и шлюха в паре,
И вор, не знающий ни часа без забот,
С отмычкой и ножом готовится в поход —
Ограбить дом иль банк, проткнуть кассиру глотку,
Чтоб день-другой пожить да приласкать красотку.

О, в этот смутный час не поникай, мой дух!
Для звуков городских закрой свой чуткий слух!
То час, когда больным страдать еще тяжеле,
За горло ночь берет и душит их в постели,
Окончен путь земной, и смерть зовет во тьму.
В палатах жалобы и стон, и кой-кому
Уж не склоняться впредь над суповою миской,
Не греться у огня вдвоем с душою близкой.

А много больше тех, кто сгинет без следа —
Не знавших очага, не живших никогда.

ПАДАЛЬ

Вы помните тот день, полей цветущих дали,
Мой ангел, помните ли вы,
Как, выйдя из лесу, мы падаль увидали
На яркой зелени травы.

Полуистлевшая, она, раскинув ноги
Подобно девке площадной,
Бесстыдно, брюхом вверх, лежала у дороги,
Зловонный выделяя гной.

И солнце эту гниль палило с небосвода,
Чтобы останки сжечь до тла,
И чтобы слитое великая Природа
Разъединенным приняла.

Как белые цветы, уже куски скелета
Глядели в небо здесь и там.
От смрада на лугу, в душистый полдень лета,
Едва не стало дурно вам.

Спеша на пиршество, вокруг останков мухи
Жужжащей тучею вились,
И черви ползали и копошились в брюхе,
Как черная густая слизь.

Все это двигалось, вздымалось и блестело,
Как будто, вдруг оживлено,
Росло и множилось чудовищное тело,
Дыханья смутного полно.

И этот мир струил таинственные звуки,
Как ветер, как бегущий вал,
Как будто сеятель, подъемля плавно руки,
Над нивой зерна развевал.

То зыбкий хаос был, лишенный форм и линий,
Как первый очерк, как пятно,
В котором Рафаэль провидит стан богини,
Готовый лечь на полотно.

Из-за куста на нас, в великом нетерпенье,
Глядел испуганный щенок
И только выжидал, чтоб улучить мгновенье
И лакомый схватить кусок.

И что ж — как этот труп, заразу источая,
Вы грудой ляжете гнилой,
Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая,
Вы, лучезарный ангел мой!

Увы, красавица, и вас коснется тленье,
И вам назначен страшный час,
Когда омытую, под скорбные моленья,
На лоно трав опустят вас.

Скажите же червям, когда начнут, целуя,
Вас пожирать во тьме сырой,
Что тленной красоты навеки сберегу я
И форму, и бессмертный строй.

БОЛЬНАЯ МУЗА

О, Муза бедная! скажи мне, что с тобой?
Ночные призраки проходят вереницей
В глубинах глаз твоих, где страх залег слепой
И вспыхивает вдруг безумие зарницей.

Румяный бог любви похитил твой покой,
Иль в ужас вверг тебя суккуб зеленолицый?
Или кошмар схватил бессмысленной рукой
И в сказочный Минтурн швырнул подбитой птицей?

О, пусть живая мысль зажжет огнем твой взгляд,
Чтоб источала ты здоровья аромат,
Пусть крылья обретет твой христианский гений,

В крови почуяв ритм античных песнопений,
Где царствуют иль Феб, дающий слову мощь,
Иль сам великий Пан, властитель нив и рощ.

СПЛИН

Когда на горизонт, свинцовой мглой закрытый,
Ложится тусклый день, томительный как ночь,
И давят небеса, как гробовые плиты,
И сердце тяжкий гнет не в силах превозмочь,

Когда промозглый мир, сырой, как дно колодца,
Тюрьмой объемлет нас, бессмысленно жесток,
Когда Надежда в нем летучей мышью бьется,
Испуганным крылом стучась о потолок,

Когда влачат дожди свой невод бесконечный,
Затягивая все тяжелой пеленой,
И скука липкая из глубины сердечной
Бесшумным пауком вползает в мозг больной,

И вдруг колокола, рванувшись в исступленье,
Истошный долгий вой вздымают в вышину,
Как рой бездомных душ, чье смертное томленье
Бессильной жалобой тревожит тишину, —

Тогда уходит жизнь, и катафалк огромный
Медлительно плывет в моей душе немой,
И мутная Тоска, мой соглядатай темный,
Вонзает черный стяг в склоненный череп мой.

ЛЕБЕДЬ

Виктору Гюго

1.

Андромаха! Полно мое сердце тобою!
Этот грустный, в веках позабытый ручей
Симоэнт, отражавший горящую Трою,
И величие вдовьей печали твоей,

Это в залежах памяти спавшее слово
Вспомнил я, Карусель обойдя до конца.
Где ты, старый Париж? Как все чуждо и ново!
Изменяется город быстрей, чем сердца.

Только память рисует былую картину:
Ряд бараков да несколько ветхих лачуг,
Бочки, балки, на луже — зеленую тину,
Груды плит, штабеля капителей вокруг.

Здесь когда-то бывал я в зверинце заезжем.
Здесь, в ту пору, когда просыпается Труд,
И когда подметальщики в воздухе свежем
Бурю темную к бледному небу метут,

Как-то вырвался лебедь из клетки постылой,
Перепончатой лапою скреб он песок.
Клюв был жадно раскрыт, но, гигант белокрылый,
Он из высохшей лужи напиться не мог,

Бил крылами и, грязью себя обдавая,
Хрипло крикнул, в тоске по родимой волне:
«Гром, проснись же! Пролейся, струя дождевая!»
Как напомнил он муку Овидия мне,

Жизни пасынок, сходный с душою моею,—
Ввысь глядел он, в насмешливый синий простор,
Содрогаясь, в конвульсиях вытянув шею,
Словно богу бросал исступленный укор.

2.

Изменился Париж мой, но грусть неизменна.
Все становится символом: балки, леса,
Старый город, привычная старая Сена —
Больно вспомнить их милые мне голоса!

Даже здесь, перед Лувром, все то же виденье:
Белый лебедь, низвергнутый в грязь с высоты,
Как изгнанник — смешной и великий в паденье,
Пожираемый вечною жаждой! И ты,

Андромаха, рабыня могучего Пирра,
Пережившая Трою, в неволе одна,
Над пустою гробницей поникшая сиро,
После Гектора—горе!— Элена жена.

Да и ты, негритянка, больная, худая,
В этой мгле и грязи, средь кирпичных громад,
За туманы, в лазурь африканского рая
Устремившая полный отчаянья взгляд,—

Все вы, все, кто не знает иного удела,
Как оплакивать то, что ушло навсегда,
И кого милосердной волчицей пригрела,
Чью сиротскую жизнь иссушила Беда!

И душа моя с вами блуждает в тумане,
В рог трубит моя Память, и плачет мой стих
О матросах, забытых в глухом океане,
О бездомных, о пленных, и многих других...

КРАСОТА

О смертный! как мечта, что в камне спит нагом,
Я дивно хороша. Разбившись, платит кровью
Кто хочет мной владеть. Поэт ко мне любовью,
Извечной, как сама материя, влеком.

Я мрамора белей и холоднее льда.
Я непостижный сфинкс, и трон мой — в тверди синей.
Я враг движения, смещенья форм и линий,
И знай, я не смеюсь, не плачу никогда.

Но, видя в волшебствах искусства и природы
Высокий образ мой, взволнованный поэт
Мне в жертву принесет исканий трудных годы.

Над тем, кто избран мной, сильнее власти нет,
Чем взор мой, синий взор, в чьем зеркале бесстрастном
При свете Вечности все кажется прекрасным.

ЛЕНИН И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Ленин и зарубежные литературы — такова наименее разработанная из многочисленных тем, связанных с ленинскими идеями об искусстве. Статьи, письма, высказывания Ленина о зарубежных писателях, его воспроизведенные мемуаристами литературно-критические оценки, пометки на книгах, переводы не собраны воедино, не систематизированы, даже библиографически не учтены. Ряд документов еще не опубликован.

Ленинские суждения о литературе раскрывают читателям идейный смысл художественных произведений. Писателей, да и вообще деятелей искусства они зовут к правдивости и взыскательности. Публицистов вооружают мастерством применения художественного образа в политической борьбе. Историков и философов, искусствоведов и литературоведов диалектически учат анализировать литературу и искусство, по-своему отражающие действительность.

Огромен, подлинно интернационален диапазон литературных интересов Ленина. В его публицистике читатель встретится с образами, созданными поэтами и драматургами античности,— Гомером и Эзопом, Эсхилом и Софоклом, Аристофаном и Пиндаром, Сенекой и Плавтом, Вергилием и Овидием, Горацием и Ювеналом.

Обращался Ленин и к наследию Сервантеса и Данте, Лафонтена и Мольера, Вольтера и Руссо, Мериме и Золя, Гюго и Потье, Доде и Франса, Роллана и Барбюса. Живо интересовала Владимира Ильича «старая великая германская поэзия» — поэзия Гете, Лессинга, Шиллера, Гейне, Гервега, как и драматургия Гауптмана, проза Ауэрбаха, Поленца, Шпильгагена. Творчество Шекспира и Дефо, Байрона и Карлейля, Коббета и Дизраэли, Диккенса и Элиот, Шоу и Уэллса, Купера, Лонгфелло, Лондона, Синклера, Рида определило круг ленинских суждений об английской и американской литературах. Отмечал Ленин и книги бельгийских, норвежских, датских, голландских писателей — Верхарна, Метерлинка, Ибсена, Нексе, Мультатули.

Резко критиковал Владимир Ильич реакционные литературные произведения, враждебные пролетарской идеологии, революционной борьбе народных масс. Высоко ценил он художественную силу книг талантливых писателей-коммунистов, бережно и заботливо поддерживал их творческие и общественные замыслы и начинания. Ленинские высказывания о зарубежной литературе утверждают идейность и народность искусства, реалистичность и типичность художественных образов, раскрывают их воспитательную роль.

Редакция предполагает осветить на страницах журнала высказывания Ленина о наиболее значительных зарубежных писателях. Вслед за историко-литературным обзором «Ленин и Гете» в последующих номерах будут опубликованы другие материалы.

Ленин и Гете

(историко-литературный обзор)

I

Стать коммунистом, учил Ленин, можно, лишь обогатив память знанием всех накопленных веками духовных богатств. В них входят и сокровища мирового искусства. В многогранной теме «Ленин и зарубежные литературы» особое место принадлежит разделу «Ленин и Гете». Ленин называл Гете великим немецким поэтом, видел в нем лучшего представителя «старой великой германской поэзии». В ленинском литературном наследии читатель встретится с поэтическими образами драматургии и лирики Гете, с его афоризмами и противопоставлениями, меткими эпиграммами, крылатыми идиоматическими выражениями.

В мировой поэзии Ленин особенно ценил «Фауста». Его поэтические мотивы воодушевляли Владимира Ильича еще в юности. С «Фаустом» не расставался он в ссылке и эмиграции. Его перечитывал в последние годы жизни. К «Фаусту» обращался Ленин и на заре создания партии, и в бурные дни революций 1905 и 1917 годов, и в период первой мировой войны. На трагедию Гете ссылался в трудах и послеоктябрьской эпохи. Образы и афоризмы «Фауста» применял в борьбе с врагами марксизма. Обратимся к произведениям Ленина и свидетельствам мемуаристов.

Конец девяностых годов. Ленин в ссылке в Шушенском — далеком таежном селе. Здесь — за тысячи верст от столицы — каждый томик — драгоценность. И среди книг, взятых Лениным в Сибирь, Н. К. Крупская в статье «Что нравилось Ильичу из художественной литературы» упоминает «Фауст» Гете на немецком языке...

Начало века. Ленин отправляется за границу. Он стремится воплотить в жизнь выношенный еще в ссылке план создания партии. На пограничной станции царский жандарм составляет опись книг «господина Ульянова». Среди них только два художественных произведения, неизменно сопутствующих Ленину: стихи Некрасова и «Фауст». Образы и крылатые слова великих поэтов то и дело возникают в ленинских публицистических выступлениях конца прошлого века и начала нынешнего. Ленин сравнивает пропагандистов социализма с некрасовскими «Сеятелями». Он высмеивает рабскую зависимость оппортунистов от того, что им «книга последняя скажет», как это происходило с незадачливым героем поэмы Некрасова «Саша»—Львом Агариным. Гневно пишет он и о врагах русского трудового крестьянства—крепостниках-«последышах». С некрасовскими поэтическими мотивами переплетаются в ленинской публицистике ссылки на сатирические образы «Фауста». Осенью 1901 года в статье «Аграрный вопрос и «критики Маркса» Ленин выступает против ревизионистов марксизма типа Булгакова. Они усматривали свою мнимую «объективность» в том, чтобы «отмечать «с одной стороны» и «с другой стороны», «переходить (подобно гетевскому Вагнеру) от книги к книге, от листа к листу», отнюдь не посягая на то, чтобы составить себе последовательные взгляды, выработать общее представление о всем процессе в его целом».

В сравнение ревизионистов марксизма с Вагнером Ленин вкладывал острый политический смысл. Вагнер — это не трудолюбивый ученый, кропотливо собирающий факты. Он убежденный схоласт. Для Фауста Вагнер, как и для Ленина Булгаков и подобные ему «легальные марксисты»,— «ничтожный червь сухой науки». В сцене «У городских ворот» среди простых тружеников Фауст чувствует себя человеком, а Вагнер с отвращением смотрит, как веселится ненавистное ему «простонародье». Столкновение Фауста и Вагнера — столкновение двух мировоззрений, конфликт творчества и схоластики, служения народу и мертворожденной «науки для науки».

Ленинское сравнение ревизионистов марксизма с чуждым и враждебным народу Вагнером полно идейной остроты. В многопланных художественных образах Ленин открывал актуальную политическую направленность. Ведь Вагнер способен на различные превращения. Он становился и «легальным марксистом», и бундовцем, и меньшевиком. Ленин проницательно видел, чем могли оказаться в новых исторических условиях носители определенных социально-психологи-

ческих черт, зорко подмеченных художниками. Вагнеры — враги живой мысли и живой жизни. Оппортунистов Ленин уподобляет этому персонажу «Фауста».

Примечательно, что Булгаков молниеносно прошел типичный для многих буржуазных интеллигентов путь «от марксизма к идеализму» и завершил его... приятием поповского сана. Почти одновременно с ленинской работой, в которой он был метко уподоблен Вагнеру, Булгаков ополчился против «Фауста» и заявил, что герой трагедии — «немец с ног до головы, от которого порой даже попахивает филистерством». В борьбе, которую реакция вела против Гете, посильно участвовали и ренегаты социализма.

Снова обращается Ленин к «Фаусту» осенью 1903 года. В «Искре» он публикует статью «Положение Бунда в партии» и высмеивает бесплодный бундовский «логический разбор» пролетарской национальной политики. Он напоминает сионистским противникам ассимиляции трудящихся евреев саркастические слова Мефистофеля, обращенные к туповатому Ученику: «Mein teuerer Freund, ich rat' Euch drum zuerst Collegium Logicum!»

«Мой дорогой друг, советую вам... сперва изучить логику!» — рекомендует Ленин «теоретикам» социал-сионизма. Расчетливых политиканов из Бунда он сравнивает с Учеником-тупицей из «Фауста», взыскующим лишь той истины, что попроще и... повыгоднее.

Наступает 1905 год. В статье «О реорганизации партии» Ленин напоминает, что интеллигенция «хорошо рассуждает о необходимости сделать... а рабочие делают, претворяют серую теорию в живую жизнь».

Вагнер, Ученик, Мефистофель... Все расширяется круг образов «Фауста» в ленинской публицистике. Знаменитый поэтический афоризм Гете утверждает превосходство живой, вечно зеленой жизни. Все цвета, краски, оттенки ее не может передать по самой абстрагирующей природе своей «серая теория». Эпитет Гете Ленин трижды повторяет в заключительной части статьи. Он призывает: «Мы создали и на съезде и на конференции «серую теорию» объединения партии; товарищи рабочие! помогите нам претворить эту серую теорию в живую жизнь!»

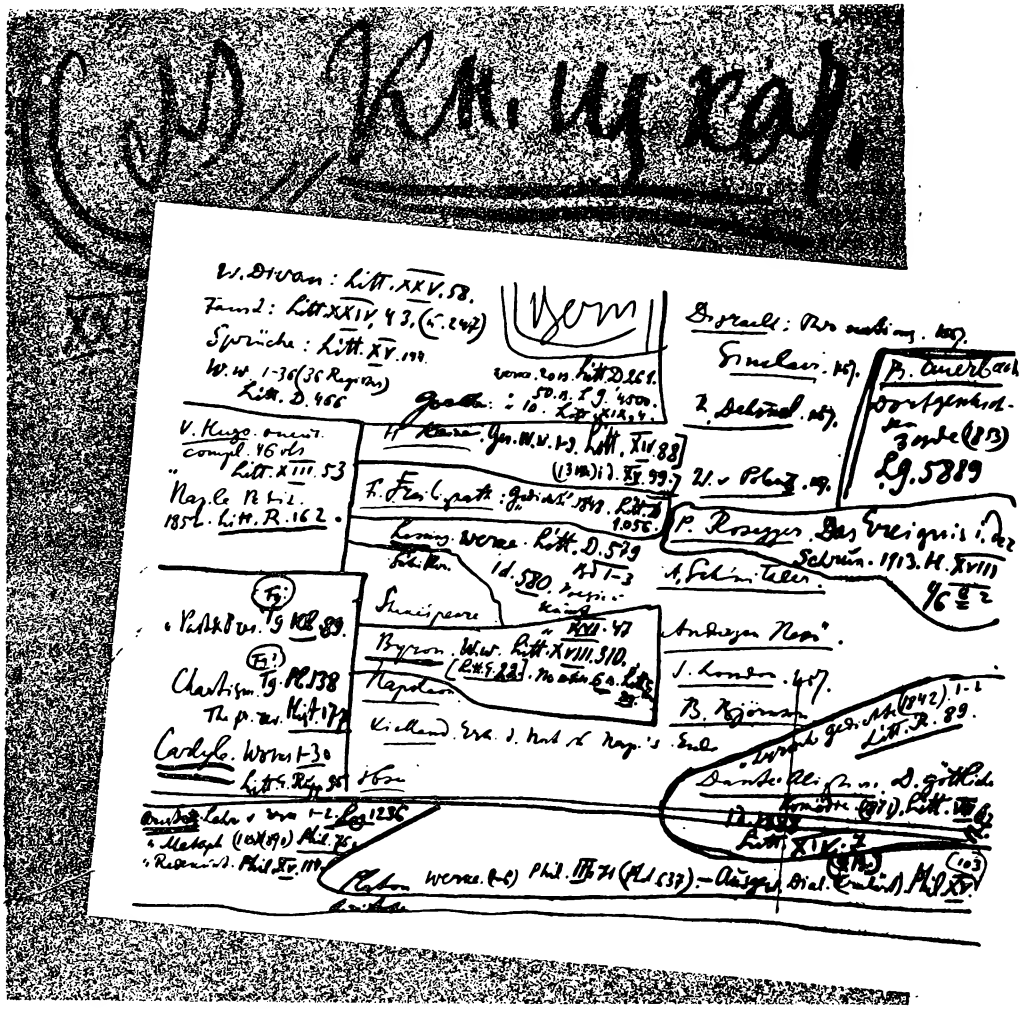
Ленин политически заострил антитезу, выраженную Гете в афористически отточенной форме. Антитеза эта еще не раз вернется в ленинскую публицистику.

1914 год. Ленин составляет «Инструктивные указания» делегации большевиков на Брюссельском «объединительном» совещании. Он снова доказывает, что практика массового рабочего движения важна ничуть не менее, чем теория. Только практика по-настоящему проверяет теоретические принципы. И Ленин опять ссылается на «Фауста», приводит афоризм, вложенный Гете в уста Мефистофелю. «Теория, мой друг, сера, но зелено вечное дерево жизни» («Фауст»)»,— заключает Ленин анализ взаимосвязей теории с практикой. Афоризм поэта стал оружием большевистской политической борьбы.

Война. Отрезанный от родины Ленин идет «против течения», против мутной волны социал-шовинизма. Он обращается к «Фаусту» и в эти недобрые дни. В апреле 1916 года Н. К. Крупская пишет из Цюриха В. А. Карпинскому — помощнику Ленина по издательской работе: «Владимир Ильич просит посылать ему сюда библиотечные книжки. Просит прислать письма Чехова, если что есть нового из Горького, Фауста, по-русски».

Чехов, Горький — любимые русские писатели Ленина, и снова — «Фауст». Книга Гете опять нужна Ильичу. И фрагмент «К вопросу о диалектике» завершают образные слова о «живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объективного, абсолютного человеческого познания». Конечно, ленинское определение места идеализма в истории философских исканий независимо от Гете. Но его метафорическая литературная форма, сам образ вечно живого дерева познания восходит к «Фаусту». Недаром, характеризуя Ленина, Н. К. Крупская писала о его неизменном интересе к «живому дереву жизни», поэтический образ которого, так полюбившийся Ильичу, принадлежит Гете. Ленин запрашивал русский перевод трагедии. К 1916 году насчитывалось уже более пятидесяти отдельных изданий девятнадцати русских переводов «Фауста». Некоторые из них выдержали до одиннадцати переизданий — так велик был интерес читателей к произведению Гете.

В годы войны Владимир Ильич трудится над книгой об империализме. Он изучает горы экономической и политической литературы. Но и тогда Ленин, знакомясь с каталогами Бернской библиотеки, выписыва-



Это факсимиле воспроизводит часть одной из заключительных страниц тетради конспектов и выписок, составленной В. И. Лениным в 1916 году в Цюрихе. **„NB. Книги из каталогов"**, — *подчеркнул Владимир Ильич на обложке тетради. После выписок из статей Ф. Энгельса, К. Цеткин, Ф. Меринга и ряда других историко-документальных, библиографических и статистических заметок Ленин выделил интересовавшие его произведения художественной литературы, хранившиеся в Бернской библиотеке. Первыми среди них Ленин отметил книги Гете: «Западно-восточный Диван», «Фауст», «Изречения в рифмах», основные наиболее полные издания сочинений поэта; 46-томное полное собрание сочинений В. Гюго и его знаменитый памфлет «Маленький Наполеон». Затем следует 9- и 13-томные издания собрания сочинений Г. Гейне; одно из первых изданий стихотворений друга и соратника Маркса и Энгельса — Фердинанда Фрейлиграта; книги старшего современника Гете — Лессинга; английское и немецкое издание произведений Байрона; «Прошлое и настоящее», «Чартизм» и другие труды Карлейля, три тома «Деревенских рассказов» Ауэрбаха, «Случай в Шруне» П. Розеггера.*

«Божественную комедию» и лирические стихотворения Данте Ленин выписал в немецком поэтическом переводе, а Ибсена, Шиллера и Шекспира выделил особо. Перечень завершают книги Аристотеля и Платона...

Книгами интересовавших Ленина, судя по его записи, писателей Англии, Германии, Норвегии, Дании, Соединенных Штатов Америки — Дизраэли, Поленца, Шницлера, Демеля, Бьернсона, Нексе, Синклера, Лондона — Бернская библиотека в то время не располагала. На других страницах тетради Владимир Ильич столь же тщательно выписывает библиографические данные о книгах Мериме и Доде, Руссо и Шенье. Он всесторонне изучает каталоги библиотек не только Берна, но и Невшателя, Лугано и других городов Швейцарии.

Заметки Ленина наглядно демонстрируют широту его литературных интересов.

нет хранящиеся здесь произведения поэта. Он отмечает, в частности, «Изречения» и «Западно-восточный Диван», тридцатишести-, двадцати- и десятитомные издания сочинений Гете и, разумеется, отдельное издание Фауста».

В обширной гетеане Бернской библиотеки Ленин отметил наиболее надежные текстологически издания (см. стр. 191).

1917 год. Ленин снова на родине. Вскоре после возвращения в Россию он издает брошюру «Письма о тактике». Ленин противопоставляет вечно живое развитие закосневшим теоретическим догмам, живой марксизм — мертвой букве каменевского доктринерства. И в его новой книге, как обобщающий вывод, возникает антитеза теории и практики. «Фауст» опять в ленинском публицистическом арсенале.

Канун Октября. Ленин скрывается от полицейских ищеек Временного правительства на конспиративной квартире М. В. Фофановой. Он руководит всей деятельностью большевистской партии, неутомимо трудится, а в редкие свободные минуты читает любимых поэтов — Пушкина, Лермонтова и Гете. Снова перечитывая «Фауста», на этот раз в переводе Н. А. Холодковского, и беседуя о нем, Владимир Ильич, по воспоминаниям М. В. Фофановой, «обнаружил блистательное знание оригинала» гениального творения Гете, которое он «очень ценил». Как раз в те дни — 17 октября 1917 года — Академия наук присудила Н. А. Холодковскому за его перевод «Фауста» премию имени Пушкина, отметив, что широкое научное образование и владение стихом помогли переводчику «более чем всякому другому» проникнуть в глубину содержания и поэтического настроения «Фауста». Ленин, рассказывает мемуаристка, «почти с профессиональным интересом говорил о достоинствах перевода, о трудной работе переводчика». Он по заслугам оценил тщательный и добросовестный труд поэта-ученого, начатый еще в юности — в 1878 году — и неустанно шлифовавшийся им до последних дней жизни.

— Знаете, это ведь лучший перевод... Вот как у человека бывает! Энтомолог, а посмотрите, какой чудесный перевод,— говорил Ленин в те дни М. В. Фофановой.

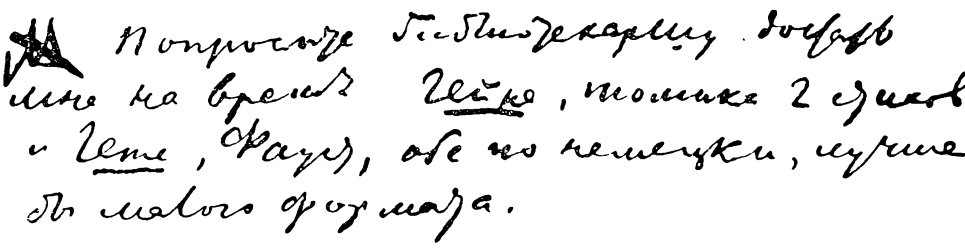
Октябрьская революция побеждает. Ленин руководит первым в мире рабоче-крестьянским государством. Именно теперь теория превращается в практику, оживляется, исправляется, проверяется ею. Любой шаг социалистического строительства Ленин считает куда важнее дюжины отменных рассуждений о социализме. В статье «Как организовать соревнование?» он опять обращается к «Фаусту», по-новому ссылаясь на любимое изречение поэта.

1920 год. Ленин выступает с очередными «Заметками публициста». Критикуя брошюру Бауэра «Путь к социализму», Ленин отмечает, что мирный переход к социализму выгоден трудящимся, но предполагает особую историческую ситуацию: абсолютную прочность победы пролетариата, безнадежность положения капиталистов и неизбежность их добросовестного подчинения рабочему классу. Этого не было и в помине тридцать семь лет тому назад. И Ленин сразу распознал в Бауэре нового Вагнера.

Бауэр—«образец педанта... Он твердо заучил (педанты не умеют думать, они умеют запоминать, могут затвердить)» некие догмы. Бауэр лишь повторял то, что заучил наизусть, ибо — следует уничтожающий вывод: «Он не умеет думать». Ленин саркастически характеризует Бауэра, который, подобно Вагнеру, «вероятно, представляет из себя добродетельнейшего отца семейства, честнейшего гражданина, добросовестнейшего читателя и писателя ученых книг». Комментируя эту ленинскую характеристику, исследователи обращаются к диалогу Фауста и Вагнера в первой части трагедии. Так поступает и М. С. Шагинян в монографии «Гете». Однако Вагнер предстает преуспевающим ученым ничтожеством и во второй части «Фауста». Здесь в монологе Мефистофеля зло высмеивается:

Почтенный доктор Вагнер, всем известный,
В ученом мире первый он мудрец.
Авторитет имеет повсеместный.
Один в себе вместил все знанья он
И ежедневно мудрость умножает...
Он с кафедры один свет яркий льет;
Как Петр святой, ключами он владеет:
Что в небесах, что на земле живет —
Все знает он, все объяснить умеет...
Сияет он, блестит необычайно.
Он то открыл, что для других есть тайна...

Горе-теоретик «австро-марксизма» — Вагнер наших дней. Он столь же скудоумен, как его прототип. Ведь чтобы, как заявляет далее Ленин, «проповедовать, в лето от рождества Христова 1919-е, в городе Вене, «упорядоченное» и «урегулированное» отнятие у капиталистов «четырех девятых» их дохода, — для этого надо быть либо душев-



Факсимиле записки В. И. Ленина Л. А. Фотиевой от 6 июня 1921 года.

нобольным, либо тем старым героем старой великой германской поэзии, который с восторгом переходит «от книжицы к книжице».

Герой этот и есть Вагнер.

Завершается гражданская война. Перед Лениным встают новые теоретические и практические проблемы. Все чаще он, по его любимому выражению, советуется с Марксом. И снова Ленин вспоминает о «Фаусте». 6 июня 1921 года Владимир Ильич просит Л. А. Фотиеву достать ему «на время *Гейне*, томика 2 стихов и *Гете*, Фауст, обе по немецки, лучше бы малого формата»...

С конца прошлого века до последних лет жизни Ленин неизменно обращается к «Фаусту».

«В начале было Дело», «Мне Дело — все», — эти слова Фауста из первой и второй частей трагедии могли бы стать эпиграфом к ней. Естественно внимание Ленина к поэтическому манифесту деятельной борьбы за счастье человечества. Великому борцу, мыслителю, революционеру был близок дух мятежных мотивов «Фауста». Это объясняет интерес Ленина к трагедии Гете, пожалуй, яснее, чем «жизненность ее положений и образов», на которую ссылается М. С. Шагинян.

Ленин высоко оценивал Гете в тот самый период, когда против его наследия выступала в России идейная реакция от декадента Бальмонта или мракобеса Сергея Соловьева до буржуазного либерала Овсянико-Куликовского. Идеалисты атаковали «Фауста» со всех сторон — эстетической, этической, философской. Для Бальмонта гениальная трагедия Гете — лишь «гигантский хаотический сбор фактов и сцен, не облеченных органической стройностью и лишенных поэтической гармонии». «Священник Сергей Соловьев» видел в Гете прежде всего врага религии. Его трактат «Гете и христианство» опубликовал в дни Февральской революции «Богословский вестник». Еще дальше пошел Овсянико-Куликовский. «Фауста» он считал книгой «жестокой, злой, бесплощадной», героев трагедии трактовал как «бледные схемы» и «говорящие абстракции»... Реакционеры ненавидели и боялись Гете. Тем дороже он коммунистам, непримиримым к реакции во всех ее видах.

II

Для ленинского отношения к «Фаусту» характерно еще одно немаловажное обстоятельство. Цитируя трагедию, Ленин сам ее переводил. Он стремился передать поэтическую афористичность Гете во всей ее выразительности, многозначности, сжатости.

Первая ленинская цитата из Гете — это реплика Вагнера, признававшего в споре с Фаустом лишь одну форму духовного развития: «переходить от книги к книге, от листа к листу».

Приведенный Лениным текст подлинного выражения Гете («von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt») *буквально* не совпадает ни с одним из русских переводов «Фауста».

В большинстве их не сохранены ни лексика, ни афористическая сжатость оригинала, ни его чеканный синтаксический параллелизм. Ленин дал реплику Вагнера в собственном переводе. Так поступил он и с афоризмом Мефистофеля: «Grau, teuerer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum».

Ленинский перевод сохранил поэтический эпитет Гете, характеризующий «серую» теорию в отличие от многоцветной, многокрасочной, многогранной жизни. Grau означает и «серое», в прямом и в переносном смыслах, и «седое». Многие русские переводчики избирали второй смысл немецкого слова. Они объявляли теорию «седой» и, следовательно, древней, старой, устаревшей, отжившей.

Но теории ведь бывают и совсем юными, даже младенческими, что отнюдь не делает их вечно зелеными, подобно жизни! И Ленин воспроизводит эпитет оригинала в противоположность переводчикам, считавшим теорию лишь «сухой», «скучной», «бесплодной», а *вечное* дерево жизни — «цветистым» и даже «сладким».

Ни с одним из русских переводов «Фауста» — и стихотворных, и прозаических — не совпадает и найденная Лениным четкая синтаксическая конструкция афоризма: «Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни».

В афоризме Гете Ленин видел образную формулировку одной из самых заветных идей материалистической теории познания. По ленинскому определению, критерий практики отделяет иллюзию от действительности, доказывает соответствие наших представлений объективной природе вещей. Критерий жизни, практики Ленин считал основой теории познания. То же — по объективному философскому смыслу — сказал образным языком Гете. Переводя его афоризм на русский язык, Ленин стремился сохранить и передать все смысловые оттенки оригинала.

III

Так относился Ленин к «Фаусту». Нельзя не вспомнить в этой связи одно замечание И. В. Сталина. В 1931 году он написал на последней странице поэмы Горького «Девушка и Смерть»: «Эта штука сильнее чем «Фауст» Гете *(Любовь побеждает смерть)*».

Чудесная сказка Горького действительно полна поэтического обаяния. Однако едва ли закономерно противопоставлять это юношеское произведение Горького вершине творчества Гете, итогу шести десятилетий его гигантского труда. Вокруг частного, во многом случайного замечания, по своему характеру отнюдь не предназначавшегося для печати, после того как 20 октября 1937 года его опубликовала «Комсомольская правда», выросла обширная литература. Немало исследователей пыталось обосновать и утвердить превосходство горьковской сказки над «Фаустом». Запись на полях книги Горького они оценивали как вклад в литературу о «Фаусте», освещающий важнейшие проблемы истории мирового искусства. Пора разобраться в этой аргументации. Ленинизм требует рассматривать явления и процессы лишь исторически, лишь в связи с другими и с конкретным опытом истории. Антиисторичен такой подход к классическому наследию, при котором литературоведы позднейшие художественные достижения объявляют «сильнее» их предшественников. Уместно ли, в самом деле, скрупулезно устанавливать, насколько Шекспир «сильнее» Гомера или, скажем, Гюго — Шекспира? «Сильнее» ли пушкинская «Полтава», «Слова о полку Игореве», а «Хорошо!» Маяковского — поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? Противопоставления такого рода внеисторичны и потому бесплодны. Прямо противоположны они общеизвестным высказываниям о Гете, принадлежащим Марксу, и Энгельсу, Ленину и Плеханову, Белинскому и Чернышевскому, да и самому Горькому. Сталин подчеркнул лишь жизнеутверждающий пафос поэмы Горького, а многочисленные комментаторы поспешили объявить «Девушку и Смерть» неизмеримо более глубоким, мудрым произведением, чем «Фауст».

Подобные утверждения постепенно приобрели прочность предрассудка. Некритически повторяли их из книги в книгу, из статьи в статью горьковеды и даже гетеведы, литературоведы-теоретики, историки советской литературы. Было бы несправедливо задним числом обвинить в этом лишь некоторых авторов. Но необходимо рассмотреть наиболее распространенные точки зрения, которые очень многие исследователи разделяли или, по крайней мере, все еще не опровергли. «Сильнее, чем «Фауст», — так озаглавлена одна из работ о поэзии Горького. Автор ее провозгласил абсолютное эстетическое превосходство «Девушки и Смерти» над «Фаустом», как и вообще «поэзии Горького над поэзией Гете». Превосходство это критик увидел в том, с какой «изумительной поразительностью(?!) и пластичностью подчеркивает Горький революционное значение, которое неизбежно приобретает подлинная любовь в борьбе с общественным злом, с гнетом антагонистического классового общества».

Вопреки этому утверждению, любви, даже самой доподлинной и страстной, принадлежит в революционной борьбе несколько иная, более скромная роль. Не всякая любовь и далеко не неизбежно обретает революционное значение. Не чужды этому чувству и господствующие классы.

Постепенно в литературоведении, точнее в горьковедении, сложились две точки зрения, вполне согласуемые между собой. Одни видели в сказке «раскрытую И. В. Сталиным победу оптимизма над пессимизмом», хотя трагедию Гете завершает полный оптимизма и отнюдь не окрашенный «в цвета пессимизма», как утверждали горьковеды, монолог Фауста о свободном народе на свободной земле. Другие находили, что в отзыве о «Девушке и Смерти»

«И. В. Сталин со всей решимостью подчеркнул историческое превосходство развивающейся коммунистической идеологии, превосходство мировоззрения революционного писателя...».

Но ведь превосходство идеологии само по себе не мера художественного совершенства! Тогда «сильнее, чем «Фауст» окажется не только «Девушка и Смерть», но и любое другое произведение, проникнутое коммунистической идеологией. Да и нельзя признать олицетворением «новой социалистической психологии» героиню сказки. Напрасно критики отыскивают в ее нежной любви к юному избраннику «собранность, ясность цели и отсюда целенаправленность». При этом иные договаривались до того, что в Девушке воплощено «начало исторического оптимизма», которое

«всегда было в характере российского революционного пролетариата, а в советском человеке социалистической эпохи приобрело новую силу, стало богаче, ярче... выдержало испытание в боях гражданской, а затем Великой Отечественной войны и сейчас противостоит темным силам мировой капиталистической реакции».

Но в поведении, психологии, языке героини сказки, право же, нет ничего специфически пролетарского, революционного, социалистического. Она вовсе не олицетворяет пролетарскую революционность и советский патриотизм.

Нужно пересмотреть широко — вплоть до учебников!— распространившееся ошибочное представление об эстетическом превосходстве поэмы Горького над трагедией Гете. Это нисколько не преуменьшит достоинств «Девушки и Смерти» — лирического гимна во славу земной, человеческой любви, здоровой, радостной, чувственной, сильной. Нельзя искажать объективные эстетические критерии, это недостойно литературы социалистического реализма.

Из частного замечания И. В. Сталина литературоведы сделали явно ошибочные выводы, неправильно, излишне расширительно его истолковали. В этом нашел выражение вредный антимарксистский, антиленинский культ личности, сказавшийся в немалой степени и на советском литературоведении. Преодоление последствий этого культа и на данном участке нашего идеологического фронта предполагает критику недостатков и ошибок И. В. Сталина, связанных с рядом принадлежащих ему эстетических оценок. Однако не следует, разумеется, забывать, что Сталин немало сделал для развития эстетики социалистического реализма, оставаясь в основном и главном на ленинских позициях идейности, партийности, народности советского искусства.

Критика недостатков и ошибок того или иного исторического деятеля не должна заслонять его достоинств и заслуг. Как известно, Ленин неизменно руководствовался этим принципом. Из него исходит и Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе как против последствий и рецидивов культа личности, так и против антипартийных извращений этой борьбы.

IV

От «Фауста» перейдем к другим произведениям Гете. В уже упомянутых выше выписках из каталогов Бернской библиотеки Ленин отметил «Изречения в рифмах», в которых поэт порой клеймил современное ему филистерство.

Еще в «Фаусте» Гете выступил против филистерской «умеренности». Герой трагедии гневно заявляет:

«Умерен будь! Лишь будь умерен!» —
Вот песня вечная у нас.
Она терзает наши души,
Ее поют нам хрипло в уши
И каждый день и каждый час!

Ленин презирал пресловутую политическую умеренность — тайный псевдоним контрреволюционности. Гете — наш союзник и в этой борьбе. Из множества его «ксений», далеко не всегда «кротких», Ленин избрал одну, наиболее метко направленную против филистеров.

В книге «Что такое «друзья народа»...» Ленин писал об угодничестве либеральных народников перед царским правительством. Он бичевал их убийственной иронией русской пословицы о неких лицах, которые в богобоязненном усердии готовы лбы рас-

шибить. Пословица подчеркивает тупость либерально-народнической программы, но не передает ее жалкого и трусливого филистерства. Ленин напоминает о Гете. «Помните ли вы немецкое определение филистера?» — спрашивает он читателя и с некоторыми отступлениями от оригинала приводит по-немецки четверостишие из шестого раздела «Кротких ксений»:

Was ist der Philister?
Ein hohler Darm,
Voll Furcht und Hoffnung,
Dass Gott erbarm.

«К нашим делам,— публицистически комментирует Ленин стихи Гете,— это определение немножко не подходит. Бог... бог у нас совсем на втором месте. Зато вот начальство — это другое дело. И если мы подставим в это определение вместо слова «бог» слово «начальство», мы получим точнейшее выражение идейного багажа, нравственного уровня и гражданского мужества российских гуманно-либеральных «друзей народа».

В дословном переводе «ксения» Гете, перефразированная Лениным, гласит:

Что такое филистер?
Пустая кишка,
Полная страха и надежды
На то, что бог сжалится.

Трудно более точно поэтически охарактеризовать «гуманно-либеральных» филистеров любой национальной окраски. Этим же четверостишием завершается в 1907 году и ленинский памфлет «Памяти графа Гейдена». Против уже не народнических, а «мирнообновленческих» буржуазно-либеральных филистеров Ленин выступает в эстетическом всеоружии. Он ссылается на Щедрина и Тургенева, напоминает, что вместе с Некрасовым эти писатели учили различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности хищные интересы крепостника-помещика. Стихам Гете, как и поэтическому наследию Некрасова, Ленин снова придает политическую окраску. Теперь он адресуется уже не к относительно небольшой читательской аудитории подпольных марксистских кружков, владевшей иностранными языками, а к рабочему читателю. Ленин переводит немецкий текст («Что такое филистер? Пустая кишка, полная трусости и надежды, что бог сжалится») и тотчас же снова перефразирует стихи Гете:

«Что такое российский либерально-демократический филистер кадетского и околокадетского лагеря? Пустая кишка, полная трусости и надежды, что контрреволюционный помещик сжалится!».

Слово «трусость» особенно удачно передает в данном случае гетевское «Furcht» (страх, боязнь). Ведь политических филистеров-кадетов всегда отличала поразительная трусливость.

К этой эпиграмме Ленин вернулся восемь лет спустя — в 1915 году. В статье «Крах II Интернационала» он писал о типично филистерских рассуждениях Каутского, предпочитавшего «борьбу» лишь в таких формах, которые налагают на трудящихся «меньше всего страданий и жертв»: «Подай, господи! Господи, помилуй! Что такое филистер? — спрашивал Лассаль — и отвечал известным изречением поэта: «филистер есть пустая кишка, полная страха и надежды, что бог сжалится».

Опираясь на поэтическую характеристику филистерской ханжеской богобоязненности, Ленин заявил, что Каутский проституировал марксизм и превратился в настоящего попа. Его писания Ленин объявил отвратительной и тупоумной теорией, грязной поповщиной. Поэтический образ Гете помог Ленину выразительнее охарактеризовать ренегатство Каутского. Оппортунистическая поповщина — родная сестра филистерских надежд на милосердие божие.

Ленин-публицист политически конкретизирует обобщающие художественные образы, применяет их к новой исторической обстановке. Иногда такой образ приходит в публицистику не непосредственно из первоисточника, а из другого публицистического контекста. Так произошло и с «ксенией» о филистере. Ее полный текст таков:

Was ist ein Philister?
Ein hohler Darm,
Mit Furcht und Hoffnung a u s g e f ü l l t,
Dass Gott erbarm.

Ленин привел эпиграмму в той редакции, которую придал ей Лассаль. В речи, известной под заглавием «Книга для чтения рабочим», он резко выступил против филистерских извращений рабочего движения в Германии и, высмеивая тех, кто надеялся лишь на благодать свыше, сослался на стихи Гете.

Многое в ленинской публицистике перекликается с выступлениями и высказываниями Гете против филистеров его времени. Филистеры саморазоблачаются в революционную эпоху. Гневно пишет Ленин о них

в период революции 1905 года. Приемами публицистики он воссоздает тот же облик политических трусов, который Гете рисовал образными средствами поэзии:

«Их филистерская душа справедливо подсказывает им, что при быстром ходе вперед труднее отличить верный путь и быстро решать сложные и новые вопросы, чем при рутине будничной, мелкой работы, поэтому они инстинктивно шепчут: чур меня! Чур меня! Да минует меня чаша революционно-демократической диктатуры! Как бы не погибнуть, господа! Вы уже лучше «медленным шагом, робким зигзагом»!..»

Характеристику меньшевистского филистерства Ленин заключает еще одной стихотворной цитатой — на этот раз из сатирического «Гимна новейшего русского социалиста». Написал его Мартов, который сам к тому времени уподобился своему осторожному герою «Виртуозами филистерства» называл Ленин меньшевиков. Резко выступал он против филистерства и в годы Октябрьской революции и гражданской войны. Он предупреждал, что «искренне напуганный филистер» способен повлиять даже на иного революционера. Филистеры в их ночном колпаке высмеивались во множестве ленинских публицистических выступлений.

Каутскианцы-филистеры, наиболее опасные для социалистического движения того периода, — это, по ленинскому определению, «люди без идей, без характера, без политики, без чести, без совести, живое воплощение растерянности филистеров». Весной 1919 года Ленин пишет, что лучшие люди рабочего класса «полны ненависти и презрения ко всему мещанскому и филистерскому» — качествам, процветающим в среде мелкой буржуазии. Он бичует филистерские «тупость, низость и гнусность...»

Если попытаться по публицистике Ленина нарисовать портрет политического филистера, выяснится его поразительное сходство с образом филистера у Гете. Не о «влиянии» Гете на Ленина идет здесь, разумеется, речь Перед нами пример близости ленинизма всему передовому в истории человечества. Это относится и к лучшему в творчестве подчас отнюдь не чуждого филистерству великого немецкого поэта.

V

«Западно-восточный Диван» Гете вдохновлен поэтическим творчеством народов Востока. Ленин выделил в собрании Бернской библиотеки и эту книгу. К ней восходит знаменитое четверостишие о поэзии и поэтах. Заключительные «Заметки и приложения для лучшего понимания «Западно-восточного Дивана» открываются эпиграфом:

Wer das Dichten will verstehen,
Muss ins Land der Dichtung gehen,
Wer den Dichter will verstehen,
Muss in Dichters Lande gehen.
(Кто хочет познать поэзию,
Тот должен побывать в ее стране,
Кто хочет понять поэта,
Тот должен побывать в его стране).

Две последние строки эпиграфа дважды возникают в ленинской публицистике. Ленин приводит их в перефразировке Тургенева, но ссылается на Гете.

«Один тургеневский герой, — начинает Ленин статью «Оценка Маркса международным либерализмом», — переделал следующим образом стихи великого немецкого поэта:

Wer den Feind will versteh'n,
Muss im Feindes Lande geh'n.

то есть: «кто хочет знать своего врага, тот должен идти в страну этого врага, знакомиться непосредственно с обычаями, нравами, методами рассуждения и действия врага».

«Тургеневский герой» — это «российский Мефистофель»—нигилист Паклин из романа «Новь». Всю статью Ленин композиционно построил как путешествие в «страну врага» — печать буржуазного либерализма. Всячески клеветала она на Маркса в связи с 25-й годовщиной со дня его смерти, отмечавшейся в 1908 году. Тогда же в книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин критиковал журнал немецкого эмпириокритика Авенариуса «Трехмесячник Научной Философии» и цитировал его антимарксистские выступления. После одной обширной выписки Ленин заметил:

«Читатель, вероятно, негодует на нас за то, что мы так долго цитируем эту невероятно пошлую галиматью, это квази-ученое шутовство в костюме терминологии Авенариуса. Но — wer den *Feind* will verstehen, muss im *Feindes* Lande gehen: кто желает знать *врага*, тот должен побывать во *вражеской* стране. А философский журнал

Р. Авенариуса — настоящая вражеская страна для марксистов».

Перефразированные русским писателем стихи поэта стали оружием Ленина в борьбе с мракобесием. К сожалению, стихи эти, как и «ксения» о филистерстве, на которую ссылался Ленин, до сих пор все еще не нашли полноценного поэтического перевода.

* * *

Ленин очень любил музыкальные произведения, созданные по мотивам и на тексты и слова поэзии Гете. В молодости Владимир Ильич увлекался оперой Гуно «Фауст». Как вспоминал Д. И. Ульянов, юный Ленин чувствовал в ариях оперы «высокий подъем и призыв» — поэтическую доминанту лучших сцен и монологов трагедии. По сообщению Д. И. Ульянова, в арию Валентина, Ленин вносил «частицу своего боевого духа»:

Там в кровавой борьбе, в час сраженья,
Клянусь, буду первым я, в первых рядах...

Либретто оперы Гуно, естественно, не идентично тексту Гете, но композитор уловил и вложил в уста Валентина бунтарский пафос трагедии. Пафосом борьбы, действия, бунта против старого мира «Фауст» волновал Ленина еще в юности. Ценил Ленин и другие музыкальные произведения, вдохновленные поэтическими мотивами Гете, его неповторимыми образами и ритмами. М. Кедров вспоминает, что в 1913 году в Берне Ленин охотно слушал в его исполнении увертюру Бетховена к «Эгмонту» и «Лесного царя» Шуберта-Листа, созданного по балладе Гете. Пианистка Мария Стецкевич рассказывает, как в 1920 году после напряженного заседания Ленин попросил ее исполнить «Лесного царя» — произведение, которое «он особенно любил».

* * *

На всем протяжении своего жизненного пути Ленин с неизменным интересом относился к наследию Гете. В самые напряженные моменты революционной борьбы применял он художественные образы, созданные поэтом.

Исторические заслуги того или иного деятеля оцениваются не по тому, чего не дал этот деятель сравнительно с современными требованиями, а по тому, что дал он нового по сравнению со своими предшественниками... Ленинский критерий исторической оценки полностью применим и к наследию великого немецкого поэта, 125-летие со дня смерти которого отмечается в марте этого года.

Один из советских исследователей творчества Гете метко сравнил его труд над «Фаустом» с тем, как жители песчаной, кремнистой страны ревностно направляют в свои водоемы любой просочившийся ручеек, скупую подпочвенную влагу. Так и Гете всю долгую жизнь упорно собирал для «Фауста» каждый пророческий намек истории.

Творческое наследие Гете — это целый мир со своей историей, подчас чрезвычайно сложной, со своей философией, крайне противоречивой. Это обширная страна с причудливой географией: горными вершинами, ровными долинами и даже болотными топями, куда порой загоняло писателя идейное убожество окружавшей его общественной среды.

Ленинские высказывания учат высоко ценить художественное совершенство, учат брать у классиков то, что служит трудящимся в их освободительной борьбе. Они показывают, что все передовое и прогрессивное в классическом наследии поистине бессмертно. Оно не «отмирает» и не «ликвидируется» вместе с преходящими надстройками. Оно живет и борется, воспитывает и просвещает новые поколения борцов за счастье человечества.

Б. Яковлев

Арагон

О советской литературе

Мы печатаем предисловие Арагона к сборнику советских рассказов, опубликованному во Франции в 1956 году. Этой, как и предшествующими работами Арагон делает большой и ценный вклад в дело ознакомления широких масс французских читателей с советской литературой.

Придерживаясь в ряде случаев несколько иных точек зрения на конкретные явления внутренней литературной жизни СССР (по понятным причинам менее известные автору), редакция журнала считает, что в свете зарубежных дискуссий о социалистическом реализме нашим читателям будет весьма интересно познакомиться с содержательной и талантливой работой известного французского писателя.

Вильям Мейкпис Теккерей в своей «Книге снобов» рассматривает различные виды снобизма, существовавшие в современной ему Англии.

Среди прочих он показывает и политических снобов. Он приводит многочисленные примеры такой породы снобов, которые считают себя большими знатоками внешней политики.

«Они всегда преисполнены забот и беспокойства, — говорит он, — насчет намерений России и изменнических планов Луи Филиппа. Они постоянно ожидают, что французский флот появится в водах Темзы... По их словам, лорд Пальмерстон подкуплен Россией; они доподлинно знают, сколько рублей Россия ему платит; они вам скажут даже, в каком банке в Сити находится его счет...». И Теккерей воспроизводит разговор, который происходил после обеда между капитаном, отстраненным вигами от командования кораблем, и неким Минсом:

...«Знаете ли вы, Минс, — говорит капитан, — почему на вечере у леди Пальмерстон не было княгини Скрагамовской? Потому, что она не могла появиться в открытом платье. А знаете ли вы, почему она не могла в нем появиться? — Нет. — Ну так я вам скажу, Минс. У княгини ободрана вся кожа на спине; не спина, а сплошная рана, мой дорогой. Во вторник на прошлой неделе в двенадцать часов дня три барабанщика из Преображенского полка явились в Ашбернгам-Гауз и в половине первого пополудни в желтой гостиной русского посольства, в присутствии жены посланника, ее четырех камеристок, священника и секретаря посольства всыпали госпоже Скрагамовской тринадцать дюжин палочных ударов. Да, ее подвергли наказанию кнутом, сэр, высекли в Англии, в самом центре ее, в Беркли-Сквере за то, что она сказала, что у великой княгини Ольги рыжие волосы. Думаете ли вы, сэр, что после этого лорд Пальмерстон сможет сохранить свой портфель? — Боже милостивый! — воскликнул Минс...».

Этот анекдот ничуть не устарел: у нас еще не перевелись политические снобы. Разница лишь в том, что в наши дни возможности выдавать собственный снобизм за общественное мнение настолько увеличились, что я сильно опасаюсь, как бы юмор Теккерея не перестал доходить до среднего читателя времен г-на Жан-Поля Давида.

Поэтому перед французом, считающим себя лишенным предрассудков, возникают значительные трудности, когда он хочет составить себе мнение о России. Ему трудно судить даже о самых простых явлениях, — я имею в виду внешне простые, то есть те, которые кажутся наиболее доступными для ознакомления,— как, например, современная русская проза. Если даже вышеупомянутый средний читатель окажется настолько любознательным, что решится перелистывать страницы советских книг, не боясь ослепнуть, стать смешным или совратиться с пути истинного, все равно он, сам того не сознавая, вооружится прежде всего очками снобизма. Но так как всякий снобизм влечет за собой снобизм противоположного толка, то дело еще осложняется и благородным негодованием тех, кто твердо убежден, что на улице Гренель в присутствии г-жи Виноградовой никого не секут. На все антисоветские измышления они отвечают довольно сумбурным энтузиазмом, безоговорочно защищая все, что исходит из

Предисловие к сборнику советских рассказов. Aragon — Introduction aux Littératures soviétiques, Contes et nouvelles, Paris, 1956.

той страны, в которой другие и сейчас хотят видеть лишь скифов, описанных в стихах Жана де Ленжанда:

В них нет ничего человеческого,
кроме облика человека...

А страна, в которой живут эти скифы, по их мнению, так и не изменилась с бесконечной зимы 1660 года, описанной Габриелем Жильбером:

Пусть он отправится в Московию
К этим дикарям, одетым в звериные шкуры,
Которых, вечно пьяных,
Возят в санях *

Любопытным следствием такого взгляда на вещи является то, что туристы, пробывшие неделю в стране, о которой они слышали тысячи ужасов и тысячи чудес, возвращаются оттуда, озадаченные самыми обычными мелочами в поведении ее жителей, мелочами, которые отличают нам подобных от диких зверей, как, например, пользование вилкой и чайной ложечкой. Я далек от мысли высмеивать желание видеть правду собственными глазами. Но, без сомнения, если бы хоть некоторые пассажиры «Батория» познакомились с тем, что дает пищу уму советского читателя, прочли те книги, из которых многие, худо ли, хорошо ли, переведены на французский язык, они не потратили бы ни того драгоценного времени, которое у них было, ни своего энтузиазма на то, чтобы изумляться столь обычным вещам, а свои критические способности смогли бы применить с большей пользой.

Мою книгу «Советские литературы» назвали «литературным Баторием». Думаю, что это сильно преувеличено, так как и до моей книги наши издатели выпустили множество настоящих «Баториев» — произведений советских писателей. Каждый может себе позволить такое плаванье; и оно поможет узнать страну лучше и по-иному, чем путешествие, организованное конторой Кука.

* * *

Подобное невежество нам не в новинку. Когда в 1790 году русский историк Николай Карамзин посетил Париж, какой-то кавалер ордена Святого Людовика, с которым он очутился в одной ложе в Опере, спросил его: «Правда ли, что у вас в России говорят по-немецки?» И так как Карамзин ответил: «У нас говорят по-русски»,— кавалер подхватил: «Ну да, по-русски, ведь это одно и то же...»

Наверное, нечто похожее сказали бы сегодня и наши Мари-Шантали. Но с другой стороны, на примере Карамзина легко показать, как трудно человеку, даже, если он вовсе не сноб, а ученый, которому не чужды идеи прогресса (разве Карамзин не был одним из тех самых русских франкмасонов, чьи ложи императрица Екатерина закрыла два года спустя, так она испугалась событий во Франции?), как трудно ему, воспитанному в другой стране, при другом режиме, понять то, что он видит в нашей стране.

Не назвал ли Карамзин — и это в июне 1790 года! — нашу Великую революцию «ужасным политическим происшествием ..»? Я знаю, что такое понимание вещей свойственно не одним только русским, и мой пример, стало быть, мало убедителен для тех, кто и у нас во Франции думает так же, как франкмасон Карамзин; но, говоря по правде, я пишу не для них, так как считаю их нашими скифами, в представлении Жана де Ленжанда.

Итак, я хорошо знаю, что для того, чтобы говорить о советской литературе, нужно заранее примириться со злобными насмешками и с известными предрассудками и что нужно стараться не задевать снобизма там, где он имеет слишком глубокие корни. Но я знаю, что во Франции есть немало снобов только по привычке, что они смогут отбросить те очки, которые им навязывают, так как, несмотря ни на что, у них отличное зрение.

* * *

Одна из самых распространенных точек зрения на советскую литературу, которую разделяют не только те, кто питает предубеждение против СССР, заключается в том, что литература эта, вооруженная ли, безоружная ли, рождена Октябрьской революцией и что она не имеет никакой связи с тем, что ей предшествовало, то есть с той русской литературой, которая в течение тридцати с лишним лет—с момента выхода книги виконта Э.-М. де Вогюэ и до 1917 года — служила предметом восхищения во Франции, не вызывая при этом никаких мыслей о политике. Даже есть такие коммунисты, которые считают зазорным отрицать этот разрыв между прошлым и настоящим: они не думают о том (спеша огулом противопоставить нарождающееся отмирающему), чем же все-таки отличаются коммунистические взгляды на историю, а следовательно и на историю литературы. А ничто так не чуждо коммунистическим взглядам, как представление о возможности существования tabula rasa.

Я остановился на этом особо, так как считаю, что без полной ясности в данном вопросе изучение советской литературы пойдет по ложному пути. И совсем уже не случайно то, что два противоположных вида снобизма, по сути дела, совпадают между собой: один, вызванный реакционным мышлением, утверждает, что ничего ценного не может породить «это ужасное политическое происшествие», другой, утопически восторженный, вообще не признает никакой связи между тем, что было до революции, и тем, что ею порождено. В наши дни утопия и реакция находят общий язык не только в литературе.

Нет нужды доказывать, что преемственность отнюдь не означает неподвижности. Ведь само признание преемственности помо-

* Перевод подстрочный

гает проследить различия между литературой прошлого и настоящего. Советская литература, как бы тесно она ни была связана с доставшимся ей наследием, с моей точки зрения представляет собой самостоятельную ценность. Ведь советская литература, так же как и ее предшественница, дореволюционная литература, является отражением общества, но общества совершенно иного.

Поскольку я пытаюсь здесь избежать суждений a priori, так как они могут нарушить свободу мнения о советской литературе, я позволю себе обратить внимание на одно странное явление.

Мы часто руководствуемся некими «прописными истинами», которые после смерти Гюстава Флобера лишились своего лексикографа. Одна из них, прочно укоренившаяся и принятая на веру, заключается в том, что революционные периоды мало благоприятны для расцвета искусства и, в частности, для литературы. В течение полутора веков нас пытались заставить думать так об эпохе Великой французской революции; эту теорию показалось естественным распространить и на русскую революцию. При этом забывают, что французская революция длилась всего пять лет, с 14 июля 1789 года до Термидора, в то время как мы приближаемся к сорокалетию Октября.

Но даже если и пройти мимо этого факта, то все равно теория эта не выдерживает критики: стоит вспомнить, что с 1789 по 1794 год Андре Шенье не переставал писать, что Бомарше, который был предвестником революции в «Севильском цирюльнике» и в «Женитьбе Фигаро», завершил свою трилогию в 1792 году («Преступная мать»), что искусство Давида достигло своей вершины именно в эти годы, что тот же Лакло, который только что написал «Опасные связи», требовал низложения короля на другой день после Варенненского бегства, и что «Марсельеза» отнюдь не свидетельствует об упадке национальной поэзии, как и творения Госсека и Мегюля — об упадке музыки.

Короче говоря, за сорок лет, прошедших со дня русской революции, наши «прописные истины» вынуждены были несколько видоизмениться: теперь довольно часто современной советской литературе (то есть той, которая отражает установившийся «советский порядок») противопоставляют — и с каким сожалением! — литературу первых дней революции, в которой отразились все колебания того времени — «брожение», так напоминающее годы французской революции.

Стоит поразмыслить над «прописными истинами», над их неустойчивостью! Мне думается, что разумнее не противопоставлять друг другу различные моменты истории одной и той же литературы, которая развивается, если хотите, от Антона Чехова к Галине Николаевой, а рассмотреть эту литературу в ее целом и в ее становлении.

* * *

Прошло семьдесят лет с тех пор, как Эжен-Мелькиор де Вогюэ писал: «Русские писатели защищают реализм с помощью новых и лучших, по моему мнению, аргументов, чем те, которыми пользуются их соперники на Западе. Реализм — серьезное явление; оно становится предметом всех литературных споров, происходящих в настоящее время в цивилизованном мире...» Развивая дальше свою мысль, Вогюэ ставит себе целью доказать, что реализм — это искусство демократии («Мы находим в России,—пишет он,—патриархальную демократию, произрастающую под сенью абсолютной власти»).

Вогюэ стремится показать неизбежную внутреннюю закономерность развития литературы к реализму и приводит в пример русских реалистов (Тургенева, Толстого, Достоевского), которых он ставит выше французских (Стендаля, Бальзака, Флобера, Золя) и английских (Диккенса, Теккерея, Джордж Элиот). Вогюэ говорит о том горячем интересе, который русские писатели вызывают у нас: «Возможно, что столь ярко выраженное восторженное отношение к ним повлечет за собой и два не совсем желательных обстоятельства. Во-первых, станут переводить без разбора все, что идет из России — это уже начали делать,— и среди прочего массу плохих книг. В таком случае мы отделаемся тем, что не будем их читать. Во-вторых, как меня в этом уверяют, молодые «декаденты», увлеченные Достоевским, то есть главным образом причудливыми особенностями его таланта, заимствуют его крайности, чтобы подкрепить свои литературные химеры. Это также неизбежно, дадим им возможность перебеситься. Делая эти оговорки, я убежден, что влияние великих русских писателей окажется благотворным для нашего ослабевшего искусства; оно поможет ему снова подняться, научит лучше наблюдать жизнь и, вместе с тем, видеть дальше, а главное, обрести вновь способность чувствовать...»

Все это, а также и многое другое в «Русском романе» сохранило свою актуальность для тех, кто умеет читать. Книга эта и сегодня читается с пользой и заставляет думать.

Ведь все, что сказано Вогюэ о русской литературе, можно без труда отнести и к современной, советской литературе. Она развивается в том же направлении, которое казалось Вогюэ характерным для русской литературы его времени. Советская литература тоже реалистична, тоже стремится видеть как можно дальше и тоже эмоциональна.

Реализм советской литературы — это не реализм старого типа, который ограничивался лишь констатацией фактов, то есть не то, что мы называем натурализмом. Реализм советской литературы — это подлинный реализм, искусство, которое в научное видение мира вкладывает *душу,* помогает познавать мир, воспитывает, изменяет

людей. Именно это имел в виду Вогюэ, когда он писал:

«Мне хорошо известно, что, предписывая искусству воспитательные цели, я вызову улыбку у сторонников теории искусства для искусства. Но я никогда не поверю, что серьезные люди, заботящиеся о своем достоинстве и об общественном уважении, захотят превратиться в жонглеров». Здесь меня перебьют и скажут, что во времена Вогюэ русская литература заслуживала такого отношения, но сегодня не видно произведений, которые... Извините, но видите ли вы их во Франции? Я не из числа людей, склонных принижать нашу литературу. Но мне кажется, что если вы начнете сравнивать лучших французских писателей нашего времени со Стендалем, Бальзаком, Флобером и Золя, то вряд ли они выиграют больше, чем советские писатели от сравнения их с Гоголем, Тургеневым, Толстым, Достоевским. Право же, подобные сопоставления рискованны, так как у русских в XX веке был Горький, а Андре Жид не идет ни в какое сравнение с ним.

* * *

Если мы обратимся к первым дням советской эры, то несомненно найдем имена писателей, которые своим блеском заставят померкнуть имена тех, кого мы им можем противопоставить во Франции. Какая страна дала с 1917 по 1930 год поэтов такого всемирного звучания, как Александр Блок, Сергей Есенин и Владимир Маяковский?

Правда, после смерти Аполлинера у нас был Клодель, был Элюар... но посмотрите, что делается в других странах: Карл Сэндберг в Соединенных Штатах, Рабиндранат Тагор в Индии, для полноты картины назовем Д'Аннунцио в Италии... Сравнивать слишком легко, и лично я не считаю этот метод очень плодотворным. Тем не менее, оставляя его в стороне, позволю себе сказать, что в начале русской революции русская поэзия поднялась очень высоко, и нужно оглянуться далеко назад — к Некрасову, Лермонтову, Пушкину... чтобы найти ей соответствие.

Преемственность здесь очевидна. К именам трех названных поэтов нужно прибавить имя Валерия Брюсова, который за двадцать лет до революции был символистом, главой декадентов, и, несмотря на это, стал одним из зачинателей *советского* пути русской поэзии. Творчество Блока, поэта хотя и более близкого к реализму, имело, впрочем, те же истоки; Маяковский начинал как футурист. Чтобы обнаружить преемственность в прозе, достаточно вспомнить два имени—Максима Горького и Алексея Толстого.

Одним из тяжелых обвинений, которые западная критика предъявляла советской литературе, было исчезновение различных литературных школ. Советской литературе приписывается крайнее однообразие, причиной которого якобы является вмешательство государства, партии. Но ведь в те времена, когда Вогюэ указывал на неизбежность быстрого развития русской литературы и искусства по пути к демократии, к реализму, не было ничего похожего ни на партию большевиков, ни на социалистическое государство. Несомненно, что после Октября, а именно в тот период гражданской войны, когда Маяковский посвятил себя окнам РОСТА (1919—1921 гг.), сложились новые исторические условия для литературы. Разные течения нарождающейся литературы, писателей разных «школ», между которыми прежде ничего не могло быть общего, теперь объединила большая общая школа истории, а следовательно и одно общее главное течение, отражающее эту историю,— реализм. Но можно ли предположить, что все это произошло само собой? Задавая этот вопрос, я хорошо представляю себе встревоженные лица тех, кто так боится вмешательства партии в литературу.

Вспомним, что первое такое серьезное вмешательство произошло в декабре 1920 года, когда было опубликовано письмо Центрального Комитета Российской Коммунистической партии (большевиков) о Пролеткульте. Эта дата не лишена интереса, если вспомнить, что окончательная победа над контрреволюционными бандами Врангеля, сброшенными в море под Перекопом, была одержана в ноябре того же года. В июне появилась работа Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», в которой указывалось на опасность левого уклона в политике. Аналогичное значение имело письмо Центрального Комитета и для искусства, в области которого сектанты пытались навязывать свои взгляды и выдавать их за точку зрения партии. Это вмешательство партии, вопреки представлению многих, избавило огромное большинство писателей и художников от произвола сектантов. Без всякого сомнения, помощь, оказанная писателям партией, дала им возможность создать первые большие произведения реализма, в новом смысле этого слова — реализма, который имеет *душу*, она позволила им подняться до реализма перспективы. «Чапаев» Фурманова был написан в 1923 году, так же как и «Мои университеты» Горького; в 1924 году появилась поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин», роман Серафимовича «Железный поток», сборник стихов Есенина «Русь советская»; 1925 год был годом романа Гладкова «Цемент»...

Эти названия — лишь отправная точка пути. Партия снова определила свою позицию в области литературы 18 июня 1925 года.

Движение, которое среди молодых писателей, выковавшихся в вооруженной борьбе с белыми, ускоряло расцвет реализма, более или менее сдерживалось старшими. Они не очень склонны были уступать место поколению, сочетавшему в себе литературную неопытность с необычной для их возраста зрелостью. Своей зрелостью молодые обязаны были тем событиям, в которых им

довелось участвовать. Это превосходно доказал один из лучших советских писателей, о котором меньше, чем о других, спорили, Леонид Леонов, типичный представитель молодой, формирующейся литературы будущего. Он вернулся с Перекопского фронта, был связан с Фурмановым. «Барсуки» Леонова появились в 1924 году. Серафимович и Гладков в те времена уже были известны, как сложившиеся в дореволюционную эпоху реалисты. К ним присоединились новые писатели, для которых литературное поприще никогда бы не открылось, если бы не революция. Так матрос Всеволод Вишневский (если говорить о тех, кого знают у нас во Франции) стал автором «Оптимистической трагедии», были среди писателей рабочие, крестьяне... Понятие литературной школы уже становилось иным, чем во времена символизма или футуризма. Но все же школа была школа, в которую, естественно, устремились новые писатели — молодежь, отличавшаяся от старшего поколения своим социальным происхождением. Так создавалась Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), которая была основана в 1925 году и просуществовала семь лет. В этот же период вышли «Дело Артамоновых» и начало «Жизни Клима Самгина» Горького, «Хорошо» и целая серия стихов Маяковского, увенчанная поэмой «Во весь голос» (1930), была поставлена пьеса Тренева «Любовь Яровая», сняты фильмы «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна, «Мать» Пудовкина. Тогда же появляется «Разгром» Фадеева (1927), ставятся на сцене «Бронепоезд» Всеволода Иванова, «Разлом» Бориса Лавренева, Михаил Шолохов выступает с первым томом «Тихого Дона».

Новые формы распространения книг и невероятная тяга к чтению в этой колоссальной стране сосредоточили в руках РАППа огромные возможности. Как и во времена Пролеткульта, случилось так, что РАПП встал на путь диктатуры и навязывания всей массе писателей взглядов одной секты, сохраняя видимость организации, выражающей волю партии. И именно партия большевиков положила этому конец, издав постановление Центрального Комитета «О перестройке литературно-художественных организаций», которым был ликвидирован РАПП (23 апреля 1932 г.). Этот решительный шаг должен был дать возможность всем советским писателям, то есть не только русским, но и писателям различных национальностей Советского Союза, взять в свои руки судьбу литературы и распоряжаться ею на демократических началах. А теми значительными денежными средствами, которые получались от продажи книг писателей шестидесяти народов, ведали теперь они сами, а не маленькая группа демагогов-бюрократов. Средства эти шли на общие цели литератур этих народов.

В 1934 году под руководством крупнейшего писателя старшего поколения Горького был созван Первый всесоюзный съезд писателей. Съезд не только выработал устав Союза советских писателей — организации, которая существует уже больше двадцати лет,— но во всеуслышание и единодушно провозгласил основным методом советской литературы реализм — реализм, являющийся логическим и необходимым завершением «демократического развития литературы», пользуясь выражением Э.-М. де Вогюэ.

Этот реализм включает в себя, помимо научного видения природы, также *душу* и понимание мира, общее для всех писателей, которые не довольствуются одним лишь изображением окружающей их действительности, а хотят также изменять ее. Естественно, что поскольку этот реализм отражает социалистическое общество и цель его — изменять людей соответственно развитию именно этого общества, он носит название социалистического реализма.

Выразителями и зачинателями этого литературного метода в советском обществе были две крупнейшие фигуры: Максим Горький и Владимир Маяковский.

Прошу извинить меня за историческое отступление, в дальнейшем я не намерен выходить за пределы своей темы. Но не сделай я этого отступления, меня обвинили бы в попытке уклониться от того, что кажется особенно трудным: от объяснения роли партии в советской литературе, сущности партийного руководства. Углубляясь в прошлое, я хотел лишь показать, что реализм, завершивший развитие русской литературы XIX века, реализм, направление которого так верно предсказал Э.-М. де Вогюэ, является не просто одной из литературных школ, а естественным результатом всего развития человеческой мысли и ее выражения в литературе.

Я понимаю, что такую концепцию — хотя верность ее и подтверждена с того времени многими фактами — нельзя защищать, не вызывая сейчас, как и прежде, возражений, насмешек или брани со стороны тех, кто выступает против движения истории. Я знаю, что утверждение торжества идейного искусства, служащего изменению мира, а следовательно и утверждение литературы, имеющей моральные и воспитательные цели, может вызвать улыбку у сторонников искусства для искусства в том случае, если у этих людей хороший характер. Но распространение подобных концепций за пределами советской страны мешает им его сохранять.

* * *

«О какой морали вы говорите?» — спросят меня. «И как найти в романе, если предположить, что она есть, ту *душу*, которая, по-вашему, определяет социалистический реализм?»

Нужно привести примеры, я согласен. Трех вам будет достаточно? Вот они: «Как закалялась сталь» Николая Островского (1932—1934), «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко (1933—1935), «Повесть о

настоящем человеке» Бориса Полевого (1946). Хоть я и очень ценю эти три книги, я не скажу, что их литературные достоинства ставят их выше других произведений советской литературы. Но для них типично именно то, что они имеют душу, которой не хватает натурализму. Мне кажется почти невозможным высказывать какое-либо мнение о советской литературе, предварительно не прочитав этих книг. Это все равно, что судить об испанских мистиках, не зная ни Терезы Д'Авилы, ни Хуана де ла Круса. Я не совсем случайно выбрал такое сравнение, хотя материалистическая мораль Островского, Макаренко, Полевого и их героев ничего общего не имеет с мистицизмом. Но речь здесь идет о новой величине, и мне нужно подумать о том, как ее изобразить, даже если зеркало, дающее это изображение, имеет совсем другую кривизну.

Бесспорно, что эти три книги, хотя и в разной мере, принадлежат к тем произведениям, которые формируют сознание. Огромный успех и широкий отклик, который они нашли у читателя, в истории литературы могут сравниться только с тем влиянием, какое в прошлые времена оказывали на молодые умы рыцарские романы. Я намеренно выбрал эти три произведения. Все они написаны после ликвидации РАППа и в разные исторические периоды. Молодой француз в начале этого века, как и в середине его, все еще спрашивал себя: «Уподоблюсь ли я Растиньяку?» (Для Барреса в 1880 г. это звучало так: «Уподоблюсь ли я когда-нибудь Бутейеру?»). Но советский молодой человек мечтает походить на Павку Корчагина, героя романа «Как закалялась сталь»... или на Мересьева Полевого. Первый — комсомолец, раненный в гражданской войне, он ослеп и парализован, но не позволяет боли, страданию и недугу сломить себя, каждый свой вздох отдает борьбе за идеал, и, казалось бы, физически уничтоженный, продолжает диктовать свои книги, помогая выковывать таких же людей, как и он сам. Другой — летчик, человек такой же несгибаемой воли, лишившись в последней войне обеих ног, преодолевает все препятствия, чтобы снова научиться летать. К этим книгам, рассказывающим о силе человека, о его моральном величии, естественно присоединить «Педагогическую поэму» Макаренко. Это повесть о перевоспитании малолетних преступников, эпопея о борьбе педагога за исправление испорченных детей, проклятие бюрократизму, рассказ о страшных трудностях в стране, разоренной гражданской войной. Миллионы людей воспитывались и продолжают воспитываться на этих книгах. И если бы я захотел ввести любопытных в этот новый мир, о котором говорится столько вздора, то я впустил бы их туда именно через эту дверь. Через эти книги, ничего общего не имеющие с той «Розовой библиотекой», которая процветает, как у нас это считают, в советской литературе. Это книги страшные, рассказывающие, может быть, мало лестного о своей стране, если смотреть на мир с точки зрения тех, кто на первое место ставит материальное благополучие и питается сенсационными сообщениями или рассказами о перемещенных лицах. Но в этих книгах предстает перед нами величие народа, который приносил длительные жертвы во имя пятилетних планов и Сталинграда.

* * *

Итак, дверь открыта, и мы знакомимся с русской прозой нынешнего дня. Три примера: Шолохов, Федин, Леонов... Или более молодые: Вера Панова, Казакевич, Гроссман, Овечкин, Николаева, Антонов, Гранин... Трудность заключается в том, что приходится рассказывать об этих писателях тем, для кого их имена, в конечном счете, так и останутся лишь именами. Тем не менее, я позволю себе ограничиться ими, хотя русская литература последних лет содержит по меньшей мере двадцать других имен, стоящих выше среднего уровня современной французской литературы.

Ну вот, можно подумать, что я впадаю в апологетику. Нужно ли повторять, что в СССР много плохих писателей, чтобы успокоить вас? Итак, я повторяю: в СССР много плохих писателей. Но беда в том, что не они характерны для этой страны... прошу вас, перелистайте каталоги наших издательств! Когда говорят о литературе какой-нибудь страны, то говорят лишь о хорошей, иначе не стоит тратить времени.

Мне придется возвратиться и к другой особенности советской литературы. Я говорю *возвратиться,* так как я только что написал о советской литературе толстую книгу. После съезда 1934 года особенно ясно начали определяться писатели других национальностей, которые встали на тот же путь, что и их русские собратья. Совершенно очевидно, что в пределах одного предисловия нельзя не только рассказать о шестидесяти литературах, но даже перечислить имена наиболее заметных писателей.

Возьмем три имени наугад, чтобы возбудить ваше любопытство: Ауэзов, Упит, Исаакян. Казах, латыш, армянин. Вам придется поверить мне на слово, что это писатели первостепенного значения — два прозаика и один поэт. Что касается последнего, то вы имеете полную возможность проверить мои слова: во Франции есть большое количество эмигрировавших интеллигентов армян, которых трудно заподозрить в симпатиях к чему бы то ни было советскому. Спросите их. Я удивлюсь, если они в один голос не подтвердят вам, что Исаакян, вернувшийся в СССР спустя много лет после Октября, в их глазах является большим поэтом.

Ауэзова и Упита во Франции не переводили. Первый — казахский писатель, человек моего возраста; начал он печататься в том же году, что и я. Большая Советская Энциклопедия считает, что на его ранних произведениях, написанных до 1930 года, сказалось влияние буржуазно-националистической идеологии. Первой подлинно со-

ветской реалистической книгой этого автора энциклопедия признает сборник его рассказов «Плечом к плечу», вышедший в 1933 году. Меня обычно раздражает такого рода классификация. Но должен признаться, что обо мне писали примерно таким же образом, даже даты совпадают. Романист, драматург, сценарист, лингвист, переводчик Гоголя и Шекспира на казахский язык, Ауэзов стоит в первом ряду советских писателей. Шолохов особо приветствовал его на Втором съезде писателей. Я постараюсь, чтобы его большой исторический роман «Абай» был переведен у нас в этом году.

Упит, который стал известен в Латвии еще до революции и вместе со всей страной примкнул к СССР, а следовательно и к советской литературе, только в 1940 году, сочетает в своем творчестве черты славянских и скандинавских литератур. После воссоединения прибалтийских земель Упит стал советским писателем, известным сотням тысяч граждан СССР. В этом году я надеюсь также ознакомить вас с его романом «Земля зеленая». Сказать правду, я хотел было ограничиться этими тремя именами, но подумал и о грузинской литературе, об особом аромате грузинских стихов, с такой выразительностью переведенных на русский язык Пастернаком, Тихоновым и другими переводчиками. Ну что же? Называть и другие неизвестные вам имена? Я могу лишь привлечь ваше внимание к прозаику Лордкипанидзе, чей роман «Заря Колхиды» вот-вот появится у нас во Франции.

Но кроме этих литератур, которые имеют глубокие корни и развиваются, как и русская литература, в направлении социалистического реализма, нужно упомянуть и литературы, только что рожденные. Народы, до советской власти не знавшие письменности, сейчас выдвигают своих романистов (например, чукчу Юрия Рытхэу, удэгейца Джанси Кимонко — его повесть «Там, где бежит Сукпай» можно прочесть по-французски,— тувинца Салчака Тока...).

Наконец, есть литературы, в которых поэзия находилась, если можно так выразиться, на уровне развития поэзии трубадуров. Народные певцы ходили из селения в селение и пели, аккомпанируя себе на простых инструментах. Сочетание этой нарождающейся поэзии и социалистической революции позволило нам наблюдать, как закрепляется устная традиция, в спорах из-за которой столько чернил потратили наши медиевисты. Так, в двадцатых годах, на основе новой советской тематики развернулось искусство казаха Джамбула Джабаева. В Дагестане жил лезгинец Сулейман Стальский, он присутствовал на съезде 1934 года, и Горький приветствовал его, назвав Гомером XX века. Я ограничусь этими двумя примерами. Труды советских ученых, которые помогли этим первобытным бардам записать их песни — огромные эпопеи, передававшиеся из уст в уста, и непрерывно изменявшиеся, — вот одно из самых волнующих явлений нашего времени. Уверяю вас, что те, кто интересуется развитием человеческого сознания, рождением легенды, процессом поэтического творчества и его связью с великими народными источниками, найдут в этой области советской литературы такие предметы для восхищения, которые стоят американского suspense*.

Люди, которым кажется злом исчезновение литературных школ в нашем понимании этого слова, не удовлетворятся тем, что я сказал.

Тяготение писателей с различным кругозором, представителей различных предреволюционных течений — символизма, футуризма, натурализма — поэзии, вышедшей из глубин времени, устной поэзии к одному общепризнанному методу социалистического реализма может показаться, несмотря на все возражения, нивелировкой, уравнением творческих возможностей, тона, стиля.

Но факты налицо: каково было влияние, давление исторических событий, политики на творчество футуриста Маяковского? Реальность, вошедшая с ним в поэзию, не умалила, а возвеличила ее: вот почему творчество Маяковского, как и творчество Горького, явилось одним из источников того реализма, который объединяет советских писателей. Факты налицо: стиль Леонова ничем не схож со стилем Фадеева, различие между ними не меньшее, чем между стилем Жироду и Барбюса. Сравните лиризм Вишневского с полутонами прозы Антонова. И подобно тому, как в пределах одной литературы реализм не приводит к единообразию языка, тона, характера произведений, так он не сглаживает и национальных особенностей и традиций. Напротив, можно сказать, что литературам Таджикистана, Азербайджана, Грузии, Армении, а также Белоруссии или Украины, новый реализм придал свой блеск и свою свежесть. Именно после 1934 года, после того как основным методом советской литературы был провозглашен социалистический реализм, литературы шестнадцати братских республик объединились на основе равенства, в котором им было отказано при старом режиме, когда процветали «школы». Это может послужить предметом размышлений для любителей разнообразия в литературе. К такому разнообразию ведут не обязательно классические пути: оно рождается в общем русле социалистического реализма и находит в неисчислимых богатствах народов то, что прежде искали лишь в мелких различиях индивидуальностей, в изощренном культе частных особенностей. Социалистический реализм, как это показала действительность, не только не ограничил возможностей развития разных литературных жанров, напротив, дал им новый взлет, пробудил к жизни жанры, забытые или отброшенные «школами». Среди них есть даже волшебные сказки (возьмите

* Suspense *(англ.)* — имеется в виду нарочитое торможение сюжета в детективных романах.

«Малахитовую шкатулку» уральского писателя Бажова). То же и в поэзии: поэма большого дыхания, эпопея, стихотворный роман, а также нечто равносильное Nursery Rimes* (например Маршак, этот русский Льюис Кэрролл). Факты говорят о том, что исчезновение литературных школ совпадает с огромным увеличением читательской аудитории. Может быть, это кое-кого огорчит. Но ведь если писателю предоставить выбор: «школа» без читателей, или масса, которая читает, глотает книги, думаете ли вы, что он станет колебаться?

* * *

Могут сказать, что таким образом и исчезает литература, которую принято называть «экспериментальной». Действительно, писатели стремятся писать для возможно большего круга читателей, которые хотят судить обо всем, что выходит (в каждом из существующих 300.000 колхозов есть по библиотеке, которая получает самое меньшее по одному экземпляру каждой книги, но это далеко не удовлетворяет спроса). Скажут, что при таком положении вещей вся бумага и все типографии служат лишь для удовлетворения запросов массового читателя, а что та «лабораторная» литература, которая у нас часто порождала большие явления, лишается права на жизнь. Здесь нет небольших тиражей (таковыми считаются тиражи в 10.000 экземпляров, которые немедленно расходятся), нет частных журнальчиков...

Те, кто сожалеет об этих кустарных формах литературы, забывают, что их существование не обеспечивает у нас благоприятных условий для молодого писателя, который на свой страх и риск создает нечто новое, еще не признанное. Эти формы являются следствием неустойчивости коммерческого рынка, следствием зла. Забывают также, что эта кустарная литературная продукция доступна не всем. Она рассчитана на финансовые возможности молодого человека «определенного круга» или на средства, которыми располагает богатый меценат. Разумеется, в СССР по многим причинам немыслима деятельность Р. Русселя (богатого человека, который всю жизнь издает книги за свой счет). И если вы сожалеете об этом, то подумайте, и вы увидите здесь не только «потерю», но и выигрыш: уравниваются шансы начинающих писателей.

К сожалениям о небольших тиражах, об изданиях, основанных лицеистами, и тому подобное, с годами примешивается оттенок тоски по «старому доброму времени». Мы видим, как уже на нашем веку невероятно сузилась возможность подобных изданий, а у нас не было революции, нет коммунизма, нет социалистического реализма. Издания, доступные раньше символистам, стали уже значительно менее доступны сюрреалистам, а в наши дни могут существовать только за счет авторов. Эти издания хороши только для тех, кто может вложить в «дело» сто двадцать или сто пятьдесят тысяч франков, чтобы выпустить томик стихов. Развитие нашего общества, в котором подавляется мелкая торговля с помощью Uniprix или трестов, все с большей силой вытесняет эти умилительные формы литературы, о которых скоро будут упоминать только в сценариях исторических фильмов. Экспериментальная литература рождается заново в общем социальном опыте людей: социалистический реализм открывает перед писателями будущего невиданный простор для экспериментирования, для освоения новых тем.

Бесполезно проливать крокодиловы слезы по поводу формалистических и полиграфических экспериментов, по поводу искусства как можно лучше ничего не сказать.

В молодости я знавал одного мецената. Он помогал мне жить три или четыре года. До того дня, пока одно мое произведение не разгневало его с точки зрения политической. Тогда я столкнулся с пределами эксперимента в литературе. И с пределами свободы. Меценат был портным с Рю де ла Пэ. Он покупал и картины тоже. Но и тут эксперимент точно так же имел пределы: на полотнах, за которые он платил художникам, не должно было быть голых женщин. Это вызывало ревность его супруги. Но я припоминаю, что стоило Пикассо продать ему по смехотворной цене огромное полотно "Les Demoiselles d'Avignon", чтобы понятие эксперимента расширилось и распространилось на кубистические обнаженные фигуры. *Рыночная стоимость* взяла верх над супружескими подозрениями. Ясно, что в стране социалистического реализма подобных проблем не существует. А у нас меценат намерен занять место музея.

* * *

Итак, реализм, как единственная и высшая форма искусства, объединяет советских писателей. Это тот этап, на который, как это предвидел еще семьдесят лет тому назад Э.-М. де Вогюэ, развитие человеческого общества неизбежно приводит художника.

Э. М. де Вогюэ говорил, что в противоположность искусству классицизма, которое искало источник своего вдохновения в возвышенном и выводило на сцену королей и героев, реализм отправляется не от исключительных, а от бесконечно повторяющихся явлений, от массы народа. В героях реалистических произведений выражены черты народных масс — одним словом, искусство артистократическое уступает место искусству демократическому. Реализм — искусство демократическое.

Я попытался подвести итог той борьбе, которая завершилась на первом съезде писателей провозглашением социалистического реализма единственным творческим методом писателей, объединившихся в Союзе советских писателей. Может быть, в этом сказалась некоторая поспешность. Но на

* Nursery Rimes *(англ.)* — жанр юмористических детских стихов и песенок.

каждом шагу дух сектантства пытался противопоставить себя большинству: сначала это было естественным следствием существования школ, характерных для литературы несоциалистического общества, затем этот дух возродился из собственного пепла, и тогда группа пролетарских писателей, прикрываясь маской социализма, снова превратилась в секту.

Не нужно представлять себе, что любой вопрос можно разрешить декретами. Конечно, во власти партии было распустить сектантскую организацию, но не во власти ее было покончить таким образом с духом сектантства. Нужно сказать, что за двадцать лет существования Союза советских писателей этот сектантский дух много раз поднимал голову. Иногда вопреки руководству Союза, иногда среди самого руководства.

У нас не очень верят в значение организации, когда дело касается литературы: у нас «Общество литераторов» (La Société des Gens de Lettres) не что иное, как машина для охраны авторских прав. Но, сказать по правде, литературные учреждения бывают разные.

Мы помним, как во время гитлеровской оккупации Парижа г-н Абетц говорил, что для того, чтобы удержать Францию... нужно захватить Академию и «Нувель ревю франсез» — совсем как Бисмарк, который говорил, что для того, чтобы стать господином Европы, надо захватить горы Богемии...

Литературный труд писателя не может быть замкнутым в себе — это особенно понятно в социалистической стране, и чтобы сохранять свой смысл и свое значение, он должен находить опору в общественных учреждениях.

Союз советских писателей был задуман, как демократическая организация, в полном смысле этого слова, а его устав предусматривал признание членами Союза творческого метода социалистического реализма. Вероятно, если бы Союз действовал всегда, исходя из принципов демократии, а не сосредоточивал бы в течение двадцати лет всю власть в руках своего правления, то не нужно было бы ожидать с 1934 по 1954 год созыва Второго съезда. Бесспорно, война сыграла свою роль и способствовала такой отсрочке в созыве верховного органа Союза. Но этим нельзя объяснить всего. Наша пресса много писала о Втором съезде советских писателей, но она, как мне кажется, не заметила, что на съезде прозвучал призыв возвратиться к демократическим принципам Союза. Об этом свидетельствуют и образование правления из ста сорока человек и замена председателя правления президиумом из сорока писателей, равных в своих правах и обязанностях. Но были еще и более характерные факты. Так, например, писатель Константин Паустовский (во Франции вышел его «Кара-Бугаз»), которого не выдвинули в президиум, был введен в него на заседании съезда простым большинством голосов.

Я думаю, что достаточно одного примера, чтобы показать, какие отступления от демократии допускались в Союзе советских писателей. В своем выступлении бывший председатель Правления Союза Александр Фадеев, автор «Молодой гвардии», признал, что совершил серьезную ошибку по отношению к высокоталантливому писателю Гроссману*. Когда Гроссман опубликовал роман «За правое дело», то Фадеев, по его собственным словам, под давлением общественного мнения превысил свое право, то есть право литературной критики произведения, и объявил роман, только что появившийся в журнале, политически вредным. В результате было задержано издание книги. Если обратить внимание на дату появления статьи Фадеева, в которой он критиковал «За правое дело», то мы увидим, что она была напечатана в начале 1953 года, как раз незадолго до разоблачения Берия.

Есть основания думать, что то общественное мнение, о давлении которого говорил Фадеев, не возникло самопроизвольно, а было организовано человеком, имевшим в своих руках значительную власть, человеком, которому помогала определенная группа.

Действительно, Фадеев впал в политическое заблуждение, что, вообще, ему было мало свойственно. Но сама возможность такого давления общественного мнения, пусть даже искусственно подготовленного, на председателя Союза, показывает, до какой степени был необходим Второй съезд писателей и как легко такая организация может нарушить свои демократические принципы. Вот каковы настоящие проблемы. А когда наша пресса в связи со съездом без конца глумится над социалистическим реализмом и предается пустой болтовне об Эренбурге или Шолохове, то она странным образом обходит вопросы, которые требуют разъяснения, вопросы вмешательства партии в дела писателей.

Партия сегодня, как и во времена РАППа, жертвует частными интересами людей, пусть даже руководителей, если они противоречат общим интересам советских писателей.

Партия постоянно снова и снова подтверждает свою позицию в вопросах искусства и литературы, ленинскую позицию в реалистическом партийном искусстве. Пар-

* Приводим слова А. Фадеева из выступления на Втором съезде советских писателей, которые Арагон, очевидно, имеет в виду:

«Известно, например, что перегибы в критике действительно серьезных ошибок писателя Гроссмана в его романе «За правое дело» были в первую очередь допущены нашей печатью. Это создавало в части советской общественности и внутри Союза писателей такую атмосферу вокруг романа, при которой мы, люди, проглядевшие ошибки Гроссмана, вынуждены были принять на себя вину большую, чем действительные ошибки писателя и наши ошибки. Разумеется, это ни в какой мере не может нас оправдать, и я до сих пор жалею, что проявил слабость, когда в своей статье о романе, поддержав не только то, что было справедливым в критике в адрес этого романа, а и назвал роман идеологически вредным».— *Ред.*

тия следит за тем, чтобы понятия демократического искусства, социалистического реализма, не превратились лишь в громкие слова в устах людей и чтобы в учреждениях, где все они работают, на практике соблюдалась демократия.

Потому что, повторяю еще раз, дух демократии в искусстве (я имею в виду высшую форму демократии — социализм) не может присутствовать только в момент написания книги, он должен быть определяющим на каждом этапе создания книги, на каждом этапе жизни человека, который эту книгу пишет. И если этого духа демократии не будет повсюду, то и сама книга получится лживой и не сможет служить тому делу, которому она призвана служить.

Эту мысль можно развивать долго. Те, кто верит в независимость творчества, в то, что достаточно только написать книгу и что точка, поставленная автором в конце рукописи, в действительности завершает ее, не согласятся со мной.

Я считаю, что книга, законченная автором, должна быть заново *переписана* обществом и читателем. Я хочу сказать, что книга только тогда обретает свое лицо; и часто это случается (возьмите Стендаля) спустя долгое время после того, как поставлена пресловутая точка. Пусть со мной не соглашаются, но я думаю, что новые пути ведут к тому, чтобы идеи одного человека становились идеями других людей, преобразуя их, помогая им расти, совершать большие подвиги, в которых, как в сверкающем зеркале, отразится наконец подлинное лицо человека.

* * *

«Но,— скажет Мари-Шанталь,— между нами говоря, все-таки разве советская литература существует?»

А что если бы мне пришлось кому-нибудь доказывать, что французская литература XX века в самом деле существует... Но кому это нужно доказывать? Жюля Верна читают в глубине Сибири, Гюго издают огромными тиражами в Китае, книги Колетт проникают даже в Канаду, а творчество Флобера в Соединенных Штатах и сейчас возбуждает такие страсти, что в одном из штатов была запрещена «Госпожа Бовари».

Допустим, что все это нужно доказывать марсианам. Условимся сначала о том, что представляют собой сами марсиане. Предположим, что Марс обладает, подобно Китаю, многотысячелетней культурой, что в течение веков там все познали: героические эпопеи, миракли, мистику, всевозможного рода гонгоризмы, грубость произведений елизаветинских времен, мариводаж, энциклопедистов, космический жанр, самый омерзительный натурализм, чистую поэзию и модернистские школы, о которых и представления не имеют на земном шаре. Вместе с тем, отношения с Францией были несколько нарушены в другой области: когда началось межпланетное сообщение, марсиане забрали себе в голову, что они должны колонизовать нас, у них были виды на каменноугольный бассейн Па-де-Кале и на мозельские рудники, они хотели прислать нам своих инженеров, обновить оборудование и вложить свои капиталы в предприятия... Одним словом, вы знаете наш народ, его горячие головы. Когда прибыл небольшой марсианский экспедиционный корпус для защиты своих инженеров, все обернулось иначе, чем предполагали на Марсе. Потом наступил период слегка натянутых отношений... и что тогда марсиане могли узнать о нашей стране? Только то, что рассказывали им редкие путешественники, репортеры, гоняющиеся за сенсацией, дипломаты и шпионы, наделенные богатым воображением, которые не любят ни Нерваля, ни Реверди...

Из всех этих рассказов вырисовывалась картина Франции, очень напоминающая ту, что время от времени появляется в журнале «Лайф»: маленький усатый француз, вручающий визитную карточку всякому, кто наступает ему на ногу, женщины, доступные тем, кто больше даст, растленные нравы и ночные кабаки. Не говоря уже о политике, все находится в руках тайной организации, именуемой «Комите де форж», которая распоряжается общественной жизнью, время от времени развязывает небольшие войны и предписывает писателям, одетым в одинаковую форму, сочинять самые унылые произведения, пропагандирующие кофе со сливками, ткани Буссака и реакционную машину под названием «Маленькая королева». И сколько марсианам ни говори, что все это сильно преувеличено, в действительности не так упрощенно, они не поймут. Как могут воспринимать нюансы люди, которым определенные понятия, как, например, проверка яиц на свету, или «курочки» (дамы полусвета) совершенно недоступны, поскольку на их планете не водится кур? И вот я решил сочинить для них маленькую книжку, нечто вроде сборника избранных произведений, скажем, с 1900 по 1940 год, чтобы ограничить себя и никого не рассердить. В эту удобную форму можно уложить короткие рассказы, повесть, новеллу и так далее. Эта антология покажет все разнообразие нашей литературы. Я начну с Жюля Ренара, у него есть из чего выбрать. И я кончу «Письмом к заложнику» Сент-Экзюпери. В антологию войдет «Ереснарх» Аполлинера, «Бубурош» Анатоля Франса. Там будет «Пьер и Люс» Ромена Роллана и что-нибудь из Куртелина. Рассказ Анри Дювернуа и одна из «Enfantines» Валери Ларбо. Затем «Вечер, проведенный с господином Тэст» Валери и какая-нибудь история о собаках и кошках Колетт, «Правдивые повести» Барбюса и восхваление Анри Лаведана, написанное Жироду. (Тут, конечно, нужны будут примечания, вы представляете: Лаведан у марсиан!) Может быть, включить Марселя Швоба и Вайяна-Кутюрье? И наверняка там будет Кокто, знаете это место из «Петуха и Арлекина»? А затем «Парад», Дя-

гилев и его танцоры ночью в лесу, в фиакре, плачут и читают вслух Пушкина... Я умалчиваю еще о лучших вещах.

В конце концов во всем этом выражен дух целого народа И как бы враждебно ни относились марсиане к нашему общественному строю, может быть, это заставит их немного призадуматься? О, я прекрасно знаю, что они особенно раздражены против нас по милости тех неловких людей, которые пели нам чрезмерную хвалу. Эта чертова «Ассоциация Марс — Франция» так хорошо к нам расположена, что ее члены утверждают, будто мы изобрели стеклянную массу и шиферные крыши, и они терзают слух марсианам, рассказывая об ангельской доброте мидинеток, об их очаровательных ручках, о продавцах каштанов, красных штанах (они еще не заметили изменений в армии), о трагедиях Расина, об аперитивах, о белоте и петанке*, о чудесных напевах волынки. Пожалуй, они дойдут до того, что начнут показывать фильмы с Сашей Гитри, проявляя при этом чудеса изобретательности, чтобы провести за нос марсианскую полицию. Заметьте, я поступил бы неблагодарно, посмеявшись над ними: ведь то, что они делают, все-таки очень мило по отношению к нам. Но, но... Все их представления о Франции: площадь Согласия, церковь Сен-Жервэ, почтовая контора и начальная школа в пригороде, пейзажи Луары и Везле, виды Сен-Флорена и то, как мы живем, и, быть может, то, как мы умираем, — все это умещается не в тяжелом фолианте, а в потрепанной книжечке удобного формата, которую можно передавать товарищам из рук в руки, рекомендовать начальнику конторы. (Как интересно, должно быть, выглядит начальник конторы на Марсе!)

Вот я и подумал, что неплохо бы составить небольшую книжку такого рода и ответить Мари-Шанталь. Потому что... а если советская литература все-таки существует, а? Хорошо бы мы выглядели...

* * *

Я хотел бы, чтобы эту книгу читали не как антологию, в которой как по зернышку клюют то там, то сям, а как роман, то есть чтобы ее читали в том порядке, в каком я ее составил — как историю, где одно следует за другим. Впрочем, это и есть история. Она рассказывает об уходящем год за годом времени, о грозах, разражающихся над страной, о том, как созревает литература, о чудесном свете, который сияет людям сквозь тучи. Эти картины следуют друг за другом в таком же, примерно, порядке, как и события, которые происходят в стране, они показывают жизнь народа, его дела не только в моменты наивысшего подъема, но и в повседневном быту, в самых обыденных обстоятельствах. И все это дает беглое представление о советской литературе, хотя в этой книге нет ни Горького, ни Маяковского, ни Гладкова, ни Шолохова, ни Фадеева, ни Эренбурга, ни Леонова. Составляя эту книгу, надо было оставаться в границах подходящих для нее размеров. В ней все зависело прежде всего от величины текстов, а потом уже от моих собственных вкусов и от моего круга чтения. Мне хотелось, чтобы материал был разносторонним, хотелось выйти за пределы собственно русской литературы, но вместе с тем не заслонять ее. И, включая в книгу большие или маленькие новеллы, я спрашивал себя: распределять ли их в хронологическом порядке или по темам? И конечно я принял компромиссное решение, заботясь главным образом о том, чтобы книга создавала литературную атмосферу, которую нам не приходилось ощущать за время существования советской литературы. Чтобы чувствовалось разнообразие школ... стилей...

— Как школ? — скажет Мари-Шанталь. Я думал, что раз в СССР нет меценатов, значит нет и школ!

Вот как смешиваются понятия! В смысле узкокелейном там нет школ. Но, тем не менее... Выступая на Третьем Всесоюзном совещании молодых писателей, состоявшемся в Москве в январе 1956 года, Сергей Антонов, автор рассказа «Дожди», которым заканчивается эта книга, сказал:

«Как известно, общим методом советских литераторов является метод социалистического реализма. Также известно, что внутри этого метода могут существовать и существуют самые разные стили и манеры, определяющие индивидуальные особенности того или иного писателя. Чаще всего мы встречаем, условно говоря, строго реалистическую манеру, которую предпочитает сейчас большинство писателей, затем романтическую и, наконец, сатирическую, которой часто свойствен гротеск, преувеличение.

Каждая из этих манер имеет свои особенности, свою поэтику, свои отличительные черты во всем, начиная от выбора сюжета и кончая особенностями метафоры, сравнений и даже построений фраз».

Как бы это ни называлось — школой или манерой, речь здесь идет о разнообразии, наличие которого заставило меня обратиться и к приключенческому жанру, и к романтике, и к строгому реализму, не забывая также сатиру. Мне нужно было начать книгу с того, что связывает советскую литературу с предреволюционной русской, и так как я сразу отвел Горького, который, лучше чем кто бы то ни было, подтверждает эту связь — ведь у каждого есть свой снобизм! — Горький и так хорошо известен во Франции... Поэтому я решил начать с Алексея Толстого и с его новеллы 1928 года... когда советская литература уже сформировалась, но еще не приняла своего решающего направления. Я взял историческую новеллу Алексея Толстого для того, чтобы связь с прошлым была особенно видна. Я выбрал именно эту новеллу, потому что в ней соединяются две темы: наша, я имею в виду тему французской революции, и тема России, русской революции. В новел-

* Белот — карточная игра, петанк — игра в шары.

ле изображены Мария Антуанетта и Александра Федоровна. Итак, здесь двойная связь: историческая и литературная. А. Н. Толстого связывали с дооктябрьской Россией не только его имя, его семейные традиции, но и его творчество, которое обращает нас в прошлое, несмотря на то, что он умер в феврале 1945 года, то есть перед взятием Берлина. Он родился в том же году, что Шарль Вильдрак, если проводить параллели с французской литературой. Первые стихи Толстого относятся к 1907 году, то есть ко времени унанимизма и «Аббатства», его первые прозаические рассказы появились в 1911 году, как и «Бестиарий» Аполлинера. Новелла, которую я включил в сборник, написана в то время, когда Толстой работал над вторым томом своей трилогии «Хождение по мукам» и над повестью «Гиперболоид инженера Гарина». Я не доставлю себе удовольствия рассказать подробнее о разнообразном творчестве писателя, в котором есть все — от пьес до рассказов. Конечно, не все произведения Толстого равноценны, но все они проникнуты живым темпераментом, и на первое место среди них следует, пожалуй, поставить исторический роман «Петр Первый». Мне бы хотелось набросать вам далекий от условностей портрет этого человека, которого я узнал в расцвете его славы, после 1930 года. Я всегда вспоминаю его таким, каким я его видел в 1935 году после международного съезда писателей в Париже, в кафе на бульваре Сен-Жермен, напротив улицы Фур. Он был окружен, как мухами, эмигрантами, отвечал на вопросы всех этих маленьких персонажей Достоевского, шоферов и княгинь. Они облепили этого величавого человека, медлительного и иронического, я не могу забыть, как он щурил глаза, прикрывая рукою свой кофе, словно опасаясь, что кто-нибудь из его собеседников туда попадет. Существует его портрет, написанный Петром Петровичем Кончаловским, умершим несколько месяцев тому назад. Я видел этот портрет у художника в прошлом году. Алексей Николаевич сидит один за большим накрытым столом, на котором все в изобилии: фрукты, огурцы, закуски, графинчики с водкой, стаканы, свинина, мясо с гарниром из всевозможных овощей, заливные блюда. Толстой сидит за столом как будто он на трибуне, как человек, которому ничего больше не остается, как начать поглощать всю эту снедь у нас на глазах, улыбаясь той самой улыбкой, которая появлялась у него на лице, когда он снимал очки. Фоном картины служит дощатая стена. Очевидно, мы за городом.

При жизни Петра Петровича, несмотря на то, что он был действительным членом Академии художеств СССР, этот портрет Алексея Николаевича никогда не выставлялся. Кончаловский, чуть улыбаясь, объяснял мне, что известного писателя принято изображать в его рабочем кабинете на фоне книжных полок, в момент творческого вдохновения с пером в руке, которое он, в крайнем случае может слегка покусывать, опершись на письменный стол... Но только не так, не за обеденным столом...

Художник посмеивался. Это было большое полотно, шириной... Я думаю, что сейчас на выставках отсутствует такого рода цензура.

Следующий рассказ сборника датирован 1930 годом. Если в основу этого рассказа также легло историческое прошлое, то участником его явился сам автор. Всеволод Вишневский был моложе меня на три года, он родился в семье межевого инженера.

Революция 1917 года застала его совсем молодым пареньком, но к этому времени он уже три года провел на фронте добровольцем. Он был участником февральской революции в Петрограде, а в момент Октябрьского восстания находился в рядах Красной гвардии. Писать он начал в 1920 году. Это советский писатель первого поколения, одновременно реалист и романтик. Особый лиризм, присущий его таланту, сделал его одним из крупнейших драматургов нашего времени. Вишневский всегда оставался солдатом гражданской войны, все его творчество дышит воздухом той эпохи; он был певцом славных подвигов красных матросов, его товарищей и его героев. Вишневский умер в 1951 году.

Трудно найти писателей более различных, чем Алексей Толстой и Всеволод Вишневский. Обдуманно построенное искусство первого граничит почти с хитростью, которая проявляется в каждой его фразе, в его особом умении схватывать каждый жест, характерный для его героев, в умении создавать картину из целой серии мелких штрихов. Его искусство, такое же лукавое, как и глаза его на портрете, написанном Кончаловским, почти противоположно искусству Вишневского, где все — в живой речи, в словах, полных устрашающего пыла революции, вырывающихся из уст солдат и матросов. Я не знаю хорошего портрета Всеволода Витальевича, но самый выразительный его портрет — это его великолепное патетическое творчество. Он был невысокого роста, плотный, с наивными глазами, и вспыльчивый, как это свойственно сангвинику. Кроме пьес, он оставил нам цикл рассказов («Матросы»), откуда взят и вошедший в наш сборник рассказ «Гибель Кронштадтского полка», и эпопею в прозе «Война», в которой речь идет о той войне («...о тихой войне при царе...», как говорил один из персонажей рассказа Антонова «Дожди», который тоже входит в сборник).

К этим двум совершенно различным явлениям первых лет советской литературы я присоединяю образец творчества писателя, признанного сейчас одним из лучших, а в те времена считавшегося так называемым «попутчиком». Вместе с ним мы выходим за пределы темы гражданской войны, которая от «Чапаева» Фурманова и до «Разгрома» Фадеева безраздельно господствовала в литературе того времени. Уже в рассказе «Рисунок с Ленина» Константина Федина мы видим советскую жизнь в период того относительного покоя, который наступил

сразу после изгнания интервентов и падения Врангеля, видим конгресс III Интернационала, иностранных делегатов, хлынувших в Москву, и Ленина. Впрочем, вы сами прочтете. Но искусство Федина, без сомнения, так же как искусство Алексея Толстого, связано с минувшим, с Россией начала века.

Федин родился в 1892 году в Саратове, учился в Германии, где был задержан с 1914 по 1918 год в лагере военнопленных. Его творчество отмечено близостью к классическому наследию русской литературы. Считалось, что он в своих романах мало уделял внимания советской действительности («Города и годы», 1924 год, «Братья», 1928 год, «Похищение Европы», 1934 г.), и они служили предметом бурных споров.

Рассказ Федина, который мы печатаем, написан в 1939 году Откровенно говоря, за это время изменилась лишь тематика его произведений, литературная манера осталась прежней. Может быть, ничто не характеризует так ярко тех изменений, которые произошли в советской стране, как судьба слова «попутчик», которое постигла участь старого кресла, выброшенного на чердак. Уже нельзя рассматривать писателя как попутчика, с которым можно проделать только часть пути и расстаться на следующем этапе. Недаром «попутчика» Федина мы видим сегодня в числе руководителей Союза писателей...

Он стал также автором трилогии («Первые радости» и «Необыкновенное лето» уже опубликованы во Франции, третья часть, только что законченная, скоро должна появиться). К какому течению в социалистическом реализме нужно отнести Константина Федина? В нем сочетаются строгая реалистическая манера, как говорит Антонов, и романтика, которая восходит к первым дням нового мира.

В трилогии Федина действие происходит почти в те же годы, что и в трилогии Алексея Толстого. В поэтической манере Федина, реалиста другого типа, нет лиризма, который свойствен Вишневскому. Но посмотрите, как он рисует городской пейзаж.

«Шел один из последних дней пасхи, когда народ уже отгулял, но улица еще дышит усталой прелестью праздника и немного жалко, что праздник уже почти кончился, и приятно, что конец не совсем наступил и, может быть, доведется еще гульнуть. Снизу, с берега Волги, пробирались деревянными квартальцами завывания похмельной песни, которая то сходила на нет, то вдруг всплескивала себя на такую высоту, откуда все шумы казались пустяками — и гармоника с колокольцами, где-то далеко на воде, и безалаберный трезвон церкви, и слитный рокот пристаней. На мостовой валялась раздавленная скорлупа крашеных яиц — малиновая, лазоревая, пунцовая и цвета овчинно-желтого, добываемого кипячением луковой шелухи. Видно было, что народ полузгал вволю и тыквенных и подсолнечных семечек, погрыз и волоцких и грецких орехов, пососал карамелек: ветром сдуло бумажки и скорлупу с круглых лысин булыжника в выбоины дороги и примело к кирпичному тротуару.

Девочка глядела прямо перед собою. Была полая вода, уже скрылись под нею песчаные острова, левый луговой берег как будто придвинулся, потяжелел, а мутная, шоколадно-навозная Волга раскалывалась поперек надвое, от берега к берегу, живой, точно из шевелящегося битого стекла, солнечной дорожкой».

Это умение создавать золото из мусора, эта алхимия прозы характеризует Федина, и не только Федина.

Романтика тех лет (проявлялась ли она в литературе тогда или немного позднее) переполняла собой книги, как пьянящее вино. Это была прежде всего революционная романтика, воспевающая не только ту революцию, что уже совершилась, но и ту, о которой мечтали люди, которые «вышли рано, до звезды».

Мне захотелось включить в мою книгу три картинки из прошлого, не считаясь с датой их написания, три портрета пророков, если можно так выразиться, восстановленные задним числом. Они принадлежат той части огромной многонациональной страны, где романтизм прошлого века находил свои блестки и мишуру, — к Востоку, который так своеобразно тяготеет к западному социализму. Разве народы этой страны, раньше находившиеся в подчинении у одной нации, не объединились теперь на основе полного равенства? Я выбрал у азербайджанца Мехти Гусейна рассказ из цикла «Комиссар», появившегося накануне войны и рисующего эпизоды из жизни Мешади Азизбекова (Мешади-Бек), одного из двадцати шести бакинских комиссаров, расстрелянных на берегу Каспийского моря 20 сентября 1918 года эсерами, пособниками английских интервентов. Я выбрал эпизод, изображающий повседневную жизнь революционеров при царизме, а не трагический момент гибели героя. Пусть читатель узнает про будни этих людей... Мехти Гусейн родился в 1909 году и стал писателем уже при советской власти. Учился он на историческом факультете в Баку, в литературу вошел в 1927 году, то есть приблизительно в то же время, когда А. Толстой начинал «Гобелен Марии-Антуанетты». Один из романов Мехти Гусейна «Апшерон» недавно перевели у нас.

Наряду с Азербайджаном, я показываю и Грузию — классическую страну миражей, страну Руставели и Бараташвили, Грузию Пушкина, Лермонтова и Маяковского. Предлагаю вниманию читателей «Горийскую повесть» Константина Лордкипанидзе, чей роман «Заря Колхиды» скоро, как я уже сказал, будут читать во Франции. Он тоже принадлежит к поколению писателей, полностью сформировавшихся при советской власти, и начал печататься в 1924 году. Но я не хочу сейчас предвосхищать то впечатление, которое он у нас произведет...

Третья картинка переносит нас в Дагестан, в деревню Стали, близ Дербента, на окраину аула Стали... Сад, вечер... а в саду

старик Сулейман, ашуг, иными словами, поэт-сказитель Сулейман Стальский, которого, как я уже говорил выше, Горький назвал Гомером XX века. Это глава из цикла новелл Эффенди Капиева «Поэт», появившегося в 1941 году в журнале и опубликованного в Москве лишь в 1945 году после смерти автора. Эффенди Капиев — лак (одна из народностей Дагестана), он писал на русском языке. Родился Капиев в 1909 году в семье лудильщика. Сельский учитель, скажем точнее учитель из аула, он стал знатоком дагестанского фольклора, и работы Капиева в этой области позволили причислить его к писателям. Правда, его первое оригинальное произведение — книга песен, выпущенная в свет в 1940 году, и даже «Поэт», появившийся, когда война начала захлестывать мир, могут быть восприняты, лишь как точное воспроизведение образа Сулеймана Стальского, как труд фольклориста. Но на самом деле — это подлинно художественные произведения, в которых нашла глубокое выражение личность самого Капиева Я очень высоко его ценю как писателя. Он умер в 1944 году, когда пушки еще заглушали человеческие голоса.

Мне хочется в своем введении дополнительно привести несколько записей, которые Капиев сделал во «Фронтовом блокноте», когда он был военным корреспондентом на Кавказском фронте. Мне кажется, что они как-то дорисовывают облик задумчивого старого Сулеймана, сидящего в своем саду, в котором он и его жена трудились прежде на хозяина «по полтора рубля за десятину». Старик прислушивается к звуку проезжающей мимо телеги. Он знает, что телеги из его колхоза так не скрипят...

Вот эти записи, сделанные между боями в самой глубине Кавказа, где в одной строке, а где на двух страничках человек выразил те мысли, которые его переполняли:

«...В бою дум нет — один экстаз, одно стремление. Думы приходят в ту минуту, когда ранят, ибо рана выбивает из колеи...

...Прыгает по забору воробей. Кажется, что ему очень не хватает рук. (Или, может быть, это в связи с войной всюду мерещатся мне инвалиды?)...

...Желтое поле подсолнухов направо. Качают мед. Качают бензин.

Эльбрус, перерезанный облаком, как бритвой. Вереницы хромых и безруких раненых идут по шоссе. А машины в большинстве пустые.

...Наверху грузовика, на кипах, с гитарой. Ест яблоко серое, а сам серый, и гитара серая от пыли. Как в кино...

...Раненые на крыше, — как гроздья...

...Нас обгоняют события. Мы никак не можем выйти из их власти...

...Вот оно, море! Вот оча, моя молодость!

...Сижу на берегу тихого моря, как некий герой ненаписанного романа, и шепчу про себя: «Каспий, Каспий!»

— Ты видел мой сон? (Малыш, проснувшись утром, отцу).

Артиллерист держит в объятиях снаряд, как котенка.

...Первое время я все не мог избавиться от навязчивого недоверия — не верил, что это война. Неужели это война?»

И последняя запись в последнем блокноте:

«Как странно: книжечка кончилась минута в минуту перед операцией, хотя я и не хотел этого».

Ему не суждено было пережить операцию.

Вот куда нас неожиданно привела романтика — к литературе военных лет. О войне писали много, что же нам выбрать?

После долгой ночи войны наступил рассвет, началось великое объединение советских земель. Остановимся прежде всего на рассказе «Благодарность Тениса Урги». Он был написан писателем Прибалтики, латышом Вилисом Лацисом в самый разгар войны, в 1942 году, когда не прошло еще и двух лет после воссоединения его родины с Советским Союзом.

Этот рассказ нам близок, в нем изображено сопротивление, немного похожее на наше. Но в нем Балтика, сосны на дюнах, острова в заливах...

Вилис Тенисович Лацис... Смотрите-ка, его герой носит имя отца писателя!.. Лацис родился в рабочей семье, в деревне под Ригой в 1904 году. Во время войны 1914 — 1918 гг., перед приходом немцев, он эвакуировался с родителями на Алтай, работал рассыльным в типографии, затем секретарем сельсовета... В 1921 году возвращается на родину. Здесь он работает рыбаком, грузчиком в Рижском порту, лесорубом, кочегаром на торговых пароходах.

Сопротивление для него, живущего в фашистской стране, начинается в 1928 году. В 1930 году напечатана его первая новелла... он приобретает известность в буржуазной Латвии благодаря целой серии романов. Теперь это крупнейший писатель Советской Латвии, стоящий в одном ряду с Упитом — этим латвийским Горьким.

Из русской литературы, посвященной войне, я взял только один рассказ, самый короткий в сборнике, «Потерянный сын», всего три страницы. Автор — человек моего поколения, он старше всех тех, о ком здесь шел разговор, за исключением Алексея Толстого. Петр Андреевич Павленко родился в 1899 году в семье железнодорожного служащего и умер в 1951 году. Он начал печататься в 1929 году. Это писатель, который написал немало книг, и неплохих. Из его романов нужно упомянуть «Счастье» (1947). У нас во Франции вышло «Степное солнце». Три странички, помещенные мной в сборнике, дадут некоторое представление о том высоком месте в литературе, которое занимает Павленко. Однако по ним нельзя судить о щедром таланте Павленко, о его стиле, зачастую изощренном и так непохожем на стиль Вишневского, на эту бурлящую лавину чувств писателя-матроса, как нельзя по отдельным отрывкам полностью представить себе весь мир героев обоих писателей. Трудно, почти невозможно пе-

ревести Павленко и Вишневского на французский язык. Я говорю это без тени упрека Виктору Фурнелю, который перевел для сборника и того и другого. Но вот, спросим мы, как бы перефразируя Эффенди Капиева, можно ли поверить, что в самом деле мир наступил? Флот ушел от берегов, оставив лишь обломки кораблей. Мир вновь обретен на Украине всего несколько дней тому назад... и собака Кадошка вернулась к школьному учителю тоже только несколько дней тому назад. При Петре Петровиче нельзя еще говорить о маленькой Гале, Галочке, убитой немцами. И все же мирная жизнь чувствуется во всем. Пчелы, яблони и чуть возомнивший о себе колхозник-ударник, Герой Социалистического Труда. Можно ли считать, что эта вещь написана в строго реалистической манере? Если в ней есть романтика, то это романтика нового мира. В этой вещи есть и юмор, правда, довольно сдержанный. Речь идет об одном из «Киевских рассказов» Юрия Яновского, опубликованных в 1947 году. Сын служащего и крестьянки, Яновский родился в 1902 году, печататься начал в 1924 году. Я собираюсь включить в серию романов и его «Всадники». Переводчику особенно трудно было сохранить украинский юмор рассказов, так как перевод сделан с русского языка, а не с оригинала Франсуа Кереллю нужно было также передать украинскую экзотику. Она доступна русским, но оттенки ее ускользают от французов. Гоголь писал по-русски, хотя был украинцем. В наше время жители Киева и Харькова пользуются родным языком.

Война не прошла бесследно. Люди продолжают извлекать из нее уроки и на Украине, где велись бои, и на Урале, куда была перенесена промышленность. Урал... край драгоценных камней, лесов, гор... Клондайк Азии, где на границе, среди дикой природы, выросли огромные индустриальные города. Здесь родились волшебные сказки, чудесные истории. Автор «Малахитовой шкатулки», Павел Петрович Бажов — Шарль Перро этого мира фантастики. Он родился в 1879 году, умер в 1950 году. Он уроженец Урала, его язык трудно переводим, он богат непереводимыми оттенками, как грани уральских камней, из которых делают украшения, маленьких медвежат, коробочки, кубики. Бажов был сыном рабочего. Во времена его детства уральские заводы еще мало отличались от заводов XVII и XVIII веков, остатки которых мне довелось увидеть, путешествуя по Уралу, Нижнему Тагилу и Златоусту, в 1931 году. От рабочих этих заводов, шахтеров, кузнецов услыхал Бажов легенды и рассказы о спрятанных кладах. Они-то и легли в основу его рассказов, полных народной фантастики.

С большим трудом ему удалось стать учителем. И только революция помогла ему сделаться писателем. В 1924 году, когда вышла его первая книга «Уральские сказы», ему было уже сорок пять лет.

Из всех сказов, создавших ему огромную славу от Тихого океана до Вислы, я выбрал одну басню. Собственно, она не называется басней, но, тем не менее, это именно басня, написанная в прозе.

Она называется «Васина гора».

В ней с большой задушевностью показаны люди Урала, люди, жизнь которых прошла незаметно для истории. Но сами они прошли через горнило истории, как те камни, из которых делают украшения и продают в «магазине подарков».

Переводчику Рене Хунцбуклеру трудно было сохранить простой разговорный язык героев Бажова, найти ему эквивалент, так как, передавая говор, легко впасть в арго.

Итак, мы действительно верим, что уже наступил мир. «В одном совхозе было»... Меня хотят поймать врасплох, ну так вот... Пойдемте вместе с Михаилом Пришвиным в этот совхоз, куда китаец приносит маленькую собачку по кличке Лимон.

М. М. Пришвин родился в 1873 году недалеко от Ельца. Еще студентом Рижского Политехнического института он был арестован и сослан за революционную деятельность. Вернувшись на родину из ссылки, он стал агрономом, но с 1905 года (уже в возрасте тридцати двух лет) посвятил себя литературе Этнограф, фольклорист, он создает также сказки, романы, поэмы в прозе, пишет для детей.

Пришвин умер в январе 1954 года. На съезде писателей критик Ермилов назвал его имя в числе тех советских писателей, чье творчество все еще недостаточно оценено. Правда, при жизни Пришвин пользовался большим уважением, его произведения издавались и переиздавались, но, может быть, действительно, их принимали не за то, чем они были на самом деле. Критики хотели видеть в Пришвине лишь пейзажиста, натуралиста (в значении охотника за бабочками или собирателя гербариев). Именно против такой трактовки его творчества, несмотря на славу и посмертные дифирамбы, протестовала в статье, опубликованной в журнале «Звезда» в марте прошлого года, Т. Хмельницкая. Она писала, что главное в творчестве Пришвина — это не природа, а человек, познание человека, воздействие, которое человек оказывает на природу и природа на человека. Я привожу цитированное в этой статье письмо Горького Пришвину, написанное в 1926 году.

«По Вашим книгам, Михаил Михайлович, очень хорошо видишь, что Вы человеку — друг. Не о многих художниках можно сказать это так легко и без оговорок, как говоришь о Вас. Ваше чувство дружбы к человеку так логически просто исходит из Вашей любви к земле, из «геофилии» Вашей, из «геооптимизма»... Ваш человек очень земной и в хорошем ладу с Землею. У вас он более «гео- и биологичен», чем у других изобразителей его, он у Вас—наизаконнейший Сын Великой Матери и подлинная живая частица «Священного тела человечества». Вы как-то особенно глубоко и всегда помните, насколько мучителен и чудесен был путь его от эпохи кремневого

топора до аэроплана. А главное, что восхищает меня, — это то, что Вы умеете измерять и ценить человека не по дурному, а по хорошему в нем... Любоваться человеком, думать о нем я учился у многих, и мне кажется, что знакомство с Вами, художником, тоже научило меня думать о человеке — не умею сказать, как именно, но — лучше, чем я думал».

Все это может показаться преувеличенным для тех, кто будет судить о творчестве Пришвина лишь по маленькому рассказу «Лимон», вошедшему в сборник. Этот рассказ поражает скорее своеобразным юмором. Вот где камень преткновения для того, кто собирается втиснуть в небольшую книжку все богатство советской литературы. Такая книга может дать представление об общей картине литературы, но не об отличительных чертах в творчестве каждого писателя. Особенно отчетливо я это чувствую сейчас, когда перечитываю «Неодетую весну» Пришвина в переводе Гюстава Вельтера, которая должна появиться в этом году. О «Лимоне», как и о «Васиной горе» тоже можно сказать, что это басня.

Не сочтите за хитрость, если я закончу свои замечания словами, которыми этот маленький рассказ начинается: «В одном совхозе было..» У меня были свои основания для выбора. Я остановился на этом рассказе потому, что хотел ввести вас в советскую жизнь через «служебный ход», а не через главный подъезд, не через парадные залы, не при помощи политической лекции с кафедры, не по дорогам туристов. Может быть, когда вы увидите, как живет председатель совхоза и его жена со своими домашними животными, вы поймете, что совхоз — это совсем не то, что рисовало вам ваше воображение. Та же мысль руководила мною, когда я остановился на рассказе Андроникова «Портрет».

Андроников известен в СССР главным образом своими устными рассказами, в которых он изображает знаменитостей или просто яркие типы людей. Он показывает свое искусство в концертах, а также в кругу друзей. Имитирование в этих рассказах неотделимо от текста, автором которого является Андроников. Этот текст сам по себе, без жеста, без голоса, не мог бы дать портрета писателя, художника и так далее. Но, кроме того, Андроников очень серьезный литературовед, филолог, специализировавшийся на творчестве Лермонтова. Грузин по происхождению, он родился в Ленинграде в 1908 г. печататься начал в 1930 г.

Это человек и писатель из ряда вон выходящий. С первого взгляда кажется, что Андроников стоит особняком в современной советской литературе. В свое время (я говорю это без тени порицания) у нас так думали о Куртелине, считая его произведения неуместными в антологии французской новеллы.

«Портрет» — это не юмористический рассказ, а нечто вроде дневника исследований автора в его собственной области, не новелла, а такого типа зарисовка, которая не имеет своего названия во французском языке, а по-русски называется «очерк». Тем, у кого не хватает терпения читать наш сборник, я бы советовал, если они хотят понять мои намерения, начать с «Портрета». Они смогут проникнуть в фонды музеев, в радиологическую лабораторию, к специалисту по истории военных мундиров, к собирателям старины. Им откроются и другие, нам еще неизвестные уголки советской жизни, которые, может быть, лучше всего смогут переубедить людей, имеющих «априорное» мнение о Советском Союзе.

Очерк Андроникова и рассказ Федина появились во французской печати раньше, чем они попали в наш сборник. «Портрет» был напечатан в журнале «Эроп», а «Рисунок с Ленина» в газете «Летр франсез». Случилось так, что оба они были переведены Эльзой Триоле. Ей же принадлежала и инициатива выбора.

Я не знаю, нужно ли соглашаться с Сергеем Антоновым в том, что большинство советских писателей предпочитает строгую реалистическую манеру.

Без сомнения, Паустовский, автор «Кара-Бугаза»,— реалист, но он также и романтик. Он родился в 1892 году в Москве, в семье железнодорожного служащего. Воспитывался на Украине. Был механиком, трамвайным кондуктором, матросом, рабочим на заводе, санитаром, служащим, преподавателем литературы, журналистом... Он начал печататься с 1911 года. Паустовский написал десятки книг. Он не только рассказчик, очеркист, но и драматург. Во Франции в ближайшее время должны выйти его «Мещорская сторона» и «Рождение моря». Рассказ об Андерсене «Ночной дилижанс», который я выбрал, написан в 1955 году. Быть может, стоит напомнить, что в этом году Всемирный Совет Мира постановил отметить юбилей Ханса Кристиана Андерсена, чтобы способствовать взаимному сближению народов. Однако в 1954 году Паустовский написал рассказ в том же духе о Григе, который не был предметом такой рекомендации. В обоих рассказах мы ощущаем влечение Паустовского к романтике.

Четкая, почти зримая композиция его рассказов несколько напоминает композицию новеллы «Гобелен Марии-Антуанетты», которая открывает собой сборник, хотя романтизм Алексея Толстого, как мне кажется, имеет иную основу.

Если бы я мог дать себе волю, то включил бы в сборник не один рассказ Паустовского, а два или три.

Кажется, я ничего не сказал о женщинах-писательницах. Давайте скорее исправим эту ошибку. Вот Вера Панова. Она принадлежит, пожалуй, к наиболее характерным писателям для последнего периода литературы, хотя и вызывающим больше всего споров. По воле случая на французский язык переведены все ее произведения: «Спутники», «Кружилиха», «Ясный берег», «Времена года». К этим книгам в 1955 году присоединилась повесть «Сережа» (несколько историй из жизни очень маленького

мальчика). Одну из историй («Похороны прабабушки») я извлек из этой книжечки в 150 страниц, прежде чем она была опубликована у нас полностью.

После бури, разыгравшейся вокруг повести «Времена года», за которую Панову обвиняли в объективизме, — хотя теперь книжку, назерное, прочтут другими глазами, поскольку история в наши дни движется быстро, — написанная без особых претензий повесть «Сережа», казалось, не должна была бы принести огорчений автору. Но из январского номера журнала «Новый мир» мы узнаем, что под пером К. Владимирова эта вещь подверглась очень строгой критике на страницах «Учительской газеты». Правда, редакция «Нового мира» в своем ответе взяла под защиту «Сережу», вернее его автора Поскольку критическая статья касается и того отрывка, который я выбрал, может быть, она заинтересует французского читателя.

К. Владимиров обвиняет В. Панову за то, что она изобразила мальчика, который мыслит не так, как все другие дети его возраста, и за то, что этого мальчика никто не пытается воспитывать.

«В то время как простые маленькие советские мальчики и девочки мечтают об игрушках, о книжках, о вкусной манной каше, ум Сережи заполнен мыслями о бессмертии, о бесконечности жизни, о своей исключительной судьбе... Ему некогда шалить. Ему надо по каждому поводу думать». Мне кажется, что не обязательно повторять доводы, приведенные «Новым миром» в своем ответе этому педагогическому цензору, который, по-видимому, полагает, что воспитание Сережи не соответствует научной педагогике. Я привожу эту выдержку лишь для того, чтобы дать читателю «Похорон прабабушки» представление о том, как некоторые критики «ловят блох» в произведениях советских писателей. Это та самая критика, которая до 1954 года предъявляла к литературе осужденные сегодня требования «лакировки».

Лакировку, ведущую к фальшивому изображению жизни, легче, как видно, осудить в абстрактной форме, чем пресечь на практике в критике.

Вера Панова — ленинградская писательница. Она родилась в 1905 году: в 1922 — 1935 гг. — журналистка; в 1939 году — пишет для театра Ее творчество развернулось по-настоящему лишь после войны. В. Панова пишет в простой манере, ее стиль резко отличается от стиля Павленко или Леонова Может быть, среди других и ее имел в виду Антонов, говоря, что писателям, сформировавшимся после войны, свойственна строгая реалистическая манера Для этих писателей, так же как и для некоторых близких им предшественников, характерно стремление вслед за Чеховым создавать атмосферу. Вот почему я завершаю сборник довольно большим рассказом Антонова и попросил Рене Лермитта, который два года тому назад перевел «Лену», перевести «Дожди». В этом рассказе отчетливее, чем в других, слышится новый голос писателя, самого младшего из представленных в сборнике. Он родился в 1915 году, с 1938 года был инженером-конструктором, как саперный офицер принимал участие в обороне Ленинграда и в сражениях на Балтийском фронте. В литературу он пришел в 1944 году, сначала как поэт, затем как прозаик. Печатается с 1949 года. «Дожди» появились в журнале в конце 1951 года. И в «Похоронах прабабушки» В. Пановой и в «Дождях» нам интересна та реальная жизнь, в которой писатель показывает не исключительные явления жизни, а повседневные, типические. Может быть, объясняя здесь каждый раз причины, по которым я выбирал тот или иной текст, я слишком часто настаивал на том, какую пользу может принести нам ознакомление с теми или иными сторонами советской жизни. Но, по правде говоря, здесь речь идет не о документах, не о «кусках жизни», но о фотографиях... ведь мы действительно узнаем советскую жизнь из рассказов и новелл. Тем не менее, нельзя не согласиться с Леонидом Леоновым (его «Русский лес», я надеюсь, будет у нас напечатан в конце этого года), который в январе 1956 года, выступая на совещании молодых писателей, говорил:

«Всю нашу действительность мы равняем по будущему, и как до убожества мало мы смотрим в него глазами наших книг, которые должны приглашать туда современника. Литература должна стоять на уровне величайших открытий времени, это важнейший инструмент прогресса. Нам нужно добиваться, в меру наших сил, такого уровня нашей литературы, чтобы стыдно было не переводить нас на языки всех стран и народов, чтобы было стыдно не читать нас, например, как стыдно не знать Достоевского или Толстого. Нужно, чтобы наши произведения переводили не для ознакомления с нашей жизнью,— чем живут и дышат советские люди, а потому, что в них заключены если не какие-то непреходящие ценности, то хотя бы важнейшие витамины духовной жизни, завоеванные сегодня в мире людьми, вооруженными самыми передовыми идеями».

Так Леонов поправляет меня, подводя к главному вопросу: является ли советская литература литературой в полном смысле этого слова? Имеет ли она право на существование? Знакомство с пятнадцатью или шестнадцатью писателями, представленными в сборнике отдельными произведениями,— только начало ответа на вопрос И, повторяю еще раз, эти рассказы, новеллы, не могут дать представления о романе, о поэзии, о драматургии.

Я хотел, чтобы вся эта книга, а не только то, что написано мною, явилась предисловием к «Советским литературам». Я имею в виду все литературы народов СССР, с их многообразными традициями и с их общей судьбой. Эти немногие страницы — лишь первый камень того здания, о котором вам предстоит судить.

Л. Андреев

Музей обожествленного искусства

(ЗАМЕТКИ ОБ ЭСТЕТИКЕ АНДРЕ МАЛЬРО)

Известный французский писатель Андре Мальро еще до войны занялся вопросами теории искусства. Но в двадцатых-тридцатых годах Мальро писал по преимуществу романы, и они-то принесли ему известность. В конце двадцатых годов Мальро создает «Завоевателей» и «Королевскую дорогу». Внимание читателей привлекла книга «Условия человеческого существования» (1933). Затем последовали романы «Годы презрения» и «Надежда». Уже в конце 30-х годов Мальро отошел от левого движения, стал врагом марксизма, врагом коммунизма. После 1945 года Мальро углубляется в теоретические проблемы. Он пишет книги (главным теоретическим произведением Мальро являются трехтомные «Опыты психологии искусства»), печатает статьи, выступает с докладами, дает интервью.

Кипучая деятельность Андре Мальро в области теории искусства произвела немало шума. Его выступления вызвали во Франции острые дискуссии. Некоторые буржуазные круги объявили Мальро «классиком» и «властителем дум»; его идеи распространяются и пропагандируются, особенно среди молодежи. Это, конечно, не случайно. Французский марксистский журнал «La nouvelle critique» писал, что «концепции Мальро — лишь кристаллизация идей, которые стали общим местом в среде интеллигенции, связанной с декадентской буржуазией». Эти концепции выражают наметившуюся в послевоенные годы не только во Франции, но и в других капиталистических странах тенденцию к созданию специфической позитивной идеологической программы, к обоснованию своеобразного «нового Ренессанса». Тенденция эта открыто антимарксистская, антикоммунистическая: ее развитие, активное ее восхваление буржуазией является непосредственным ответом на успехи коммунистического движения, на необычайную популярность идей марксизма-ленинизма во Франции и других странах, на ту борьбу за подлинное возрождение национальной культуры, которую ведут демократические круги Франции.

Оптимистическая, утверждающая, на первый взгляд, окраска концепций Мальро, их наступательный характер, попытка осветить острые проблемы нашего времени действительно способны увлечь часть французской молодежи. Зловещие, пессимистические, декадентские предсказания, в изобилии рожденные идеологами буржуазии, приелись, а Мальро кажется кое-кому теоретиком, который «спасает искусство от власти абсурда». Вот почему, например, в 1949 году в книге «Метаморфоза литературы» молодой французский критик Пьер де Буадеффр писал: «Мальро — нашей юности блестящий воспитатель». Правда, он тут же справедливо и трезво отмечал, что философия «блестящего воспитателя» «весьма туманна», по существу пессимистична и что вообще Мальро не смог разрешить «роковые вопросы» нашего времени.

Работы Мальро касаются многих общих и частных вопросов искусства, они обращаются к искусству прошлого и настоящего, к художественному творчеству различных народов и различных времен. В этих работах содержится немало тонких и остроумных наблюдений, верных замечаний относительно тех или иных конкретных явлений искусства. Однако правильное и ценное в них подчинено предвзятой и субъективной общей концепции.

Приходится отметить, во-первых, что идеи, развиваемые Мальро,— не новые идеи. Не обязательно, конечно, быть оригинальным. Но небесполезно заметить, что мыслитель, объявленный буржуазией «властителем дум», пытающийся играть роль «пророка», что мыслитель этот удручающе повторяется. Мальро не только повторяет себя, оживляя при этом далеко не самые оригинальные мысли своих романов двадцатых-тридцатых годов: французские критики Мальро отмечают, что в его работах можно увидеть отсветы и ницшеанских идей, и идей Бергсона, и экзистенциалистских концепций, и прочего.

Не отличается новизной уже основная идея Андре Мальро, сформулированная, например, в конце первого тома «Опытов», который называется «Воображаемый музей». На вопрос, что такое искусство, Мальро отвечает: «Это то, благодаря чему формы становятся стилем».

Проблема искусства, по утверждению Мальро,— это проблема внутренней эволюции форм, независимых от общества, от истории. Эта мысль повторяется в его книгах столь навязчиво, словно автор стремится убедить читателя, сделав ее привычной. Пластическое искусство рождается из «способа создания мира»; цель искусства, «объект его поисков» — стиль; «основа рождающегося искусства — не жизнь, а предшествующее искусство»; образ — отражение мира, «не сводимого к миру реальному»; «всякое искусство начинается... с абстракции или божества»; художник участвует не в жизни, но в жизни искусства и тому подобное и так далее.

В соответствии с такой идеалистической трактовкой искусства Мальро определяет и историю искусства как замкнутую историю стилей, понимаемых в свою очередь лишь как сочетание определенных способов выражения, формальных приемов. Суть христианского искусства, пишет, например, Мальро, не в том, что изображалась Богоматерь, а в особом способе ее изображения. В начале первого тома «Опытов» Мальро определяет те факторы, которые создают для нас «музей» искусства прошлого времени. Очень пространно, на десятках страниц, Мальро толкует о репродуцировании произведений искусства, придавая технике чуть ли не решающее значение в выработке самих принципов познания истории искусства как истории стилей. Всякий же великий стиль он объявляет «сведением к недолговечной человеческой перспективе вечного мира, увлекающего нас, согласно своему таинственному ритму».

Определив сущность искусства, Мальро вступает в спор, который ведется уже не одно десятилетие Он сознательно и воинственно нацеливает свои принципы против принципов своих противников, прежде всего против марксистов.

Концепция искусства, развернутая Мальро, его выводы и обобщения вступают в явное и резкое противоречие с самим искусством, его объективной сущностью, его действительной историей. Мальро догматичен, он навязывает жизни произвольное, субъективное толкование ее, искажает факты, чтобы придать этому толкованию видимость истины объективной и даже абсолютной. Благодаря таким приемам на страницах исследований Мальро и возникает своеобразный «музей» искусства, не совпадающего с реально существующим.

Мальро намеренно сужает круг тех явлений, которые он рассматривает. Он делает выводы относительно сущности искусства вообще, но опирается лишь на пристрастно подобранные им явления, и их-то зачастую истолковывая произвольно. Доказывая, что искусство прошлого «было средством создания священного мира», Мальро преувеличивает позитивную роль религии в художественном творчестве, особенно христианства, и восстанавливает в прошлом то, что, по его собственному признанию, «подкрепляет наш иррационализм». Французский журнал «La Revue de Paris» не без основания называл Мальро защитником «цивилизаторских заслуг христианства».

Благодаря одностороннему отбору и истолкованию произведений искусства история живописи оказывается в книгах Мальро историей от ее начала до Рембрандта и от Рембрандта, как мы далее увидим, до концепции Мальро. Рембрандт же, в трактовке Мальро,— последний художник, «одержимый богом», что, по мысли Мальро, и является характерной особенностью искусства прошлого. Так, пишет Мальро, Рембрандт рисовал не капитана Кока и его офицеров, но особый мир, где свет и тень музыкальны и где господствует бог.

Мальро неизменно подводит читателя к современному искусству, трактовка которого для него особенно важна, ибо, опираясь прежде всего на нее, он и строит свою концепцию искусства-религии. Мальро при этом весьма поспешно разделывается с XVIII и XIX веками, объявляя, что даже в XVIII веке — атеистическом и революционном — возникла своеобразная «религиозная экзальтация» из самой борьбы против религии, а в XIX веке возник «бог политики». Французские критики Мальро с полным основанием напоминают, что и здесь Мальро не оригинален — резкое осуждение искусства XVIII—XIX веков как «неудачного» этапа в развитии французского искусства (вследствие сильного развития передовых тенденций в этом искусстве, его связи с освободительными движениями) чрезвычайно характерно для наиболее реакционных представителей французской критики XX века. В связи с этим критики напоминают о зловещей фигуре Ш. Морраса — известного французского публициста, фанатичного консерватора, монархиста, который был одним из самых энергичных пропагандистов такой именно точки зрения на искусство XVIII—XIX веков.

В рассуждениях Мальро о современном искусстве особенно наглядно проступает свойственное ему произвольное обращение с реальной жизнью и историей искусства.

Мальро постоянно пользуется понятием «современное искусство» (l'art moderne)*. Для него это нечто нерасчлененное, цельное. «Современное искусство» стало развиваться с середины XIX века, утверждает Мальро, и впервые его принципы заметно проявились в творчестве Бодлера и Мане. «Новое искусство стремилось опрокинуть отношения между объектом изображения и картиной — оно стремилось подчинить объект картине». Для Мане, Писсарро, Дега, Сезанна, Сислея, Моне и прочих, пишет Мальро, действительность стала лишь «средством самовыражения», в их произведениях исчезает сюжет, так как единственным «сюжетом» становится сам художник. Ценность видимого мира поставлена этим искусством под сомнение; ценными оно

* Французское слово «модерн» имеет два значения — «современное» и «модернистское» — как обозначение художественного направления.

считает лишь «формы, отличающиеся от форм видимых».

Мальро в этих и подобных им определениях весьма точно говорит о чертах искусства, развивавшегося во Франции с середины XIX столетия и провозгласившего примат искусства над действительностью. Но для исследовательского метода Мальро характерно то, что он черты *одного* направления в искусстве распространяет на современное искусство в целом, умалчивая о существовании иных направлений или же искажая их сущность.

Основа для обобщений и выводов в эстетике Мальро, таким образом, крайне и намеренно узка. Эта эстетика, вероятно, рассчитана на людей, которые основным пособием и руководством для ознакомления с историей искусства неосмотрительно изберут труды Андре Мальро. Создавая концепцию современного искусства в целом, Мальро опирается, однако, почти исключительно на опыт французской живописи, где в XX веке весьма широко распространились принципы модернизма. Мальро крайне мало говорит об искусстве других стран. Он не забывает использовать имя Бодлера (понимаемого им упрощенно) для подкрепления своей концепции, но затем словно забывает о том, что во французской литературе были еще Флобер, Гюго, Мопассан, Доде, Золя, Франс, Роллан, Барбюс и многие другие близкие им писатели, что во Франции действует и сейчас немало превосходных прозаиков и поэтов, «забытых» Мальро, так как их принципы — принципы правдивого искусства — не подкрепляют, а, наоборот, опровергают концепцию Андре Мальро. Да и во французской живописи от Курбе и Сезанна до Фужерона и Таслицкого далеко не все так дружно подтверждают истинность этой концепции. Конечно, понятие реализма фигурирует в размышлениях Мальро, но лишь в качестве противника, который никак не допускается в мир того, что Мальро именует «современным искусством».

Мальро не только искажает облик современного искусства, изображая его черты на основе особенностей лишь одного направления, но он ставит под сомнение наличие борьбы направлений в искусстве вообще, факт существования различных эстетических принципов и методов, чтобы посеять в читателе недоверие к реализму, а затем упразднить реализм.

Домье, Курбе творили, как известно, почти в одно время с Моне и другими представителями того, что Мальро удостаивает наименования «Современное искусство». Они были реалистами, а тем самым живым опровержением утверждений Мальро. Как же Мальро выходит из этого затруднения, возникающего из явного расхождения его концепции и действительной истории искусства?

О Домье Мальро говорит в «Опытах» крайне сдержанно, собственно умалчивает о нем, видимо, потому, что непосредственная связь творчества Домье с общественной жизнью его времени настолько безусловна, что Мальро просто не в состоянии подогнать его к своей схеме. Зато он пытается сделать это с Курбе, для чего фальсифицирует сущность творчества и эстетические принципы великого художника, а затем объявляет и вовсе «сомнительной» связь Курбе с «идеологией реализма». «Для Курбе реализм определяется сюжетом: реалистичен огонь пожара — в «Пожаре», но не огонь Трои»,— пишет Мальро. Рассуждая о Курбе, он замалчивает наличие самостоятельной, законченной, а тем более продуктивной «идеологии реализма». Мальро и на Курбе распространяет свои положения о том, что художник не является поэтом действительности, не отражает жизнь, а исходит лишь из тех или иных стилей, которые он заимствует, а затем развивает.

Но это прямо противостоит действительной эстетической программе Курбе, при всех ее противоречиях. Очевидно, именно поэтому Мальро не цитирует Курбе, а предпочитает «рассказать» о его принципах и делает это так, что от подлинного Курбе ничего не сохраняется в весьма вольном переложении.

Вот что писал, однако, Курбе, в 1855 году: «Я изучал... искусство прошлого и современное искусство. Я так же не желал подражать одним, как и копировать других; в моих мыслях не было, тем более, стремиться к праздной цели искусства для искусства... Посвятить себя передаче нравов, идей, особенностей моей эпохи в соответствии с моим к ней отношением, быть не только художником, но еще и *человеком**, одним словом, творить живое искусство — такова моя цель».

Или вот о чем говорил Курбе в 1861 году: «Каждая эпоха должна иметь своих художников, которые ее выражают и воспроизводят для будущего... Я считаю, что живопись — искусство по преимуществу *конкретное* и заключается лишь в изображении вещей *реальных* и *существующих*... *Абстрактный* предмет, невидимый, несуществующий, не принадлежит к области искусства. Воображение в искусстве заключается в умении найти наиболее полное выражение существующей вещи, но ни в коем случае не в том, чтобы предполагать существование ее или же создавать эту вещь. Прекрасное — в природе... Рожденное природой прекрасное выше всех условностей искусства...»

Заметно, таким образом, что для Курбе дело заключается вовсе не в «сюжете», а в определенном принципе отношения искусства к действительности, и все приведенные положения прямо противоположны тем, которые провозглашает Мальро, изображая их при этом особенностями искусства вообще. Принцип, сформулированный Курбе,— это принцип правдивого отражения жизни, примата жизни над искусством, принцип гуманистического искусства («быть *челове-*

* Здесь и ниже подчеркнуто Курбе.— *Л. А.*

веком»). Этот принцип выражали и защищали, на него опирались в своем творчестве многие большие и малые писатели и художники прошлого и настоящего. Он не является особенностью лишь советского искусства, как то утверждает Мальро, стараясь придать принципам правдивости и общественной обусловленности искусства локальный «советский» характер. Они, эти художники прошлого и настоящего, и не попадают поэтому в понятие «искусство», которым оперирует Мальро, а если и попадают, то в таком непохожем на самих себя виде, как это случилось с Курбе.

Произвольно освещая их творчество, Мальро подводит читателя к выводу о том, что реализма-то и нет, что реализм — лишь слово, лишь «полемическая идеология, противопоставляемая идеализму», лишь весьма условная «ориентация идеалистических стилей». А был ли реализм? — спрашивает Мальро и отвечает отрицательно, стараясь посеять сомнение в том, что были и есть художники, отражающие жизнь правдиво.

В своем упорном стремлении доказать, что реализма нет, Мальро широко использует прием борьбы с воображаемым противником, которого он сам на этот случай изобретает, делая его заранее столь нежизнеспособным и уязвимым, что одолеть его не составляет труда. Надо отметить, при этом, что Мальро порой использует в своих целях и недостатки, ошибки сторонников марксистской теории искусства. Отклонения от марксизма или свое собственное искажение его он нередко выдает за марксизм и пылко сражается с плодами собственной фантазии.

Бесспорно, например, что недостаточно внимательный анализ проблем специфики художественного произведения, вопросов формы присущ некоторым работам сторонников марксистского истолкования искусства, Мальро же объявляет, что марксизм вообще не дает возможности проникнуть в суть собственно эстетических проблем. Тем самым он пытается доказать, что лишь его, Мальро, метод — ключ к искусству, что марксисты искусством и не занимаются в отличие от него, Мальро.

Известно, что в деятельности наших литературно-художественных организаций были недостатки. Мальро абсолютизирует их; стремясь опорочить все советское искусство, он называет его чуждым подлинному искусству, плодом «командования» и демагогически возвеличивает мнимое «коммунистическое» искусство, которое якобы будет создано, если искусству удастся освободиться от влияния коммунистической партии. Мальро вновь объявляет при этом творческий акт абсолютно свободным, чтобы опорочить принцип идейности искусства, опорочить марксистское понимание искусства и, под флагом независимости искусства от политики, провести и навязать читателю свое понимание искусства, свою политику.

Кроме того, следует иметь в виду, что для Мальро в высшей степени характерна уклончивость, отказ от точных определений, когда ему нужно внести неточность, посеять неясность, столь необходимые ему для обоснования его концепции. Он считает «пустыми формулами» такие определения, как «социалистический реализм», «кубизм» и прочие, то есть научные определения методов и стилей. В теории искусства, утверждает Мальро, много разных слов, ничего не обозначающих. «Слова, слова, слова»,— сокрушаясь, повторяет Мальро. Но он отказывается не от слов вообще, а от тех слов, которые мешают ему построить свой фантастический «музей» искусства. Когда же Мальро строит его, защищает свои принципы, он даже теряет чувство меры, становится излишне красноречивым, ибо его «музей» и является в значительной степени плодом красноречия. Когда Мальро дает свои определения, он не только не отказывается от категоричности, но, наоборот, проявляет крайнюю нетерпимость и догматизм, обращается к стилю, который смог бы в адекватной форме отразить безусловный характер его пророчеств и прорицаний.

Терминологическую неопределенность Мальро широко использует и в борьбе с реализмом. Мальро ниспровергает хилый призрак, им самим вызванный к жизни; он вульгаризирует понятие реализма, делает его неопределенным, лишенным какого-либо точного смысла, а потому просто излишним словом. Мальро для этого смешивает понятие стиля и метода, путает главное с второстепенным, ссылаясь на многообразие форм искусства, на то, что Гойя не похож на Курбе, а Шарден — на пролетарских художников.

Мальро не забывает воспользоваться нашими недостатками. Известно, что в работах некоторых литературоведов понятие реализм приобрело некоторую неопределенность, что есть различные взгляды на то, что такое реализм. Одни считают реализм качеством, изначально присущим искусству, методом всякого правдивого искусства. Другие видят в нем один из методов правдивого искусства, сложившийся в определенный исторический период. Самим словом «реализм» мы пользуемся подчас для обозначения всего передового, правдивого, и слово это порой употребляется как синоним слова «хороший» в применении к искусству. Тем самым притупляется внимание к многообразию форм, средств, методов правдивого искусства, утрачивается научное, точное понимание термина.

Говоря о различных точках зрения на реализм в марксистском искусствоведении, мы, вместе с тем, имеем в виду позиции, опирающиеся на общую методологическую основу, признающие реализм методом правдивого искусства, исходящие из отношения искусства к действительности и т. п. Точка зрения Мальро является принципиально, методологически иной. Он говорит о многообразии форм искусства, чтобы поставить под сомнение способность искусства к

правдивому воссозданию действительности, умертвить реализм.

Вопрос о методе произведения искусства, как и о методе его исследования, решается, однако, не тем, о чем в произведении искусства идет речь: можно быть реалистом, изображая и сожжение Трои, и любой пожар XIX столетия, как можно оставаться Мальро независимо от того, идет ли речь об искусстве Византии или о творчестве Курбе. Все дело в том, правдиво ли воплощается действительность или же она служит лишь отправным пунктом для построения фантастических сооружений.

Бесконечное разнообразие творческих индивидуальностей, неповторимых стилей, художественных почерков не может заслонить ту важнейшую истину, что художники в различных формах и в различной степени воспроизводили и воспроизводят жизнь, что есть, вместе с тем, и такие художники и теоретики, которые считают, что искусство — лишь сумма и движение форм, что оно или воспроизводит абсолютные начала, или же, как Нарцисс, не отрываясь, созерцает свою собственную красоту, о подражании которой жизнь не может и думать. И в искусстве вовсе не господствует стихия субъективных, сугубо личных мнений, как пишет Мальро. Субъективные идеалисты в философии доказывают отсутствие объективной действительности, ссылаясь на то, что мы знаем о ней лишь по свидетельству наших чувств. Так и Мальро многозначительно подчеркивает, что и реалистические произведения — лишь продукт своеволия художника, что художник изображает не то, что видит, но то, что хочет изобразить, а видит он лишь достойное быть отображенным. Человеческое сознание, однако, способно не только заблуждаться и изобретать фантастические «музеи», но и постигать, выражать истину. Человечество располагает объективными критериями для оценки соотношений искусства и действительности. Это критерии самой жизни, общественной практики. Мальро же воспитывает у человека недоверие к этим объективным критериям, чтобы ничто не стесняло его произвольных построений.

Вопрос об отношении искусства к действительности — методологически исходный, основной вопрос, и он не должен подменяться и заслоняться вопросом о различных формах, видах, направлениях искусства. Мальро делает это с тем, чтобы скрыть различия в подходах к этому вопросу и объявить свою, идеалистическую концепцию неотъемлемым принципом самого искусства.

Для того чтобы оторвать искусство от действительности, Мальро пользуется и другим аргументом. Этот аргумент тоже не нов. Мальро доказывает, что искусство не зависимо от истории потому, что оно — искусство. Он использует в своих целях тот бесспорный факт, что произведение искусства не тождественно жизни, что оно специфично.

Мальро снова создает подставного противника, с которым и разделывается. Он утверждает, что марксисты объявляют искусство просто продуктом общества, лишенным специфической эстетической ценности. Такое истолкование разбить не трудно, но оно не является марксистским. Марксисты всегда утверждали и утверждают, что искусство — своеобразная форма общественного сознания. В. И. Ленин, подчеркивая это, писал, например, что в искусстве «весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов»

Стремясь развенчать реализм Курбе, Мальро утверждает, что его картина «Пожар» в большей степени возникла из подражания технике Рембрандта, чем из следования реальной действительности. Мальро тем самым пытается опереться для подкрепления своих концепций на тот неоспоримый факт, что в области искусства—особой области общественного сознания — есть своя преемственность. Курбе, конечно, пользуется выработанной его предшественниками техникой, развивает ее. Не существует прямолинейной связи социально классовых основ искусства и, скажем, живописной техники. Общие формальные моменты можно обнаружить подчас в творчестве художников или писателей самых различных направлений, действующих в одну и ту же историческую эпоху, а пролетарскому искусству нет необходимости ниспровергать, например, достижения живописи Ренуара. Но преемственная связь, которая вполне может существовать между техникой Ренуара и техникой живописца революционного пролетариата, никак не снимает вопрос о принципиальном расхождении эстетических принципов этого живописца и тех из убеждений Ренуара, которые позволяли ему заявлять, что ему «наплевать» на правдивость искусства и что «у природы не научишься искусству». Сам-то Ренуар при этом немалому учился все-таки у природы, искусство этого большого художника имеет значительную эстетическую ценность, но высказывавшееся им пренебрежение к принципу правдивости отрицательно сказалось уже в его деятельности.

Мальро снова, и в этом вопросе, решающее подменяет производным.

Марксисты рассматривают художественное произведение в целом, в единстве всех его элементов, с учетом того, что первично содержание, а вторична, производна форма с точным указанием на реальные, объективные факторы, которые определяют искусство. Мальро же обособляет от этого целого те или иные элементы формы, абсолютизирует их, превращает в самоцель и первопричину. Он убеждает, что тем самым «спасает» искусство от марксистов, якобы отождествляющих его с историей общества. На самом деле Мальро отрывает искусство от его объективной основы и отдает на произвол исследователю. Он считает, что благодаря этому его критика «оторвалась» от истории и приобрела свободу — на самом же деле это иллюзия, ибо критик попал в

плен узкой, субъективной концепции, потерял, а не приобрел способность подлинно свободного, то есть научного, объективного, исчерпывающего анализа. Свобода критического исследования заключается не в способности говорить об искусстве то, что пришло в голову, а в умении сказать о нем объективно, со знанием дела. Именно исследования Мальро не свободны — объект анализа подавлен в них догмой, предвзятой точкой зрения, подан односторонне. Верные и меткие замечания касаются поэтому в работах Мальро лишь отдельных явлений и неизбежно тонут в общем потоке субъективного истолкования искусства.

Желая скомпрометировать исторический подход к искусству, опирающийся на анализ общественных причин, Мальро, например, заявляет: Бальзак не был бы Бальзаком, если бы не было французской революции, но не был бы им и в том случае, если бы мать его умерла до того, как Бальзак родился. Эта мнимая аналогия, сопоставление несопоставимых вещей вполне в духе присущего Мальро метода исследования, яркий пример характерной для него уклончивости. Гадать о том, что было бы, если бы Бальзака не было бы — занятие заведомо бесплодное и бессмысленное. И оно ни в коей мере не освобождает нас от необходимости ответить на вопрос, что представляет собой и чем определяется творчество действительно жившего Бальзака. Мальро полагает, далее, что «изловил» марксистов, сообщая, что Сезанн, творчество которого марксисты тоже объясняют определенными общественными причинами, характером развития буржуазного общества в XX веке, презирал буржуазию. Но в этом замечании Мальро обнажается лишь метафизичность метода Мальро, который не может диалектически раскрыть сложное жизненное явление, противоречиво сочетающее различные стороны в определенном единстве. «Опровергнув» марксизм вышеприведенным способом, Мальро дает свой «ключ» к искусству. Есть нечто такое, говорил он в докладе в 1952 году, что важнее истории: это «постоянство гения». Внешняя импозантность таких формул вполне равна их внутренней бессодержательности.

Мальро осмеивает обращение к общественной истории для анализа произведений искусства. Мы не знаем в точности, какими факторами он определяет свою собственную эволюцию. Но претензия теории Мальро на абсолютное значение позволяет нам распространить ее и на творчество самого Мальро. Известно, например, что в двадцатые годы, в первых своих книгах он изображал авантюристов, людей, «одержимых смертью» и убежденных, что «жизнь не имеет никакого смысла». Такими оказывались у него и коммунисты. Известно, что в романе «Надежда» (1937), посвященном бойцам республиканской Испании («Моим товарищам по Теруэльскому бою»), Мальро писал, что «человек активный и в то же время пессимист — либо фашист, либо будет фашистом...», и хотя эта книга крайне противоречива, непоследовательна, рассказал о самоотверженной борьбе народа, опровергая «нелепые басни» о коммунистах и рисуя их в своем романе «Надежда» отличными организаторами, бесстрашными бойцами народной армии (таков, например, Мануэль). Можно ли объяснить это явное «непостоянство гения», это изменение позиции писателя, как и то, что произошло с ним далее, имманентной игрой форм и сменой стилей? Или же изменения в содержании и в форме книг Мальро следует объяснить тем, что произошло во Франции и других странах мира к середине тридцатых годов, что произошло с самим Мальро под влиянием этих перемен? Первый способ объяснения искусства, предлагаемый самим Мальро, переворачивает все с ног на голову, обесцвечивает жизнь, жертвует жизнью во имя схем и отвлеченных категорий, под которые подгоняется искусство.

Изоляция искусства от общественной жизни проявляется и в том, что в «музей» искусства, создаваемый Андре Мальро, запрещен вход непосвященным. Мальро резко разделяет представления об искусстве, которые присущи тем, кто создает произведения искусства, и те, что свойственны всем прочим. «Художник» и «нехудожник» часто фигурируют в его книгах. Мы не намерены, конечно, отрицать наличие у художников специфических способностей к творчеству. Это очевидно и недискуссионно. Но Мальро доказывает другое, он принципиально различает восприятие искусства и даже жизни у «художников» и «нехудожников», он разделяет человечество на две неравноценные категории с тем, чтобы создать касту людей особой породы, «избранных», посвященных. Это является логическим следствием превращения искусства в замкнутую сферу, в «таинство». Здесь раскрывается в свою очередь и самый характер того искусства, черты которого Мальро столь неубедительно превращает в черты искусства вообще, являясь его знаменосцем и теоретиком: это искусство чуждо, враждебно народу, оно камерно Мальро сам признает это: он пишет в «Опытах», что «для современного художника обратиться к массам — значит перейти в другую веру». Мальро убеждает, что простой смертный и не может проникнуть в суть творческого акта,—еще бы, ведь даже сам Андре Мальро не в состоянии это сделать, поскольку он объявляет творческий процесс непостижимым и мистическим. Открытия художника, замечает Мальро, «почти не относятся к сфере логического» и сам путь его «мало ему подчинен». О какой же психологии искусства может вести речь Андре Мальро, если сам творческий процесс он объявляет непостижимым, определяемым таинственным «внутренним голосом»?

Поучительное противоречие концепции Мальро заключается в следующем. Он всеми способами старается, с одной стороны, освободить искусство из-под «гнета» общественной жизни, снять, скрыть отражение классовой борьбы в искусстве прошлого и

настоящего, превратить искусство в выражение абсолютных категорий, сделать его аполитичным, «чистым».

Но сама эстетика Мальро не есть «чистая» эстетика. Автор интересной статьи о Мальро, напечатанной в журнале «La nouvelle critique» в августе 1955 года, Пьер Мерен, справедливо назвал ее: «Мальро — эстетика или религия искусства?» Эстетическая теория Мальро отнюдь не аполитична, более того, она четко и очень воинственно направлена на определенную общественную цель, связана с определенной этической программой, содержит концепцию и истории, и общественной жизни. Мальро старательно «обороняет» искусство от политики, но лишь до определенного, выгодного ему момента, а его эстетические выступления тесно, органически связаны с определенными политическими выступлениями. Он стремится обратить взоры художников к созерцанию абсолюта, но сам при этом весьма далек от того, чтобы погрузиться в нирвану, весьма конкретен и энергичен в своей общественной деятельности, политически недвусмысленной.

Отмеченное противоречие является еще одним подтверждением, что идеи аполитизма и «чистого искусства» используются для политической борьбы, для маскировки определенной политической платформы. Ведь Мальро выступает не только в роли прорицателя судеб «современного искусства» — он одновременно прорицает и по вопросам политики, причем политические «пророчества» Мальро всегда имеют определенный — антисоветский и антикоммунистический — привкус.

В случае надобности Мальро может заявить, что «политика играет большую роль в культуре», как заявил он об этом в одном своем интервью в 1945 году. Он, конечно, оговорился при этом, что пути и средства этого воздействия политики «не могут быть предугаданы», что они лишь «в малой степени» разумны. Но эта апелляция к иррациональным началам не помешала Мальро с заметной последовательностью защищать — после 1940 года, как он сам определил в другом своем интервью,— идею «атлантической культуры», культуры некоей пан-Европы. При этом Мальро доказывал, что США имеют прямое отношение к созданию такой культуры (хотя известно, что США — страна не европейская), а Советская Россия не имеет. Возникающее при этом географическое затруднение Мальро разрешил, сообщая, что Россия вообще не имеет культуры того типа, какой обладают страны, допускаемые Мальро к созданию общеевропейской культуры. Если вспомнить, что в то время, когда Мальро выступал с такими лозунгами, во Франции народ вел напряженную борьбу за независимость страны, отстаивал самое право национальной культуры на существование, то нетрудно будет рациональным путем предугадать те расчеты, ту политику, которая порождала в области культуры программу построения наднациональной атлантической культуры под преимущественно американским влиянием. Что касается апелляции к иррационализму, то это — жалкая, рудиментарная форма идеи независимости творческого акта, которую защищает Мальро. Обосновав мысль о необходимости освободить искусство от влияния политики коммунистических партий, Мальро пытается тем самым превратить искусство в «свободную зону», в которой он, Мальро, свободно утвердит идеи атлантической политики, сделает искусство орудием политики, враждебной коммунизму, враждебной народам.

Итак, Андре Мальро — не просто теоретик искусства, но создатель этического учения, «новой религии». Для этой цели он прежде всего и абсолютизирует свои воззрения. Мальро старается убедить читателя, что перед ним — не томики сочинений Андре Мальро, выражающего идеологию определенной общественной группы, но знамя, которое должно развернуть человечество.

Отсюда вытекает и особое значение, которое имеет в концепции Мальро понятие «современное искусство». Как мы уже отмечали, по утверждению Мальро, характерной особенностью искусства прошлого была «одержимость богом». В новое время, констатирует он, искусство потеряло бога, так как бог исчез из мира с ликвидацией всевластия христианства, с развитием атеистических и революционных идей. Это новое время, лишившееся бога и всемогущего христианства, кажется Мальро пустым. Его и заполняет волею Мальро искусство, весьма своеобразно истолкованное. Уже во времена Рембрандта, заявляет Мальро, развилась идея, согласно которой спасти искусство в «мире, лишившемся основополагающих ценностей», то есть бога, можно, лишь «придавая основополагающую ценность самой живописи». Иными словами, Мальро на место бога подставляет искусство, превращаемое им в абсолют, в божество.

С этой целью он особенно настойчиво доказывает абсолютный, независимый от общества характер того направления в современном искусстве, черты которого он затем отождествляет с искусством вообще, превращая их в черты «открытого» им божества. Мальро объявляет искусство, которое «опирается на убеждение, что ценность представляет лишь мир», отличный от нашего, земного мира,— наиболее полным воплощением принципов искусства, а его представителей — подлинными художниками, наиболее совершенным воплощением черт творца. Это и есть Искусство как таковое. «Новым фактом является то, что художники более не говорили ни со всеми, ни с каким-либо одним классом, но с кругом людей, определяемым исключительно принятием их принципов». Художник этот «проклят», он «оторвался от истории», он в сфере абсолюта. «Иной Мир, игравший столь значительную роль в священном, вновь возникает».

Мальро, со свойственным ему вульгаризаторством проблем социальной обусловленности искусства, ссылается на то, что картины представителей «современного искусства» не покупали ни буржуа, ни пролетарии. Но он все же заблуждается, полагая, что творчество представителей этого направления, как и принципы его собственной теории, не имеют общественных корней. И они, эти художники, вовсе не обязательно являлись чуждыми жизни поклонниками отвлеченных категорий.

Мальро считает искусство, созданное служителями «чистого искусства», высшим и абсолютным выражением художественных принципов. Тем самым он наводит читателя на мысль, что теория Мальро — высшая точка в развитии человеческой мысли, ее окончательная форма, что, ознакомившись с трудами Андре Мальро, можно и отказаться от дальнейшей самостоятельной мыслительной деятельности. Но это самообольщение, в котором проявляются характерные для всякого священнослужителя догматизм и метафизичность воззрений. Искусство, защищаемое Мальро, и его теория,— уже сейчас не единственная и далеко не высшая форма художественных воззрений. Можно предполагать, что и после того, как появились взгляды Мальро на искусство, оно не остановится и в своем развитии даст новые формы. В этих новых формах человечество органически нуждается уже потому, что оно не может довольствоваться искусством и теорией искусства, рассчитанными лишь на узкую группку людей, которые согласятся увидеть в пессимистических и не вполне оригинальных концепциях Мальро черты нового божества.

Нет абсолютной формы искусства — каждая эпоха рождает новые формы и новые принципы художественного познания действительности. Но, во всяком случае, ошибочно видеть приближение искусства к идеалу в том его направлении, которое все более отходит от жизни и все более обращается к самодовольному созерцанию своей сущности. Не случайно Золя, друживший с выступившими в шестидесятые годы импрессионистами, «в ужасе отшатывается» в девяностых годах, созерцая произведения последователей этой школы. Что бы он сказал, если бы ему довелось увидеть творения современных сюрреалистов: живопись С. Дали, Миро, Танги и т. п.! История показывает, что это путь разрушения искусства, вырождения искусства в искусственность — потому, очевидно, что превращение его в самоцель чуждо и враждебно подлинной сущности и предназначению искусства. Не для того люди стали творцами, чтобы искусство забыло о них.

Это, возможно, имеет в виду и Мальро, который, защищая идею независимости искусства от общественной жизни, пытается в то же время создать «новый гуманизм», призывает вернуть человеку его величие — явно вмешивается в общественную жизнь. При этом он даже переоценивает возможности искусства, призывая осуществить эту гуманную задачу с помощью «современного искусства» и — соответственно — теории Андре Мальро. Возможно, и поэтому его «гуманистическая» программа так безотрадна и мрачна. Она напоминает об «одержимости смертью» — об этом тяжком заболевании, которым страдали герои романов Мальро.

Есть в мире нечто всевластное и зловещее, сообщает Мальро,— это судьба (le destin). В произведении же искусства судьба как бы снимается. Мир хаотичен, абсурден, а искусство вносит в него успокаивающий порядок: Мальро считает, что угрожающая человеку действительность, лишь трансформируясь в сознании художника, перестает быть враждебной ему. «За каждым из шедевров Рембрандта бродит и грозно шумит покоренная судьба»; всякий великий стиль — это «порядок, навязанный хаосу». Искажение действительности, по мнению Мальро,— необходимейшая черта искусства, позволяющая приобрести хотя бы иллюзию освобождения человека от власти губительного для него мира, от этой неодолимой и вездесущей судьбы. Благодаря искусству человек обретает свободу или, скорее, иллюзию свободы, так как и она — лишь вечная нерешительность и неопределенность.

Сам Мальро, судя по всему, не очень-то верит в такое всемогущество своего искусства. Поэтому-то он пишет, что искусство «противопоставляет свою эфемерную вечность еще более эфемерной жизни», что в каждом художнике живет интеллигент, «чувствующий себя эфемерным». И Мальро, как известно, не довольствуется лишь надеждами на создаваемое им божество, о чем свидетельствует его политическая деятельность. Его же теоретические эссе, его идеи искусства-религии должны сеять иллюзии, дезориентировать людей, отвращать их от понимания конкретных «земных» задач. Тем самым эстетика Андре Мальро призвана сыграть роль, которую играет всякая религия. Тем самым определяется и весьма конкретная политическая цель, выполняемая столь «аполитичной» на первый взгляд теорией.

Итак, есть «новая религия», созданная Андре Мальро,— религия «современного искусства», есть апостол ее — сам Андре Мальро; есть новое евангелие—ученые труды Андре Мальро. Недостает, судя по всему, потока исполненных энтузиазма верующих. И это понятно. Люди научились бороться за свое реальное, земное счастье, а не жить надеждами на волю всевышнего. Поэтому столь безотрадны концепции Андре Мальро, а писатель сокрушается, что безвозвратно прошли времена всемогущего христианства.

С. Маршак

Искусство поэтического портрета

В декабре 1956 года секция переводчиков зарубежных литератур Московского отделения Союза писателей созвала конференцию-семинар начинающих переводчиков, в которой приняли участие 74 человека.

Конференция открылась выступлениями С. Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова, И. Кашкина. Перед поэтами-переводчиками выступил П. Антокольский. В последующие четыре дня проходили занятия семинаров, которыми руководили опытные переводчики.

Заключительное заседание было посвящено подведению итогов и обмену опытом между участниками разных групп.

Ниже мы печатаем вступительное слово С. Я. Маршака, произнесенное им на открытии конференции 17 декабря 1956 года.

«Перевод, переводить, переводчик» — как мало, в сущности, соответствуют эти общепринятые, узаконенные обычаем слова тому содержанию, которое мы вкладываем в понятие художественного, поэтического перевода.

Мы переводим стрелки часов, переводим поезд с одного пути на другой, переводим по почте или по телеграфу деньги.

В слове «перевод» мы ощущаем нечто техническое, а не творческое. Пожалуй, оно вполне оправдывает себя в тех случаях, когда относится к переводу документа, письма или устной речи с одного языка на другой.

Иное дело — художественный перевод, немыслимый без затраты душевных сил, без воображения, интуиции — словом без всего того, что необходимо для творчества.

А между тем, и нотариальный перевод, скрепленный печатью «с подлинным верно», и перевод «Божественной комедии» Данте определяются одним и тем же термином, несколько суховатым и в известной мере принижающим достоинство этого литературного жанра.

Кстати, и самое слово «перевод» — переводное.

Но дело не в терминах. Пусть это искусство называется каким угодно словом, лишь бы только и переводчики и читатели представляли себе с достаточной ясностью всю сложность и трудность мастерства, которое призвано воспроизводить на другом языке сокровенные мысли, образы, тончайшие оттенки чувств, уже нашедшие свое предельно точное выражение в языке подлинника.

Мы знаем, что даже замена одного слова другим в стихах или в художественной прозе весьма существенна. А ведь тут не одно, а все слова заменяются другими, да еще на другом языке, имеющем свои законы, свою особую структуру речи, свои бесчисленные причуды и прихоти.

Когда-то академик А. Ф. Кони, говоря о том, какое значение имеет порядок, в котором расположены слова, и как меняется смысл и характер фразы от их перемещения, подтвердил свою мысль замечательным примером перестановки слов: «кровь с молоком» и «молоко с кровью».

А ведь словесный порядок всегда изменяется при переводе на другой язык, подчиненный своему синтаксису. Да и сами-то слова приблизительно одного значения существенно отличаются в разных языках своими оттенками.

Таким образом, у неосторожного переводчика всегда может получиться «молоко с кровью».

Чтобы избежать этого, необходимо знание чужого языка и, пожалуй, еще более основательное знание своего. Надо так глубоко чувствовать природу родного языка, чтобы не поддаться чужому, не попасть к нему в рабство. И в то же время русский перевод с французского языка должен заметно отличаться своим стилем и колоритом от русского перевода с английского, эстонского или китайского.

При переводе стихов надо знать, чем жертвовать, если слова чужого языка окажутся короче слов своего.

Иначе приходится сжимать и калечить фразу.

Так случилось, например, с поэтом Бальмонтом при переводе прекрасного стихотворения Томаса Гуда «Мост вздохов».

Еще несчастливая
Устала дышать,
Ушла торопливая,
Лежит, чтоб не встать.

Это непонятное «еще несчастливая» поставлено здесь вместо «еще одна несчастная», но слово «одна» не влезло в строку, как в переполненный автобус.

По выражению Маяковского, переводчик здесь «нажал и сломал».

Еще более похож на «молоко с кровью» перевод гетевского стихотворения «Паж и мельничиха», сделанный А. А. Фетом.

Паж

Куда ж ты прочь?
Ты мельника дочь,—
А звать-то как?

Дочь мельника

Лизой.

Паж

Куда же? Куда?
И грабли в руке!

Дочь мельника

К отцу, налегке,
В долину ту, книзу.

Паж

Одна и идешь?

Дочь мельника

Сбор сена хорош,
Так грабли несу я;
А там же, в саду,
Я спелые груши найду
И их соберу я.

Из-за тесноты стихотворного размера простой и толковый вопрос «Куда ты идешь?» превратился в очень невразумительную фразу «Куда ж ты прочь?», а весь диалог стал похож на разговор двух глухих.

Фет был замечательным русским поэтом и прекрасно переводил древних поэтов. Талантливым лириком да и переводчиком был Константин Бальмонт. Но, очевидно, в приведенных выше примерах оба они нечаянно впали в инерцию механического перевода, и стихотворный размер подлинника оказался у них «прокрустовым ложем», искалечившим заодно и переводимые стихи и русский синтаксис.

Есть старая и вполне справедливая поговорка: «мыслям должно быть просторно, а словам тесно». Она означает, что мысль в художественном произведении должна быть большая, а слов — возможно меньше.

Однако печальные примеры неудачных стихотворных переводов, отнюдь не опровергая старой поговорки, учат нас, что и словам не должно быть слишком тесно. Нужен простор, чтобы слова не комкались, не слипались, нарушая благозвучие и здравый смысл, чтобы не нарушалась живая и естественная интонация и чтобы в строчках оставалось место даже для пауз, столь необходимых лирическим стихам да и нашему дыханию.

Но дело не только в технике перевода, которой я могу коснуться здесь лишь мимоходом.

Если вы внимательно отберете лучшие из наших стихотворных переводов, вы обнаружите, что все они — дети любви, а не брака по расчету, что нельзя было в свое время и придумать лучшего переводчика для «Илиады», чем Гнедич, лучшего переводчика для «Одиссеи», чем Жуковский, лучшего переводчика для песен Беранже, чем Курочкин.

Вы обнаружите, что перевод трилогии Данте был жизненным подвигом Дмитрия Мина и Михаила Лозинского, а переводы из Гейне — подвигом Михаила Илларионовича Михайлова.

Вы увидите, какое место занимает в развитии и в поэтическом хозяйстве Бунина «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Каин» Байрона и «Леди Годива» Теннисона, вы поймете, что значил «Фауст» для Пастернака, Ронсар для Левика, Сервантес и Рабле для Любимова.

Перевод по-настоящему замечательных стихов или прозы является важным событием — этапом в жизни литературы и авторов перевода.

У нас еще не редки случаи, когда издательства затевают и осуществляют в довольно короткий срок полное или чуть ли не полное собрание сочинений какого-нибудь поэта-классика или современного поэта, только отчасти пользуясь отбором уже существующих переводов, но главным образом рассчитывая на заказ новых. В результате чаще всего появляются более или менее грамотные, но весьма посредственные пере-

воды, неспособные передать прелесть, своеобразие и величие подлинника.

И это немудрено. Истинно поэтические переводы надо копить, а не фабриковать. Изготовить за год или за два новое полное собрание сочинений Шелли, Гейне, Мицкевича, Теннисона или Роберта Браунинга так же невозможно, как поручить современному поэту написать за два или даже за три года полное собрание своих сочинений.

Ведь стихи выдающихся поэтов переводятся для того, чтобы читатели не только познакомились с приблизительным содержанием их поэзии, но и надолго, по-настоящему полюбили их.

Переведенные с английского, французского, немецкого или итальянского языка стихи должны быть настолько хороши, чтобы войти в русскую поэзию, как вошли «Сосна» и «Горные вершины» Лермонтова, «Бог и баядера» и «Коринфская невеста» Алексея Толстого, «Ворон к ворону летит» Пушкина, «Не бил барабан перед смутным полком» Ивана Козлова, «Суд в подземелье», «Торжество победителей» и «Кубок» Жуковского.

Где же и быть этим замечательным стихотворным переводам, как не в сокровищнице русской поэзии? Ведь нельзя же их причислить к поэзии английской или немецкой!

Поэма «Гайавата» Ивана Бунина, конечно, представляет собою перевод поэмы Генри Лонгфелло, но она в то же время и вполне самостоятельное произведение нашей поэзии.

Русский поэтический язык, которым в таком совершенстве владел Бунин, придал его «Гайавате» новую свежесть, новое очарование.

Такое совершенство перевода достигается не только размерами таланта и силою мастерства.

Надо было знать и любить природу, как Бунин, чтобы создать поэтический перевод «Гайаваты». Одного знания английского текста было для этого недостаточно.

Переводчику так же необходим жизненный опыт, как и всякому другому писателю. Без связи с реальностью, без глубоких и пристальных наблюдений над жизнью, без мировоззрения в самом широком смысле этого слова, без изучения языка и разных оттенков устного говора невозможна творческая работа поэта-переводчика. Чтобы по-настоящему, не одной только головой, но и сердцем понять мир чувств Шекспира, Гете и Данте, надо найти нечто соответствующее в своем опыте чувств. В противном случае переводчик обречен на рабское, лишенное всякого воображения, копирование, а это ведет к переводческой абракадабре или, в лучшем случае, к фабрикации рифмованных или нерифмованных подстрочников.

Настоящий художественный перевод можно сравнить (я уже не раз приводил это сравнение) не с фотографией, а с портретом, сделанным рукой художника. Фотография может быть очень искусной, даже артистической, но она не пережита ее автором.

Чем глубже и пристальнее вникает художник в сущность изображаемого, тем свободнее его мастерство, тем точнее изображение. Точность получается не в результате слепого, механического воспроизведения оригинала. Поэтическая точность дается только смелому воображению, основанному на глубоком и пристрастном знании предмета.

К счастью, у нас в стране есть сейчас немало мастеров перевода, предпочитающих подлинную точность буквальности и не жертвующих ради формального и в сущности мнимого сходства поэтической прелестью оригинала. Великая традиция русской поэзии, всегда умевшая ценить и любить поэзию других народов, нашла благодарную почву в нашей многонациональной стране.

Круг идейных и вооруженных зрелым мастерством переводчиков ширится у нас с каждым годом. Можно назвать немало людей, которым мы обязаны знакомством — и даже более того — дружбой с литературой народов мира. Всех наших талантливых переводчиков не перечислишь. И это — не беда, а радость. Люди, работающие у нас над переводами поэзии и прозы,— не только литераторы, но и видные деятели, служащие делу мира и духовного сближения народов. А дело это по плечу большой и сильной армии.

Сейчас к нам пришло новое молодое поколение переводчиков. Мы от души приветствуем их и ждем от них большего, чем достигли мы сами.

Миху Драгомир

Некоторые проблемы современной румынской литературы

Самым важным событием в литературной жизни Румынии за прошлый — да и не только за прошлый год, был, несомненно, съезд писателей РНР. Основой обсуждения на съезде были реальные и разносторонние успехи, достигнутые румынской литературой после освобождения страны. Продолжая лучшие традиции классиков нашей литературы Эминеску, Крянгэ, Караджале, Кошбука, Садовяну, будучи тесно связанной с культурной революцией, которая пробудила тягу к свету, тягу к художественному слову у миллионов новых читателей, румынская литература после 23 августа 1944 года развивалась, все более и более становясь огромной общественной силой. Напомним хотя бы один факт, который не мог бы произойти до освобождения страны: перед съездом было проведено второе совещание молодых писателей, которое показало, что смена румынской литературы подает самые радостные надежды.

Подведя итоги достижениям последних лет, нашедшим свое конкретное выражение в книгах, распространившихся по всей стране, а также за границей, съезд особенно подчеркнул, что достигнутые успехи решающим образом зависели от общей линии развития румынской литературы к социалистическому реализму. Начиная от основного доклада, сделанного поэтом Михаем Бенюком, и до завершающего выступления, румынские писатели утверждали, что только овладение социалистическим реализмом может обеспечить расцвет литературы и что, следовательно, только по этому, уже проверенному творческому пути нужно следовать и впредь. Речь идет не о том — и работа съезда это подтвердила,— чтобы устанавливать нормы для творчества, собирая их в «свод законов» социалистического реализма, а о широком, творческом, партийном понимании принципов, которые исходят непосредственно из самой жизни народа, строящего социализм.

Одной из наиболее важных проблем современной румынской литературы, несомненно, является проблема разнообразия стилей и направлений в рамках социалистического реализма.

Обсуждение вопросов, поднятых на съезде, так же как и дискуссии, предшествовавшие ему, и те, что продолжаются и сейчас вокруг проблемы новаторства и традиций, порождены стремлением прояснить эту важную проблему. В настоящее время большинству румынских писателей ясно, что метод социалистического реализма плодотворно воздействует на любой талант и художественные наклонности, способствуя выявлению индивидуальной специфики. Общая основа не разъединяет нас, а, наоборот, дает необходимую опору, как дереву, которому только земля дает силы подниматься к небу.

Разнообразие стилей — это положение никогда не вызывало возражений. Только некоторые, и то весьма немногочисленные, критики и писатели, погрязшие в догматизме, думали, что все писатели должны писать одинаково, что существует какой-то единый стиль для очерков, другой для лирической поэзии, третий для романов и так далее. Они считали, что существует «высший» стиль, а именно тот, который практикуют они и который, в действительности, ни в ком не вызывал никаких чувств. Известное выражение Бюффона «стиль — это человек» не потеряло своего значения. Кто действительно стремится выразить в художественной форме свои мысли и чувства, тот, в сущности, помимо своей воли, находит собственный стиль. Никто из читателей никогда не сможет спутать художественный почерк Еуджена Жебеляну и Михая Бенюка, Петру Думитриу и Марина Преды. Случается, конечно, и сходство стилей у разных писателей, но сходство это никогда не переходит в полное совпадение. Эпигонство как таковое ставит себя вне литературы; история литературы создается оригинальными художниками, а не подражателями. Для каждого, кто изучал румынскую литературу после освобождения страны, совершенно очевидно, что различные стили (точно так

же как и литературные жанры) получили свое развитие в соответствии с развитием творчества определенных писателей.

Более сложной и, следовательно, более трудной для понимания является проблема разнообразия литературных течений в рамках метода социалистического реализма. В то же время эта проблема является наиболее важной в современной литературной жизни, и большинство дискуссий, точно так же, как и сами книги, доказывают, что писатели стремятся к ее конкретному разрешению. Сближение писателей, объединение их в литературные группы всегда происходило на основе двух факторов: идеологической близости и сходства литературных вкусов. Давний спор между модернистами и традиционалистами, зародившийся в начале века, весьма наглядно демонстрирует эту истину. Однако в настоящее время сущность этой проблемы в корне изменилась. Румынские писатели в подавляющем большинстве рассматривают литературу с ленинских, партийных позиций. Сегодня существует такое идеологическое единство, какого не было в прошлом, и это приводит реакцию за рубежами Румынии в бешенство.

Предатели, вещающие по западноевропейским радиостанциям, не могут понять — и им, с их мыслительными способностями, действительно трудно понять,— как это возможно, что Садовяну и Аргези, Камил Петреску и Захария Станку, Чезар Петреску и И. Лудо, Чичероне Теодореску и Отилия Казимир, И. Агырбичану и Михай Кодряну, не говоря уже о писателях среднего поколения или совсем молодых,—писатели, столь различные по литературным вкусам и художественной практике, твердо стоят на партийных позициях в области искусства. Напрасно искать трещины в этих позициях. Их не найти! Идеологическое единство — это основная черта современной румынской литературы, и оно является залогом ее успешного развития. Отсюда следует, что у нас литературные течения могут образовываться лишь на основе разнообразия литературных вкусов. В настоящее время мы присутствуем при зарождении подобного явления; процесс образования различных течений находится в самом начале.

С теоретической точки зрения кажется вполне естественным, что писатели, объединенные каким-либо литературным направлением, должны иметь и определенные стилистические пристрастия. Однако возникает вопрос, могут ли стилистические особенности в настоящее время стать основой для особого литературного течения. Существует, например, ряд писателей, которые в отношении стиля идут по тому же пути, что и наш великий Садовяну. Среди них есть и такие крупные писатели, как Эусебиу Камилар и Ион Истрати. Но все же никто не может утверждать, что в нашей литературе существует течение, связанное с именем Садовяну. Влияние Садовяну настолько широко, что нет почти ни одного писателя, который не испытал бы на себе в том или ином виде воздействия этого большого художника слова. Тот факт, что некоторые писатели, родившиеся в тех же местах, что и Садовяну, пользуются рядом присущих ему стилистических приемов, еще не свидетельствует о наличии литературного течения.

Течение в большинстве случаев имеет свою программу — сформулированную или несформулированную. Примыкающие к определенному течению писатели характеризуются единым отношением к источникам вдохновения, к процессу творчества, к самой литературе и т. д.

Течением можно назвать писателей, группирующихся вокруг журнала «Стяуа» («Звезда»), который издается в Клуже. Вопросы, занимающие журнал, касаются в основном поэзии. На съезде писателей, например, делегаты от клужского филиала Союза, работающие в редакции журнала «Стяуа», высказали свою общую точку зрения, утверждая необходимость обновления поэтических средств и горячо критикуя творчество ряда других румынских поэтов. В последнем номере за 1956 год журнал «Стяуа» напечатал статью, в которой четко определил свою позицию, подчеркивая, что для настоящего времени характерна борьба между модернизмом и традиционализмом. Поэты, объединяющиеся вокруг журнала «Стяуа», считают, что проблема художественных средств в румынской поэзии должна быть решена путем их обновления; они объявили устаревшей, а следовательно, и неверной, позицию тех поэтов, которые пользуются традиционными формами стихосложения.

Стихотворения, публикуемые в журнале «Стяуа», представляют собой конкретное воплощение этой поэзии. Поэты журнала «Стяуа» предпочитают пользоваться поэтическими условностями, символами, редкими рифмами, зыбкими метафорами. При этом тематика их произведений не отличается от тех, кого они называют «традиционалистами». Таким образом, речь идет о литературном направлении, которое стремится иными художественными средствами служить той же цели, а именно строительству социализма. Поэты из журнала «Стяуа» ни словом, ни делом не отрицают основных принципов социалистического реализма. Некоторые из утверждений, высказанных ими, спорны, но в целом, как направление, они развиваются в рамках социалистического реализма.

То же самое можно сказать и о так называемых поэтах-«традиционалистах», хотя они до настоящего времени и не образовали единой группировки и, как нам кажется, не образуют, несмотря на то, что между поэтами журнала «Стяуа» и ими существуют расхождения в области художественных вкусов. Однако весьма возможно, что в недалеком будущем появится новая группа, в которую войдут другие поэты—не те, которые объединились вокруг журнала «Стяуа». Такая группировка, может быть, будет утверждать, что румынская поэзия должна использовать классические формы стиха,

классическую образность и композицию и так далее, но она останется в рамках социалистического реализма, и полемика между этими двумя группировками внесет только новый вклад в развитие нашей литературы.

Другое направление, более ясно проявившее себя по сравнению с поэтами из журнала «Стяуа», сформировалось вокруг журнала «Вяца ромыняскэ» («Румынская жизнь»)—органа, имеющего большой литературный авторитет. В центре внимания этого журнала находится не поэзия, а прежде всего критика. Журнал печатает стихотворения самых различных поэтов; что же касается критики, занимающей в нем значительное место, то здесь журнал имеет свою собственную позицию Ряд статей о романах последних лет, принадлежащих сотрудникам журнала, отдел «Обзор печати», где рецензируются другие литературно-художественные издания, полемические заметки, участие в дискуссии, развернувшейся на страницах «Газета литерарэ» («Литературная газета») о духе современности в литературе,— все это указывает, что среди ведущих критиков журнала существует общий взгляд на вопросы литературного творчества.

Другие издания, в том числе и «Газета литерарэ», стремятся привлечь всех писателей, поощряя широкий обмен мнениями. Дискуссия о духе современности в литературе, начавшаяся после съезда писателей и продолжающаяся до настоящего времени, выявила самые различные мнения. «Газета литерарэ» стремится поддержать эту дискуссию, в ходе которой все яснее вырисовываются сторонники «модернизма» и «традиционализма» в современной румынской литературе. В ходе дискуссии выявились и другие точки зрения: стремление отрицать актуальность этой проблемы, найти эклектическое решение вопроса, синтезировать противоположные мнения. Однако видно, что речь идет не об извечном споре между «традиционалистами» и «модернистами», а о попытке обогатить литературу, развивающуюся на основе социалистического реализма.

Если в свое время существование литературных групп смешивали с фракционностью, то теперь этого уже никто не делает. Группа образуется на основе интересов, принципиально не расходящихся со взглядами других групп, на основе поддержки или отрицания определенных литературных вкусов. Конечно, бывают и «группы» иного рода, основанные на нелитературных, приятельских отношениях. Такая группа — не что иное, как кружок, который меняет свой состав в соответствии с направлением ветра. Наличие таких группировок затемняет литературную атмосферу, мешает принципиальности, порождает подозрения и способствует раздаче фальшивых лавровых венков.

Опасность этого подчеркивалась и на Втором съезде Румынской рабочей партии, где прямо указывалось на дух групповщины в литературной жизни. Писатели и руководство Союза писателей борются за то, чтобы ослабить влияние таких групп. Однако литературные группы, которые представляют определенные направления в рамках социалистического реализма, являются не только желательными, но и необходимыми.

Вне всякого сомнения, было бы глубоко ошибочно пытаться создавать литературные группировки на основе каких-либо указаний сверху. Группы рождаются в результате естественного течения литературной жизни и исчезают тогда, когда они сами себя исчерпали. Никто не может изобрести литературного течения, точно так же, как никто не может возродить умершее литературное направление, например, символизм журнала «Вяца ноуа» («Новая жизнь») начала века. Однако можно создать условия, которые благоприятствовали бы естественному образованию направлений и группировок. До съезда писателей творческие секции Союза вели свою работу следующим образом: каждая секция 4—6 раз в год созывала пленарные заседания, ставя на обсуждение доклады. На подготовку доклада иногда уходило по 3 месяца. Темы, как правило, отличались всеобъемлющей расплывчатой постановкой вопроса. Чаще всего избирались темы: «Образ нового человека в современной поэзии (прозе, драматургии)» или «Отражение нашей действительности в поэзии» и так далее. Обсуждались и вышедшие произведения, но чаще всего не самые значительные. Да и сами обсуждения устраивались редко. Подобные пленарные заседания не приводили ни к каким результатам, были утомительны (за редким исключением, когда докладчик оказывался человеком остроумным) и только мешали подлинно творческим дискуссиям. После съезда деятельность секций начала перестраиваться на более живой, литературный, творческий лад. Секции теперь работают по принципу кружков, где обсуждаются по преимуществу еще не опубликованные произведения. Обсуждения стали горячими, интересными, с живым столкновением мнений. Если, к примеру, кто-либо из поэтов, принадлежащих к направлению журнала «Стяуа», читает свои стихи, то вполне естественно, что его поддержат единомышленники и будут критиковать остальные. Дискуссии нельзя направлять с помощью двух слов «да» и «нет», дискуссии отражают различные литературные точки зрения и помогают глубоко вскрыть творческие проблемы.

Общая картина литературной жизни РНР гораздо более разнообразна, чем я попытался набросать в этой небольшой статье. Я остановился только на некоторых периодических изданиях, однако общее положение является более сложным. Можно было бы сделать ряд замечаний о деятельности других периферийных журналов — таких, как «Яшул литерар» («Литературные Яссы») и «Скрисул бэнэцян» («Банатская литература»). И у этих журналов есть некоторые специфические черты, которые могут привести к выработке своей собственной литературной позиции. Так, например, на страницах

журнала «Яшул литерар» благодаря деятельности сильной группы критиков и особенно литературоведов за последнее время начинает все более и более вырисовываться специфика молдавских писателей как классиков, так и современных. Еженедельник «Контемпоранул» («Современник»), который совсем недавно напечатал ответ на программную статью журнала «Стяуа», также имеет свой собственный интересный литературный профиль и так далее.

Общая картина состояния румынской литературы является весьма радостной для того, кто хочет проследить ее во всем многообразии. Михаил Садовяну, патриарх румынской литературы, создает новые произведения. Тудор Аргези сегодня более плодовит, чем когда-либо, и поддерживает тесную связь со своими многочисленными читателями через десятки газет и журналов, а также, конечно, с помощью своих книг, которые выходят все чаще и чаще. Камил Петреску опубликовал том драматических произведений и стихов и заканчивает третий том эпопеи о революционном деятеле 1848 года Бэлческу. Писатели среднего и младшего поколения работают с невиданным ранее усердием.

Весьма возможно, что кто-нибудь ожидал, что литературные дискуссии у нас будут протекать более резко, рукопашные схватки будут более частыми, тон более повышенным. Но если румынская литература имеет свою особую специфику, то потому, что и наш народ имеет свою специфику. И эта специфика заключается в его скромности, выдержке, отвращении к скандалам и пышным демонстрациям. Старая поговорка гласит: кошке с колокольчиком мышей не ловить. Тот, кто производит много шума, критикуя и теоретизируя, тому не уловить сущности подлинного искусства. Конечно, не все наши писатели преисполнены лучших качеств. Но общее течение нашей литературной жизни идет в русле жизни народа. Мы тоже любим дискуссии, но мы не хотим их выдумывать и извлекать из могилы то, что давно сгнило, только из желания подискутировать. Особенно потому, что мы прекрасно знаем: читатели ждут от нас книг. И мы хотим дать им эти книги, каждый в меру своего таланта.

Н. Стальский

Об ответственности писателя и ясности мировоззрения

«Мы положили начало великому делу оздоровления народного хозяйства и полного подчинения его развития требованиям социализма. Мы вступили на собственный, самостоятельный польский путь к социализму, отвечающий стремлениям, интересам и условиям польского народа. Октябрьский перелом объединил вокруг Польской Объединенной Рабочей Партии и ее руководства все прогрессивные силы народа и обеспечил победу политики независимости, демократии и социализма».

Так говорилось в обращении Фронта национального единства перед выборами в Польский сейм, состоявшимися в январе 1957 года и принесшими Фронту национального единства полную победу. Строительство социализма в Польше объединило под своим знаменем польский народ. Преодоление недостатков и ошибок польского государственного и партийного руководства, осужденных на VIII пленуме ЦК ПОРП, способствует этому объединению, цементирует и укрепляет его.

* * *

«История литературы и пути ее развития определяются не съездами писателей, а их произведениями». Два года тому назад Леон Кручковский, глава делегации Союза польских писателей, произнес эти многозначительные слова с трибуны Второго всесоюзного съезда советских писателей. Он говорил о «литературе, ставшей великим, общим, жизненным делом всего народа», о «высоком чувстве коллективной ответственности за развитие национальной литературы — той коллективной ответственности, организатором которой стал, следуя заветам Горького, Союз советских писателей».

И вот перед нами доклад председателя Союза польских писателей Леона Кручковского на седьмом съезде польских писателей, прения по этому докладу и другие материалы съезда, многочисленные газетные и журнальные отчеты.

В докладе сказано: «Характер нашего объединения (Союза польских писателей —

Н. С.) определяется тем, что каждый из нас *что-то пишет* (подчеркнуто автором), а не действительной связью между людьми, вытекающей из определенного мировоззрения, из общего понимания целей и задач литературы, из родства социальных или художественных идей — словом, из всего того, что во всей новейшей истории литературы влияло на образование течений, направлений и литературной идеологии».

Итак, нет идейного единства в польской литературе, нет общего понимания целей и задач писателя, нет родства взглядов. С понятной горечью говорит об этом Кручковский, но с торжеством подхватывают его тезис многочисленные ораторы.

Нет единства — и не надо! Нам навязывали единство, нас заставляли объединяться! Пусть каждый живет в одиночку, думает в одиночку, пишет в одиночку. Зачем же тогда объединяться в Союз? Ораторы подхватывают — незачем, кроме целей чисто профессиональных! Пусть Союз будет объединением группировок! Больше группировок! И — больше журналов! Каждой группировке государство обязано дать свой журнал.

Правда, далеко не ясно творческое и идейное лицо этих группировок. На съезде высказались лишь «новейшие». Но ведь и у разных творческих группировок могут быть какие-то общие идейно-эстетические основы. Для объединения этих группировок в единый союз необходимы хотя бы общие взгляды на перспективы развития народной Польши. К сожалению, об этом не говорилось.

Пафос нигилистического отрицания, свойственный польской литературе и публицистике последнего времени, господствовал в речах большинства ораторов. Ни одно произведение не было разобрано и оценено на съезде. Не художественные образы, а политические идеи вдохновляли писателей. К сожалению, это не были идеи хозяйственного и культурного строительства Польши, за которые призывает бороться польское правительство!

Во многих речах чувствовалась какая-то инерция безудержного отрицания, некоторые из них звучали прямо враждебно по отношению к народной Польше, к польскому народу, к его историческим задачам.

Под пестрым знаменем нападок на социалистический реализм нашли себе приют и те, кто ведет наступление на социалистический реализм, чтобы расчистить плацдарм для атаки на марксистскую идеологию. Во имя же чего отрицается социалистический реализм? Что утверждается? Ничего, кроме пресловутой «свободы творчества»!

На съезде делалась попытка выдвинуть неопределенный лозунг «европеизации» польской литературы. Как известно, в Польше очень сильны связи с французской литературой. Такой писатель, как приобретший сейчас большую известность Марек Хласко, явно вдохновляется фрейдистскими взглядами, свойственными многим западным писателям. Однако, когда зашла речь о том, у кого же учиться, на съезде было названо только одно имя — Франца Кафки, ставшего в последние годы знаменем декадентской литературы.

Не получилось на съезде разговора об основных проблемах литературы, не получилось и творческой дискуссии. Съезд писателей даже и не пытался обозревать то, что в литературе сделано и делается, то, что в литературе происходит, не поставил никаких вопросов развития литературного процесса. На съезде раздавались голоса, призывающие ораторов говорить о творческих проблемах, о художественных идеях. Однако немногие ораторы прислушивались к этим призывам. Кое-кто, правда, начинал свои речи восклицанием: «Довольно политики!» Но на деле речь шла просто о замене одной политики другой.

«Свобода и демократизация!» — эти призывы громче всего звучали с трибуны съезда. Но ряд польских обозревателей с иронией замечает, что писатели — участники съезда не сумели (а некоторые, видимо, не захотели!) «как следует сформулировать более конкретное, собственно писательское содержание привлекательного лозунга». (Квидам. «Нова культура», № 50). Вернее было бы сказать, не сумели выразить социалистическое содержание лозунгов свободы и демократизации.

Неужели из памяти старшего поколения польских писателей испарились воспоминания о времени буржуазной демократии в Польше, о продажном режиме «пана Никодима Дзымы», который передовая польская литература разоблачала с такой уничтожающей силой? Мария Домбровская, Ярослав Ивашкевич, Ежи Путрамент, Леон Кручковский, Зофья Налковская, Владислав Броневский и другие писатели многое сделали для того, чтобы пригвоздить этот режим к позорному столбу истории. Неужели все это забыто?

В поисках «общегуманных рамок, в которых могли бы уместиться различные мировоззрения», некоторые ораторы на съезде по существу выдвигали лозунги буржуазной демократии; за их часто туманными намеками слышалось наступление на демократию социалистическую. Внешне эти требования выглядят очень радикально. Но в чем их существо? Для кого свобода печати? Для «всех писателей без различия их мировоззрения и политической ориентации»? Значит, у народной Польши больше нет врагов, значит, воцарился на земле мир и в человецех благоволение? Значит, из-за рубежа не раздается больше клеветнический, злобный радиовой против народного строя? Значит, все эмигранты раскаялись в своих грехах, прекратили свою борьбу против народной Польши? Многие польские писатели, судя по речам на съезде, именно так и думают или делают вид, что так думают.

Руководители народной Польши думают иначе. В приветствии ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, оглашенном в первый же день съезда, говорится:

«Сегодня мы стоим перед фактом нашей общей победы и перед необходимостью защиты этой победы. Силы реакции, консерватизма и анархии не спят. Они оперируют лозунгами свободы и демократии не для утверждения свободы и демократии, а для их уничтожения. Этой суровой, трудной правде нужно смело посмотреть в глаза».

Честные, мужественные слова! Странно, что они не нашли необходимого отклика в писательской аудитории. Странно, что не было попыток глубоко продумать и серьезно обсудить эти слова.

Основной функцией реформированного Союза объявлена забота «о материальных и моральных правах писателей». Эта забота о правах (а обязанности?) должна заменить функции идейного объединения и воспитания. О каких же своих моральных правах заботятся польские писатели? Казимеж Выка на съезде требовал «укреплять подлинные права польской литературы в атмосфере свободы и открытой борьбы». «Быть духовным парламентом народа, стать ближе к массам!» — провозглашает Стефан Киселевский. «Выражать то, что настоящие писатели думают, чувствуют и сами хотят передать народу», — требует Ежи Завейский.

Но во имя чего делать это? Неужели только во имя того, чтобы «отражать разницу взглядов, существующих в обществе», как требовал Стефан Киселевский?

Один оратор, много говоря о «восстановлении доверия» к литературе и к писателям и многозначительно обращая «к коллегам-коммунистам слова примирения», так оценил обстановку в Польше: «утверждали, что социализм принес все самое лучшее, а что же было на самом деле? Мы наблюдали повсюду явления воровства, взяточничества, хулиганства, лжи...» Как писатель, как гражданин народной Польши может зачеркивать все достигнутое трудом миллионов трудящихся и выпячивать только ошибки и недостатки, неоднократно осужденные и, главное, исправляемые?! Может ли такой писатель стать действительно совестью народа, может ли претендовать на то, что он выражает правду, а все остальные лгут?!

В дни съезда писателей Польша жила напряженной политической жизнью. С трибуны Всепольского совещания актива в Варшаве 29 ноября 1956 года звучали иные речи, чем на съезде писателей. Мы приведем слова из доклада первого секретаря ЦК ПОРП тов. В. Гомулки:

«Не ошибки характеризуют политику нашей партии, а о ее политике свидетельствует подъем страны из руин войны и экономического упадка. Ошибки, допущенные также и на участке экономической политики, не должны заслонять мощного развития производительных сил, развития нашей промышленности, постоянного роста национального дохода. Несмотря на все экономические трудности, которые мы переживаем в настоящее время, перспективы экономического развития нашей страны удовлетворительные. Отдельные деревья не могут заслонить леса. Кто видит только ошибки в деятельности нашей партии, тот ничего не видит. И именно кто ничего не видит или не хочет видеть, тот представляет себе, что провозглашенная на VIII пленуме ЦК нашей партии новая политическая линия, направленная на демократизацию всей жизни народа, должна привести не более не менее как к реставрации буржуазной демократии».

Следует отметить, что те же писатели, которые назвали социализм «несостоятельной идеей», призывали поддержать возглавляемое тов. В. Гомулкой руководство. Позволительно усомниться в искренности этих призывов со стороны тех, кто, судя по их собственным заявлениям, не признает социалистического пути развития Польши. Ведь тов. Гомулка заявил: «Мы создаем в Польше социалистический строй, свободный от извращений и искажений... Не думают ли наши противники, что мы поверим им, когда они нам скажут, что буржуазные партии хотят строить в Польше социализм?»

Казимеж Брандыс в рассказе «Оборона Гренады» выставил на осмеяние доктора Фауля — узкого догматика, пытавшегося втиснуть искусство и художников в схематические рамки, выдававшего искажения социализма за его сущность. Но видят ли польские писатели, что появилось множество докторов Фаулей наизнанку, догматиков антисоциалистических, которые стараются во что бы то ни стало исказить жизненную правду, лишь бы всячески очернить народную Польшу? Эти догматики стараются прикрыть антинародную, антисоциалистическую сущность своих взглядов фальшивыми лозунгами свободы и демократии. Пора наконец польской литературе сказать об этом полным голосом!

Некоторые выступавшие на съезде писатели говорили о своем восьмилетнем многозначительном молчании, молчании демонстративном, которым они хотели подчеркнуть свое несогласие с политикой в области культуры. Но ведь сотни писателей не молчали, не уединялись в башне из слоновой кости, они трудились вместе со своим народом, пока молчальники предпочитали отсиживаться в сторонке. Конечно, лучший способ не ошибаться — это ничего не делать. Но неужели можно рукоплескать людям, восемь лет стоявшим в стороне от всенародных усилий построить и укрепить народную Польшу, а теперь пренебрежительно заявляющим: я социализм не строил, но охотно помогу его исправить?!

Польское правительство, Польская Объединенная Рабочая Партия справедливо

стремятся к консолидации всех усилий, к «концентрации всех живых, творческих сил вокруг идей VIII пленума, вокруг партии и ее нового руководства. Эта концентрация сил означает усиление всеобщего труда для возрождения нашего народного хозяйства, дисциплины, согласия и порядка». Это, говорит ЦК ПОРП, «бóльшая ответственность за судьбу мира во всем мире, всего лагеря социализма и нашей страны». Но какую же ответственность за судьбу страны может нести тот, кто, подобно С. Киселевскому, считает общественное устройство этой страны основанным на «несостоятельной идее»?

Ясности мировоззрения — вот чего прежде всего не хватает многим польским писателям. Эклектическую путаницу идей эти писатели пытаются прикрыть демагогией по поводу того, что Союз не должен быть идейным объединением, что он должен объединять всех, независимо от мировоззрения и политических целей. На какой же основе будет развиваться это объединение? Многие хотели бы видеть на месте Союза писателей дискуссионный клуб, перманентную говорильню, в которой можно обсуждать, но не нужно делать из дискуссий никаких выводов для себя, а просто — от одних споров переходить к другим, и так без конца. Мы знаем, что такова была участь многих довоенных польских сеймов. Неужели писатели хотят воскресить их практику?!

* * *

Польская литература находится сейчас на распутье. Конечно, события последних месяцев, названные в Обращении Фронта национального единства переломом, не могут отразиться в литературе немедленно; чтобы творчески осмыслить и претворить в художественные образы важнейшие исторические события, нужно время. Но в бурных литературных дискуссиях в Польше уже слышны требования делового обсуждения принципиальных вопросов, проявляется стремление понять и объяснить разные точки зрения. Пока еще нет произведений, которые бы отразили сегодняшний этап жизни и борьбы польского народа, нет еще ясного представления о том, как пойдет развитие польской литературы. По-разному представляют себе ее будущее польские писатели: для некоторых из них оно устремлено в прошлое, в далекое буржуазное прошлое. А ведь прошлое никогда не возвращается, несмотря на все усилия его защитников!

Отзвучали речи, раздававшиеся с трибуны съезда. Улеглись на библиотечные полки листы газет и журналов, в которых напечатаны эти речи. Будут ли их перечитывать? Не стоит гадать об этом, лучше подумаем о том, какие новые книги лягут на стол польского читателя, а затем и читателей других стран. Съезд мало, почти ничего не сделал, чтобы помочь созданию этих книг — помочь советом, помочь созданием творческой атмосферы в Союзе писателей и вокруг писателей. Будем надеяться, что это сделает новое правление Союза, его газеты и журналы. Ведь ответственность польских писателей возрастает: они должны создать новые произведения, которые помогли бы строить народную Польшу, Польшу социалистическую.

* * *

В последней книге Казимежа Брандыса «Красная шапочка» есть небольшой рассказ «Варшавская история», переведенный на русский язык и опубликованный в журнале «Иностранная литература» (№ 11 за 1956 г.). В рассказе высмеивается бюрократическая практика Союза писателей (прежняя, прежняя!), созывающего бесконечные пленумы с докладами «Как попасть на периферию», и некий писатель, который решил наконец познакомиться со стройкой, но так и не познакомился, хотя стройка оказалась у самого порога его дома. «Под самым носом у меня расположилась стройка, а я этого даже не заметил. Обыкновенная варшавская стройка. Именно такая, какую я искал».

Рассказ кончается диалогом между писателем и автором рассказа:

«—Напиши об этом,— посоветовал я.— Прекрасная тема для большого рассказа.

— Ты шутишь!— ответил он.— О чем тут писать? О собственной слепоте? Ведь я ничего не видел!

Он видел лес и красивую девушку. Видел автобус, полный людей, и небо, затянутое тучами. Белку, которая грызла орехи, и каменщиков, строивших дом. Всякий день он делал смотр своим мыслям, своим надеждам. И после этого он говорит, что ничего не видел».

Оказывается, писатель видел — и не видел. Не видел потому, что не мог увидеть. Или — не хотел?

Когда рассказ был переведен, в редакции возник маленький спор.

— Не стоит его печатать.— утверждал один редакционный работник.— Он давно устарел. Это грубый шарж, в Польше нет таких писателей.

— Как сказать!— возражал другой.— Рассказ талантливый и остроумный. Пусть его прочтут русские читатели.

Русские читатели его прочли и оценили. Не перечитают ли его и не задумаются ли над ним некоторые польские писатели?

В. Сытин

На втором съезде писателей новой Кореи

Осенью минувшего года нам, двум советским литераторам, Георгию Маркову и мне, посчастливилось участвовать в работе второго съезда писателей Корейской Народно-Демократической Республики.

Союз корейских писателей был создан вскоре после окончания войны, развязанной американскими империалистами против Корейской Народно-Демократической Республики. Первый съезд писателей народной Кореи собрался в еще разрушенном Пхеньяне в 1953 году. ЦК Трудовой партии помог Союзу писателей объединить силы, направил его деятельность на борьбу за подъем корейской литературы, за ее идейность и художественное мастерство.

И вот через три года в большом, светлом здании театра в Пхеньяне утром 14 октября 1956 года открылся Второй съезд писателей новой Кореи. Зал, вмещающий более тысячи человек, переполнен. Помимо участников съезда — писателей (всего членов и кандидатов Союза 399 человек), на съезд пришли сотни гостей — представители интеллигенции, армии, молодежных организаций, предприятий страны, сельскохозяйственных кооперативов. И так было в течение всех дней съезда. Переполненный зал внимательно слушал выступления ораторов.

Доклад на тему «Состояние и перспективы послевоенной корейской литературы» сделал председатель Союза писателей Хан Сер Я. Он рассказал о развитии литературы народной Кореи со времени Первого съезда корейских писателей. «Три года,— сказал Хан Сер Я,— это очень короткий период в литературной жизни. Однако сколько перемен произошло за этот короткий период внутри страны, не говоря уже о международных событиях! Одно из самых замечательных мировых событий — это XX съезд Коммунистической партии Советского Союза».

Докладчик отметил, что в результате дискуссий писатели, отвергая догматизм, «пришли к единому и непоколебимому выводу, что социалистический реализм является единственным творческим методом передовой революционной литературы». «Наша современная литература,— заявил Хан Сер Я,— является партийной литературой, верной ленинским принципам. На всех этапах развития за период после освобождения корейская литература всегда поддерживала политику нашей славной Трудовой партии, была с ней связана кровными узами».

Вспомнив замечательные слова Михаила Шолохова, Хан Сер Я говорит: «Излюбленная клевета наших идейных врагов заключается в том, будто мы, корейские писатели, вынуждены писать по указке партии. Что за чепуха! Мы пишем свои произведения по велению нашего сердца, а наше сердце навеки связано с нашей мудрой и гуманной партией! Наша партия никогда не отрицала священных законов искусства— свободы творчества и творческой самобытности. Не вина нашей партии, что подчас мы не умели полностью раскрыть в наших произведениях глубокую правду жизни, создать запечатляющиеся образы. Сказанное мною не ново, как и не новы выкрики тех, для кого, видите ли, партийность — это помеха в развитии их творческой личности. Мы знаем, что за этими выкриками кроется чуждая нам буржуазная идеология!»

Одобрительными аплодисментами встретили делегаты съезда и гости эти слова.

Рассматривая процесс становления новой корейской литературы, Хан Сер Я критикует тех, кто мешал ее развитию ненаучным, немарксистским теоретизированием. Он отметил, например, что среди писателей Кореи как-то незаметно для них самих сложилось догматическое убеждение, что социалистический реализм призван изображать только положительные стороны действительности, хотя и говорилось о необходимости разоблачать и бичевать недостатки, тормозящие развитие страны по пути к социализму. Теперь мы должны сказать, формулирует свою мысль Хан Сер Я, что «социалистический реализм по природе своей самый критический реализм, и в то же время он является реализмом, утверждающим действительность».

Одним из серьезных недостатков современной корейской литературы, по мнению докладчика, является то, что еще появляется немало схематичных и скучных книг. «Нужно покончить с пренебрежительным отношением к форме и мастерству, оценивая в произведении один сюжет»,— говорит Хан Сер Я. В иных рассказах вступление крестьян в сельскохозяйственные кооперативы рассматривается авторами как проблема чисто политико-хозяйственная. Но, по словам Хан Сер Я, «для того, чтобы эта проблема стала общечеловеческой, философской, для того, чтобы она поистине волновала не только корейского читателя и не только узкий круг людей, нужно, наряду с описанием организации сельскохозяйст-

венных кооперативов, показать жизнь корейского крестьянства при народной власти во всей ее сложности и многообразии, нужно показать психологию и характер корейского крестьянства, его колебания и надежды. Ведь кооперирование — это ломка его психологии, нелегкий процесс избавления от груза многовековых традиций и предрассудков».

«Настоящее искусство предполагает органическое единство художественного мастерства и проблемности»,— подчеркивает Хан Сер Я.

Среди произведений, которые страдают схематизмом и недостаточной проблемностью, Хан Сер Я называет, например, пьесу Пяк Ин Дюна «Семья Цой Хак Сина», в которой показ борьбы нового со старым ограничен поверхностными разоблачениями врагов в очень простых ситуациях.

За три года (1953—1956) литераторы народной Кореи создали много произведений. Издательство Союза писателей в Пхеньяне за этот период выпустило столько же книг, сколько было издано за восемь предыдущих лет. Среди них прежде всего надо назвать книги ветеранов литературы новой Кореи — Хан Сер Я и Ли Ги Ена. Роман Хан Сер Я «Тэдонган» посвящен героической борьбе корейского народа за свое освобождение. Герой романа Чен Сун, работник типографии в Пхеньяне и его товарищи ведут самоотверженную подпольную борьбу против иноземных захватчиков. Это произведение, полное пафоса утверждения, пафоса борьбы, которую в годину тяжких испытаний вел народ, перекликается в известной мере с «Молодой гвардией» А. Фадеева и «Непокоренными» Б. Горбатова. В послевоенные годы Ли Ги Ен выпустил первый том задуманной им эпопеи «Река Туманган». Это роман о корейском крестьянстве, о развитии его общественно-национального самосознания. К сожалению, оба эти произведения еще не изданы на русском языке.

О революционных патриотических традициях корейского народа рассказывают Сон Ен в очерковой книге «Отовсюду виден Пяктусан», поэт Мин Бен Дюн в поэме «Песнь Кореи» и Чон Се Бон в повести «Люди сражающейся деревни», а также в повести о послевоенном строительстве «Новая весна Секкеура».

В послевоенные годы корейские драматурги создали ряд удачных пьес. Назовем хотя бы «Мы будем ждать» Хан Сена; «Это не повторится» Ли Ден Сук и Цой Гэн; «Мы всегда боролись вместе» Пак Тхя Ена и Ли Се Ена; «Волки» Лю Ги Хона и Се Ман Ира; «Новый переворот» О Чер Суна.

В современной печати появилось немало хороших рассказов, повествующих о героическом труде граждан Северной Кореи. Следует отметить, что более пятидесяти писателей было направлено Союзом писателей КНДР на стройки индустриальных предприятий и в деревню. Среди них были и поэты, которые создали ряд лирических произведений, раскрывающих внутренний мир своих современников — строителей новой жизни. Назовем например, сборник стихов Тен Мун Хяна «На пути побед», сборник Се Ман Ира «Цветок Бонсонхва», стихи Ким Бук Вона, объединенные в книгу под названием «Лирика земли».

Хан Сер Я в заключение своего доклада критиковал недостатки в работе Союза писателей. «Давайте превратим наш Союз писателей,— говорит он,— в лабораторию марксистско-ленинской эстетики, в дом взаимного воспитания и дружбы! Направим все наши силы и помыслы на выполнение задач, выдвинутых перед нами нашей партией!»

В развернувшейся после доклада Хан Сер Я дискуссии участники Второго съезда корейских писателей также критиковали недостатки в работе своего Союза. К сожалению, в их выступлениях мало содержалось углубленной, аналитической критики литературных произведений, вышедших за послевоенные годы. Главное внимание ораторы уделяли вопросам идейно-творческой жизни. Наша литература под руководством партии развивается успешно, говорит писатель Ким Со Мин, но успокаиваться на достигнутом нельзя. Нам нужно признать, что мы еще недостаточно вооружены теоретически. Овладевая марксизмом, мы будем лучше видеть жизнь, правильнее решать спорные вопросы.

Ким Сун Сок поддерживает Ким Со Мина, подчеркивая, что работа писателя должна быть тесно связана с политикой партии, направляющей корейский народ по пути к социализму. Он критикует тех литераторов, например Хан Хо, которые проявляют неверие в силы строящего новую жизнь народа и его новой литературы, нигилистически или с эстетских буржуазных позиций оценивают работу писателей КНДР.

Поэт Ким Чан говорит о значении детской литературы для воспитания народа в социалистическом духе; поэт Пак Пар Ян — об идейно-творческой работе секции Союза писателей и перспективах улучшения этой работы; критик Ом Хо Сок — о необходимости уделить больше внимания классике; он поддержал предложение создать в Союзе писателей секцию, посвященную изучению и пропаганде литературного наследства.

Интересна была речь критика Пак Тэк Су, который рассказал о положении литературы в Южной Корее. Лисынмановский режим, говорит оратор, душит все живое, американцы направляют литературу в сторону порнографии и детектива. Но в Южной Корее есть настоящие писатели, многие из которых стоят на перепутье. Если они за мир, за мирное объединение Севера и Юга, к чему призвал Третий съезд Трудовой партии Кореи, мы должны поддержать таких писателей, сказав им: «Давайте руку дружбы!» Нам нужно обратиться к ним с таким призывом и одновременно заявить, что мы, конечно, не потребуем от них сразу воспринять нашу идейно-творческую плат-

форму и следовать методу социалистического реализма. Постепенно, в творческих дискуссиях мы должны будем убедить их в нашей правоте, в правоте дела социализма.

Нет нужды излагать все выступления на съезде. Отметим только, что участники съезда были единодушны в своей поддержке идейной платформы Союза писателей КНДР. Выступивший на съезде представитель ЦК Трудовой партии товарищ Ха Хан Чен подчеркнул это. Он призвал писателей к созданию ярких образов современников, строителей новой жизни, отметив, что «свобода творчества и критики не может существовать в отрыве от интересов революции, и только в служении революции, служении народу существует подлинная свобода», что «овладение методом социалистического реализма предоставляет нашим писателям возможность многообразно и живо выявить свой индивидуальный стиль». Вместе с тем, Ха Хан Чен сказал и о том, что корейские писатели «должны широко изучать и воспринимать многое из достижений самой передовой в мире советской литературы, китайской литературы, имеющей самые древние исторические традиции, и литератур других братских стран, а также лучшее из наследия мировой классики».

Второй съезд писателей Корейской Народно-Демократической Республики закрылся 16 октября после принятия резолюции, в которой участники съезда декларировали свою непоколебимую верность делу социализма, Трудовой партии Кореи и обещали своему народу отдать все силы и способности строительству новой жизни, восстановлению народного хозяйства КНДР и борьбе за его расцвет.

Съезд принял текст письма, адресованного писателям, критикам, литературоведам и любителям литературы Южной Кореи. В письме говорится: «В прошлом наши писатели-патриоты, независимо от их политических взглядов боролись вместе за освобождение Родины, за расцвет национальной культуры, и сегодня, хотя между нами существует различие во взглядах, мы сплотимся на общую борьбу за мирное объединение нашего отечества, за полный расцвет национальной культуры».

Второй съезд корейских писателей принял новый устав, выбрал новое руководство Союза корейских писателей. Политическое единодушие корейских писателей подчеркнули выборы Центрального правления Союза, проведенные тайным голосованием. В Правление подавляющим большинством голосов был избран Хан Сер Я. Он снова стал председателем Союза. Его заместителями избраны поэт и драматург Се Ман Ир, поэт Пак Пар Ян и критик Юн Ду Хен.

Мы уезжали из Пхеньяна, полные радостной уверенности — по верному пути идет вместе с героическим корейским народом Союз писателей новой Кореи. И другие гости съезда — писатели Ли Жуй (Китай), Норберт Фрид (Чехословакия), Анатоль Баконски (Румыния) — были солидарны с нами, советскими писателями, в оценке итогов второго съезда писателей КНДР.

Т. Трифонова

Время борьбы не миновало

Когда мы закрываем последнюю страницу книги Ремарка «Время жить и время умирать», когда мы уже ощутили весь страшный трагизм гибели Гребера, испытавшего столько горечи и горя, мы невольно задумываемся. Что это? Пессимизм? Безвыходность и безнадежность? Или суровое предупреждение тем, кто забывает о своей ответственности, кто не решается вступить в борьбу или вступает в нее слишком поздно?

Вспомним: только в последнюю минуту Гребер сделал решающий шаг — выпустил русских партизан. Он не только выпустил их, но и спас им жизнь. Для этого ему пришлось убить фашиста Штейнбреннера. «Что-то навсегда решилось в его жизни,— пишет Ремарк.— Надо было сделать что-то бесконечно важное, но он никак не мог ухватиться за него, пока еще не мог. Оно было еще слишком далеким, слишком новым и в то же время столь ясным, что от него было больно...»

Просветление наконец наступило. Гребер увидел цель, он увидел путь, он вступил в борьбу против фашизма, с которым так долго мирился, принимая с отвращением вино и консервы от крейслейтера Биндинга и с молчаливой ненавистью подчиняясь фашистским порядкам. Гребер понял: «Надо было громко и быстро сказать так много...» Но он не успел ничего сказать, ничего сделать: было слишком поздно.

Это вывод очень ясный, суровый и точный — вывод, о котором нельзя не задуматься и который заставляет нас добавить к заглавию: «Время бороться!»

Мне не случайно вспомнился Гребер. Да, время борьбы не миновало, и каждый человек, кто бы он ни был, должен сделать выбор.

Я не стремлюсь к полным аналогиям — да и бывают ли они полными? Разве не страдает всякая аналогия неизбежной неточностью: ведь не совпадают ни исторические пути народов, ни их культурные традиции, не совпадают конкретные идейные и художественные задачи, не совпадают, наконец, те глубоко интимные индивидуальные особенности творчества, которые диктуют одному художнику сложные сюжетные композиции, а другого словно приковывают к пейзажу или натюрморту, заставляют одного писателя выражать свое видение мира в эпическом многоплановом романе, а другого — в тончайших переживаниях лирического героя.

Но есть все же главное: отношение художника к миру и к своему народу, его понимание своего места в мире и в жизни народа. Это главное надо определить прежде всего. Без поспешности, но и без опоздания. Без крайностей, но и без оговорок. Без схемы, но и без колебаний.

«С кем вы, мастера культуры?» — прозвучал на весь мир вопрос Горького. (А он был действительно не только литератором, но и мастером культуры в самом широком смысле слова.) Этот вопрос не устарел и сейчас. Подлинного искусства нет без определенного отношения к миру. В творчестве ряда писателей капиталистических стран, даже далеких от идей социализма, мы ценим и их критический пафос, и сердечное участие к простым людям. Все это, а не просто мастерство и талант, покоряет нас в лучших книгах Грэхема Грина, Фолкнера, Колдуэлла, Стейнбека и многих других писателей. Старик Хемингуэя, как бы ни трактовать философский смысл этой книги,— это человек, всю свою жизнь вложивший в тяжелый и, несмотря на это, любимый труд, человек, который знает и любит жизнь... А хозяйничает в этой жизни та заезжая туристка, которая может только бегло полюбоваться рыбьим скелетом, не отличая рыбу от акулы. В этой концовке — горькая ирония. В ней — и позиция писателя.

Но насколько ясней и активней позиции авторов в эпическом размахе «Коммунистов», в суровой правде «Седьмого креста», в боевой целеустремленности «Сакко и Ванцетти», в великолепных строфах «Всеобщей песни»!

Вопрос об активности — далеко не последний. Именно активности ждут от деятелей культуры все народы, а в особенности те народы, которые сделали решающий исторический выбор, вступив на путь социализма.

Польский народ сделал этот выбор. «Голосование без вычеркивания» было вотумом величайшей решимости и величайшего доверия, выражением всенародного согласия с программой строительства социализма. Об этих выборах не случайно думаешь, читая о польском писательском съезде.

Стараясь воспринять для себя все, что сказано справедливого, хотя и сурового, и стремясь понять ход мыслей каждого оратора, мы, конечно, оцениваем каждую речь или статью, внутренне спорим или соглашаемся, но никогда не остаемся равнодушными.

Можно понять споры о модернизме, так горячо вспыхнувшие и в Польше, и в Румынии: поиски новых форм особенно обостряются в эпохи больших общественных преобразований. (У нас ведь тоже были времена, когда многим казались прельстительно новыми известные еще с начала века «открытия» декаданса). Однако почему многие делегаты польского съезда так воинственно выступали против какой бы то ни было общей идейной платформы, почему они так настаивали на идейных различиях и так опасались единства?

И здесь опять возникает аналогия, на этот раз аналогия с нашим собственным литературным прошлым. Было время — как раз те самые двадцатые годы, о которых в Польше стало модным говорить, как о вершине творческого расцвета советской литературы и эпохе безоблачного содружества в ней самых противоположных идей. Существовали группы и группочки. Выпускались журналы и журнальчики, сборники и сборнички. На моей книжной полке до сих пор хранится тоненькая, на серой бумаге, тусклым шрифтом отпечатанная брошюрка со странными, почти не поддающимися пониманию стихами. Она озаглавлена: «Биокосмисты. Десять штук». Это было издание одной из многочисленных групп. Члены ее без всякой иронии определяли весомость своей группы количеством входивших в нее «штук». Были еще «обэриуты». Были манифесты и декларации. Были шумные споры... Это в те годы на обороте ослепительно желтых обоев с ядовито зелеными листьями и кричаще красными цветами была отпечатана книжка стихов Василия Каменского «Танго с коровами». Но загадочность этого заглавия показалась недостаточной, и оно было превращено в ребус: буквы стояли и лежали на обложке во всех направлениях, и читателю надо было прежде всего найти кончик той ниточки, по которой можно расшифровать хаотическое нагромождение букв. Впрочем, это было не так уж и важно. Ни о танго, ни о коровах в сборнике речи не было. Не было в нем и стихов. Отдельные слова, бессвязные фразы, телефонные номера, адреса и математические формулы были здесь поставлены в причудливых сочетаниях, но расположены в известном графическом порядке: в виде конуса острием вверх или, напротив, острием вниз...

В те годы концертный зал ленинградского Дома печати был расписан учениками художника Филонова. Свою живопись они называли аналитической. Им было необходимо выяснить, о чем думает нарисованная

на картине женщина,— тогда они вскрывали ее череп и рисовали на лбу цветущий луг и пасущуюся корову. Рисуя руку, они снимали с некоторых пальцев кожный покров и обнажали мышцы; другие пальцы они обнажали до костей...

Да, было такое время, и мы сейчас могли бы вспоминать о нем с улыбкой, как о детских шалостях или юношеских заблуждениях, если бы... Но вместо рассуждений я хотела бы привести пример.

Именно в этом, расписанном филоновцами зале Маяковский осенью 1927 года впервые читал Октябрьскую поэму «Хорошо!». Переполненный зал. Студенты. Молодежь. Литераторы. И, как всегда,— записки, на которые Маяковский умел отвечать с такой убийственной остротой и точностью.

Странно, но я не запомнила ответа на одну записку, которую Маяковский, как всегда, прочитал вслух. Память ничего не сохранила — вероятно, потому, что слишком потрясла всех нас эта гнусная вылазка анонимного трусливого врага. Помню только, каким суровым стало вдруг выразительное лицо поэта, как заходили желваки на его скулах, какое он сделал непроизвольное движение руками — будто хотел засучить рукава перед тем, как вступить в драку. «Скажи мне, гадина, сколько тебе дадено?» — ехидно подхихикивали примитивно крупные буквы анонимной записки.

Вспомните последнюю поэму Маяковского — его «Во весь голос», неожиданно личные строчки о краснодеревщиках и о свежевымытой сорочке... Но Маяковский не оправдывался перед теми, кто считал его «продавшимся большевикам» и «унизившим» политикой «святое, незаинтересованное искусство»: он, как всегда, страстно и открыто говорил о своем безраздельном служении (да, да, именно служении!) народу и государству, мечтая об общем памятнике — коммунизме и уверенно называя свои книги партийными.

Нет, это не были шалости и невинные заблуждения! Это было время лютых споров о так называемом «социальном заказе», о том, должно ли искусство служить общественной цели, или оно само себе цель и смысл. Это было время непримиримых боев против аполитичности и формализма за искусство боевое и партийное, за искусство правдивое и активное, за художников, идущих в одном строю с народом, строящим социализм. «Танго с коровами» и «Биокосмисты», аналитическая живопись и «обэриуты» — все это мешало, и хотя поиски большинства участников этих групп были честными и искренними, их теории уводили тех, кто им верил, от живого участия в жизни. Это были поиски не в том направлении, без компаса: компасом могло быть только отношение к народу, к революции, к социализму.

Двумя годами позже в Политехническом музее в Москве, открывая первый литературный вечер только что организованного РЕФа, Маяковский сказал: «Все споры наши и с врагами, и с друзьями о том, что важнее: «как делать» или «что делать», мы покрываем теперь основным нашим литературным лозунгом — «для чего делать», то есть мы устанавливаем примат цели и над содержанием и над формой. Рассматривая искусство как орудие классовой борьбы, мы должны в своей литературной работе прежде всего ясно представлять себе нашу общую цель и конкретно стоящие перед нами боевые задачи строительства социализма... Мы заявляем: «только те литературные средства хороши, которые ведут к цели».

Это не полемический задор, а сущая правда, самое искреннее убеждение Маяковского: новаторство было нужно ему только для того, чтобы яснее и громче звучала мысль, чтобы ненависть ранила острее, а любовь согревала жарче.

В те годы, кроме «безобидного» и «аполитичного» ухода в бесцельное формалистическое «новаторство», было и другое. Были эмигранты, злобно клеветавшие на Советский Союз из всех европейских кабаков и подворотен, были и внутренние эмигранты, своим бездействием и молчанием становившиеся в безмолвную оппозицию к Маяковскому и Фадееву, Толстому и Фурманову, Асееву и Гладкову — ко всем тем, кто создавал основы социалистического искусства. Пастернак в те годы написал поэмы «1905 год» и «Лейтенант Шмидт», посвященные революции. Багрицкий создал «Думу про Опанаса». Есенин, жалевший о том, что поезд обгоняет на русских просторах столь привычного и трогательного жеребенка, хотел, «задрав штаны, бежать за комсомолом». И тогда же Замятин и Пильняк печатали за рубежом, в белогвардейских антисоветских издательствах, свои книги, в которых желчной клеветой и черной грязью осквернялись и пролитая народом кровь, и одержанные им победы.

Но уже тогда, в конце двадцатых годов, единство в главном и решающем было достигнуто, хотя не было еще единого Союза писателей и социалистический реализм еще не получил своего имени, но уже ясно обозначился как главное направление литературы. Тогда Юрий Олеша заявил на большом диспуте в театре Революции, что «Борис Пильняк — заслуженный писатель. Тем страшнее его поступок, тем большую ответственность несет он», и квалифицировал аполитичность писателя как «грань бездарности».

Это сказано резко. Но это верно. Аполитичными не были ни Пушкин, ни Мицкевич, ни Блок, ни Тувим. И вряд ли писатель современной Польши может быть аполитичным. И все же некоторые польские писатели настаивают на аполитичности своего Союза, упорно считают, что Союз должен отказаться от всяких идейно-воспитательных задач, подчеркивают разногласия, хотя глубокий общественный перелом, обозначившийся в Польше и так отчетливо сформулированный в решениях VIII пленума ПОРП, дает

прочную платформу для объединения всех сил народа и, конечно, для объединения писателей.

Может быть, стоит задуматься над тем, какую позицию занимают в эти дни некоторые польские журналисты. По сообщениям польских газет, многие крестьяне решительно высказываются за кооперативы. Но есть и такие газеты, которые вместо того, чтобы пропагандировать идеи кооперации и социализма, распространять передовой опыт и убеждать людей в несомненных, научно и практически обоснованных преимуществах общественного хозяйства, прямо выступают за роспуск кооперативов. Не скрывается ли корень разногласий в том, что для какой-то части польских литераторов социалистический путь Польши кажется неприемлемым и они рассчитывают на постепенное сползание к мелкобуржуазному, а то и к капиталистическому «раю»?

Но если так, то предстоит идейная борьба, а не мирное объединение противоположных идей! И могут ли сторонники социализма отказываться от этой борьбы, от желания переубедить своих коллег и повести их за собой?

Мне кажется, что и в спорах о целях писательских объединений, и в спорах о модернизме, и в решении любых творческих проблем решающее значение имеет постановка вопроса о связи искусства с жизнью. Вряд ли те тяжелые ошибки, о которых так резко говорилось на польском съезде писателей, вряд ли последствия культа личности, приукрашивание действительности могут быть ликвидированы средствами модернизма и при помощи литературных групп, не связанных общностью цели.

Может быть, корейские писатели на своем последнем съезде слишком мало спорили и не поставили всех тех сложных задач совершенствования мастерства и поисков новых форм, которые необходимы для дальнейшего развития литературы. Участники съезда отмечали, что догматические представления о социалистическом реализме обеднили корейскую литературу, приводили к одностороннему, а часто и приукрашенному изображению жизни, к пренебрежению формой. Критика этих серьезных недостатков не должна быть слишком мягкой и снисходительной. Поиски новых форм для решения новых идейно-художественных задач ничего общего не имеют с формализмом, так же, как пренебрежение формой отнюдь не свидетельствует о богатстве содержания. Но поиски формы ради формы, новаторства ради новаторства чаще всего свидетельствуют об ослаблении животворной связи с жизнью и всегда — об идейной бедности.

Странно, что те самые польские товарищи, которые требуют для литературы «права суда над эпохой» и предвещают ей «быть духовным парламентом народа», не выступают в защиту реализма, имеющего огромную и благородную традицию общественного служения. Не свидетельствует ли это о том, что пафос справедливой и непреклонной критики недостатков порой переходит в губительный и бесплодный пыл всеобщего отрицания?

Советские писатели тоже много спорят и много будут спорить. Признание многообразия форм, стилей и жанров в искусстве социалистического реализма заставляет нас еще и еще раз говорить о наследстве романтиков и натуралистов, импрессионистов и символистов и искать, как учил нас Ленин, во всей культуре, созданной многовековой историей человечества, тех приемов и средств, которые могут быть нам полезны.

С этой точки зрения то место в статье Миху Драгомира, где он говорит о намерении группы поэтов журнала «Стяуа» использовать «модернизм», оставаясь при этом «в рамках социалистического реализма»,— представляется нам дискуссионным.

Ведь метод социалистического реализма неразрывно связан с таким отбором изобразительных средств, который максимально способствует познанию реальной жизни. При всем различии творческих индивидуальностей писателей, при всей широте возможностей такого выбора, он все же вряд ли может характеризоваться «поэтическими условностями, символами, редкими рифмами, зыбкими метафорами». Не вдаваясь в конкретную оценку творческой деятельности поэтов группы «Стяуа», нужно все-таки заметить, что в основе эстетики социалистического реализма и эстетики модернизма лежит несовместимое, противоположное понимание цели, задач и сущности искусства.

Восторженное отношение к прошлому, в особенности к течениям, отрицавшим социальный смысл искусства, нам кажется столь же неприемлемым, как и огульное отрицание прошлого, особенно того прошлого, в котором народы — с ошибками, с недостатками, с большими издержками — строили и построили новое, социалистическое общество и новое, социалистическое искусство.

Луначарский в одной из своих статей (она озаглавлена «О судьбе, насилии и свободе») рассказывал: «Не раз и не два слышал я из уст Ленина с большой проникновенностью произносимую им латинскую фразу: «Fata volentem docunt, nolentem trahunt». («Судьба согласного сама ведет, а несогласного тащит».)».

Это можно напомнить тем, кто пытается повернуть колесо истории вспять или стремится вовсе игнорировать историю. И мне кажется, что рядом с сатирическим изображением доктора Фауля уже пора нарисовать другой образ — тоже средствами едкой сатиры. Нарисовать бы этакого молодого (а порой и совсем не молодого) человека, обуреваемого страстью ниспровержения основ и отрицания авторитетов. О, ему нет необходимости изучать статистику и экономику, историю и политику: нескольких разрозненных фактов ему вполне достаточ-

но, чтобы зачеркнуть культуру многомиллионного народа. Ему нет необходимости анализировать пути писателей и целых литератур, отмечать успехи и поражения, улавливать тенденции развития, объяснять противоречия: ему куда как легко просто-напросто объявить, что ни путей, ни противоречий, ни успехов, ни книг, ни даже писателей не было, а был сплошной беспросветный мрак. Ему нет необходимости обращаться к фактам, которые он заменяет искусно демонстрируемыми эмоциями и модуляциями хорошо тренированного голоса; ему нет необходимости выдвигать позитивную программу — ведь негативный шум так эффектен, так хорошо заменяет смелость, так прекрасно симулирует новаторство!

Ходит этот молодой человек с холодной, старческой, ни во что не верящей душой, ходит по земле и пожинает легкие аплодисменты и столь же невесомую славу, и сеет вокруг себя разрушительный скепсис, и проповедует неверие, и смотрит все назад, все назад, в прошлое, потому что в будущем он ничего разглядеть не умеет, а в настоящем — и видеть не хочет.

У него нет административных прав доктора Фауля, но у него есть ядовитые стрелы необоснованных обобщений, тлетворных намеков, демагогических фраз и нигилистических лозунгов...

Но опыт исторического развития социалистической культуры не может быть ни уничтожен, ни отброшен. История — а она не ищет сомнительной привлекательности дешевого успеха и не ждет шумных аплодисментов — свидетельствует о непримиримой и страстной идейной борьбе, о целеустремленных и упорных поисках, о трудных завоеваниях, достигнутых в сплоченном единстве всех сил социализма.

Голос истории, трезвый голос фактов должен прозвучать громко и мужественно. Хорошо, если он прозвучит вовремя.

А если не прозвучит? Или не будет услышан?

Надо, чтобы был услышан. Очень уж настойчиво доктор (или назовем его кандидатом) Скепсис стремится занять среди польских писателей место доктора Фауля и стать законодателем литературной жизни...

Но жизнь сложнее и богаче. И главное, творчество богаче и сильнее споров о нем. Творчество, самое интимное, самое индивидуальное проявление человеческой личности, никогда не развивается в отрыве от жизни. Искусство — это дело народа, который порождает своих художников и поддерживает их, направляя их взоры на те проблемы, которыми живет народ. Поэтому решающее слово во всех спорах скажут книги.

Жан Фревиль

Некоторые проблемы французской литературы

Классовая борьба находит свое отражение в литературе. Эта истина блестяще подтвердилась за последние месяцы во Франции.

Реакционная буржуазия в связи с венгерскими событиями повела широкое наступление против прогрессивных писателей и их книг, против всех, кто отказался действовать по указке империализма. Вся буржуазная печать с небывалым ожесточением начала травлю писателей-коммунистов, осыпала проклятиями Национальный комитет писателей, прилагала все усилия к тому, чтобы расколоть его, клеветала на самых видных его членов. Особенно отличилась на этом поприще газета «Фигаро». Впрочем, следует признать, что наступление было широким и велось как правой, так и «левой» буржуазной печатью. Такие «левые» газеты и журналы, как, например, «Комба», «Фран-тирер», «Экспресс» и «Обсерватёр», присоединили свои голоса к общему хору. Писатели, которые до сих пор не позволяли себе антикоммунистических выступлений, сочли нужным заявить, что отныне они отказываются иметь что-либо общее с писателями-коммунистами и считают их «сообщниками убийц». Таков был тон, взятый людьми, выдающими себя за представителей французской мысли и хранителей французской культуры.

Обычно говорят, что сила характера и искренность чувств проверяются в тяжелых испытаниях. Некоторые неустойчивые, колеблющиеся элементы не выдержали подобного натиска буржуазии и отступили. Нашлись даже такие писатели, числящиеся членами компартии, вроде Клода Руа, которые проводили параллель между франко-английской агрессией против Египта и помощью, оказанной Советской армией венгерскому народу, в равной мере осуждая и то и другое. Это происходило в тот момент, когда идеологи французской буржуазии обрушили свои удары на французскую коммунистическую партию.

Не трудно понять истинные причины, побудившие тех, кто — от фашистов до социалиста Ги Молле — повел эту кампанию против компартии, внезапно воспылав страстной любовью к Венгрии. Их неожиданная забота об интересах этой страны была не чем иным, как диверсией большого масштаба.

Агрессия против Египта, преступно развязанная вслед за кровавой и бессмысленной войной в Алжире, закончилась позорным провалом. Как завуалировать этот провал? Венгерские события послужили предлогом для того, чтобы направить назревавшее возмущение масс по другому руслу. Печать и радио накаляли умы, распространяя отраву лжи и клеветы. Особенно гнусно было то, что при этом взывали к самым благородным чувствам французского народа: отзывчивости, альтруизму, любви к справедливости и свободе. Но, несмотря на все усилия, режиссерам этой постановки не удалось полностью ввести в заблуждение читателей газет и слушателей радио. После трех дней подготовки и барабанного боя, под Триумфальной аркой прошла демонстрация в защиту «мучеников Венгрии». Это была демонстрация фашистских банд, закончившаяся нападением на здания компартии и «Юманите». Но это был не народный гнев — вопреки утверждению Ги Молле, против коммунистов поднялся не народ Парижа, а фашистские молодчики, старые наемники корейской и вьетнамской войн, фашистские эмигранты из различных европейских стран, прозябающие в Париже. Это они, в количестве нескольких тысяч, размахивая факелами и дубинками, с воем ринулись на коммунистов. Парижский народ не был с ними. Несмотря на поздний час, простые люди Парижа вышли на улицы, как только им стало известно о фашистских бесчинствах. Они бы разогнали и рассеяли эти банды, если бы не полиция, которая охраняла фашистов и избивала рабочих, вышедших защищать свою партию. (Надо, впрочем, сказать, что горстка коммунистов, осажденных фашистскими молодчиками в зданиях компартии, сумела отразить атаки.)

Разумеется, клеветники и поджигатели, писавшие на своих обагренных кровью

знаменах цифры убитых в Венгрии, в свое время не нашли ни одного слова сочувствия мальгашам, сто тысяч которых было уничтожено в течение нескольких лет французскими империалистами на Мадагаскаре. Они ни словом не обмолвились и о бесчисленных жертвах колониальной эксплуатации в Северной и Центральной Африке. Наоборот, они поддерживали и защищали капиталистических угнетателей и вымогателей, они замалчивали и оправдывали совершаемые ими преступления, они поощряли безумную агрессию в Египте, предпринятую для защиты «священных» интересов компании Суэцкого канала — этой цитадели международного капитала. Во имя защиты интересов капитализма они требовали, чтобы французская коммунистическая партия была запрещена и объявлена вне закона.

Реакция мобилизовала писателей, причем не только тех, кто является ее постоянными, послушными ее воле глашатаями. Она оказала давление и на «независимых» писателей, на тех, кто утверждает, что подчиняется лишь своей совести, кто в период Сопротивления и позднее, во время процесса супругов Розенберг, солидаризировался с коммунистической партией и поддерживал постоянную связь с прогрессивными писателями.

10 ноября на Зимнем велодроме (это самое большое помещение в Париже, где обычно происходят массовые митинги) должен был состояться ежегодный книжный базар Национального комитета писателей. Этот Комитет, созданный во время борьбы с нацистскими оккупантами, ставил своей целью сохранить связи, которые объединяли писателей-патриотов в героический период подпольной борьбы.

Книжный базар Национального комитета писателей являлся одним из наиболее ярких проявлений культурной и литературной жизни Франции. Его успех возрастал из года в год — в 1955 году, например, было продано книг на 10 миллионов франков. В этот день Зимний велодром превращается в самый большой книжный магазин столицы — его посещает около тридцати тысяч покупателей. За исключением тех писателей, которые известны как заведомые антикоммунисты, весь цвет французской интеллигенции объединяется в этот день, чтобы предстать перед широкой публикой.

Осенью 1956 года одной из целей реакции была изоляция прогрессивных писателей от читательских масс. Трудно представить, насколько тяжелы условия, в которых работают эти писатели. Буржуазная критика систематически замалчивает их труд, буржуазная публика не имеет о них представления или же бойкотирует их, литературные премии присуждаются им чрезвычайно редко. Большие агентства по распространению печати, как, например, Ашетт, располагающие широкой книготорговой сетью, являются подлинными монополистами и отказываются продавать книги прогрессивных писателей (за исключением тех, которые выпускаются буржуазными издательствами, а таких книг немного). Между публикой и этими писателями существует еще одна преграда — книжные магазины. По большей части их владельцы — люди, реакционно настроенные,— не только не способствуют продаже книг прогрессивных писателей, но даже отговаривают читателей от их покупки. Они почти никогда не выставляют эти книги в витринах, не держат их на виду, а иногда даже не берут их со склада.

Реакции не удалось достигнуть своих целей — ни запрещения коммунистической партии, ни развала Национального комитета писателей, ни уничтожения прогрессивной литературы. Но она добилась того, что книжный базар в 1956 году не состоялся.

Реакция добилась этого двумя способами. Во-первых, она организовала не только в Париже, но и по всей Франции нападения разъяренных банд на книжные магазины, специализировавшиеся на продаже прогрессивной литературы. На следующий день после такой «репетиции» эти же банды были использованы для бесчинств, устроенных перед зданиями компартии и «Юманите». Во-вторых, реакция приложила все усилия к тому, чтобы взорвать изнутри Национальный комитет писателей, разрушить его, принудив ряд писателей заявить о своем выходе из него.

В эти мрачные дни в Париже, городе Революции и Коммуны, можно было наблюдать зрелища, которые, казалось, канули в прошлое со времен Гитлера и Муссолини. Под покровом ночи хулиганы громили книжные лавки, топтали ногами книги Бальзака, Стендаля, Гюго, жгли произведения Дидро, Валлеса, Роллана точно так же, как их гитлеровские собратья предавали некогда огню книги Маркса, Энгельса, Лессинга, Гейне, Гете, Шиллера...

В то же время Мартен-Шофье, член Национального комитета писателей, который уже на протяжении многих лет вел скрытую борьбу против этой организации, при шумной поддержке «Фигаро» и других газет стал организовывать новый, «свободный от влияния коммунистов», писательский союз.

Реакционеры пустили в ход все, чтобы принудить писателей выйти из состава Национального комитета. Эти господа не останавливались перед шантажом и угрозами. В качестве примера можно указать на одного писателя, которого организаторы заговора предупредили, что если он примет участие в книжном базаре, то потеряет работу на радио — иными словами, лишится своего основного заработка. Кроме того, ему угрожали, что его книга не будет переведена для Америки и потеряет шансы на получение литературной премии.

Такова жизнь «независимых» писателей в капиталистическом мире.

Все настоящие писатели, все достойные люди стойко выдержали натиск и отвергли позорные сделки, которые им предлагала реакция. Даже если их взгляды на венгерские события не совпадали полностью со

взглядами коммунистов, они не сочли возможным разорвать дружеские связи, выдержавшие столько испытаний. Так, Робер Мерль, автор известных книг «Воскресный отдых на Южном берегу», «Смерть — мое ремесло» и других, опубликовал письмо, в котором отказался следовать указаниям «Фигаро». Он заявил, что не желает подчиняться полицейским попыткам регламентировать его дружеские связи и нормы поведения. Вопреки фашистским происках он заявил о своей солидарности с защитниками культуры.

Атмосфера террора и угроз, созданная фашистскими элементами, вынудила правление Национального комитета писателей отменить книжный базар. Поступить иначе значило бы подвергнуть прогрессивных писателей и публику опасности провокаций, вооруженных нападений со стороны поджигателей и убийц.

* * *

Прежде чем охарактеризовать хотя бы в общих чертах литературные произведения, вышедшие в конце 1956 года, нам представлялось необходимым обрисовать сложившуюся к этому времени политическую обстановку.

Зависимость литературы от политики со всей наглядностью проявляется в моменты политической напряженности. Дело не только в личном поведении писателей, которые должны занять ту или иную позицию и определить свое место в происходящей борьбе. Главное — в самих произведениях, в литературных течениях, в том влиянии, которое оказывает на творчество политическая и общественная обстановка, в тех скрытых побудительных причинах, тех — иногда трудно различимых — связях, которые существуют между художественным творчеством и условиями сегодняшнего дня и которые буржуазия перестает маскировать в периоды кризиса.

Чрезвычайно характерен в этом отношении выбор, сделанный жюри по присуждению Гонкуровской премии.

Гонкуровская премия приносит писателю целое состояние, так как средний тираж книги, удостоенной этой премии, составляет 150 тысяч экземпляров, тогда как обычно роман выходит тиражом 4—5 тысяч экземпляров.

3 декабря десять членов Гонкуровской Академии присудили премию Ромену Гари за его роман «Небесные корни». Их выбор никого не удивил. Члены Академии и раньше не скрывали своего положительного отношения к этой книге. Об этом писали и газеты. Значит ли это, что книга, получившая премию, стоит действительно выше книг других соискателей премии? Вовсе нет. Среди произведений 1956 года есть много более значительных вещей. Впрочем, Гонкуровская Академия известна своими ошибками гораздо больше, чем счастливыми находками. Более полувека она ежегодно присуждает премии, но лишь немногие из лауреатов оказались достойными награды: большинство уже давно забыто.

Чем вызвано такое упорное повторение ошибок? Это легко объяснить. В буржуазном обществе литература стала предметом торговли. Книга — это товар, который обогащает в первую очередь издателя. Большие книгоиздательства часто оказывают решающее влияние на присуждение премий. К этому присоединяются и политические факторы. Те, кто присуждает премии, сами являются писателями или критиками; они связаны с издательствами, с радио, с газетами, они материально зависят от них. Вот почему литературные достоинства произведения далеко не всегда играют для жюри решающую роль. Члены Гонкуровской Академии не составляют исключения. Однако выбор, сделанный ими в этом году, является особенно знаменательным.

Ромен Гари во время войны был летчиком. Потом он стал дипломатом и сейчас является французским консулом в Лос-Анжелесе. Не удивительно, что его книга проникнута «атлантической» идеологией.

Книга Ромена Гари свидетельствует о несомненном стремлении ввести читателя в заблуждение; это продуманная и хорошо рассчитанная попытка отвлечь читателя от насущных проблем, направить его внимание в область идеалистических иллюзий. Издание этой книги является политическим маневром, направленным против подлинно прогрессивных идей, против действительного освобождения человека. Чтобы замаскировать свой маневр, Ромен Гари скрывает его завесой псевдогуманизма, становится в позу защитника добра, свободы и идеалов. Он заявляет, что в сердцах людей заложены небесные корни... Один из его героев говорит: «Я защищаю все корни, которые господь заложил в недра земли и в людские души».

Какую же тему выбрал Ромен Гари, чтобы развить и проиллюстрировать свои идеологические позиции? Он остановился на вопросе о защите слонов. Но главный герой романа, Морель, вопреки своим многократным заверениям, заботится не столько о защите африканской фауны, сколько о том, чтобы «найти прибежище для всего бесполезного, для всего, что не приносит доходов, но все же неистребимо живет в человеческой душе». Автор якобы восстает против всякого уничтожения жизни, против механической цивилизации и меркантильной морали. Но это уничтожение, эта механическая цивилизация и эта меркантильная мораль — не присущи ли они капитализму? Гари умалчивает об этом. Он без конца взывает к свободе — разумеется, не к той свободе, которая позволяет человеку сбросить капиталистическую эксплуатацию и колониальное рабство, но к свободе абстрактной, метафизической, иллюзорной, той, которая сводится к защите слонов. Во имя этой свободы автор на протяжении всего романа нападает на социализм, марксизм, на освободительное движение колониальных народов, нападает на негров и арабов, стремящихся избавиться от ига угнетателей.

За романтической фабулой, за яркими, выразительными картинами жизни слонов и охоты на них, за описаниями африканских джунглей и экваториальных лесов скрывается отчетливый политический подтекст. Все в романе рассчитано с точностью, все приспособлено ко вкусам и моде сегодняшнего дня, все призвано служить интересам империалистической буржуазии. Автор не упускает ни одного из пунктов антикоммунистической пропаганды и восхваляет французский «просвещенный», «умеренный» колониализм, который стремится охранить Африку от «тотальной индустриализации» и оставить негров в невежестве, грязи, нищете и рабстве. Если народы Африки когда-нибудь освободятся, утверждает Гари, их, в конце концов, все равно ждет рабство, хотя и в иной форме.

Эта страшная угроза наполняет ужасом доброго г-на Гари. В злобном, карикатурном виде изображает он африканского лидера, борющегося за раскрепощение негров. Это — неистовый честолюбец, воспитанный в традициях французской культуры, но развращенный убеждением, что «цель оправдывает средства»; именно эта мысль, по мнению автора, и составляет сущность марксизма. Впрочем, из романа Гари вытекает, что освобождение Африки — «узкая и ограниченная идея», в то время как освобождение слонов — идея глубоко гуманистическая.

Странный гуманизм Гари сводится к непрестанной клевете на учение Маркса, на коммунизм и на Советский Союз. Автор всецело на стороне буржуазии, он оправдывает ее дела, освящает ее идеологию, прославляет ее политику. Роман «Небесные корни» затрагивает проблемы колониальной эксплуатации. Под покровом туманной философии четко проступает явная пропаганда. Эта глубоко реакционная книга соткана из лжи и инсинуаций. Вместо изучения людей в свете их классовых взаимоотношений автор, согласно старой схеме, противопоставляет цивилизацию природе, причем эта схема приобретает контрреволюционное содержание. Книга отвлекает читателя от настоящей борьбы и уводит его по пути нелепых вымыслов, она подменяет реализм идеализмом, намеренно путает факты, последовательно защищает прошлое в его борьбе с будущим, предрассудки в их борьбе с наукой, крепостничество в его борьбе со свободой.

В довершение всего роман Ромена Гари очень плохо написан. Один из буржуазных критиков, взяв наугад страницу из книги, нашел множество неубедительных и сомнительных по построению фраз. Роман изобилует не только повторениями, но и ошибками, что привело упомянутого критика к такому выводу: «За всю историю французской литературы, наверно, не было еще романа столь безграмотного. Его стиль напоминает скверный подстрочник. И если герой «Небесных корней» основывает Комитет защиты слонов, мы считаем необходимым незамедлительно создать Комитет защиты французского языка от Ромена Гари».

Другая премия 1956 года — Фемина — присуждена роману Франсуа-Режи Бастида «Прощания», опубликованному, как и роман Гари, издательством Галлимар. На примере двух персонажей — русского генерала-белоэмигранта и шведки-лингвиста автор хотел показать мир иностранцев, которые, не имея родины, поселились в Париже и чужды любому человеческому обществу. Философия г-на Бастида довольно ограниченна: вместо того, чтобы рассматривать изучаемую проблему с социальной точки зрения, он довольствуется туманным и легковесным утверждением, что все люди на земле, по сути дела,—«иностранцы». Эта «глубокая истина» ровно ничего не значит. Буржуазии она наруку — этим объясняется, например, успех книг Камю, который развивает те же идеи. В характерах героев г-на Бастида есть отдельные черты, почерпнутые из жизни, однако этого недостаточно, чтобы наполнить эти образы жизнью. Его персонажи — это карикатуры, люди неполноценные, эксцентричные, действующие, по словам автора, в условиях «жестокой живописности Парижа». Хорошо еще, что он не вздумал идеализировать белоэмигранта-генерала — самого заурядного мошенника.

Роман Андре Перрена «Отец», удостоенный премии Теофраста Ренодо, представляет документальное описание жизни рабочей семьи начала XX века. Отец, ревнивый и раздражительный человек, заболев туберкулезом, еще больше ожесточается. Мать — цветочница, ведущая хозяйство с «чисто фламандской любовью к чистоте», остается оживленной и веселой, несмотря на мрачный характер мужа. Семья, состоящая из трех, а потом из четырех и шести человек, живет в одной комнате. В семейных ссорах ребенок — будущий автор книги — становится на сторону матери. В его отсутствие мать бросает отца, тот попадает в больницу. В своем письме к отцу сын пишет, что оправдывает поступок матери. Отец умирает, читая письмо; всю жизнь сын будет сожалеть, что написал его.

В книге Андре Перрена есть псевдонародность, унылая безнадежность, покорность несчастью. Чтобы писать на эту тему, нужно обладать пером Жюля Валлеса. Детство Перрена прошло в пролетарской среде. Его первые литературные работы относятся к тому времени, когда он был близок крайне левым кругам. С тех пор Андре Перрен сделал карьеру буржуазного литератора и журналиста. Литературная премия, которой он награжден, конечно, лишь поощрит его продолжать следовать по этому пути.

Последняя из литературных премий — «Энтералье», присуждаемая обыкновенно журналистам, досталась Арману Лану за роман «Майор Ватрен». Арман Лану еще раньше обратил на себя внимание сборниками поэм, детективными романами и романизированной биографией Золя. Это писатель левого направления, но отнюдь не

марксист; его творчество весьма характерно для левого крыла французской литературы. Он отличается передовыми, гуманными взглядами, иногда несколько анархистского толка. Из четырех премированных произведений «Майор Ватрен» — бесспорно наилучшее как по значительности содержания, так и по манере изложения.

В книге два героя, развитие которых идет совершенно разными путями. Один из них — майор Ватрен — офицер из солдат. Во время «странной войны» 1940 года он был вынужден дать приказание о расстреле солдата, рабочего-коммуниста, приговоренного к смерти по обвинению в бунте.

Лучшее место в книге — первые сто страниц, повествующие о муках совести майора Ватрена в ночь перед казнью осужденного. Вслед за этим герой попадает в плен и проводит несколько лет в немецком лагере для военнопленных: там он может поразмыслить на досуге об ужасах войны и прислушаться к словам своего однополчанина лейтенанта Субейрака. Майор Ватрен, видевший расстрел солдата-коммуниста, охвачен ужасом при мысли о невинно пролитой крови. Пацифист Субейрак понимает необходимость борьбы: ради этого принес жертву рабочий, павший за будущее Франции и за мир. Человек, уничтоженный слепой, безрассудной ненавистью, погиб недаром. Память о нем живет в душах Ватрена и Субейрака: они решают бороться вместе с друзьями расстрелянного.

Таков сюжет этой книги, трактующей важнейшую проблему — изменения в сознании людей в течение последней войны. Книга не везде одинаково легко читается: изложение можно было бы сделать более сжатым за счет излишних отступлений, заслоняющих от читателей перспективу. Тем не менее, это произведение, по-настоящему честное и человечное, наводит читателя на полезные раздумья.

Просматривая произведения, представленные на соискание премий 1956 года, следует упомянуть роман «Ложь» молодой фламандской писательницы Франсуазы Малле-Жорис, которой не хватило нескольких голосов, чтобы получить премию Фемина. Книга написана в бальзаковской традиции. Действие происходит в Антверпене Писательнице удалось удачно изобразить не только атмосферу жизни этого города, но и типичные фигуры фламандских буржуа. Главный персонаж романа — бывший суконщик, разбогатевший на торговле пивом, угнетает своим деспотизмом родных, служащих и прислугу. Грубый и тщеславный, он окружен ненавистью запуганной и забитой семьи, нетерпеливо ожидающей его смерти и раздела богатого наследства. Писательница создала достоверный образ человека страшного, жестокого и одновременно жалкого, обреченного на самое безнадежное одиночество. Хотя эта книга несколько грешит фантастичностью, она продолжает линию критического реализма и способствует обличению общественного строя, основанного на власти денег.

Прогрессивная литература выдвинула много значительных произведений: большая поэма Арагона «Неоконченный роман»; романы «Свидание иностранцев» Эльзы Триоле и «Гроздья из моего виноградника» Гастона Бессетта, сборники рассказов: «Высшие животные» Пьера Куртада и «Египетский хлеб» Андре Стиля.

Поэма Арагона привлекает как формой, так и содержанием. Поэт рассказывает историю собственной жизни, восстанавливает образы людей, с которыми ему довелось сталкиваться, события, участником которых он был. Он использует самые различные стихотворные размеры, проявляя обычную свою виртуозность. Эта поэма отображает целую эпоху и правдиво повествует о жизни.

В романе «Свидание иностранцев» Эльза Триоле высказывает сочувствие иностранцам, живущим во Франции и лишенным родины. Автор рассказывает нам об их общей беде, об их различных судьбах.

У героев романа — одна и та же рана в сердце: они утратили родину, а новая родина большей частью не признает их своими детьми. Эта трагедия калечит души людей, делает их одинокими, оторванными друг от друга.

Тоска по родине, пронизывающая эту прекрасную книгу, стремление к лучшему миру, где не будет шовинизма, где люди преисполнятся доверием друг к другу, выражены в пламенных строках песни, проходящей как лейтмотив через весь роман. Это песня на стихи советского поэта Светлова «Гренада», переведенные Эльзой Триоле на французский язык:

«Я хату оставил,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать».

Гастон Бессетт написал «Гроздья из моего виноградника». Действие происходит на юге Франции, где виноградники — единственный источник существования крестьян. На фоне хроники одной семьи перед читателем развертывается полувековая история французской деревни: борьба со стихийными бедствиями, борьба против эксплуатации и несправедливости, достигающая апогея в большой стачке 1907 года, карательная экспедиция против бастующих, братания солдат с крестьянами... Этот эпизод классовой борьбы вдохновил Монтегю на создание знаменитой песни: «Привет вам, доблестные солдаты семнадцатого полка...»

Известно, что эту песню очень любил Ленин.

В излюбленном французском жанре новеллы наша литература обогатилась двумя сборниками: «Высшие животные» Пьера Куртада и «Египетский хлеб» Андре Стиля.

В своей превосходно написанной книге Пьер Куртад с едким юмором разоблачает глупость, эгоизм, тупость, бессмысленность, низменность буржуазного общества. Он клеймит бесчеловечность буржуазных журналистов, тупоумие тех, кто подражает

приемам американской прессы, он обличает цинизм американских миллиардеров.

Андре Стиль в своих новеллах приводит нас на металлургический завод на севере Франции и показывает жизнь и труд рабочих. Рассказанные в новеллах эпизоды взяты из жизни; в них ярко отразилось то, что является основным содержанием борьбы французских рабочих, выступающих против обнищания, эксплуатации, бедственного положения стариков и так далее.

* * *

Французская литература, стоящая вне прогрессивного направления, являет собой картину явного упадка. С этим согласны даже авгуры буржуазной критики. Газета «Ар», ожесточенно борющаяся против прогрессивной литературы и реализма, поставила перед читателями ряд вопросов. Ответы на них свидетельствуют, что искусство и литература во Франции переживают период упадка.

Этот упадок, по мнению буржуазной газеты, проявляется в следующем:

1. Писатели слишком искусны, а произведения их бедны мыслью.
2. Молодежь пресыщена.
3. Политика навязывает свои законы творчеству.
4. У нас всегда «нечистая совесть».
5. Художники — это буржуа, думающие в первую очередь о своей выгоде.
6. Разум все понимает и оправдывает, но умерщвляет негодование и энтузиазм.
7. Современное художественное творчество во Франции оторвано от истории и жизни.
8. Нас неотступно преследует мысль об «упадке».

Разумеется, установив болезнь, буржуазные доктора предлагают негодные лекарства. Они уверяют, что причина упадка заложена не в самом капиталистическом строе, а заключается в том, что писатели «входят в политические партии». Для появления новых великих творцов и великих художников надо, чтобы молодое поколение «избегало партий».

Другой буржуазный философ видит причины упадка литературы в том, что писатели не занимаются искусством ради искусства, а размышляют над историей, одобряют или объясняют исторические события. «Эта покорность истории,— пишет он,— вызывает удручающее бессилие фантазии, творчества». Он утверждает также: «Политика принесла много зла писателям и художникам... В самой партийной дисциплине заключено отрицание творчества». Есть много талантов, но они всем пресыщены, и им нечего сказать. «Интеллигенция протянула руки к истории, но обрела лишь кандалы. Вот в чем причины успеха экзистенциалистов, их стремления обесценить ценности, их философии безнадежности. Кругом видны лишь скептики... Сомнения, угрызения, нечистая совесть парализовали почти весь мир».

Бесспорно, у представителей буржуазной мысли совесть нечиста. Эта нечистая совесть не приводит к осуждению капитализма, не служит революционному духу — наоборот: для буржуазного общества это новый способ защиты. Если несправедливость стала всеобъемлющей, если она стала неизбежной в человеческом обществе, к чему же тогда бороться против ее частных проявлений, зачем стремиться заменить одну несправедливость другой? Безнадежность, тоска, культ иррационального вовсе ничего не обновляют; они делают еще непреодолимее преграду, отделяющую личность от реального мира.

Страх перед действительностью, бегство от истории характерны для эпохи распада общества и измельчания личности. Не надо энтузиазма, не надо возмущения, долой разум, дорогу всем видам иррационализма, нам по душе покой могилы... Каждый замыкается в своем отчаянии. Никогда еще Кафка и Фолкнер не пользовались таким успехом, как теперь.

Уже давно представители упадочнической буржуазии оставили, отбросили все, что прославляли идеологи эпохи подъема. Они говорят о культурном наследии прошлого для того только, чтобы его извратить, выхолостить, принизить, Так, вышедшие недавно монографии о Декарте и Бальзаке изображают создателя философии разума иррационалистом, а классика критического реализма — мистиком... Большей мистификации быть не может.

Подобная ложь необходима классу, живущему ложью. Идеологи и писатели буржуазии отворачиваются от исторической правды, отвергают враждебную им действительность, противопоставляют реальному миру хаос абстракции. Они полны страха перед настоящим и будущим. Они проклинают жизнь или превращают ее в нелепый кошмар. Они хотят уйти от жизни, от истории, так как история и жизнь отворачиваются от них.

Каковы бы ни были формы, выражающие падение буржуазной мысли, все они, в конечном итоге, приводят к отрицанию или фальсификации действительности. Идеализация, интроспекция, нигилизм, безнадежность — все эти симптомы эпохи упадка проявляются особенно сильно во французской буржуазной литературе, которая все более и более тяготеет к иррационализму. Энтузиазм, приверженность к рациональным, позитивным ценностям, вера в человека и лучшее будущее покинули души и умы буржуазных писателей.

Прогрессивные же писатели продолжают вести борьбу за прославление жизни, за торжество разума, за достоинство и счастье человека.

Париж.

Кэндзо Накадзима

Японо-советские отношения на новом этапе

В конце 1954 года был сформирован первый кабинет Хатояма, и вскоре после этого премьер-министр заявил о своем намерении приложить усилия к урегулированию японо-советских и японо-китайских отношений.

Нельзя, однако, забывать, что современная Япония экономически зависит от США. Значит, несмотря на заявление Хатояма о стремлении восстановить нормальные отношения с Советским Союзом, в реальной действительности начать дипломатические переговоры о нормализации будет очень и очень трудно... Такова была распространенная точка зрения на этот счет до 1954 года в Японии.

Конечно, и до 1954 года множество людей отдавало себе ясный отчет в том, как невыгодно отсутствие нормальных отношений с наиболее близкими в географическом отношении странами. Немало японцев открыто высказывалось о необходимости нормализации отношений с Советским Союзом и Китаем; создавались объединения, ставившие себе задачу добиваться скорейшего осуществления этих требований. Но вплоть до наступления 1955 года было распространено мнение, что для достижения этих целей необходимо в первую очередь свергнуть консервативный кабинет и передать власть в руки социалистической партии.

Заявление премьер-министра Хатояма о желании правительства нормализовать отношения с Советским Союзом, сделанное им в конце 1954 года и в основном положительно встреченное советским правительством, оказало значительное влияние на результаты всеобщих парламентских выборов, происходивших в феврале 1955 года: либерально-демократическая партия, во главе которой стоял Хатояма, извлекла из этого для себя большую пользу. Теперь эта партия могла успешно парировать атаки со стороны социалистической партии, заявляя, что восстановление нормальных отношений с СССР возможно осуществить силами не только правительства социалистической партии, но и правительства, сформированного из членов либерально-демократической партии.

Поскольку руководство либерально-демократической партии выдвинуло задачу восстановления отношений с Советским Союзом как часть своего политического курса, то отдельные члены этой партии лишились оснований для противодействия такой нормализации. Что касается социалистической, рабоче-крестьянской и коммунистической партий, то все они, разумеется, с самого начала приветствовали это начинание. Таким образом, в японском парламенте не оказалось ни одного депутата, который не считал бы восстановление нормальных отношений с Советским Союзом необходимым.

Означает ли это, что все японцы без исключения желали восстановления добрососедских отношений с Советским Союзом? К сожалению, нет. В Японии и до сих пор имеются упорные противники сближения между нашими странами. Находятся и такие, которые, прибегая к хулиганским выходкам, пытаются воспрепятствовать этому. Они, например, разбрасывали антисоветские листовки в здании парламента в то время, когда там обсуждалась совместная советско-японская декларация. Правда, эти люди полностью утратили какую бы то ни было популярность в народе. Подавляющее большинство японского народа хорошо понимает, что вся шумиха, которую поднимают эти крайне правые группировки, является не чем иным, как попыткой подогреть самих себя. Можно не сомневаться, что людей, которые всерьез противятся налаживанию японо-советских отношений, будет становиться с каждым днем все меньше и меньше.

Незадолго до отъезда премьер-министра Хатояма в Москву мне пришлось беседовать с несколькими депутатами парламента — членами консервативных партий. Все они, хотя и остались убежденными противниками коммунизма, пришли теперь к выводу, что восстановление нормальных отношений с Советским Союзом вовсе не означает возможности вмешательства во вну-

тренние дела Японии со стороны СССР. Они поняли, что нормализация отношений и вмешательство во внутренние дела — вещи разные, никакой связи между собой не имеющие. Иными словами, они убедились, что отношения с Советским Союзом могут быть построены на принципе невмешательства. Понимание этой истины является необходимой предпосылкой для внутреннего согласия и активного содействия в деле восстановления отношений с Советским Союзом для всех этих людей, не являющихся социалистами по убеждениям. Подобная точка зрения имела распространение и среди части интеллигенции.

В то же время в Японии постепенно усиливалось недовольство экономическим и политическим вмешательством со стороны США. Даже весьма консервативно настроенные люди отчетливо проявляли недовольство тем, что США упорно и неприкрыто препятствовали всяким попыткам, направленным на нормализацию отношений с СССР. Невольно зарождалось сомнение: не будет ли означать восстановление отношений с СССР немедленный и полный разрыв с США? Постепенно укреплялось мнение, что если США в результате восстановления отношений между СССР и Японией начнут оказывать активный нажим на японскую экономику, то их следует решительно осудить. Эти настроения сильно проявлялись и в среде капиталистов-промышленников.

Такова была позиция японцев, которые, в принципе соглашаясь с необходимостью восстановления отношений с Советским Союзом, испытывали известную тревогу в связи с отдельными конкретными сторонами этой проблемы.

Разумеется, было много и таких, которые всегда желали восстановления дипломатических отношений, развития культурного обмена и торговли между обеими странами. Я тоже принадлежу к числу этих последних и вместе с моими единомышленниками испытывал величайшее раздражение из-за медлительности японского правительства при разрешении этого вопроса на протяжении 1955 и 1956 годов. Однако мы по опыту знаем, что для достижения какой-либо цели необходимо в первую очередь запастись терпением и упорством. Для нас, сторонников мира, было невыносимо сознание того, что вот уже свыше десяти лет после прекращения военных действий между Японией и Советским Союзом существует состояние войны. Когда же в результате подписания совместной советско-японской декларации состоянию войны был положен конец, для всех нас это было огромной радостью. Радость эту разделяет такое множество японцев, что мне трудно даже привести здесь конкретные имена. Но, разумеется, вслед за совместной декларацией должно последовать заключение мирного договора. Мне лично представляется особенно желательным, чтобы наладились культурный обмен, торговля, взаимные поездки граждан, чтобы все эти контакты осуществлялись легко и без особых препятствий. Мне кажется, это было бы величайшим счастьем для нас. Ведь высший идеал человечества состоит в том, чтобы все народы мира жили в покое и мире, проявляя свои таланты и радуясь жизни.

* * *

Итак, благодаря тому, что при подписании совместной советско-японской декларации японская сторона была представлена либерально-демократической партией, то есть партией по своему характеру консервативной, принципиальные противники соглашения с Советским Союзом лишились оснований для возражений. Это не исключает того, что в среде консервативно настроенных людей сохраняются несогласия по тому или иному конкретному пункту этой декларации. Собственно говоря, предлогом для несогласия являлся один-единственный момент — нынешняя декларация, утверждали эти люди, не дает гарантий решения вопросов, могущих возникнуть в будущем, когда в ходе обсуждения мирного договора будет продолжен разговор о проблеме южных Курильских островов.

С тех пор как начались японо-советские переговоры, по всей Японии внезапно и усиленно, в том числе и в прессе, заговорили о том, что два острова из Южно-Курильской гряды исторически являются неотъемлемой частью Японии*. Впрочем, большинство японского народа подходит к этой проблеме не столько научно, сколько чисто эмоционально. Пожалуй, наиболее горячо и искренне заинтересованы в разрешении этого вопроса те, кто жил на южных Курилах до капитуляции 1945 года,— эти люди мечтают о том, чтобы снова вернуться туда. Сторонники восстановления мирных отношений с Советским Союзом, сочувствуя стремлению этого сравнительно небольшого числа людей, в то же время с огорчением восприняли тот факт, что этот вопрос в какой-то мере тормозит переговоры о нормализации отношений в целом. Тут возникали такие соображения: нельзя ли устроить так, чтобы бывшее население этих островов снова могло жить там в покое и мире, сохраняя при этом японское подданство и имея надежные гарантии со стороны японского правительства? И не мог ли бы тогда вопрос о южных Курилах быть урегулирован не в плоскости территориальной проблемы?

Можно предположить, что если бы отсутствовавшие 82 депутата, члены либерально-демократической партии, находились в зале заседания во время голосования по совместной советско-японской декларации, то по меньшей мере 50 человек из этого числа

* Южные Курильские острова были оторгнуты Японией от России в 1855 году. По решению Крымской конференции руководителей трех великих держав (1945 год) Курильские острова были переданы Советскому Союзу. (*Прим. ред.*)

голосовали бы против. Не приходится сомневаться, что и группа «независимых», в том числе бывший премьер-министр Иосида, тоже голосовала бы против, если бы присутствовала на заседании. Причины их несогласия с этой декларацией, насколько можно судить по сообщениям прессы, состоят в недовольстве политикой руководства либерально-демократической партии по территориальным вопросам. Среди этих депутатов имеются люди, настроенные резко антисоветски, антикоммунистически.

Поскольку для этих депутатов голосование против фактически означало бы разрыв с их партией, депутаты, не согласные с декларацией, предпочли не явиться на заседание Палаты. Присутствовавшие 365 депутатов голосовали за утверждение совместной советско-японской декларации единогласно. Депутаты либерально-демократической, социалистической, рабоче-крестьянской, коммунистической партий — все единодушно высказались «за» по этому важному вопросу. Факт поистине примечательный!

В тот день, когда происходило голосование по утверждению советско-японской декларации, мне довелось заседать вместе с одним депутатом от либерально-демократической партии в президиуме собрания, устроенного в честь бывшего премьер-министра, ветерана социалистической партии Тэцу Катаяма. Собрание было посвящено выходу в свет большого исследования Катаяма о творчестве великого китайского поэта-классика Бо Цзюй-и. Присутствовало несколько десятков депутатов парламента, принадлежащих к различным партиям, ученые, представители прессы, общественные и религиозные деятели.

Узнав, что в парламенте предстоит голосование, все депутаты ушли с вечера, не дожидаясь конца. Ушли те, кто сидел в президиуме, ушел и сам виновник торжества. Поскольку все знали, что речь идет о таком важном вопросе, как нормализация отношений с Советским Союзом, никто не осудил Катаяма за уход, и в зале по-прежнему звучала декламация стихов Бо Цзюй-и.

Насколько я могу судить, все в зале были спокойны за исход голосования, не сомневаясь, что парламент одобрит советско-японскую декларацию. Во время прений, конечно, могут последовать разные запросы. Немногочисленные противники сближения с СССР, возможно, предпримут какие-либо отчаянные попытки сорвать обсуждение. Но, что бы ни случилось, помешать первому шагу на пути сближения между СССР и Японией уже невозможно — такое чувство владело всеми депутатами парламента и отчетливо улавливалось также в атмосфере, которая царила на вечере, устроенном в честь Катаяма.

* * *

Большинство японцев представляет себе советскую действительность весьма смутно. Главным источником информации были разнообразные впечатления, которые привезли с собой японские военнопленные, возвратившиеся из Советского Союза. Среди них были люди, которые могли поделиться беспристрастными, объективными наблюдениями. Но, что ни говори, специфическое положение военнопленных, в котором они находились, естественно, ограничивало сферу их наблюдений.

Затем начался культурный обмен, проходивший, надо сказать, в весьма трудных условиях Японцы — ученые и другие нейтральные в политическом отношении люди начали посещать Советский Союз. Побывали в СССР и деятели консервативных политических партий. Приглашение приехать в Россию получили некоторые литераторы. Японцы, не обладающие, вообще говоря, широким международным кругозором, вначале с некоторым недоверием прислушивались к восторженным рассказам и сообщениям в печати, с которыми выступали побывавшие в СССР люди. Однако, поскольку все эти сообщения совпадали и поскольку среди выступавших с этими сообщениями были люди политически нейтральные, то постепенно доверие к этой информации усилилось. Мне кажется, что эти сообщения сыграли весьма действенную роль в том, что большинство японского народа положительно приняло совместную советско-японскую декларацию.

Двадцатый век — век пропаганды. Поэтому беспристрастные наблюдения «третьих лиц» имеют особенно большое значение; очень ценным материалом для суждения являются наблюдения своих же товарищей и друзей.

Непосредственные впечатления, вынесенные японцами из поездок в СССР, расширили представление японского народа о Советском Союзе. В то же время огромное влияние оказали и визиты в Японию таких людей, как, например, выдающийся музыкант Ойстрах или замечательный ученый Опарин. Мне довелось слышать, как видный чиновник в Японии говорил, что впечатление, произведенное одним талантливым артистом, сильнее, чем речи сотни политических деятелей. Это говорил человек, не слишком симпатизирующий СССР и, по-видимому, чрезвычайно настороженно относящийся к «коммунистической пропаганде». Но и он заявил, что почувствовал полную невозможность «образумить» молодежь, которая загорелась любовью к СССР, слушая скрипку Ойстраха или рояль Оборина. Что касается отношений Японии и Китая, то визит в Японию театра Пекинской музыкальной драмы имел поистине огромное значение.

Японский народ с радостью встретил совместную советско-японскую декларацию, иными словами — декларацию о прекращении войны. Особенно примечательно, что эту декларацию приветствовали не только социалисты и коммунисты, но и люди самых различных слоев общества, самых различных профессий.

Есть еще одно событие, на которое возлагают большие надежды японцы, — это

прием Японии в ООН*. Конечно, многие понимают, что прием в ООН не будет означать немедленного подъема жизненного уровня и улучшения жизни вообще. Однако вряд ли какая-нибудь страна может относиться безучастно к тому, что она является отверженной среди других стран. Кроме того, несомненно, что все большим числом японцев овладевает мысль о том, то гарантии безопасности для современной Японии могут быть получены в первую очередь через ООН.

Мирный договор, который в 1951 году взял на себя ответственность заключить Иосида, был сепаратным, и это всегда являлось источником тревоги для японцев. Однако в те времена большинство японцев вынуждено было смириться с этим, полагая, что другого пути для ликвидации оккупационного режима не остается. Были и другие, требовавшие заключения всеобщего мирного договора,—они немедленно развернули деятельность, направленную на прекращение состояния войны с СССР. Свою работу они сосредоточили не столько в области внешней политики, сколько на том, чтобы создать соответствующее общественное мнение внутри страны. Те, кто отсутствовал во время голосования в парламенте и тем предпочел воздержаться от голосования, относятся как раз к той категории людей, на которых эта деятельность не оказала влияния; более того, это те, кто пытался подавить ее. Но их курс идет наперекор течению мировой истории, и не только не обеспечивает счастья Японии, но и противоречит интересам сохранения мира во всем мире — теперь многие японцы ясно поняли это.

* * *

Для японских сторонников мира совместная советско-японская декларация означает определенный рубеж — усилия, направленные на поддержание мира, этим не исчерпываются. Еще не восстановлены нормальные отношения со странами, которые находятся в непосредственной близости к Японии,— это Китай и Корея. Япония не имеет с этими странами нормальных официальных отношений, но и не находится с ними в состоянии войны. С опубликованием советско-японской декларации состояние войны прекратилось повсюду на земном шаре. Это большое событие, имеющее огромное значение для дела мира во всем мире.

Эпоху, когда японская интеллигенция испытывала на себе террор милитаризма, часто называют «темной пропастью». Пока длилось состояние войны, никакими усилиями нельзя было сделать жизнь более светлой. Сейчас мы больше всего желаем наступления подлинного рассвета в деле сохранения мира во всем мире.

Токио.

* 18 декабря 1956 года на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Япония принята в ООН. Резолюция о ее принятии, внесенная делегациями 51 страны, в том числе делегациями СССР, США, Англии, Франции и Индии, была одобрена Генеральной Ассамблеей единогласно. (*Прим. ред.*)

ИНОСТРАННАЯ Литература

Нам отвечают

Литературные журналы в 1957 году

Редакция журнала «Иностранная литература» накануне нового года обратилась к крупнейшим литературным журналам зарубежных стран с просьбой рассказать об их планах на начало 1957 года. В этом номере мы публикуем полученные нами ответы.

АВСТРАЛИЯ

OVERLAND

„ОВЕРЛЭНД" — литературно-художественный ежемесячный журнал. Издается в Мельбурне.

Мне кажется логичным и знаменательным тот факт, что письмо редакции журнала «Иностранная литература» пришло в наш журнал в то время, когда Олимпийские игры сделали так много для пробуждения у каждого австралийца веры в возможность братского единения всех народов и международного сотрудничества.

Мы, разумеется, знали, что в СССР, Китае, Чехословакии и других социалистических странах недавно начали выходить журналы, которые с помощью художественной литературы рассказывают о жизни народов за рубежом. И все же было очень приятно получить живое и зримое подтверждение этого факта, имеющего такое большое общекультурное значение.

Мы сейчас же широко оповестили общественность об этом обращении, чтобы как можно больше австралийцев узнало об этой инициативе наших советских друзей.

«Оверлэнд» — журнал, посвященный демократической австралийской литературе и публицистике.

Девиз нашего издания мы заимствовали у классика австралийской литературы Джозефа Ферфи (умер в 1912 году), который можно выразить словами: австралийская по форме, демократическая по содержанию.

Австралии выпало счастье иметь свою, проникнутую демократизмом, народную литературу, ведущей тенденцией которой всегда был реализм.

Главной темой нашей литературы, которая тем или иным путем определяет ее основное наравление, всегда было единение народа в преодолении трудностей, в борьбе против эксплуатации. «Оверлэнд»— единственный из наших журналов последнего десятилетия, который считает своей непосредственной задачей предоставление трибуны тем современным писателям, которые пишут под влиянием этой национальной традиции или стремятся ее развивать. В таких писателях нет недостатка — они вырастают в самой различной среде.

Следует подчеркнуть два момента, характеризующие состав наших авторов: во-первых, довольно большой их процент составляют женщины (которых вообще было много среди наших наиболее известных писателей и поэтов); во-вторых, поощряя молодые таланты, «Оверлэнд» никогда не теряет связи с уже признанными и известными всей стране мастерами, принадлежащими теперь к старшему поколению, я имею в виду таких писателей, как Ванс Палмер, Катарина Сусанна Причард и Мэри Гилмор.

«Оверлэнд» выходит тиражом в 5 тысяч экземпляров и укрепляет свое положение. Многие удивляются, каким образом

литературный журнал без всяких субсидий может добиться успеха в Австралии. У нас больший тираж, чем у всех других австралийских литературных журналов вместе взятых. Мы сумели достигнуть такого успеха главным образом благодаря массовой поддержке, которую оказывают нашему журналу трудящиеся. В 1957 году мы рассчитываем на еще более широкую поддержку читателей.

Наш журнал печатает небольшие рассказы и стихотворения, отмеченные высоким художественным мастерством и раскрывающие какую-либо из сторон австралийской действительности. Нам всегда приходится вести борьбу в двух направлениях: против доктринерских наивных и схематичных произведений, с одной стороны, и против беспринципной, бессодержательной литературы, с другой. К счастью для нашего журнала, его принципы разделяют и горячо поддерживают три самых выдающихся поэта Австралии — Дэвид Мартин, Джон Мэнифолд и Лоуренс Коллинсон.

Мы ставим своей целью содействовать развитию литературной критики, которая до последнего времени оставалась самой отсталой отраслью прогрессивной австралийской литературы. Свидетельство тому — слабый отклик общественности на литературные дискуссии, которые пытался организовать наш журнал.

В 1957 году «Оверлэнд» продолжит борьбу за сохранение и развитие австралийских прогрессивных традиций и с этой целью будет публиковать статьи на исторические темы.

Мы собираемся также посвятить большую часть одного из наших очередных номеров материалам, связанным с великим австралийским писателем Генри Лоусоном (умер в 1922 году).

Одна из самых ответственных задач «Оверлэнд»—постоянная и последовательная борьба против проявления декаданса в австралийской культуре и за оказание государственной поддержки писателям. В 1957 году «Оверлэнд» будет выступать с требованиями оказывать помощь австралийским писателям и шире издавать их книги. «Оверлэнд» будет также противодействовать «культурным» организациям вроде пресловутого «Конгресса за свободу культуры», деятельность которого, заключающаяся в основном в раздувании «холодной войны», распространилась теперь и на Австралию.

И, наконец, мы надеемся, что с помощью наших друзей и коллег в Советском Союзе и в других странах сумеем показать достижения австралийской культуры как часть всемирного движения за строительство лучшей жизни.

Желаем всяческих успехов и процветания журналу «Иностранная литература». Пусть скорее настанет день, когда и в Австралии начнет выходить своя «Иностранная литература»!

Редактор
С. Меррей-Смит.

БОЛГАРИЯ

СЕПТЕМВРИ

„СЕПТЕМВРИ" — литературно-художественный ежемесячный журнал. Орган Союза болгарских писателей. Издается в Софии.

В журнале печатаются оригинальные и переводные стихи, поэмы, рассказы, новеллы, романы, статьи по литературным и общественным вопросам, рецензии, заметки, сообщения о новинках литературы других народов.

Свой новый год журнал начинает романами Людмила Стоянова, Емилияна Станева и других. Людмил Стоянов, произведения которого переводились на русский и другие иностранные языки, несколько лет работает над романом о своей нерадостной молодости. Он рисует широкую картину общественных и политических нравов и быта с конца прошлого века до первой мировой войны. Роман озаглавлен «Детство, молодость и война».

Емилиян Станев заканчивает большой роман «Иван Кондарев» — о жизни и политической борьбе в одном провинциальном городе после первой мировой войны. Часть этого романа была напечатана в нашем журнале в 1955 году. Сейчас будет печататься другая часть, которую автор только что закончил.

Проблемам современной жизни посвящен роман «Великая жажда» Емила Коралова, автора романов о социалистическом строительстве и романа «Септемврийцы» о народном антифашистском восстании 1923 года. Нами будет опубликовано и начало романа Емила Манова о первых годах народно-демократической власти в Болгарии.

В план первого полугодия 1957 года включены также и новые части романа Стояна Загорчинова «Ивайло» (о крестьянских восстаниях в Болгарии в средние века) и роман Гьончо Белева «Провал» (о войнах на Балканском полуострове в первой четверти нашего века).

Свои новые повести о борьбе болгарского народа против фашизма во время второй мировой войны обещали журналу Георги Караславов и Павел Вежинов.

Рассказы на современные темы нам предоставляют Илия Волен, Мария Грубешлиева, Боян Болгар, Ивайло Петров, Петер Незнакомов, Любен Станев, Фахри Ердинч и другие.

В первых номерах журнала за этот год будут помещены: художественные очерки о Риле, самой высокой горе в Болгарии; записки болгарского военнопленного, попавшего в германский концлагерь во время второй мировой войны; очерки о Египте; очерк о жизни в Израиле, написанный болгарским евреем, переселившимся в эту страну; современная комедия, направленная против бюрократизма; очерки о жизни заводов, кооперативных хозяйств и так далее.

Многие поэты обещали нам свои стихи.

В переводах будут представлены советские поэты, английские и французские классики, греческие, албанские, бельгийские, филиппинские, индийские, пакистанские поэты, испанец Хименес, награжденный Нобелевской премией.

В разделе критики будут напечатаны две статьи Емила Стефанова и Ивана Ружа о социалистическом реализме, статья критика Г. Димитрова-Гошкина о Г. В. Плеханове, драматурга Камена Зидарова о влиянии русской драматургии на развитие болгарского театра и драмы, статья Ангела Тодорова о некоторых эстетических категориях в художественной литературе.

Чтобы всесторонне освещать вопросы, которые волнуют наших сотрудников и читателей, редакция создала новые отделы: беседы с писателями, заметки писателя, трибуна читателя и другие.

Исполняющий обязанности
главного редактора
Иван Руж.

ГДР

„НЕЙЕ ДЕЙЧЕ ЛИТЕРАТУР" — литературно-художественный ежемесячный журнал. Издается в Берлине.

Мы усматриваем нашу основную задачу в том, чтобы освещать литературу всей Германии. Что касается иностранной литературы, то мы из-за недостатка места вынуждены информировать наших читателей о событиях и новинках литературы за рубежом лишь посредством обобщающих обзоров и литературных писем.

Мы не можем сообщить сведения о содержании первых номеров 1957 года, так как по различным причинам не имеем возможности планировать далеко вперед.

С дружеским приветом,

Редакция журнала
«Нейе дейче литератур».

КИТАЙ

„ЖЭНЬМИНЬВЭНЬСЮЭ" — литературно-художественный ежемесячный журнал. Издается в Пекине.

Мы весьма тронуты тем глубоким интересом, который Вы проявляете к нашему журналу.

Конкретный план номеров нашего журнала на начало 1957 года еще не выработан, поэтому сейчас очень трудно сказать что-либо на этот счет. Мы предполагаем опубликовать в первых номерах этого года поэму Го Сяо-чуаня, повести Ли Цзи-жэня «Большая волна» и Лян Биня «Красный флаг», сказку для детей Чжан Тянь-и «Секрет волшебной тыквы», а также киносценарий Кэ Лина. Кроме этого, ничего определенного сказать не можем, и даже эти планы, возможно, претерпят в будущем изменения.

С приветом,

Редакция журнала
«Жэньминьвэньсюэ».

ПОЛЬША

„ТВУРЧОСТЬ" — литературно-художественный ежемесячный журнал. Издается в Варшаве.

«Твурчость» — центральный польский литературный журнал, который не является и не может быть органом какой-либо одной группы писателей.

В своей основе это разносторонний журнал; он ставит своей задачей верное отражение состояния литературного творчества и развития общественной мысли в Польше и во всем мире.

Стремясь к тому, чтобы наш журнал был живым и злободневным, мы не составляем плана отдельных номеров на много месяцев вперед. В 1957 году мы хотим лучше, чем до сих пор, информировать польского читателя о событиях в мировой литературе, приблизить читателя к этим событиям и дать ему возможность ознакомиться с проблемами культуры других стран. Мы придаем большое значение регулярной информации польского читателя о культурной жизни СССР. Уже в течение нескольких лет «Твурчость» ежемесячно печатает хронику, где сообщается о наиболее интересных событиях в советской литературе и искусстве.

В нашем журнале появляются также переводы произведений советских поэтов и прозаиков.

В марте 1957 года выйдет специальный номер «Твурчости», посвященный в целом французской культуре, литературе и искусству. Для этого номера «Твурчости» специально пишут: Сартр, Камю, Мерло-Понти, Мориак, Моруа, Симона де Бовуар, Веркор, Пьер Эммануэль, Андре Бретон, Анри Лефевр, Клод Руа, Роже Вайян, Морис Надо, Клод Бурде, Андре Базен, Пьер Абраам, Эдуард Глиссан, Луи де Вильфос, Андре Шамсон, Жан Кассу и другие. Кроме статей об итогах французской литературной и художественной жизни послевоенных лет, в номере будет помещено несколько проблемных статей (положение французской левой, «Доводы правых», колониальный вопрос и др.), а также подборка поэтических произведений, где будут представлены Арагон, Элюар, Дено, Рене Шар, Арто, Мишо, Сюпервьель, Батай, Лейрис, Сен Джон Перс, П. А. Биро, Жак Превер, Раймон Кено.

«Твурчость» уже долгое время планирует выпуск специального советского номера. Мы намеревались выпустить такой номер летом 1956 года и предприняли в этом направлении ряд конкретных шагов. Специальный представитель нашего журнала выехал с этой целью весной 1956 г. в Москву, где он имел беседы с советскими писателями и критиками. К сожалению, по сегодняшний день мы не получили ни одного из заказанных материалов. Иностранная комиссия Союза писателей СССР, к которой мы обратились за помощью по этому вопросу, не смогла нам помочь. Мы искренне надеемся, что в 1957 году сотрудничество между советскими писателями и нашим журналом вступит на более реальный путь*.

Главный редактор
Ярослав Ивашкевич.

* По имеющимся у редакции сведениям, Иностранной комиссией Союза писателей СССР предприняты необходимые меры для посылки журналу «Твурчость» заказанных материалов.

США

„МЕЙНСТРИМ" — литературно-художественный и общественно-политический журнал. Издается в Нью-Йорке.

Мы не можем с уверенностью сказать, что́ будет напечатано в наших будущих номерах. Мы не имеем возможности платить нашим авторам гонорар, что в значительной степени и мешает нам знать, что они смогут написать для нас. Кроме того, последние события вызвали среди левых деятелей культуры и науки некоторую растерянность и временное разочарование, в связи с чем стало трудно убеждать их в необходимости крепить единство культурного фронта.

Однако мы собираемся в скором времени напечатать различные литературные исследования, главным образом о видных американских деятелях, таких, как хорошо известный прогрессивный критик Ф. О. Маттисен, писатели Скотт Фитцджеральд, Говард Фаст и другие. Мы надеемся также подготовить серию крупных материалов по различным вопросам политической экономии, политики и т. п.

Мы предполагаем расширить раздел художественных произведений, а также добиваться участия поэтов, новеллистов, романистов и драматургов в нашем журнале.

С сердечным приветом,

Главный редактор
Чарльз Гумбольдт.

ФРАНЦИЯ

„ЭРОП" — литературно-художественный ежемесячный журнал. Издается в Париже.

Как вам известно, журнал «Эроп» был основан несколькими французскими писателями в 1923 году по инициативе Ромена Роллана. С тех пор, на протяжении три-

дцати четырех лет (за исключением нескольких военных лет, когда мы вели борьбу другим оружием), мы стремимся продолжать традиции гуманизма и дружбы между народами, которые вдохновляли создателей нашего журнала.

В течение последних семи лет мы выпустили, наряду с обычными номерами нашего журнала, около тридцати специальных номеров, посвященных большим историческим событиям и людям. В 1950 году мы писали о Бальзаке, в 1951 — о Парижской Коммуне, в 1952 — о Викторе Гюго и о Гоголе, в 1953 — о Рабле и Поле Элюаре, в 1954 — о Чехове, в 1955 — о Ромене Роллане и Барбюсе, в 1956 — о Сервантесе, Генрихе Гейне и Достоевском. Номера этих журналов до сих пор пользуются спросом у читателей.

Вместе с тем, мы публикуем романы, рассказы, поэмы, литературную хронику, заметки о театре, кино, музыке и других видах искусства.

В 1950 году мы напечатали первый французский перевод романа о Народном Китае, в 1956 году — продолжение «Поднятой целины» Шолохова. Мы напечатали «Семеро моих сыновей» Алчиде Черви — значительный документ итальянского Сопротивления.

Каковы наши планы на 1957 год? Во-первых, два специальных номера: один, посвященный недавно скончавшемуся крупному драматургу Бертольту Брехту, и другой, посвященный Жану Ришару Блоку, который хорошо известен вам как большой друг Советского Союза (в этом году исполняется десятилетие со дня смерти писателя).

По установившемуся у нас обыкновению эти специальные номера журналов задуманы не для чествования, а как полезное пособие для работы. В номере журнала, посвященном Бертольту Брехту, будут помещены статьи французских, немецких и советских авторов, пьеса Брехта, фрагменты из трех неизданных пьес, биография писателя, библиография, много фотоснимков.

В специальных номерах журналов, кроме того, печатается обычный материал — романы, рассказы, хроника и так далее.

В 1957 году журнал «Эроп» будет верен своей многолетней традиции и будет попрежнему знакомить иностранного читателя с произведениями лучших писателей Франции, а французских читателей — с прогрессивной зарубежной литературой.

Позвольте пожелать успеха вашему журналу и передать вам уверение в искренних дружеских чувствах нашей редакционной коллегии и моих лично.

Главный редактор
Пьер Абраам.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

NOVÝ ŽIVOT

„НОВЫ ЖИВОТ" — ежемесячный журнал Союза чехословацких писателей. Издается в Праге.

План нашего журнала на 1957 год мы подготовляли, исходя в первую очередь из того, что для отражения всего богатства нашей действительности необходимы произведения, различные по форме и все более и более глубоко отображающие правду жизни.

Мы опубликуем подборки новых стихов В. Незвала, В. Завады, Я. Сейферта, Ф. Бронислава, Ф. Грубина, Ф. Нехватала, Я. Ноги (цикл сонетов о Советском Союзе), З. Крибла, Л. Чиверного и М. Кундеры.

Из числа прозаических произведений мы намечаем незаконченный смелый и своеобразный роман преждевременно скончавшегося в прошлом году мастера чешской прозы В. Ржезача «Песня верности и предательства», а также отрывок из нового интересного романа Я. Глазаровой. Кроме того, нами подготовлен к печати ряд новых произведений Я. Отченашека, К. Птачника, В. Неффа, Б. Ржиги, И. Секеры, К. Конрада, Я. Р. Вавры и молодых писателей.

Мы будем и в дальнейшем систематически сотрудничать с братской словацкой литературой и публиковать ее лучшие произведения, а также переводы лучших образцов мировой поэзии, например стихов Маяковского, переведенных И. Тауфером, Ли Бо и Верлена в переводах Ф. Грубина.

Значительная часть нашего журнала посвящена теории и критике. В крупных работах наших сотрудников мы дадим оценку чехословацкой литературы за 1956 год, в первую очередь нашей прозы, драматургии и детской литературы. Далее мы подготовляем работу, посвященную своеобразному чешскому критику Бедржиху Вацлавеку и имеющим большое значение для чешской литературы трудам критика Ф. Шальде.

Мы опубликуем также монографические работы И. Тауфера о поэте Витезславе Незвале, Яна Копецкого о Кареле Чапеке и М. Петржички о Марии Майеровой. Мы намерены систематически заниматься нашей литературой периода между двумя войнами, когда был создан ряд значительных произведений, которые надо по-новому оценить. Предполагаем поставить проблему нова-

торства и реализма в нашей прозе и поэзии, а в систематически публикуемых рецензиях на выходящие книги выявлять новые и своеобразные черты художественного произведения и его творца.

В рубрике «Обзоры» мы попытаемся в форме небольших заметок осветить жгучие проблемы и процессы, происходящие в нашем театре, изобразительном искусстве, музыке и культурной жизни вообще.

Естественно, что на страницах нашего журнала найдет отражение исполняющееся в этом году сорокалетие Великой Октябрьской революции. Мы широко используем опыт борьбы, которую ведет советская литература, и откликаемся на все те достижения других литератур, которые будут способствовать тому, чтобы наша литература стала сильнее, своеобразнее и убедительнее.

Зам. главного редактора
И. Гилчер.

Světová literatura

„СВЕТОВА ЛИТЕРАТУРА" — литературно-художественный и общественно-политический двухмесячный журнал. Издается в Праге.

Журнал «Светова литература» завершает первый год своего существования. Перед журналом стоят те же задачи, что и перед «Иностранной литературой». Возможность их реализации в различных странах, разумеется, различна.

У нас немало дела. Недавние ошибки в выборе авторов сузили литературные горизонты. Читатели хотят знать литературы всех стран мира, поэтому понятно, что они требуют от своего журнала ясной точки зрения на различные явления в литературной жизни. Помимо того, они хотят, чтобы журнал и по оформлению был действительно современным и регулярно публиковал репродукции произведений зарубежного изобразительного искусства. Как показал опыт первого года, подписчики «Световой литературы» проявляют жадный интерес к теоретическим статьям и сразу полюбили новую форму рецензий, то есть рецензий с большими цитатами. Редакционный коллектив журнала стремится к тому, чтобы все статьи, которые мы публикуем, всегда вызывали интерес наших читателей. Мы хотим, чтобы читатели все более и более становились на сторону подлинного искусства, которое осознает свой общественный долг.

Что мы планируем на 1957 год? Из разнообразного материала приведу всего лишь несколько примеров. Наш журнал поставил себе задачу знакомить читателей с советскими писателями как старшего поколения, так и с молодыми, менее известными в Чехословакии. Из советских поэтов мы опубликуем большие подборки стихов Б. Слуцкого, Э. Багрицкого, С. Нерис, М. Цветаевой и других. В теоретическом разделе мы поместим несколько статей Луначарского. Основную часть материала нам, разумеется, даст творчество современных советских писателей.

Из американской литературы будет печататься повесть Эрскина Колдуэлла, рассказы малоизвестного у нас Ринга Ларднера, новый роман Говарда Фаста. Из поэзии—стихи Сэндберга и других поэтов. Кроме рассказов различных английских авторов, мы, вероятно, опубликуем остро сатирический роман Эвлина Во «Дорогой усопший»*. В английской литературе наше внимание привлекли также теоретические работы начала эпохи реализма. У нас подобран богатый материал из всех литератур мира.

В первых номерах 1957 года мы опубликуем введение в «Эстетику» Гегеля, до сих пор не выходившее на чешском языке.

Приведенные выше имена далеко не исчерпывают разнообразия, к которому мы стремимся. Они будут основой журнала «Светова литература» в этом году.

Главный редактор
Ян Ржезач.

ЮГОСЛАВИЯ

Савременик

„САВРЕМЕНИК" — литературно-художественный ежемесячный журнал. Издается в Белграде.

Журнал «Савременик» в начале 1957 года вступает в третий год своего существования. Чтобы тем читателям «Иностранной литературы», которые не имели возможности видеть наш журнал, была ясна общая направленность нашего плана на 1957 год, нужно сказать несколько слов об истории возникновения «Савременика». В конце 1955 года группа белградских писателей решила организовать литературный журнал, вокруг которого объединились

* Так озаглавлен чешский перевод романа Эвлина Во, „The Loved One".

бы не только писатели Белграда, но и многие писатели всей Югославии. Идейная платформа «Савременика» коротко была сформулирована так: прогрессивная, гуманистическая и социалистическая ориентация писателя и его произведения. Было указано, что в художественном отношении журнал должен руководствоваться качеством представленных вещей, при условии, что они будут удовлетворять его как в идейном отношении, так и по своей форме и содержанию. Журнал не будет публиковать незрелые и бессодержательные эксперименты формалистов.

Проводя такую линию, журнал очень скоро не только сгруппировал вокруг себя большое число крупнейших югославских писателей-реалистов из всех шести республик Югославии, но и предоставил место на своих страницах многим молодым писателям. Теперь можно сказать, что «Савременик» является одним из наиболее читаемых печатных органов ФНРЮ.

«Савременик» не публикует романов полностью, с продолжениями. Современная проза представлена в каждом номере двумя или тремя рассказами или отрывками из неопубликованных романов. В 1957 году «Савременик» напечатает много рассказов и стихов югославских авторов.

Специальную рубрику «Савременик» посвящает статьям на литературные темы. В каждом номере публикуются три-четыре статьи о прошлой и современной югославской литературе, а также о зарубежных литературах — все это принадлежит перу югославских авторов. Эта часть журнала, как и «Книжное обозрение», в котором публикуются критические статьи на новые произведения югославских писателей и на переводные книги, и в 1957 году будет занимать центральное место в журнале.

«Савременик» публикует и переводные статьи, чтобы информировать своего читателя о развитии литературно-критической мысли за рубежом. Журнал опубликовал несколько избранных статей Г. Лукача, А. В. Луначарского, Томаса Манна и других. И в 1957 году журнал продолжит это начинание, чтобы познакомить югославскую общественность с наиболее значительными зарубежными произведениями этого жанра литературы.

В своих «Обзорах», посвященных вопросам музыки, киноискусства и науки, журнал будет освещать культурную жизнь страны.

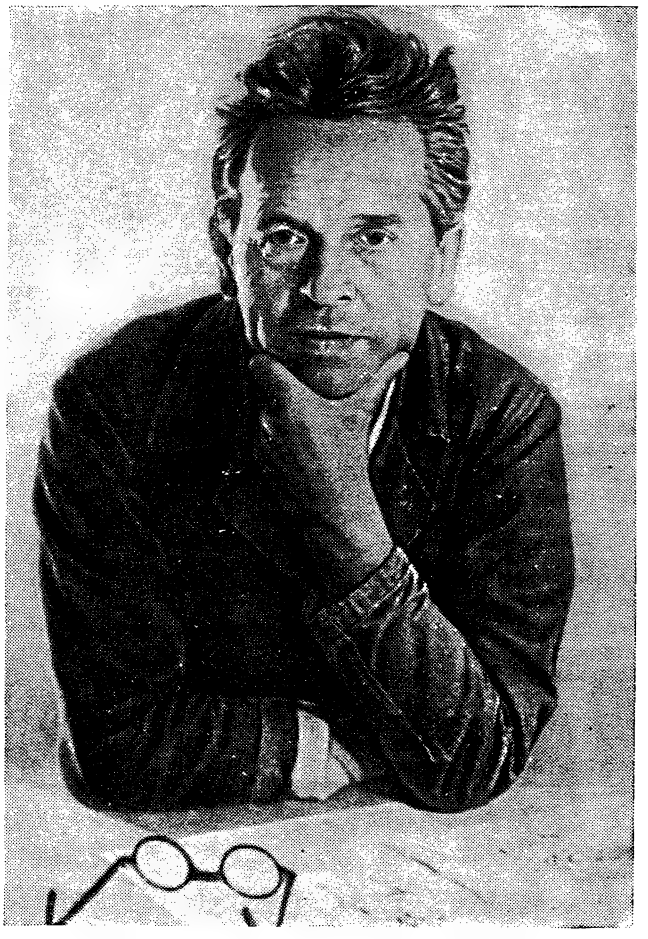
В очень живой, часто полемической и поэтому популярной рубрике «Читая журналы и газеты» «Савременик» будет и в новом году знакомить своих читателей с тем, что публикуется в других как югославских, так и иностранных журналах и газетах.

Главный редактор
Велибор Глигорич.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Графика Тадеуша Кулисевича

А. Сидоров
Член-корреспондент
АН СССР



Тадеуш Кулисевич. (*Фото*).

Искусство стран народной демократии вызывает у нас особые чувства. Искусство это не только интересно нам, поскольку оно отражает в самых разных и своеобычных видах и формах жизнь народов, строящих своими руками лучшее будущее; оно дорого нам в этом смысле как искусство родственное. Лучшие люди старой России, во главе с Пушкиным и Герценом, уважали и ценили борьбу польского народа против царизма, и лучшие люди Польши отвечали такими же чувствами русским. Даже в самые тяжелые моменты прошлой истории один из самых выдающихся польских мастеров искусства второй половины XIX века Артур Гротгер, автор циклов, разоблачающих царскую расправу с освободительным движением Польши 1863 года, создает замечательное произведение, где показывает польского повстанца и русского солдата, павших на поле битвы и перед смертью протянувших друг другу руки. Польская графика более поздних лет была для нас всегда интересна и близка по своим качествам, по своему художественному мастерству и близости к народу.

Замечательные литографии Леона Вычулковского, реалистически живо показывавшие памятники прекрасных старых польских городов; ксилографии В. Скочиляса, воссоздающие образы гордых и сильных горцев; превосходный цикл рисунков, посвященных борющемуся Вьетнаму, современного художника Кобздея и многие другие работы, становившиеся нам известными по выставкам польской графики в СССР, побуждали нас признать польскую графику одною из самых сильных областей художественного творчества во всех странах народной демократии.

Братья.

* * *

Одно из ведущих мест в польском искусстве принадлежит выдающемуся мастеру гравюры и рисунка Кулисевичу.

Тадеуш Кулисевич родился в 1899 году. В 1931 году он окончил курс в варшавской Академии изящных искусств, занимаясь у упомянутого уже мастера гравюры на дереве Скочиляса. Кулисевич примкнул к группе молодой польской графики «Рыт» (гравюра), объединившей в первую очередь воспитанников Скочиляса. С 1930 года Кулисевич много путешествует, циклы гравюр следуют один за другим. Художник побывал во многих странах Запада, работал в Италии. После второй мировой войны Кулисевич становится профессором графики варшавской Академии изящных искусств. Он устраивает ряд персональных выставок, посещает СССР, затем Францию и Голландию. В 1951 году он побывал в Чехословакии, его выставка, организованная в Праге, переносится в Вену, Милан, Рим, Париж, Брюссель, Гаагу, Амстердам и Роттердам. В 1952 году

Женщина с чётками.

Голова девушки

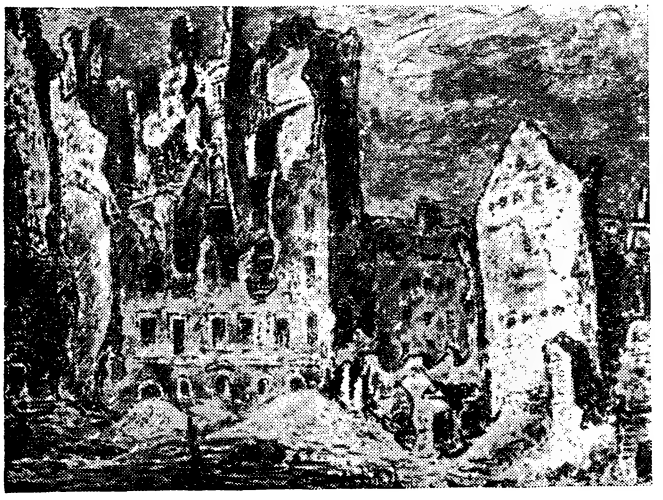
Убитые горем.

художник посещает Китай, в 1953 году устраивает выставку рисунков, посвященных великому строительству Китайской Народной Республики; на этой выставке заметное место занимали его иллюстрации к поэме Пабло Неруды «Приветствие Китаю». Выставки Кулисевича устраиваются в Англии, Швеции, Норвегии, Италии в 1955 году в ГДР и ФРГ.

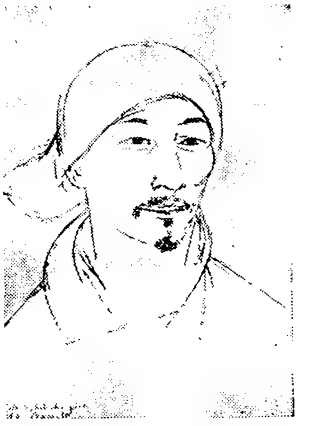
В СССР графика Т. Кулисевича экспонировалась, начиная с 1946 года, на всех выставках польского искусства. Вместе с тем новейшая, главным образом рисунковая, графика Кулисевича у нас мало известна.

* * *

Обязанность искусствоведа, изучающего живое, не отстоявшееся в истории творчество современника,— прежде всего, собрать воедино, выявить, систематизировать внешние данные жизни и деятельности художника. Без такой информации, без фактических сведений о том, кем является, как работает художник, трудно перейти к анализу его произведений. Но без анализа любая самая точная информация — ни к чему. Искусство Т. Кулисевича не столь просто. При анализе творчества Кулисевича необходимо быть внимательным ко многим особенностям его личного «по-



Улица Бугай
в Старом Месте.

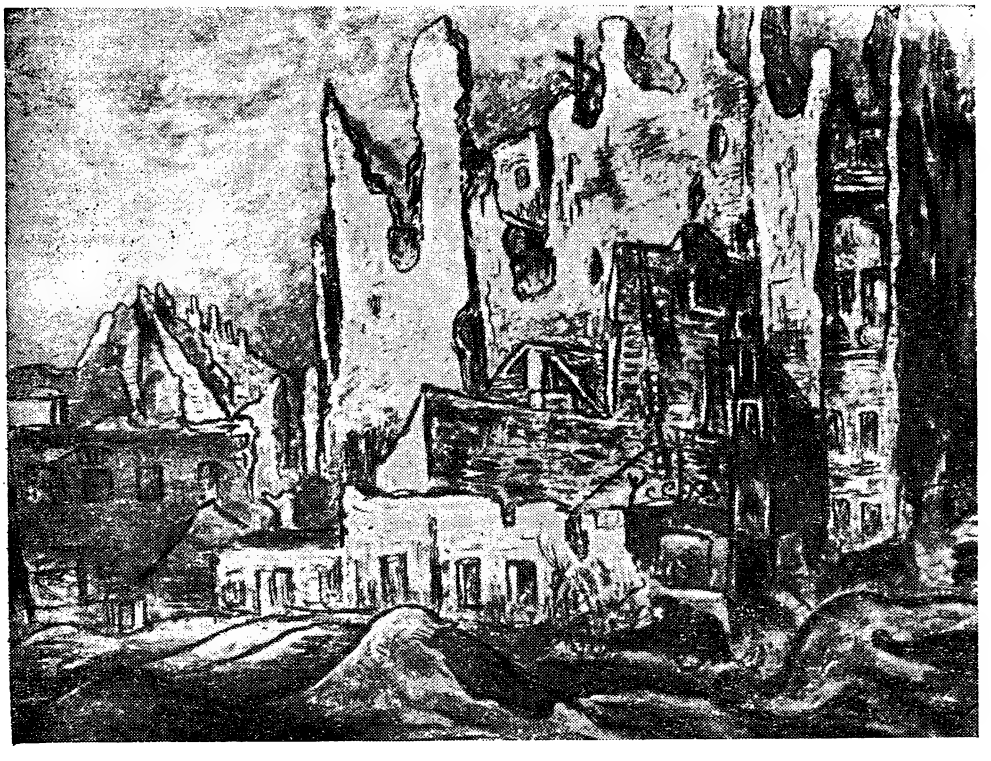


Герой труда.

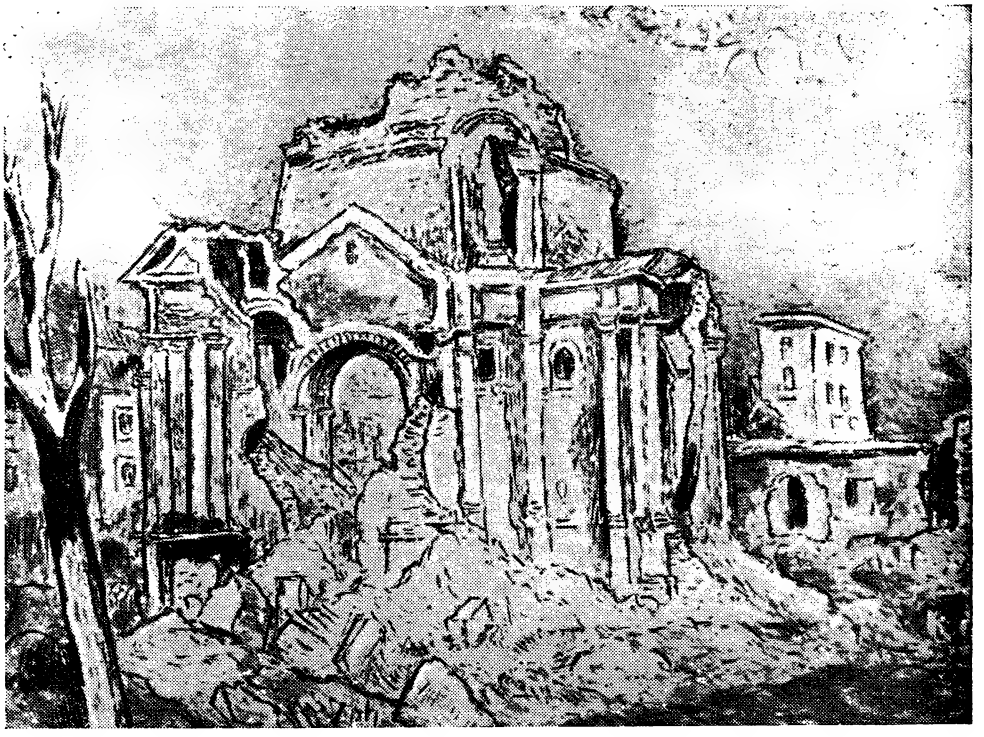
черка», его персонального «художественного языка». Конечно, нужно присмотреться к его стилистическим тенденциям, к тому, что роднит художника с его предшественниками и современниками.

В первые годы своего творческого пути Тадеуш Кулисевич начал работать как гравер. Его ксилографии 1920—1930 годов выявили в нем сильную и своеобразную индивидуальность; Кулисевич резко и сильно, можно сказать, скульптурно, вырезает на дереве своих печатных форм «Голову девушки», образ девочки с крепко сжатыми руками (гравюра «Кароля»), образы бедняков.

Польская гравюра, подобно русской, уходит своими корнями в народную лубочную продукцию безымянных мастеров. В известной мере эти традиции унаследовал и учитель Кулисевича В. Скочиляс. Но в гравюрах последнего наследие прошлого преломлялось в тонкой и изощренной технике, у Кулисевича же самая техника сознательно упрощена, намеренно грубовата, нарочито примитивна. В этом ранние работы Кулисевича примыкают к направлению так называемого «экспрессионизма». В ранних гравюрах Кулисевича можно встретить не только внешне-технические, но и принципиально-изобразительные приемы экспрессионизма. Головы изображаемых им фигур непропорционально увеличены, позы искусственно сжаты, пространство передано условно. Резкие штрихи черного бороздят лица, фигуры людей сливаются с окружа-



Дома на Мостовой.



Костёл в Новом Месте.

ющим, очертания их часто утрачены. И, вместе с тем, гравюры Кулисевича, несомненно, сильны и, что самое главное, человечны. Ранний германский экспрессионизм вел от человека к абстрактной и чаще всего больной самодовлеющей «выразительности». В гравюрах Кулисевича перед нами встают образы вполне реальных людей, полных внутренней силы. Людям Кулисевича нелегко; бросается в глаза, как осмыслен, как оправдан внутренним содержанием образов резкий «черно-белый» художественный язык гравюр Кулисевича, их «примитивность». Художник предстает перед нами как друг польского крестьянства в период его особо нелегкого существования — так называемой «санации», двадцатилетия между двумя мировыми войнами.

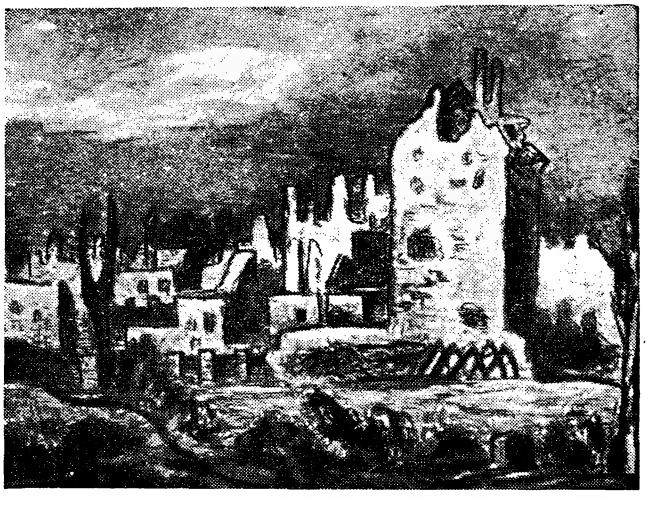
* * *

В рисунках с натуры Кулисевич сразу выступает перед нами как художник более простой, более человечный, более «понятный», более теплый и более реалистичный.

Рисунок как вид графики завоевал себе за последнее время вполне оправданное место рядом с гравюрой. Еще в недалеком прошлом к рисунку относились лишь как к вспомогательному, предварительному этапу художественного творчества; рассматривали рисунок как «неза-

Дома на Сольце.

Феликс Дзержинский.



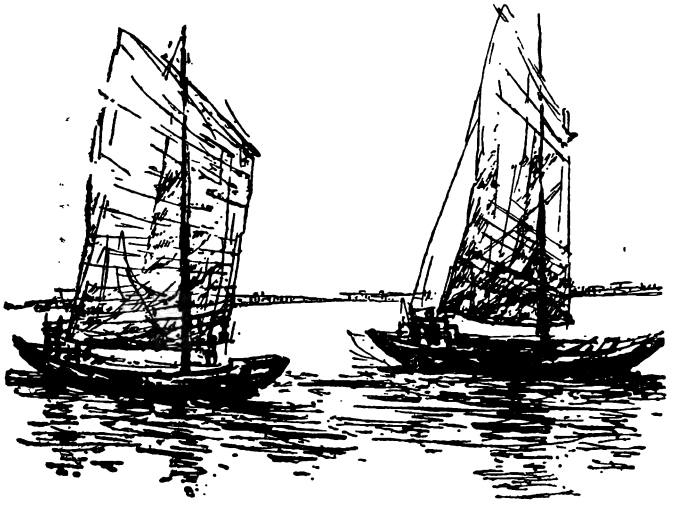
Пейзаж в Конкарно.

конченный» вид искусства, неприемлемый для выставок; избегали его оценивать рядом с картиной или гравюрой как документ очень непосредственного выражения и очень важного для нас верного, быстрого, точного отражения действительности. Это отношение к рисунку сейчас в корне изменилось. Мы видим и в наиболее реалистических рисунках П. Пикассо, и в рисунках Т. Кулисевича замечательные художественные документы нашей современности, хотя сопоставлять рисунки обоих художников никак не следует. Кулисевич был «экспрессионистом» или «примитивистом» только в своих гравюрах. В своих рисунках он — реалист, зоркий и человечный.

Кулисевич начинает с рисунков этюдного, набросочного характера. Это или наброски голов, или этюды работающих на полях крестьянок, детей — печальных, придавленных непосильным трудом, или непосредственных, веселых. Лучше других этюды мужчин, человека с вилами, завтракающего крестьянина. Лучше не только по их твердой уверенности и законченности, но по характерности типов, самого обличья польских крестьян. На большой высоте жи-

Мать с ребенком.

Джонки на реке.



Из индийских зарисовок.

Женщина за работой.

вописно мягкого и сочного рисунка стоят сангины Кулисевича — образы детей и девушек, выполненные «красным мелом». Во время путешествий по Италии Кулисевич начинает пользоваться пером: его рисунок становится нервным, быстрым и, вместе с тем, декоративным, «графическим» в узком значении этого термина. Но до подлинной большой высоты поднимается искусство Кулисевича-рисовальщика в серии, посвященной Варшаве 1945 года,— прекрасному городу, разрушенному фашистами. Эти рисунки глубоко национальны и подлинно общечеловечны, трагедийны и художественно необычайно выразительны; они воспринимаются как грозный обвинительный акт. С чувством драматического напряжения, с постоянным волнением художника-гражданина запечатлел Кулисевич развалины гетто и вокзала, зияющие

Прага.

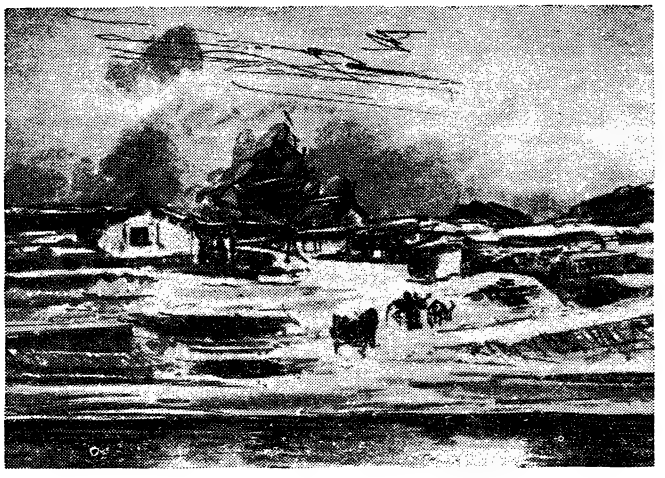
Роют канал (борьба с засухой).

Из индийских зарисовок.

руины домов. Серия Кулисевича — одно из самых сильных антивоенных произведений искусства.

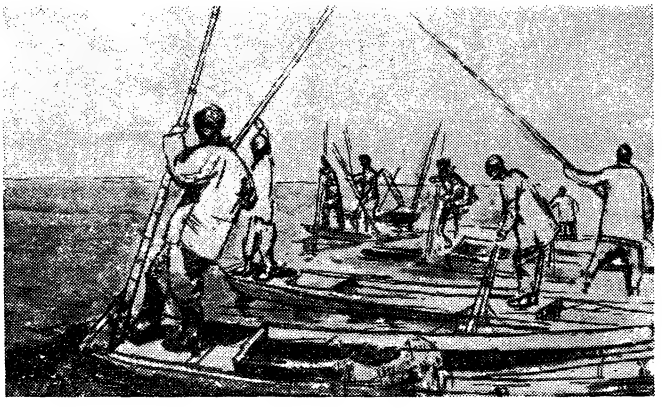
* * *

Пейзаж, фигуры детей, животные, птицы — мирные темы определяют творчество Кулисевича первых послевоенных лет. Он выполняет ряд гравюр «сухой иглой», техникой, требующей особой уверенности руки и придавшей, возможно, иным из этих работ присущую им лаконичность, в которой, однако, уже нет нарочитой «примитивизации» ранних гравюр Кулисевича. Впоследствии Кулисевич работает почти исключительно пером. В своих рисунках пером Кулисевич быстро вырабатывает замечательную уверенность, приближающуюся порою к Рембрандту (рисунок «Женщина за работой»).



Деревня на берегу.

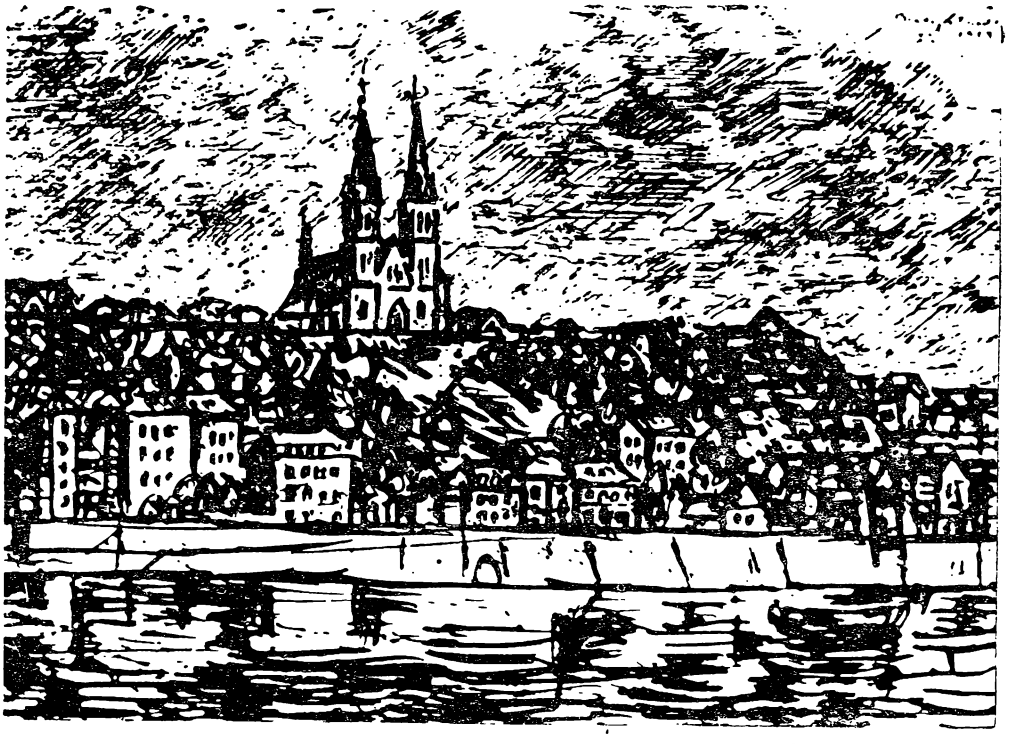
Из индийских зарисовок.



Рыбаки на озере.

Берега Дунайца.

В своих путешествиях по Франции и Голландии Кулисевич с особенным увлечением рисует лодки, мачты рыбачьих судов, их паруса, виды приморских городов. Если в польских рисунках, посвященных простым людям своей страны, Кулисевич приближался к Рембрандту, то в голландских и французских рисунках — к Дюреру. Понятно, в этих контактах современного художника с великими классиками реалистического рисунка нет ничего зазорного. Контакт этот, к тому же, был временным. В Чехословакии в 1951 году



Братислава.

Кулисевич рисует по-своему, очень энергичными, сильными штрихами пера, сохраняя этот свой, именно ему присущий «почерк», характерный для всех последующих циклов.

Кулисевич работает много и в разнообразных жанрах. Советским людям не могут не быть глубоко симпатичными опыты Кулисевича по созданию портретов великих сынов польского народа — Ф. Дзержинского и К. Свирчевского. Кулисевич и в самое последнее время проявляет себя как замечательный

Женщины из Поломки.

Корейские солдаты.

мастер портрета, выполняемого пером. Он сразу схватывает в человеке самое нужное, важное и характерное. Так работал Кулисевич в Китае («Китайский крестьянин говорит о мире», портреты китайских героев труда, китайских рабочих, студентов). Мы должны высоко ценить полные динамики, может быть, не столь четкие, но взволнованные, и действенные рисунки «Корейские солдаты», «Демонстрация французских женщин в защиту мира», «Роют канал» и другие, в которых художник затрагивает темы большого общественного звучания.

Демонстрация французских женщин в защиту мира.

Из индийских зарисовок.

* * *

Творчество Тадеуша Кулисевича, художника, находящегося в расцвете своих сил, отнюдь не завершено — от него можно ждать многих прекрасных достижений. Современная мировая графика имеет в его лице замечательного мастера. Штрих Кулисевича — то очень мелкий, быстрый и еле заметный, то напряженный, переходящий в черное пятно туши; и, смотря на его замечательный рисунок, изображающий голову китайского партизана (*см. обложку нашего журнала*), мы должны признать, что так, как Кулисевич, не рисовал и не рисует никто. Подлинная человеческая внимательность к простым людям и особенно к детям, в последних портретных работах Кулисевича усилена и определяет непреходящую и волнующую ценность очень многих, на первый взгляд быстрых и простых его рисунков.

Китайский крестьянин говорит о мире.

РЕДКАЯ фотография

Л. Фейхтвангер на Красной площади, декабрь 1936 года.

Л. Фейхтвангер во время встречи с читателями в Политехническом музее, январь 1937 года.

АВСТРАЛИЯ

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДРАМАТУРГОВ

Журнал «Оверлэнд» опубликовал статью председателя Консультативного совета драматургов Лесли Риза о новых произведениях, отмеченных на всеавстралийском конкурсе, который был организован этим советом. Из представленных 130 пьес в финальный тур вышло 12.

Жюри приняло решение поделить единственную премию между авторами комедии «Потоки» и реалистической драмой на современном материале «Семнадцатое лето». Автором первой пьесы оказался Ориэль Грей, второй — Рей Лоулер.

Пьеса Рея Лоулера была поставлена в «Юньен тиэтр», профессиональном театре при Мельбурнском университете. Автор пьесы—режиссер и актер этого театра — получил таким образом возможность сыграть одну из главных ролей в своей драме. Спектакль имел большой успех не только в Мельбурне, но и в Сиднее, а также в городах Нового Южного Уэльса и Квисленда.

Журнал «Оверлэнд» пишет, что успех пьесы вызвал по всей стране горячий интерес к национальной драматургии.

Известная писательница Катарина Сусанна Причард.

«ХОРОШУЮ ЛИТЕРАТУРУ НЕЛЬЗЯ ЗАМАЛЧИВАТЬ»

В Австралии продолжается сбор средств в «Фонд кафедры австралийской литературы». Как ни странно, но австралийская литература, завоевавшая признание своими демократическими традициями и национальной самобытностью, до последнего времени не пользовалась особым почетом в академических кругах самой Австралии. Только в 1954 году здесь был впервые в университетском колледже Канберры прочитан полный курс лекций по австралийской литературе, а в 1955 году в этом же колледже была впервые утверждена должность преподавателя этого предмета.

Такое положение вызывает справедливое возмущение австралийской общественности. Известный критик, поэт и пропагандист австралийской литературы Т. Инглис Мур писал в журнале «Оверлэнд»: «Нам давно пора изжить в себе анахроническую психологию колониальных дней и обратить особое внимание на нашу собственную национальную независимую литературу... Она заслуживает этого внимания... Хорошую литературу нельзя замалчивать».

В 1956 году началась кампания за создание при Сиднейском университете специальной кафедры австралийской литературы. Власти университета дали на это свое согласие, но практическое осуществление проекта будет зависеть от того, насколько быстро удастся собрать 80.000 фунтов стерлингов на создание кафедры.

В кампании по сбору средств в «Фонд кафедры австралийской литературы» принимают участие общественные и культурные организации, профсоюзы, пресса.

ПЬЕСА ОБ УГРОЗЕ АТОМНОЙ ВОЙНЫ

Сын К. С. Причард — Рик Причард Троселл написал пьесу «Накануне завтрашнего дня» об угрозе атомной войны. Пьеса имела большой успех. Ее дважды передавали по радио и поставили в университетском театре Западной Австралии.

АВСТРИЯ

ДРАМА ГАУПТМАНА НА ЭКРАНЕ

Венский режиссер Йозеф фон Баки после экранизации повести Пушкина «Станционный смотритель» (см. «Иностранную литературу» № 4, 1956 год) выпустил свой новый художественный фильм, созданный по ранней драме Герхарта Гауптмана «Возчик Геншель».

Газета «Эстеррейхише фольксштимме» особо отмечает игру Вальтера Рихтера, снимавшегося в заглавной роли.

АЛБАНИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ЗВАНИЙ

Семи виднейшим деятелям науки и культуры Албании присвоены ученые степени и звания. Звание профессора и ученая степень доктора наук присвоены за широкую научную деятельность в области языкознания, педагогики и литературы Александру Джувани; ученому-эллинисту, переводчику многих произведений античных авторов Спиро Конда присвоена степень кандидата наук. Такое же звание присвоено писателю Димитру Шутеричи, перу которого принадлежат такие работы, как «История албанской литературы эпохи Возрождения», «Албанский фольклор», хрестоматия по литературе для средней школы и другие.

Это первое в истории албанской науки присуждение ученых степеней и званий.

В ТЕАТРАХ СТРАНЫ

Разнообразен в этом году репертуар албанских театров. Как сообщает журнал «Нендори», сезон начался гастролями всех театров в сельских местностях. Были показаны новые пьесы албанских драматургов — Коль Якова «Задание» о поимке отряда диверсантов и Ндрек Люца «7 жителей из Шаля» — о жизни албанской деревни.

Сейчас в театрах страны с большим успехом идут пьесы советского автора В. Розова «В добрый час», польского драматурга Ежи Лютовского «Семейное дело» и молодого албанского драматурга Суль Питарка «Семья рыбака».

Режиссер Михалач Луараси, окончивший недавно театральный институт в Будапеште, поставил «Коварство и любовь» Шиллера.

АНГЛИЯ

«ЕСЛИ БЫ ДО ЭТОГО ДОШЛО...»

В одно туманное лондонское утро центр английской столицы заняли отряды в форме СС и гитлеровского вермахта. На Трафальгарской площади над памятником Нельсону затрепетал флаг с черной свастикой...

Это случилось во время недавних съемок фильма «Если бы до этого дошло...». Режиссер — восемнадцатилетний Кейвин Браунлоу — стремится раскрыть перед зрителем картину того, что случилось бы с Англией, если бы Гитлеру удалось осуществить вторжение на Британские острова. В фильме намечено показать хозяйничанье гитлеровцев в Англии и парад нацистских войск в центре Лондона.

Все роли исполняют члены любительского киноклуба. Роль гаулейтера оккупированной Англии играет бывший узник гитлеровского концлагеря в Дахау.

АНГЛИЙСКАЯ АКТРИСА О СВОЕЙ ЧЕХОВСКОЙ РОЛИ

Диана Уинард, исполнившая в начале текущего сезона свою первую чеховскую роль — Аркадиной в «Чайке» («Сэвил тиэтр», Лондон), пишет в журнале «Тиэтр уорлд»:

«Я бы никогда не могла вообразить Аркадину строящей козни своим партнерам по сцене. Одна из чарующих особенностей «Чайки» заключается в том, что отношение к Аркадиной ее сына и самого автора пьесы — различны. Треплев относится к своей матери, как к актрисе театра отживших условностей, которые он презирает. Мне кажется, что Чехов милостивее к своей героине.

Как бы Треплев ни хотел уверить нас в том, что его мать таит зависть к неопытной артистке Заречной, я не могу согласиться с этим. В конце концов Арка-

Кадр из фильма «Если бы до этого дошло».
(Журнал «Фильм»)

На снимке артистка Диана Уинард (справа) в роли Аркадиной и Перлита Нейлсон — Нина Заречная («Чайка» А. П. Чехова в постановке «Сэвил тиэтр»)
(Журнал «Плейз энд плэйерз»).

дина ведь актриса императорской сцены и не может опасаться юной провинциалки. С другой стороны, я могу себе представить, что если бы в присутствии Аркадиной восхваляли Дузе, в воздухе запахло бы электричеством... Каждый из нас встречал многих актрис, подобных Аркадиной. О, Чехов знал своих актрис, и с тех пор они не так уж изменились!»

О НОВОМ ФИЛЬМЕ ЧАПЛИНА

Чарльз Чаплин закончил съемки своего нового фильма «Король в Нью-Йорке».

Выступая на пресс-конференции в Лондоне, он сказал, что «это будет самый смешной фильм». Один из корреспондентов переспросил: «Самый смешной из ваших фильмов?» Чаплин помедлил с ответом, но потом сказал: «Самый смешной вообще».

Кратко излагая содержание фильма, канадская «Трибюн» пишет: «Мифический король (Чаплин)—добрый, наивный, маленький король, полный самых лучших порывов, свергнут с престола за то, что он доказывает необходимость использовать атомную энергию в мирных целях. Изгнанный из своей страны, он едет в Нью-Йорк и попадает из огня да в полымя. Его обвиняют в связях с коммунистами. Среди «подозрительных» знакомств короля — десятилетний мальчик, единственное преступление которого заключается в том, что его родители коммунисты. Мальчик очень похож на маленьких героев ранних фильмов Чаплина: у него такие же большие трогательные глаза, но в отличие от его предшественников ему приходится сталкиваться с рядом сложных политических проблем, в результате чего он попадает в комиссию конгресса, состоящую из «охотников за ведьмами».

Голливудская актриса Дон Аддамс играет в фильме роль нью-йоркской газетчицы, в которую влюбляется король.

В интервью, данном одной лондонской газете, мисс Аддамс рассказала о предупреждении, которое ей сделал голливудский журналист, сказавший, что для любой актрисы сниматься в чаплинском фильме равносильно «поцелую смерти». «Ходят слухи,— добавила мисс Аддамс,— что я не получу больше работы в Голливуде».

БОЛГАРИЯ

«НОНКИНА ЛЮБОВЬ»

Так называется повесть молодого болгарского беллетриста Ивайло Петрова, выпущенная софийским издательством «Народна младеж». Автор, пишет «Работническо дело», раскрывает процесс формирования характера и взглядов молодой женщины в условиях социалистического строя.

Действие разворачивается в болгарском селе. Умная, обаятельная и красивая девушка Нонка выходит замуж. Но в семье Пинтезовых, где привыкли жить по старинке, жизнь для нее становится невыносимой. В характере мужа, человека волевого и энергичного, молодая женщина обнаруживает грубость и жестокость. Крушение Нонкиной любви, разочарование и боль, однако, не делают ее слабой, она оказывается сильнее Петра Пинтезова, самого разрушившего свое счастье.

Газета «Работническо дело» отмечает, что автор повести обладает драгоценным свойством — найти и раскрыть поэзию в обыденной жизни своих героев. «В повести чувствуется дыхание современности, что-то очень родное, болгарское по духу и колориту,— пишет газета,— автор уловил проблемы и обрисовал героев, типичных для нашей действительности».

КОНЦЕРТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Недавно в Софии состоялись концерты турецких театральных коллективов городов Русе, Коларовграда и Хасково.

В программу были включены песни, танцы, игра на старинных турецких музыкальных инструментах и несколько одноактных пьес. Как отмечает болгарская газета «Литературен фронт», всем спектаклям был присущ яркий национальный колорит. Хотя театры созданы сравнительно недавно, они пользуются большой популярностью среди турецкого населения Болгарии.

БРАЗИЛИЯ

КНИГА О ТВОРЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ПИСАТЕЛЯ

Национальный институт книги издал новую работу Антонио Ранжела Бандейры «О свободе художественного творчества».

В этой связи писатель и литературный критик Астрожилдо Перейра пишет в «Пара тодос», что книгу Бандейры можно рассматривать как трактат, в котором обсуждаются актуальные вопросы, связанные с процессами и методами художественного творчества. Перейра согласен с автором, что необходимо неуклонно защищать национальный характер культурных традиций народа, оберегая их от вредного постороннего влияния.

Бандейра считает неприемлемым утверждения о возможности творчества художника в изоляции от народных масс, полагая, что в той или иной мере искусство всегда отражает жизнь определенной среды.

КРИТИКА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ А. А. ЛИМЫ

На страницах журнала «Пара тодос» Нелсон Вернек Содре подвергает резкой критике книгу католического писателя Алсеу Аморозо Лимы (Тристан де Атаиде) «Введение в бразильскую литературу».

Не отрицая литературных достоинств работы писателя, Содре показывает полную несостоятельность ряда его утверждений. Так, Содре пишет, что рассуждения Лимы о том, что якобы «искусство не является функцией общества и менее всего является достоянием отдельного общественного сектора...», ошибочно. Неправильно звучит и другое его высказывание о том, что «когда литература берет в основу социальные условия данной эпохи, она перестает быть настоящей литературой».

На основе этих и других высказываний Лимы критик делает вывод, что автор книги стоит на ложном пути и что подлинная литература является совсем не такой, какой пытается ее представить Аморозо Лима.

ВЕНГРИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Польский журнал «Фильм» опубликовал в январе интервью своего специального корреспондента Андре Лайта с заместителем директора Института кинематографии в Будапеште Яношем Тарноком. В интервью сообщается, что во время контрреволюционного мятежа венгерские киностудии в основном не пострадали. Сгорела лишь часть засвеченных негативов. В то же время из 102 кинотеатров в Будапеште 20 получили сильные повреждения, а 10 были полностью уничтожены.

В настоящее время, сказал Я. Тарнок, еще рано говорить о нормальной деятельности венгерских киностудий. Однако в киностудии «Хунниа» возобновлена прерванная в октябре 1956 года работа над рядом кинокартин и завершены съемки фильма «Горькая правда» режиссера Золтана Варкони.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ

В городе Мишкольце камерный театр им. Дэринэ показал пьесу Шандора Шашди «Черешневый цветок». В репертуарном плане театра—оперетта «Фиалка Монмартра» Имрэ Кальмана и драма Йожефа Катона «Банк бан».

Этим летом группа мишкольцских артистов гастролировала в Чехословакии в г. Кошице, где завязала дружеские связи с местным театром. Кошицкие артисты прислали своим друзьям в Мишкольц для пополнения реквизита костюмы, бутафорию, декорации.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

65-ЛЕТИЕ КАРЛА ГРЮНБЕРГА

Известному немецкому писателю Карлу Грюнбергу исполнилось 65 лет.

Писатель был среди тех, кого нацисты бросали в концлагерь, книги его были запрещены и сожжены. Вырвавшись из концлагеря, Грюнберг ушел в подполье. Об этом мрачном периоде господства нацизма он рассказал в сборнике «Это начиналось в Эдеме».

В 1951 году появилась его первая пьеса «Золотом льется сталь», а в 1954 году — пьеса «Электроды». В 1953 году ему была присуждена Национальная премия.

В настоящее время Карл Грюнберг работает над рассказом о капповском путче — неудавшемся контрреволюционном перевороте в марте 1920 года. «Его творчество всегда служило делу борьбы немецкого рабочего класса»,— пишет автор заметки о Грюнберге в еженедельнике «Зонntаг».

125 ЛЕТ ТЕАТРА В МЕЙНИНГЕНЕ

Исполнилось 125 лет со дня основания театра в Мейнингене.

Элизабет Браун в роли Любови Яровой («Любовь Яровая» К. Тренева. Фестиваль Мейнингенского театра).

Во время фестиваля «125 лет Мейнингенского театра», были показаны «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера, опера «Волшебная флейта» Моцарта, оперетта «Мадам Фавар» Оффенбаха.

Состоялись два представления пьесы К. Тренева «Любовь Яровая» (в переводе Роденберга пьеса носит название «Решение»).

ПЬЕСА БРЕХТА О КОММУНАРАХ — В РАБОЧЕМ ЦЕНТРЕ

Одним из самых значительных культурных событий прошлого года газета «Нейес Дейчланд» называет постановку до сих пор не публиковавшейся пьесы Бертольта Брехта «Дни Коммуны» на сцене городского театра в Карл-Маркс-штадте. «Первое представление пьесы в городе, богатом пролетарскими традициями, соответствовало желанию скончавшегося писателя»,— отмечает газета.

«ДА, ЭТО ТАК!»

После просмотра нового фильма Златана Дудова «Капитан из Кельна», пишет журнал «Вохенпост», западногерманские коллеги кинорежиссера с горькой усмешкой говорили: «Да, это так!» О чем же рассказывает фильм?

Альберт Гауптман, безработный кельнер, надеется подработать в дюссельдорфском отеле, где происходит встреча недобитой гитлеровской военщины.

Фамилия кельнера в переводе означает «капитан». Это служит поводом к недоразумению, на котором в дальнейшем строится сюжет фильма. Альберта Гауптмана принимают за капитана Альберта, военного преступника.

С этой минуты начинается головокружительная карьера бывшего кельнера: он становится сначала директором крупного индустриального концерна, а затем и депутатом бундестага.

Однако как только появляется настоящий капитан Альберт, который долгое время скрывался под чужой фамилией, опасаясь возмездия за свои преступления, бедного кельнера сажают на скамью подсудимых...

«Он попадает в тюрьму не потому, что был военным преступником, а потому, что не был им»,— комментирует «Нейес Дейчланд».

Пресса ГДР единодушно признает кинокомедию, созданную по сценарию Генрика Кейша, Михаэля Чесно-Хелля, Златана Дудова творческой удачей студии ДЕФА.

Это — хлесткая сатира, подсказанная современной действительностью Западной Германии.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПРОТИВ ПРОПАГАНДЫ МИЛИТАРИЗМА В КИНО

Прокат фильмов, возвеличивающих милитаризм, не встречает энтузиазма у западногерманской молодежи. Выходящая в Баварии студенческая газета «Профиль» выступила против таких фильмов: «У них, как и почти у всех военных фильмов, если они даже ловко скрывают свои намерения, имеется одна общая цель: восхваление войны».

Газета приходит к следующему выводу: западногерманская молодежь должна сказать свое слово, чтобы свести до минимума спрос на «героические фильмы» подобного рода.

ПОЛОЖЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ

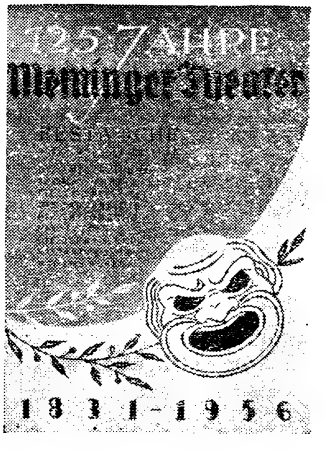
Союз писателей в Ганновере опубликовал письмо к своим членам, в котором на основании официальной статистики отмечается бедственное материальное положение литераторов в Западной Германии.

«Цифры подтверждают,— говорится в письме,— что большинство писателей влачит жалкое существование и давно уже отнюдь не каждый четвертый писатель имеет доходы, которые соответствовали бы заработку учителя народной школы».

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

В гитлеровские времена отряды штурмовиков распевали песню с припевом: «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — будет принадлежать весь мир». В 1956 году Гансу Бауману, автору этой позорно знаменитой песни, сообщает «Вохенпост», присуждена литературная премия города Брауншвейга.

Торжественно заявлено, будто поэзия Ганса Баумана — «светоносный факел для немецкой молодежи». Между прочим, Ганс Бауман сообщил, что воинственно националистический при-



Афиша фестиваля «125 лет Мейнингенского театра»

пев сочинен им не по собственному убеждению, а для того, чтобы «доставить удовольствие Гитлеру, который и тогда уже был наполовину одержимым». К чьему же удовольствию присуждена Гансу Бауману премия в наши дни? — задает законный вопрос журнал «Вохенпост».

ГРЕЦИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Как сообщает болгарская газета «Литературен фронт», последнее время замечается оживление в литературной жизни Греции. «Очень важным событием,— пишет газета,— является издание в Греции журнала «Эпитеориси технис» («Обозрение искусства»), который стремится стать центром литературной общественности».

ДАНИЯ

ФИЛЬМ О ДЕТСКИХ КНИГАХ

В связи с неделей детской книги «Данск культурфильм» выпустил кинокартину «Новые друзья» по сценарию известной деятельницы детской кинематографии Астрид Хеннинг-Иенсен. Режиссер картины Иорген Сторм-Петерсон.

Юный герой фильма в один прекрасный день приходит к выводу, что книги могут быть для него еще лучшими друзьями, чем его маленькие товарищи. «События, которые привели мальчика к такому выводу, не кажутся нам очень убедительными,— пишет один из рецензентов фильма.— Однако, несмотря на этот недостаток, фильм напоминает тысячам кинозрителей о том, как важно следить за чтением детей. Поэтому, фильм, пожалуй, рассчитан скорее на взрослых зрителей, чем на малышей».

СМЕРТЬ П. ЛА КУРА

Скончался известный датский поэт и критик искусства Поль Ла Кур. Ла Кур дебютировал в 20-е годы и с тех пор издал несколько сборников стихотворений, прозаические произведения, «Отрывки из дневника», в который автор собрал свои рассуждения о поэзии и искусстве. В творчестве Ла Кура преобладает демокра-

Молодой греческий художник-график Никос Мануссис в 1945 году попал в Берлин, стал членом компартии Германии. Художественное образование он получил сначала в Берлинской Художественной школе, а затем в Институте изящных искусств в Дрездене. Никос Мануссис все свои произведения посвящает той тематике, которая ему ближе всего — свобода и благополучие своего народа. В настоящее время он работает над циклом гравюр о событиях на Кипре. Мы воспроизводим гравюру на дереве из цикла «Борьба греческого народа за свою свободу». Произведения его отличаются большой эмоциональной насыщенностью, простотой, обобщенностью и внутренней монументальностью.

(Газета «Нейес Дейчланд»)

тическая, гуманистическая тенденция. Стихотворение Ла Кура «Гостиница», по мнению некоторых критиков, относится к лучшим поэтическим образцам современной датской литературы. Во многих стихотворениях Ла Кура проходит тема войны, против которой он предостерегает человечество. Характерно, что во время оккупации Дании Ла Кур по прямому заказу руководителей датского Сопротивления написал для нелегальной печати рассказ «Подвиг датчан».

Музей искусства в Копенгагене организовал вечер памяти Ла Кура.

СТАРЕЙШЕЕ В МИРЕ КИНООБЩЕСТВО

«Нордиск фильмзельскаб» — датское кинообщество, являющееся одним из старейших в мире, отметило в конце 1956 года свой 50-летний юбилей. Это кинообщество экранизировало в свое время роман крупнейшего пролетарского писателя Мартина Андерсена Нексе «Дитте — дитя человеческое».

Как сообщает газета «Дер Морген», в честь юбилея состоялась премьера нового художественного фильма, снятого студией «Нордиск фильмзельскаб» в Гренландии.

В издательстве «Тиден» в 1956 году вышел альбом рисунков известного датского художника Х. Бидструпа. В него включены знаменитые бидструповские рисунки-рассказы, полные юмора, проникнутые теплым чувством к простому человеку. Мы публикуем юмористическую серию Бидструпа «Покупатель».

ЕГИПЕТ

РАБОТА О СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Доктор Абд аль-Кадер аль-Катт — автор книги «О современной египетской литературе», вызвавшей большую полемику среди египетских писателей, опубликовал свою вторую книгу: «О современной арабской литературе». Д-р Катт исследует в этой книге различные жанры арабской поэзии и современный рассказ. Он подробно разбирает вопрос об употреблении литературного и разговорного языка в диалоге.

НОВЫЙ ГИМН ЕГИПТА

Композитор Сейид Макави написал новый гимн Египта. Мелодия старого египетского гимна была написана Верди.

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» ХУСЕЙНА МУРУВВА

В издательстве «Дар аль-Фикр» вышла книга известного прогрессивного ливанского критика Хусейна Муруввa «Литературные проблемы».

Газета «Аль-Иттихад» поместила рецензию Абдарахмана аль-Хамиси, в которой отмечаются высокие достоинства новой книги, затрагивающей важнейшие проблемы современной арабской литературы.

ИНДИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУЖОК В ДЕРЕВНЕ

Одним из интересных явлений в литературной жизни современного Пенджаба, пишет журнал «Четана», является организация литературных кружков в деревнях. В одной из них — Рампуре, расположенной непо-

далеку от города Лудхиана, с населением около пяти тысяч человек, в 1953 году был организован литературный кружок, насчитывающий сегодня около тридцати членов. На собраниях кружка, которые происходят два раза в месяц, читаются и обсуждаются произведения местных писателей, исполняются музыкальные произведения. Часто на них выступают гости — прозаики и поэты, живущие в других деревнях и городах Пенджаба.

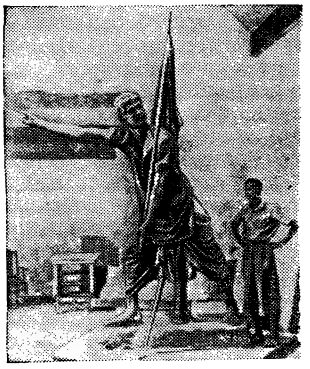
ПАМЯТНИК ПАТРИОТАМ

В г. Патна (штат Бихар) перед резиденцией правительства штата воздвигнут памятник патриотам — семи индийским юношам, которые, как сказал президент Индии Раджендра Прасад, открывая в торжественной обстановке монумент, «отдали свою жизнь за то, чтобы будущие поколения в этой стране могли дышать воздухом свободы». Подвиг семи патриотов — это один из эпизодов борьбы народа с английскими колонизаторами.

Монумент был выполнен одним из выдающихся скульпторов Индии — Деви Прасадом Роем Чоудхури. На создание памятника ушло более полутора лет.

И вот скульптура готова. Она представляет семь бронзовых фигур, размещенных на площадке более девяти метров длиной: группу возглавляет знаменосец, за ним — юноша, протягивающий руку помощи раненому, дальше — три молодых индийца, стремительно идущих вперед. Последние двое — уже ранены, но все же пытаются дойти до цели. Вся эта группа установлена на бетонном пьедестале высотой в шесть метров.

Индийская пресса уделила большое внимание сооружению памятника, отмечая значение подвига семи патриотов Бихара в истории национально-освободительного движения всей страны. Корреспондент газеты «Амрита базар патрика» пишет, что художник с



Фрагменты памятника семи индийским юношам в городе Патна.

(Журнал «Модерн ревью»).

удивительной верностью передал в бронзе дух этого события.

«ПО ДОРОГАМ ПУТЕШЕСТВИЙ»

Так называется книга писателя Манмохана Мишры. Это личные впечатления автора, посетившего многие страны. Он разделил свой труд на четыре тома, в которых рассказал об Афганистане, Узбекистане, РСФСР и Финляндии.

Журнал «Пен» отмечает, что книга хорошо написана и обнаруживает несомненную наблюдательность автора, с которым читатель как бы совершает путешествие.

ФЕСТИВАЛЬ В КАШМИРЕ

Целый месяц длился фестиваль в Кашмире. За это время тысячи гостей имели возможность познакомиться с древними культурными и литературными традициями Кашмира и других частей Индии.

Газета «Хиндустан таймс» рассказывает, что в день открытия фестиваля в столице штата Сринагаре состоялся слет студентов Кашмира, на котором присутствовало около 50 тысяч человек.

В дни фестиваля открылась выставка редких образцов живописи и других видов искусства художественной школы Догры, состоялась встреча поэтов, в которой приняли участие представители различных штатов Индии, были организованы вечера памяти крупного поэта XIX века Расула Мира — земляка кашмирцев.

Одним из интереснейших событий фестиваля явилась драматическая мушайра, где в форме драмы участники состязания рассказали о жизни и творчестве поэтов.

ИСЛАНДИЯ

ИСЛАНДСКАЯ ПОЭЗИЯ НА НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ

Преподаватель норвежской литературы в Рейкьявикском университете Ивар Оргланд перевел на норвежский язык избранные стихотворения крупнейших лирических поэтов Исландии. Исландцы рассматривали подготовку этого сборника, как большое событие,

поскольку, как пишет газета «Верденс ганг», «знакомство Норвегии с исландской культурой, в частности с исландской поэзией, весьма недостаточно». Однако ни одно норвежское издательство не захотело издать сборник исландской лирики. В результате он вышел в одном из исландских издательств.

Норвежская газета «Нашонен», выражая недовольство происшедшим инцидентом, пишет: «Приведенный нами факт свидетельствует о неправильном положении дел в издательской области. Компетентным инстанциям следовало бы заняться этим вопросом. Мы же считаем, что многие соображения говорят в пользу создания «Университетского издательства». При его посредстве читающая публика могла бы знакомиться со многими интересными литературными произведениями».

ИТАЛИЯ

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПИРАНДЕЛЛО

Вся Италия торжественно отметила 20-летие со дня смерти выдающегося драматурга Луиджи Пиранделло.

В свое время основатель Итальянской коммунистической партии А. Грамши писал: «Пьесы Пиранделло — это бесчисленные бомбы, взрывающиеся в умах зрителей и вызывающие крушение банальных истин, ломку чувств и устоявшегося образа мыслей».

Как пишет газета «Унита», «с течением времени творчество этого последнего классика итальянского театра становится все более популярным благодаря его духу революционного недоверия к моральным устоям буржуазного мира.

За двадцать лет, прошедших со дня смерти Пиранделло, читаем мы далее, «в театральной жизни Италии не произошло ничего нового, ничего, кроме медленного умирания театра и резкого падения интереса к нему зрителей...»

ПОВЕСТЬ В. ПАНОВОЙ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Издательство «Эдитори риунити» выпустило перевод повести Веры Пановой «Времена года». Объявляя о выходе книги, издатели предвещают, что она будет иметь в Италии успех.

В Италии уже переведена повесть Пановой «Ясный берег».

НА СЦЕНАХ ТЕАТРОВ

В связи с начавшимся в декабре 1956 года новым

Обложка книги В. Пановой «Времена года»
(Газета «Унита»).

театральным сезоном итальянская печать публикует некоторые интересные цифровые данные. Так, в текущем сезоне в Италии дают спектакли пять стабильных драматических театров и 35 передвижных. В их репертуаре насчитывается 312 названий драматических произведений, в том числе 228 принадлежащих перу итальянских авторов и 84 иностранных.

Активное участие в театральной жизни принимают любительские студенческие коллективы. В этом сезоне труппа венецианских студентов примет участие в Международном фестивале студенческих драматических коллективов, который будет проводиться в Турции.

НОВЫЙ ФИЛЬМ ВИСКОНТИ

Известный театральный и кинематографический режиссер Лукино Висконти приступил к работе над фильмом «Белые ночи» по мотивам одноименной повести Достоевского. Авторы сценария перенесли действие в современную Италию. Фильм будет сниматься в Ливорно, где некоторые кварталы в районе порта, с каналами, мостами, мрачными домами прошлого века должны, по мысли режиссера, соответствовать атмосфере произведения Достоевского.

В интервью сотруднику еженедельника «Контемпо-

Недавно на 90-м году жизни скончался выдающийся итальянский дирижер Артуро Тосканини. На фото — Тосканини за фортепьяно в своем доме в Нью-Йорке. В витрине маски Бетховена, Вагнера и Верди.
(Журнал «Пари матч»).

ранео» Висконти заявил, что канва романа сохранена полностью.

В роли Настеньки выступит швейцарская актриса Мария Шелл, имевшая большой успех в фильме французского режиссера Рене Клемана «Жервез».

Говоря о своих планах на будущее, Висконти сообщил, что он думает об экранизации «Мертвых душ» или о постановке ранней, не имеющей названия комедии Чехова и идущей сейчас в Париже в Национальном Народном театре под названием «Этот безумец Платонов».

КАНАДА

«ПОДЛИННОЕ ИСКУССТВО ОДЕРЖИТ ПОБЕДУ»

Среди художников и искусствоведов Канады ведутся большие споры о путях канадского искусства. Один из крупнейших критиков страны Грехэм Мак Иннес считает, что «канадские художники одержимы фанатическим стремлением уйти в самые бесплодные уголки формалистики и тем самым лишить свои картины всех духовных ценностей».

В статье, опубликованной в журнале «Кенэдиен арт», Мак Иннес писал, что приверженцами абстракции становятся в последнее время не только молодые художники, но и значительное число мастеров старшего поколения. «Никогда еще так много художников не тратило столько творческих усилий для удовлетворения вкуса такого небольшого числа людей»,— писал Мак Иннес.

Он заканчивает свою статью выражением уверенности в том, что «Художники-абстракционисты не смогут долго препятствовать природе проникать в их искусство» и требует от художников глубокого уважения к человеку и созданным им моральным ценностям. «Подлинное искусство,— предсказывает критик,— одержит победу».

Жаркие споры о современном искусстве разгорелись во время дискуссии, организованной в связи с новой экспозицией Торонтской художественной галереи. Активным участником дискуссии был выдающийся американский художник Рокуэлл Кент. В своем выступлении он сказал: «Главное в искусстве это жизнь. Искусство должно учить любви и гуманности, поэтому оно должно быть понятным народу. А современное буржуазное искусство являет собой печальную картину и не заслуживает даже серьезного разговора».

Это заявление вызвало бурную реакцию участников дискуссии, разделившихся на два лагеря. Основным оппонентом Кента был известный монреальский художник Жак де Тоннанкур, который выразил свою точку зрения словами: «Художник не обязан писать для публики». Тоннанкура поддержала частный коллекционер г-жа Зак, заявившая, что «современный художник создает новый язык, и мы должны терпеливо ждать, пока этот язык не станет нам понятным».

Кто-то спросил Тоннанкура: «Если в задачу искусства не входит передача мыслей художника другим людям, зачем вообще художник пишет? Если только для себя, то почему он стремится выставить свои картины перед публикой?

Рокуэлл Кент снова взял слово и сказал, что художник, который пишет только для себя и не заботится о том, понятно ли его искусство, проявляет «полное неуважение к народу».

КЕНИЯ

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ ПРОТИВ КОЛОНИЗАТОРОВ

Внимание общественности привлекла выпущенная здесь книга Питера Эванса «Закон и беззаконие в Кении (или сцены жизни в Кении)». По словам газеты «Санди таймс оф Цейлон», она является особенно ценной потому, что в ней автор, который долго жил в Кении и был выслан оттуда английскими властями в 1953 году, правдиво раскрывает действительное положение дел в этой английской колонии.

Эванс с иронией описывает «благодеяния белых братьев», срывает маску лицемерия, которой прикрывается колониальная администрация, и дает точный и подробный исторический анализ политического и экономического положения в стране.

Значительное место в книге «Закон и беззаконие в Кении» занимает описание суда над Иомо Кениата, руководителем Союза негров в Кении, который в 1952 году вместе с пятью своими товарищами был приговорен к семи годам тюремного заключения. Эванс рассказывает, что для того, чтобы не допустить присутствия представителей прогрессивных кругов во время этой пародии на судопроизводство, заседание было проведено в глухом селении «...находящемся на расстоянии 280 миль от ближайшей библиотеки, имеющей литературу по юридическим вопросам».

Оценивая эту книгу, газета «Санди таймс оф Цейлон» пишет, что она является обвинительным актом против постыдных действий колонизаторов в Африке.

КИТАЙ

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Китайский литературовед Лю Да-цзе выступил на страницах журнала «Вэньибао» («Литература и искусство») со статьей «Проблемы реализма в китайской классической литературе», в которой писал о назревшей необходимости пересмотреть отношение к истории китайской классической литературы, как истории «борьбы реализма и антиреализма». «Подобный подход

Иллюстрация художника Гу Юаня к рассказу Лу Синя «Моление о счастье».
(Журнал «Баньхуа»).

к истории китайской классической литературы,— писал Лю Да-цзе,— получил широкое распространение в последние годы и составил содержание литературоведческих работ многих китайских исследователей». Как отмечает автор, такой подход объяснялся ошибочным и расплывчатым толкованием самого термина реализма, отсутствием у исследователей четкого представления о понятии «реализм», рассматривавшегося одними как исторически сложившийся самый прогрессивный творческий метод и направление, другими — как извечное свойство литературы и искусства, отождествляемое с понятием правдивости и даже художественности. Это привело к тому, что в работах некоторых литературоведов понятие «реализм» лишилось конкретного содержания и превратилось в своего рода средство оценки произведений литературы и творчества отдельных поэтов и писателей. Оценка «реалистическое произведение» означала по сути понятие «достойное».

Лю Да-цзе выступает против такого механического расчленения китайской литературы. «Если мы станем рассматривать историю нашей литературы упрощенно,— пишет он,— лишь как историю борьбы реализма и антиреализма, то... мы попросту свалим их всех в общий котел реализма, — пишет он. — Это лишь затуманит понятие реализма и, кроме того, втиснет в одну упрощенную схему весь сложный и противоречивый процесс развития различных творческих направлений в истории литературы...»

В своей статье Лю Да-цзе выступил за обсуждение проблемы реализма в китайской классической литературе.

Продолжая разговор, начатый Лю Да-цзе, литературовед Яо Сюэ-инь отмечает на страницах «Вэньибао», что в истории китайской классики можно увидеть два различных творческих метода — это метод Ду Фу и метод Ли Бо. Эти методы часто называют «классическим реализмом» и «классическим романтизмом». «Фактически же,— пишет автор,— творческие методы Ду Фу и Ли Бо являются историческими факторами, историческим наследством, на базе которых оформились реализм и романтизм нового времени». В силу этого он оспаривает выводы Лю Да-цзе, признающего Ду Фу основоположником реализма в истории китайской литературы, и относит начало истории реализма в китайской классике не к VIII веку, как это делает Лю Да-цзе, а к XI—XII вв., окончательное же созревание реализма — к периоду, предшествовавшему «движению 4 мая» 1919 года.

Творческая дискуссия об истории развития реализма в Китае и особенностях этого процесса только началась. Первые статьи показывают, что затронутая тема вызывает живой интерес среди китайских литературоведов.

НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ

В связи с проведением в жизнь курса «пусть расцветают все цветы, пусть соревнуются все ученые» в Китае начало выходить много новых периодических изданий.

Ежемесячный журнал «Поэзия» выходит с января 1957 года. Наряду с оригинальными стихами в журнале будут печататься переводные стихи, критические статьи и статьи, посвященные теории поэзии.

«Вопросы литературы» — так называется журнал, посвященный литературоведению и литературной критике. В его задачу входит изучение древних и современных литератур народов, населяющих Китай, фольклора и зарубежной литературы; журнал будет выходить раз в три месяца.

Кроме этих журналов, с января начали выходить следующие новые журналы: «Дождь и цветы» — орган объединения работников литературы и искусства провинции Цзянсу, «Буревестник» — орган объединения работников литературы и искусства Дальнего — Порт-Артура, «Чайка» — орган объединения работников литературы и искусства г. Циндао, «Звезды» — журнал, посвященный вопросам поэзии, издаваемый объединением работников литературы и искусства провинции Сычуань.

ЯНВАРСКИЙ НОМЕР «ЧАНЦЗЯНВЭНЬИ»

В городе Ханькоу в течение нескольких лет Уханьским отделением Союза китайских писателей издается журнал «Чанцзянвэньи» («Литература и искусство Янцзы»). Январский номер этого журнала целиком посвящен поэзии. Наряду с новыми стихами поэтов старшего поколения Ай Цина, Тянь Цзяня, в журнале напечатаны стихи Вэй Яна, Вэй Ци-линя, чьи первые произведения были опубликованы на страницах этого журнала несколько лет назад.

За последнее время появилось несколько поэтических произведений, написанных на основе легенд и преданий различных народностей, населяющих Китай. К ним относится поэма «Ашма» народности сани, созданная целым коллективом авторов, поэма «Одежда из перьев», написанная молодым поэтом, представителем народности ижуан Вэй Ци-линем, и другие. К таким произведениям относится и поэма молодого поэта Бай Хуа «Павлин», написанная на основе сказок и легенд народности тай. Все они опубликованы в журнале «Чанцзянвэньи».

ЛИВАН

КНИГИ ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ

Бейрутское издательство «Дар Бейрут ли ат-Тыбаа ван-Нашр» приступило к изданию серии книг по теории литературы.

Уже вышла в свет книга Мухаммеда Юсуфа Наджма «Искусство художника-прозаика», а также две работы Ихсана Аббаса «Искусство поэтического творчества» и «Искусство художественной биографии».

В этом же издательстве вышла книга Мухаммеда Юсуфа Наджма «Драма в современной арабской литературе», посвященная развитию арабской драматургии и арабского театра с 1847 (дата появления первой арабской драмы) до 1914 года.

МАЛАЙЯ

ВЫСТАВКА КНИГ НА МАЛАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Газета «Сингапур фри пресс» поместила сообщение о выставке книг, изданных на малайском языке. Эта выставка была организована при Малайском университете в связи с проводившейся в стране неделей малайского языка и литературы.

Лектор Университета Энгку Азиз отметил в связи с этой выставкой, что она «опровергает сложившееся мнение будто нельзя получить сведения о последних достижениях науки и культуры из книг, изданных на национальном языке».

На снимке — исполнение народного малайского танца «Хадра».

(Журнал «Малейя»).

«ТАМ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ МУССОНЫ»

Вышедшая недавно под таким названием книга Мура не совсем обычна по своей форме. С первого взгляда она напоминает хорошо знакомые всем антологии, ибо в ней собраны отрывки из произведений различных авторов. Однако это не совсем так. Помещенные в ней отрывки знакомят читателей с географией Малайи, ее природными особенностями, историей, бытом и нравами, дают образцы малайского фольклора.

Составляя свою антологию, Мур стремился, во-первых, как можно полнее познакомить читателей с далекой Малайей, а во-вторых, показать что при соответствующем отборе художественные произведения могут с успехом заменять специальные книги.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

«СТРАНА ГОЛУБОГО НЕБА»

Так назвал книгу о Монголии английский журналист Айвор Монтегю. В рецензии на эту книгу, опубликованной в лондонской «Дейли уоркер», Хьюлетт Джонсон хвалит интересные, талантливые очерки, «дающие ясное представление» об этой своеобразной стране. Попутно автор рецензии делится собственными впечатлениями о Монголии, которую он посетил дважды, в 1932 и 1956 годах.

Хьюлетт Джонсон подробно останавливается на изменениях, происшедших в стране за 24 года. Сравнивая феодальное прошлое МНР с новым государственным строем, он пишет: «Сохранив полную национальную независимость, Монголия стала Монгольской Народной Республикой и вступила в период развития новой, социалистической экономики, которая дает ей много преимуществ». Автор описывает природу страны, озера, полные рыбы, и леса, богатые дичью. Все это теперь принадлежит народу, который роет шахты, возводит фабрики, школы и университет. Животноводство, являющееся одним из главных источников богатства страны, «значительно выиграло», по словам Хьюлетта Джонсона, «благодаря коллективному труду и новым гигиеническим методам ухода за скотом».

Высоко оценивая достижения «доброжелательного и гостеприимного народа», который «желает мира, разрабатывает мирные планы и думает о мире», Хьюлетт Джонсон выражает возмущение по поводу того, что этот народ до сих пор лишен места в Организации Объединенных Наций».

НОРВЕГИЯ

НУРДАЛЬ ГРИГ И НАТО

Страстные стихи известного норвежского писателя-коммуниста Нурдаля Грига, погибшего 2 декабря 1942 года в воздушных боях над Берлином, вдохновляли норвежских борцов в войне против фашизма. Многие из этих стихов вошли в школьные хрестоматии.

Норвежское военное министерство, составляя новый сборник песен для солдат самовольно включило два стихотворения Нурдаля Грига, в том числе его знаменитую «Боевую песню летчиков», в этот песенник. Жена поэта Герд Григ, хранительница его литературного наследства, заявила протест против такого бесцеремонного использования стихов ее мужа.

Военные власти решили передать спор о праве использования стихотворений Грига на суд норвежского Союза писателей. Но здесь их ждало горькое разочарование. Председатель Союза писателей Ханс Хейберг стал на защиту памяти и политических убеждений поэта. Подтверждая право Герд Григ на литературное наследство мужа, Хейберг добавил: «Она желает действовать в том духе, который соответствует глубоким убеждениям Нурдаля Грига».

«Имя Нурдаля Грига свято для норвежского народа. Попытка использовать его творчество для целей НАТО, не увенчалась успехом», пишет «Верденс ганг».

ПАКИСТАН

СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

Правительство Пакистана уделяет внимание развитию национальных языков страны. Крупные средства выделены Бенгальской академии в г. Дакка на развитие литературы и языка бенгали; на учреждение в Карачи академии имени популярного бенгальского поэта Назрула Ислама, которая сосредоточит у себя исследовательскую и практическую работу в области литературы и языка бенгали в Западном Пакистане. Правительство отпустило средства также для популяризации в стране литературы и языка урду.

НОВЫЕ КНИГИ

Издательство «Назир принтинг пресс» в Карачи выпустило книгу К. Ранга «Аханг-и-Музик», посвященную классической народной музыке Пакистана. В ней впервые за всю историю страны автор собрал воедино и систематизировал обширный материал о народной музыке. Большую ценность представляют помещенные в книге многочисленные образцы народного творчества.

Заслуживает внимания и новый сборник стихов «Афкар-е-Сада» («Искренние мысли») поэта Саеда Закира Хусейна Сада Лукнави. В своих стихах, написанных в традиционной классической форме, автор высказывает много свежих и оригинальных мыслей. По мнению газеты «Доон», глубо-

кое чувство, которым проникнуты эти стихи, их красочность и богатый идиомами язык принесут им заслуженную любовь читателей.

ПОЛЬША

ГОЛОС ПОЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ

В одном из последних номеров еженедельника «Пшегленд культуральны» за 1956 год опубликована статья писателя Богдана Чешко «Фельетон непопулярный», в которой поднимаются насущные вопросы построения социализма в Польше. Б. Чешко разоблачает демагогов, которые «ратуют за законность, но мечтают о линче, выступают за порядок в экономике, но приветствуют хаос, поддерживают решения VIII Пленума, но трактуют их по-старому...» Писатель призывает общественность помнить об успехах социалистического строительства в Народной Польше, прекратить демагогические выступления, дезориентирующие читателя, и употребить все силы на дальнейшее укрепление независимой Польши.

«Пора опомниться. У границ нашей земли кружат старые, облезлые волки с многовековым империалистическим опытом,— говорит в заключение Б. Чешко.— Я кончаю митинговать и возвращаюсь к своей основной работе, которую могу выполнять: писать для поляков».

ЯНУШ КОРЧАК — ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В планы польских издательств на 1957 год включено издание «Избранных произведений» Януша Корчака, автора известной книги для детей «Король Матиуш Первый». Януш Корчак — выдающийся польский воспитатель-педагог, внесший значительный вклад в педагогическую науку. Он погиб 15 лет назад вместе со своими воспитанниками от рук гитлеровских захватчиков.

Сцена из пьесы Карела Чапека «Мать» в постановке театра «Камерального» в Варшаве. В ролях: матери — З. Малынич, отца — М. Милецкий.
(Газета «Жице Варшавы»).

«Избранные произведения» Я. Корчака намечено издать в пяти томах. Они будут включать статьи по педагогике, а также наброски и фельетоны, посвященные вопросам воспитания. Деятельное участие в подготовке к изданию «Избранных произведений» Я. Корчака принимают известный польский писатель Игорь Неверли и доктор Ирена Хмеленская — ближайшие сотрудники Я. Корчака при его жизни.

РУМЫНИЯ

РАССКАЗЫ ШТЕФАНА ГЕОРГИУ

Сборник рассказов Штефана Георгиу «Белая лилия, утопленная в крови» весьма разнообразен по тематике. Некоторые из рассказов посвящены борьбе коммунистов подпольщиков, другие — современной тематике. В большинстве случаев внимание автора привлекают трагические и героические моменты в жизни людей. Он описывает, как на руках у своего сына умирает сраженный пулями преследователей, агентов сигуранцы, подпольщик-коммунист. «Разлука» — это рассказ об отважной борьбе рабочих одного из предприятий против тех, кто стремился развязать войну с Советским Союзом. Большинство рассказов ведется от имени главных действующих лиц, что, как указывает «Газета литерарэ», придает им особую эмоциональность.

«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ КНИГА»

Так назвал Ион Марин Садовяну, один из старейших румынских писателей, сборник «Горький о литературе», вышедший на румынском языке. «Гений, страсть, опыт большой жизни публициста сконцентрированы в этой книге,— пишет И. М. Садовяну.— Издание ее сослужит огромную службу нашей культуре и литературе. Горький, который никогда не был критиком, о чем он неустанно повторяет (можно только спросить, в каких литературных жанрах он не выступал?) встает со страниц свой книги как действующее лицо романа. Мы видим, мы чувствуем его, следим за ним на всем протяжении его жизненного пути. Его критические замечания редко облекаются в форму некоей доктрины. Они выглядят, как замечания, связанные с развитием какой-либо мысли или определенного положения вещей; писатель, владеющий искусством описания и диалога, проявляющий неизменный интерес ко всему, облекает в форму художественного произведения острые споры, как другая, более высокопарная и менее верная рука облекла бы в доктринерские одежды. Это и составляет основное обаяние этой книги. Садовяну подчеркивает, что прекрасно переведенный и снабженный обширным комментарием сборник горьковских статей явится большим событием в литературной жизни Румынии.

США

АНТИВОЕННЫЙ ФИЛЬМ И ПЕНТАГОН

На экраны США вышел фильм, который привлек внимание зрителей, быть мо-

Кадр из фильма «Атака». Джек Паланс (справа) в роли командира отделения. В роли командира роты — артист Эдди Олберт.

(Журнал «Фильм»).

жет, не столько своими художественными достоинствами, сколько своей темой и событиями, которые предшествовали его съемкам.

Фильм называется «Атака». В нем рассказывается о небольшом эпизоде из фронтовой жизни американских войск, которые вели наступление зимой 1944 года в Бельгии. Бездарный, вечно пьяный капитан, командир роты (артист Эдди Олберт) приказывает солдатам захватить дом, стоящий на краю занятой немцами деревни. Решение явно неразумное, так как дом целиком открыт для обстрела. Когда командир одного из отделений просит прислать подкрепление, капитан отказывается это сделать. Рота несет большие потери. Командир отделения, лейтенант (артист Джек Паланс), обращается к командиру батальона с просьбой сместить капитана. Однако тот объясняет негодующему лейтенанту, что он ничего не будет делать, ибо отец капитана — крупный политический босс в его штате и может ему помочь после войны. Тогда лейтенант клянется убить командира своей роты.

Военное министерство усмотрело опасность в выпуске такого фильма на экраны, заявив, что он «умаляет роль командного состава армии во время боевых действий». На этом основании Пентагон отказался оказать помощь в съемках фильма на военную тему и запретил его демонстрацию в воинских частях. В результате постановщик Роберт Олдридж столкнулся с большими трудностями. Так, например, для съемок ему пришлось на свои средства купить старый танк, другой он занял у одной из голливудских фирм.

Несмотря на противодействие военных властей фильм вышел на экраны. Показывая американскую армию в ее истинном виде, он, по характеристике журнала «Сэтердей ревью», «едва ли может служить вербовочным плакатом для армии США».

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЖЕКЕ ЛОНДОНЕ

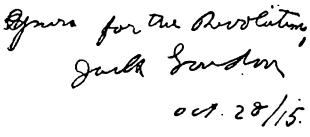
В статье, посвященной Джеку Лондону, один из старейших сотрудников газеты «Дейли уоркер» Арт Шилдс делится своими воспоминаниями о писателе. Шилдс вспоминает, что впервые он увидел Лондона, когда был еще школьником. Писатель выступал с лекцией в школе и Йорке (штат Пенсильвания). «Я не знал тогда, что Джек был революционным социалистом. Я даже не знал, что такое социализм. Я не уверен также, употреблял ли тогда Джек слово «социализм» в своих лекциях... Однако вся его речь пылала огнем классовой борьбы. И кончалась она предсказанием, что трудящиеся добьются победы во всем мире... Он просто — то с негодованием, то с юмо-

Обложка журнала «Интернейшнл соушелист ревью» с рассказами Д. Лондона.

(Газета «Дейли уоркер»).

ром — рассказывал о своей жизни рабочего, о том, какой должна стать жизнь трудящихся».

Шилдс вспоминает, что, помимо работы над своими произведениями, Джек Лондон очень много внимания уделял чтению лекций. «И прежде всего Джек стремился оказать влияние на сознание трудящихся. Он не избегал и интеллигенции. Одно время он даже был президентом Социалистического общества колледжей, хотя никогда не учился в колледже. Однако он считал рабочих самыми стойкими борцами против капитализма». Свои письма и рассказы Джек Лондон всегда подписывал словами: «Ваш во имя революции».



«Ваш во имя революции»
Автограф Д. Лондона

Лучшие революционные произведения писателя появлялись в прогрессивных журналах «Аппил ту ризон» и «Интернейшнл соушелист ревью». Многие его рассказы печатались и в буржуазном журнале «Сэтердей ивнинг пост», который делал это ради своей популярности...

Шилдс с горечью пишет: «Чрезвычайно трагично, что американцы сегодня пренебрегают им, тогда как его слава продолжает жить в других странах». Автор напоминает в связи с этим, что в Советском Союзе тираж произведений Д. Лондона превышает 13 миллионов экземпляров (на 1956 год — около восемнадцати миллионов.—*Ред.*).

ФОЛКНЕР— КОНСУЛЬТАНТ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Уильям Фолкнер принял предложение университета штата Виргиния занять должность писателя-консультанта на 1956/57 учебный год. Фолкнер будет консультировать студентов и научных сотрудников факультета английского языка и литературы, выступать с сообщениями о своем творчестве и об отдельных своих произведениях.

По мысли организаторов такого рода консультаций,— пишет «Нью-Йорк таймс»— привлечение к работе факультета Фолкнера поможет более активному развитию современной американской литературы.

ЭКРАНИЗАЦИЯ ПЬЕСЫ РЕМАРКА

В сезоне 1956/57 г. первая пьеса Ремарка «Последняя остановка», с успехом поставленная в западноберлинском «Ренессанс-театре», пойдет на сцене одного из театров Нью-Йорка.

По сообщению газеты «Курир», режиссер этой американской постановки, крупнейший кинорежиссер Уильям Уайлер, осуществляет и экранизацию пьесы Ремарка.

КОНЕЦ «КОЛЬЕРСА»

В начале 1957 года всю мировую печать облетело известие: прекратил свое существование «Кольерс» — один из наиболее распространенных североамериканских иллюстрированных журналов. Он был основан в 1888 году специалистом по торговле библиями Питером Кольером. Профессия основателя наложила вначале свой отпечаток на его детище: «Кольерс» стремился выглядеть «респектабельным», «семейным» журналом. Но впоследствии, идя в ногу с американским веком, «Кольерс» стал заполнять свои страницы многокрасочными изображениями полуобнаженных девиц и антисоветской клеветой, не останавливаясь даже перед прямыми призывами к агрессии.

Тираж у «Кольерса» был немалый — свыше 4 миллионов. И все же, как сообщают газеты Европы и Америки, он не только не приносил прибыли, но и давал изрядный убыток, так как издававшая его фирма не сумела обеспечить журнал рекламой, от которой зависит судьба издания. После того как выяснилось, что 1956 год был закончен с убытком в 7,5 миллиона долларов, владельцы издательства закрыли журнал, не оповестив заранее ни одним словом читателей, ни даже 2400 его работников, которых, напротив, до последнего дня утешали, что «Кольерс» будет спасен.

Таким образом, зарубежная пресса считает, что причина гибели «Кольерса» — в нехватке рекламы. Можно, однако, не сомневаться, что истинные ее причины — глубже, и вызваны поджигательской деятельностью журнала, которая претила даже привыкшим ко многому американским читателям.

ТУРЦИЯ

ПАМЯТИ ПОЭТА

В конце 1956 года в одной из больниц Женевы скончался талантливый турецкий поэт Джахид Сытки Таранджи. Он приехал в Швейцарию для прохождения курса лечения. Большинство литературных газет и журналов Турции посвятило памяти поэта специальные номера.

«Вслед за Орханом Вели и Саидом Фаиком турецкая литература понесла еще одну тяжелую потерю,— писал Октай Акбаль в газете «Ватан». — Наше поколение воспитывалось на произведениях этих трех писателей, выросло на них, многое по ним узнавало. И каждое будущее поколение турецкой интеллигенции будет любить строки Джахида Сытки, будет радоваться, задумываться и горевать над ними».

В Измире и Стамбуле состоялись траурные собрания, посвященные творчеству поэта. Выступавшие на этих собраниях говорили о том, что Джахид Сытки не был поэтом-трибуном, оратором, «но умел из простых, повседневных слов создавать стихи, наполненные дыханием жизни, которые кажутся теперь чудом. Он был одним из лучших поэтов турецкого языка», — утверждает писатель Абдюльхак Шинаси Хисар.

Маститый турецкий романист Якуб Кадри в жур-

нале «Терджюман» пишет, что смерть каждого из трех писателей — О. Вели, С. Фаик, Д. Сытки — напоминает ему «самоубийство», ибо они не получили заслуженного признания и достойной поддержки». И как бы подтверждением этих слов прозвучало запрещение властей турецкой столицы провести собрание памяти поэта.

ФРАНЦИЯ

«ДНЕВНИК ГОНКУРОВ» И ПОТОМКИ

Девятитомный «Дневник Гонкуров», доведенный до конца 1895 года, наряду со взглядами Эдмона и Жюля Гонкуров, отражает также и некоторые стороны французской литературной жизни конца прошлого столетия.

Недавно в одном из парижских издательств вышел очень ограниченным тиражом первый том «Дневника Гонкуров».

По сообщениям прессы, планы нового издания «Дневника» вызывали неоднократный протест со стороны потомков ряда упоминаемых Гонкурами деятелей, в том числе со стороны потомков Альфонса Доде.

НОВЫЙ РОМАН ЖАНА ЛАФФИТА

В конце прошлого года Жан Лаффит выпустил новый роман «Весенние ласточки». В нем писатель описывает нежную и чистую любовь простых людей, людей труда, людей со здоровой психикой и верными, преданными сердцами. Газета «Юманите» в рецензии на роман пишет о героях Лаффита: Жак — подмастерье у кондитера, Жаклина — официантка, работающая с ним в одном ресторане, дочь докера. Оба они любят друг друга, любят свою работу, любят свой народ, любят Францию, любят мир и ненавидят войну. Действие романа развертывается между зимой 1953 и весной 1954 года, заканчивается он с первыми весенними ласточками 1954 года.

В рецензии, напечатанной газетой «Юманите» дается в целом, положительный отзыв о романе.

На публикуемой нами фотографии запечатлен момент выезда Дон Кихота и Санчо Пансы... из ворот зоологического сада Монмартра в Париже. Слева — известный художник-сюрреалист Сальвадор Дали. По свидетельству журнала «Пари матч», откуда взята эта фотография, Сальвадор Дали выбрал в качестве модели для одной из иллюстраций к «Дон Кихоту» Сервантеса, над которым он сейчас работает, Мулен де ла Галетт. «Благодаря мне, — сказал он,— Мулен де ла Галетт станет неистовым выражением испанского параноистического мистицизма». Не вдаваясь в данную Сальвадором Дали оценку мистицизма, который, очевидно, не имеет в действительности отношения к Сервантесу, будет уместным выразить опасение, как бы любимые миллионами читателей во всем мире герои не разделили под рукой С. Дали участи Мулен де ла Галетт. Догадаться о том, какими будут иллюстрации Сальвадора Дали, конечно, трудно. Однако из того же журнала «Пари матч» мы уже сейчас знаем, что новое издание романа Сервантеса будет самой дорогой книгой в мире: «первый экземпляр, украшенный акварельными рисунками, будет продан за десять миллионов франков».

ЦЕЙЛОН

ОЧЕРКИ О ЕГИПТЕ

Для того чтобы удовлетворить тот большой интерес, который жители Цейлона проявляют к жизни героического египетского народа, газета «Санди таймс оф Цейлон» опубликовала серию очерков Донована Молдрича, недавно побывавшего в Египте. В В них Молдрич рассказывает о больших переменах, происшедших в стране после создания правительства, возглавляемого президентом Гамалем Абдель Насером. Новое в жизни Египта выразил министр национального руководства Радван, с которым Молдрич беседовал в Каире. Он сказал, что египетский народ, впервые за всю многовековую историю почувствовавший себя действительно свободным, готов до последней капли крови бороться за свою независимость.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЧЕСТВОВАНИЕ МАРИИ МАЙЕРОВОЙ

75-летие старейшей чешской писательницы, народного художника Марии

Майеровой было событием, на которое живо откликнулась общественность не только Чехословакии, но и прогрессивные деятели многих стран. Газеты опубликовали горячие поздравления и пожелания долгих лет, здоровья и творческих успехов от Союза писателей, редакций журналов, читателей Советского Союза, Германской Демократической республики, Польши и так далее.

«До сих пор не могу удержаться от слез, читая «Сирену»,— пишет Карел Власак, горняк-пенсионер из-под Кладно, места действия этого романа.— Да, жизнь у нас была такой, какой вы ее описываете, и я убежден, ваша книга способствовала тому, что все у нас изменилось».

Вместе с подарком юбилярше ЦК компартии Чехословакии передало письмо, в котором говорится: «С благодарностью думаем мы сегодня о твоем творчестве, в котором ты правдиво отобразила великие идеи и стремления нашего народа, его героическую борьбу за социалистическое будущее. Этой борьбе ты отдала все свои силы, всю свою жизнь. И за это наш народ всегда будет бесконечно чтить тебя».

Литературный критик Иржи Гаек в статье, озаглавленной «Марии Майеровой вместо поздравления», пишет: «Своей политической деятельностью живым контактом с десятками и сотнями работников заводов и крестьян,— связями, бывшими для нее с давних времен жизненной необходимостью, движущей силой ее творчества, Мария Майерова внушала простым людям непоколебимое доверие к социалистической литературе, создала ей высокий моральный авторитет».

В клубе Союза Чехословацких писателей в честь юбилярши состоялся торжественный обед, на котором присутствовали члены правительства с президентом республики Антонином Запотоцким во главе.

На снимке сцена из спектакля «Анна Каренина». (По Л. Н. Толстому) в постановке театра в Пардубицах.
(Журнал «Свет в образех»).

В тот же день состоялось чествование писательницы в помещении пражской городской библиотеки. Вечер был открыт докладом критика Ф. Бурианека о жизненном пути и творчестве Марии Майеровой. Выступавшие после него писатели и представители всех областей культуры с большой теплотой говорили о своем уважении к одной из популярнейших чешских писательниц. «Из воспоминаний, слов любви и характеристики творчества,— пишет «Руде право»,—как на экране возникал перед слушателями многогранный облик этого певца чешского народа, которую не случайно столько раз сравнивали с Боженой Немцовой». В заключение состоялся концерт, на котором исполнялись отрывки из произведений Марии Майеровой.

Со всех концов страны съехались представительницы женщин, которые на встрече, состоявшейся в Чехословацком союзе женщин, передавали писательнице благодарность ее читательниц и пожелания здоровья и многих лет плодотворной деятельности.

ДВЕ «ВЕСНЫ»

Любители поэзии в Чехословакии смогли недавно познакомиться с двумя интересными поэтическими сборниками — «Чешская весна» и «Словацкая весна».

«Словацкая весна» выпущена пражским издательством «Чехословацкий писатель». Впервые за последние десять лет чешские читатели получают книгу словацкой поэзии, представленной широко и разнообразно. В сборник включены стихотворения многих поэтов Словакии, как выступавших с первыми произведениями задолго до войны, так и представителей послевоенного поколения: Я. Есенского, Ф. Краля, Я. Костры, П. Горова, М. Лайчака и других. Составитель сборника — Цтибор Штитницкий. В предисловии к книге, написанном критиком А. Матушкой, сказано: «За десять лет после освобождения наша поэзия прошла довольно сложный путь развития, конечно не без ошибок, остановок, боев и сражений». Автор считает, что отдельные ее образы навсегда останутся документами своего времени, указателями дальнейших путей...»

Одновременно в Братиславе в издательстве «Словацкий писатель» вышла «Чешская весна» — томик лучших стихотворений чешских поэтов. Составители сборника — Ярослав Яну и Вацлав Стейскал. Книге предпослана небольшая аннотация, в которой говорится: «Мы издаем весь этот сборник современных чешских поэтических ценностей с желанием, чтобы словацкий читатель принял их дружески и услышал в них свой второй родной голос». «Чешская весна» также содержит стихотворения, написанные за время, прошедшее после освобождения страны.

ПЕРВЫЙ ТОМ СОЧИНЕНИЙ Я. ГАШЕКА

Чехословацкое государственное издательство художественной литературы выпустило первый том собрания сочинений Я. Гашека — «Путевые очерки, рассказы и юморески».

Как подчеркивает газета «Литерарни новины», знакомство с рассказами первого тома позволяет лучше понять прославленную книгу «Похождения бравого солдата Швейка», ибо им тоже свойствен антимилитаризм автора этого романа.

ШВЕЦИЯ

НЕДЕЛЯ КНИГИ В ШВЕЦИИ

В конце прошлого года в Швеции в пятый раз была проведена Неделя книги. В ней приняло участие большинство популярных шведских писателей, в первую очередь те, кто в 1956 году выпустил какое-либо новое произведение.

В течение Недели книги проводились вечера, концерты, на которых писатели выступали с чтением своих произведений, встречались с читателями. В заключение были вручены стипендии и премии Литературного фонда.

В связи с Неделей книги газета «Ню даг» поместила портрет известного шведского путешественника, спутника Тора Хейердала в его плаванье на «Кон-Тики»— Бенгта Даниэльссона. Даниэльссон популярен в Швеции не только как путешественник, но и как автор ряда книг, посвященных этим путешествиям. В этом году Бенгт Даниэльссон выступил с книгой «Бумеранг» о поездке в Австралию.

Даниэльссон изображен на фоне плаката, посвященного Неделе книги. Над портретом шутливая надпись: «Бородатая пропаганда», а под портретом — следующее высказывание Даниэльссона: «По правде говоря, на островах Тихого океана мне тоже не раз приходилось участвовать в литературных вечерах, подобных тем, которые организуются в Швеции в связи с Неделей книги. Конечно, чаще всего чтением вслух занимаются европейцы, которые таким образом стараются скоротать скучные дождливые вечера. Но и туземцы постоянно собираются вместе, по обычаю своих предков, и при этом устраивают настоящие вечера рассказов».

НЕОБЫЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

В Белграде недавно состоялся «Литературный суд». «Подсудимым» был составитель «Антологии сербской поэзии» Зоран Мишич. «Суд» проводился по всем правилам, здесь были и защита, и обвинение, и свидетели, и присяжные — публика. Обвинение состояло из пяти пунктов (обеднение сербской поэзии, непоследовательность в составлении антологии и так далее). Стороны подтверждали свои положения чтением отрывков стихотворных произведений. Исполняли их лучшие артисты театров.

По свидетельству газеты «Борба», белградские литераторы намерены повторять такие вечера.

На сцене Стокгольмского «Алтеатерн» режиссер Сам Бесеков поставил инсценировку Бенгта Андерберга по роману Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». На снимке — Стуре Легевалль в роли Швейка.
(Журнал «Урд о билд»).

ЮГОСЛАВИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДИСКУССИЯ

Загребские литераторы устраивают в Рабочем доме традиционные «Литературные пятницы». «Пятницы» стали своего рода литературной традицией, которая оказывает большое влияние на культурную жизнь города. Вначале кто-нибудь из писателей делает доклад на определенную тему, затем развертывается широкая дискуссия по затронутому вопросу. Например, в октябре 1956 года на одной из «пятниц» Эрвин Шинко выступил с докладом «Облик писателя сегодня». После него на следующих литературных пятницах состоялись выступления Бориса Зихерла, Иосипа Видмара, Иво Андрича, Бранко Чопича, Вьекослава Калеба, Владана Десницы и других. Темы обсуждений самые разнообразные: «Социализм и реализм», «Стилистический анализ литературного произведения» «Старые и молодые — вчера, сегодня и завтра», «Политика и литература», «Литература и действительность», «Интеллигент в американском обществе», «Разговор о юморе и сатире».

ЮЖНАЯ РОДЕЗИЯ

ПОСТАНОВКА «ПРОДАННОЙ НЕВЕСТЫ»

Чехословацкий иллюстрированный журнал «Свет в образех» сообщает о постановке в городе Булавайо оперы «Проданная невеста Б. Сметаны. Постановка осуществлена местным оперным коллективом и стала возможной благодаря инициативе Союза чехословацких композиторов, приславшего в Булавайо ноты, эскизы декораций и необходимые пояснения хореографическому коллективу.

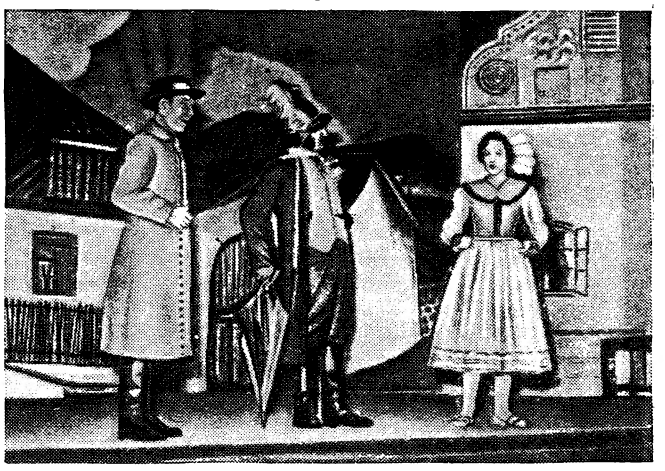
Чехословацкий журнал «Свет в образех» пишет, что премьера в Булавайо явилась большим праздником для деятелей культуры и общественности города.

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ЯЗЫКЕ БАНТУ

В Иоганнесбурге состоялась первая конференция по вопросам литературы на языке банту. Выступивший на ней с докладом доктор Т. С. ван Ройен отметил, что среди тех, кто пишет на языке банту, есть много талантливых людей. Однако до настоящего времени их печатают только в газетах и журналах, да и то очень редко, так как редакторы-европейцы не принимают их творчества всерьез. Это в значительной степени препятствует развитию литературы на языке банту. Для того чтобы исправить создавшееся положение, доктор ван Ройен предложил создать специальное издательство, которое печатало бы произведения этих авторов. Выступивший затем Ф. Дж. ван Вик предложил также организовать заочные курсы для писателей на языке банту и регулярно проводить литературные конференции.

Газета «Френд» отмечает, что эта конференция наметила конкретные пути развития литературы на языке банту и, возможно, явится поворотным пунктом в ее истории.



Сцена из оперы Б. Сметаны «Проданная невеста» в исполнении артистов театра в Булавайо.
(Журнал «Свет в образех»).

ЯПОНИЯ

ФИЛЬМ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ С. МАРШАКА «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

Осенью этого года в Японии с большим успехом демонстрировался цветной кинофильм «Лес живет», поставленный известным прогрессивным режиссером Сотодзи Кимура по мотивам сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». Сценарий фильма написан Сотодзи Кимура. В съемке картины приняли участие артисты труппы «Хайюдза». Перед выходом картины на экран японский режиссер заявил: «Пусть этот фильм разбудит прекрасные мечты и светлые надежды в сердцах детей, которым принадлежит будущее Японии».

«Сотодзи Кимура блестяще справился с постановкой», — пишет газета «Акахата». На страницах газеты были помещены отклики на кинокартину видных деятелей «Ассоциации родителей и учителей».

Кадр из японского фильма «Лес живет», поставленного по сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев».
(Газета «Акахата»).

«...Смотря на экран, я прежде всего думала о впечатлении, которое кинофильм произведет на моих детей... Это действительно прекрасная картина»,— говорит одна из активисток ассоциации — Есида.

Отмечая, что фильм проникнут «подлинным гуманизмом», другая активистка, Ямамото, сказала: «Мы испытываем чувство радости. Своим достоинствам картина обязана не только замечательному оригиналу, но и прекрасной постановке японского режиссера». «Пожалуй, за один сегодняшний день дети почерпнули для себя больше полезного, чем за три года обучения в школе»,— добавляет она, посмотрев кинофильм вместе со своими детьми.

Прогрессивная японская общественность энергично выступает за широкую пропаганду подобных кинокартин, противопоставляя их многочисленным фильмам, которые оказывают пагубное влияние на подрастающее поколение.

И не случайно поэтому в статье о кинофильме «Лес живет» газета «Акахата» пишет: «Еще никогда зрители с таким нетерпением не ждали выхода кинокартины, которая пробуждает поистине человеческие светлые чувства не только у детей, но и у взрослых».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Миху Драгомир — Mihu Dragomir (род. в 1919 г.) — румынский поэт, автор нескольких сборников стихов и поэм. Его поэма «Война» удостоена в 1954 году Государственной премии.

Жан Фревиль — Jean Freville (род. в 1898 г.) — французский писатель, критик и публицист, доктор права и экономических наук. Перевел на французский язык и выпустил с предисловиями многие работы классиков марксизма-ленинизма.

Кэндзо Накадзима — видный японский журналист и литературный критик, постоянный обозреватель ряда крупных газет и журналов. Является председателем центрального правления Ассоциации «Синнихон-бунгакукай» (Организация прогрессивных писателей Японии) и секретарем Общества японо-китайской дружбы.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература».
Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-1[illegible].

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А 00468. Сдано в производство 18/I 1957 г. Подписано к печати 18/III 1957 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9,0бум. л.+ 1 вкл. П. л. 24,66 + 1 вкл.
Зак. 189. Цена 8 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.